



M. Malenka



Тарас Шевченко. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3
//Государственное издательство художественной литературы, Москва,
1956
FB2: , 18.12.2010, version 1.0
UUID: OoFBTools-2010-12-18-22-47-50-50
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Тарас Григорович Шевченко

**Драматические
произведения. Повести**
(Собрание сочинений в пяти томах #3)

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
Том 3

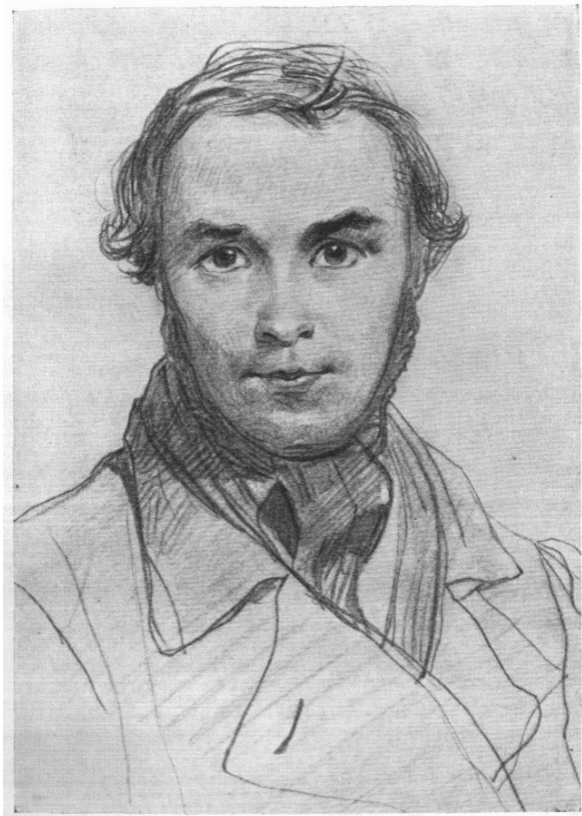
Содержание

Тарас Шевченко Драматические произведения.	
Повести0004
Назар Стодоля {1}0005
Действующие лица0006
Акт первый0007
Акт второй0034
Акт третий0059
Отрывок из драмы Никита Гайдай {8}0075
Действие III0075
Повести {9}0092
Наймичка {10}0092
Варнак {39}0234
Княгиня {67}0302
Музыкант {97}0362
Несчастный {163}0502
Капитанша {200}0616
Украинские слова и выражения, встречающиеся в 3 томе и требующие объяснения0739

**Тарас Шевченко
Драматические
произведения. Повести**



Т. Г. ШЕВЧЕНКО Автопортрет



Назар Стодоля {1}

Действующие лица

Хома Кичатый, сотник.

Галя, дочь его.

Стеха, молодая ключница у Кичатого.

Назар Стодоля, друг его.

Гнат Карый, друг его.

Хозяйка на вечерницах.

Слепой кобзарь, еврей-музыканты, молодые казаки и девушки, сваты от Чигиринского полковника.

Действие происходит в XVII столетии, близ Чигирина, в казацкой слободе, в ночь на рождество Христово.

Акт первый

Вечер. Внутренность светлицы, богато убранной коврами и бархатом. В стороне стол, покрытый дорогим ковром; кругом скамьи под бархатом, окаймленные золотом. На столе стоят фляги и разные кушанья, горят восковые свечи. **Стеха** убирает [накрывает на] стол.

Стеха (отходит от стола)

Всё! Как будто всё... Постой-ка, не забыла ли чего? Рыба, мясо, баранина, свинина, колбаса, вишневка, сливянка, мед, венгерское — всё, всё! Тут и выпивка и закуска... Скорее бы гости! Что ж они так долго не идут? И вздумал же седоусый в такой праздник, когда добрые люди колядуют, ожидать гостей, да еще каких гостей — сватов от такого же старого дурня, как и сам!.. Поглядим, что из этого выйдет. Холодного железа не согнешь. А если бы не таился да посоветовался со мною этак недели за две до праздника, то дело было бы верное; а то спохватился в самый сочельник, да и ластится: «И такая, и сякая, и добрая, и разумная ты, Стеха, — помоги! Я уж тебе и то,

и се, и третье, и десятое...» Поглядим, поглядим, удастся ли нашему теляти да волка съесть... (Помолчав.) Не сказал ведь дочке ни слова, за кого и как собирается выдать, думает, наша сестра — коза: куда хочу, туда и гоню. Э, нет, погоди-ка, голубчик!.. «Упроси ее», — говорит. Да и что такое этот поганый хорунжий! А полковник хоть и старый, — дай бог ему здоровья! — да все-таки пан!.. Тут бы она и потеряла рассудок. Другому не справиться, а я коль возьмусь, так и добьюсь. Девке девку сбить с толку нетрудно, а еще такую, как моя панночка, — и-и!.. Да уж, как говорится, поймал — не поймал, а погнаться можно. Зато, если удастся, то-то я погуляю!.. А она поплачет немножко, потужит, а потом хоть бы что! Да и Назар не раз спасибо скажет.

Из боковых дверей выходит Галя.

Ну, что? Неплохо убрано? То-то вот и оно!

Галя Что это ты, Стеха, делаешь? Разве у нас сегодня гости?

Стеха Да еще какие гости, если бы вы знали!

Галя Какие же такие гости? Откуда?

Стеха Угадайте.

Галя Уж не из Чигирина ли? Да?

Стеха Из Чигирина, да кто такой?

Галя Какие-нибудь старшины?

Стеха То-то и есть, что не старшины, и...

Галя Так кто же такой? Может... да нет! Сегодня не такой день... А мне батюшка вчера говорил...

Стеха Говорил, да не договорил. А я знаю, да не скажу...

Галя (*обнимая Стеху*) Стеха, голубка, ласточка моя, скажи, не мучь меня.

Стеха А что дадите? Скажу...

Галя Еще сережки или перстень, или, что хочешь, подарю, только скажи.

Стеха Ничего мне не надо, дайте только шубку надеть сегодня на вечерницы.

Галя Ладно, надевай, только чтобы не заметил отец.

Стеха Вот еще! Разве я дура? Слушайте же. (*Вполголоса.*) Сегодня придут сваты.

Галя (*в восторге*) От Назара! От Назара!

Стеха Да там уже увидите, от кого.

Галя Разве не от Назара, Стеха? А? Ты меня, право, пугаешь!

Стеха Я вас не пугаю, я только так говорю.

Галя Нет! Ты что-то знаешь, да не хочешь сказать.

Стеха (лукаво) Ничего я не знаю. Где уж мне, ключнице, знать о господских делах!

Галя Ты надо мной смеешься! Я заплачу, ей-богу, заплачу и батюшке скажу.

Стеха Что же вы скажете?

Галя Что ты меня напугала... Теперь уж не дам тебе шубки. А что — получила?

Стеха Ох, какие вы пугливые! Уж и поверили!

Галя Ну, от кого же? От Назара?

Стеха Да от кого же больше? Уж, конечно, не от старого Молочая, нашего полковника.

Галя Ну его, он такой гадкий! Чуть он на порог — я сейчас же из хаты. И как это его казакки слушаются, понять не могу. У него, постылого, только и разговору, что про вареники да про наливку.

Стеха А разве это не годится?

Галя Еще бы! Ведь он казак да еще полковник! Вот мой Назар, мой чернобровый, всё про войну да про походы, про Наливайка, про Острилицу да про синее море, про татар да про турецкую землю... Страшно, страшно, а

хорошо, — слушала бы — не наслушалась, да всё смотрела бы в его карие очи... Мало дня, мало ночи...

Стеха Еще наслушаетесь и налюбуетесь. Потом и наскучить может...

Галя О, боже упаси! До самой смерти, пока не умру, всё буду смотреть на него да слушать его. Скажи, Стеха, любила ли ты когда, обнимала ли стан казацкий, высокий, так... чтобы руки задрожали и сердце замлело? А когда целуешь... что тогда? Как это, должно быть, любо! Как весело! *(В восторге поет и пляшет.)*

*Гой, гоя, гоя!
Что это со мною?
Полюбила казака,
Не знаю покоя.*

*Я его боялась...
Что же после случилось? —
На улице повстречалась,
С ним поцеловалась.*

*А мать поглядела...
Какое ей дело!
Выдавайте замуж,
Если надоела!*

Стеха Ишь, как ловко! От кого же это вы научились?

Галя Да от тебя же... Разве забыла, как на прошлой неделе на улице танцевала? Тогда еще батюшки не было дома... Вспомнила?

Стеха Когда это? Вот еще выдумали!

Стучатся в дверь.

Галя (*торопливо*) Ой, беда! Кто-то идет! (*Убегает.*)

Стеха Кто там?

Хома (*за дверью*) Я, я! Открывай живей.

Стеха отворяет дверь. Входит Хома, отряхиваясь.

Хома Что? Еще не было?.. Ух, какая вьюга на дворе!

Стеха Кого не было?

Хома Кого? Гостей!

Стеха Каких гостей? От пол...

Хома Тс!.. Ну да!..

Стеха Нет, не было.

Хома Смотри же, молчок!.. Отец Данило, спасибо, разрешил⁽²⁾. Не забудь только завтра утром послать ему вишневки, — знаешь? — той, что недавно доливали. Пускай его пьет на здоровье. Да что это их нет так долго? Не

испугались ли метели? А ветер будто стихает.

Стеха Испугаются они, как бы не так! И в воробьиную ночь приедут ради такой панночки, как наша.

Хома Конечно, конечно!

Стеха Само собой. Он ведь старик... а панночка...

Хома Сама ты старуха, сорока бесхвостая!

Стеха Гляди! Сразу и рассердились. Разве я про вас?

Хома Так что же, что не про меня? Зато про моего... ну... полковника.

Стеха Ишь как! А панночка? Говорили вы с ней? Что она?

Хома А что она? Ее дело такое: что прикажут, то и сделает. Молода, глупа; твое дело научить ее, вразумить, что любовь и всё такое прочее — пустяки, безделка. Сама ведь понимаешь!

Стеха Я-то понимаю, да вот с какого конца начать, не знаю. Полюбила дочка ваша Назара так, что и рассказать нельзя. Вот и сегодня со мной говорила. Молись, говорит, Стеха, богу, чтобы скорей меня замуж за Назара выдали, — половину богатства своего отдам!..

Хома А ты и поверила?

Стеха Почему же нет? Она такая добрая.

Хома Дура ты, дура! А если я сам тебе все богатство наше отдам, что тогда будет? А? Как ты думаешь? *(Ласкает ее.)* То-то и есть, дурочка ты, бессережная!..

Стеха Что же мне делать, если я дурочка?

Хома Делай, что велят. Слышишь? Все, что у меня есть, — твое.

Стеха Не надо мне вашего добра, и без него была бы я счастлива, только не забудьте бедной Стехи, когда станете большим паном. Я вас так верно люблю, так страдаю, а вы... *(Притворно грустит.)*

Хома Ну, затянула панихиду!.. Опять за свое. Сказал, сделаю, так оно и будет.

Стеха Мало ли что люди обещают, когда их нужда заставит!

Хома Довольно зря болтать! Ступай-ка к Гале да поговори с нею хорошенько, по-своему, и если что не так, то завтра и мы с тобой врозь...

Стеха Сказал пан — кожух дам, да слово его греет. А я только грех на душу возьму.

Хома Какой тут грех? Пустое это всё!

Стеха Побожитесь, что женитесь, — тогда, ей-богу, все сделаю! А без меня, вот вам слово, ничего не выйдет, ей-богу!

Хома Вот же, ей-богу, право

Стеха Женитесь?

Хома Ладно!

Стеха На мне?

Хома Вот репей, так репей! Ты у меня в печенках сидишь со своими причудами!

Стеха Какие же тут причуды?

Хома Ну ладно, ладно! Слушай теперь! Надо обдумать всё так хитро, чтобы она и не знала, от кого сваты, а то, чего доброго, всё пойдет вверх тормашками.

Стеха Да уж мне не учиться, как дело повернуть. Наговорю таких сказок моей панночке, что твой кобзарь... Старый, скажу, человек, как поразмыслишь, во всем лучше молодого. Молодой... да что там говорить? Никуда молодой не годится, а к тому же докучен да ревнив, а старик тихоньким будет да послушным.

Хома Верно, верно! Умна ты, девушка!.. Ступай к Гале да, смотри, хорошенько потолкуй с нею.

Стеха А потом можно будет мне пойти на вечерницы? Я уже совсем управилась. Пустите, будьте ласковы, в последний разочек.

Хома У тебя только вечерницы на уме. Ох уж эта мне Мотовилиха!..

Стеха Мотовилиха? Уж не наговорила ли вам чего старая шлюха? Что ж тут такого, что я с казаками пляшу! А когда вы заигрываете с молодницами, я ведь молчу!

Хома Ступай, ступай... да позови мне Галю, а сама приготовь полотенца.

Стеха Всё уже готово. (*Уходит.*)

Хома Связался я с бесом! (*Оглядывается.*) Что ж поделаешь? Без этого нельзя. В таком деле, как ни верти, требуется либо черт, либо баба! (*Немного помолчав.*) Чего доброго, еще и меня одурачит, тогда и оставайся на веки вечные в дураках. Да нет, лихо ее матери! Только бы ты своими хитростями помогла мне породниться с полковником, а там уж как и что, это еще поглядим... Ишь ты, мужичка! Как нос задирает! Погоди! (*Продолжительное молчание.*) Думай, голубушка, да гадай... а оно совсем по-другому будет. Закинь только удочку — рыбка сама клюнет. Шутка

ли — полковничий тесть! А что дальше — наше дело. Лишь бы через порог, а что за порогом — и сами поглядим. В каких-нибудь Черкассах, а то и в самом Чигирине, гуляй с полковничьей булавою!.. И слава, и почет, и червонцы гребни: все твое. А пуще всего червонцы. Их люди по запаху чуют, хоть и не показывай, — все поклонятся... Ха-ха-ха! Вот тебе и сотник!.. Еще в Братстве сердце мое чуяло, что из меня выйдет большой пан⁽³⁾. Бывало, говорю одно, а делаю другое. За это меня называли двуличным... Дураки, дураки! Разве когда говоришь про огонь, так тут же и лезь в огонь? Либо когда про чернобровую сироту, так вот и женись на ней? Брехня! От огня подальше. Женись не на черных бровях, не на карих очах, а на хуторах да мельницах — вот тогда и будешь человек, а не дурень.

Входит Галя.

Галя (весело) Добрый вечер, батюшка! Где это вы так долго замешкались? Вы меня, кажется, звали?

Хома Звал, звал. (Осматривает ее.) Что же ты не все ленты вплела? А впрочем, ладно, пока и этих хватит... Слушай. Надо погово-

рить нам о важном деле. Знаешь ли, что мы сегодня сватов ждем?

Галя Сегодня? В сочельник — под самое рождество?

Хома Так что же? Отец Данило, спасибо ему, разрешил. Смотри ж, не отказывай сватам!

Галя Как же это можно? Или жених стар очень, что ли? Вот послушайте, каких небылиц наговорила мне Стеха. Смех, да и только!

Хома Что же она тебе наговорила?

Галя Говорит, будто старик... да нет, не скажу, право, не скажу, потому такая чепуха. И сама не знает, что говорит.

Хома Разве не правда? Старик лучше молодого.

Галя Так и она говорит!

Хома А тебе как кажется?

Галя Как же это можно? То старик, а то молодой!

Хома Так, по-твоему, молодой лучше?

Галя Еще бы!

Хома Подумай хорошенько и поймешь, что отцова правда, а не твоя. Ну что молодой? Разве что усы черные — только и всего... Не

век же тебе им любоваться: придет время подумать кой о чем и о другом. Захочется почета, уважения, чтобы кланялись тебе пониже. А кому это полагается? — полковнице... это я так, к примеру говорю... а не жене какого-нибудь хорунжего, у того только и богатства, что черный ус. Поверь мне, дочка, на тебя никто и смотреть не захочет.

Галя Да я и не хочу, чтобы на меня другие смотрели.

Хома Глупости болтаешь! Думаешь, не надоест ему всю жизнь на тебя одну смотреть! Одна ты на божьем свете? Есть и получше! Того гляди, разлюбит.

Галя Назар? Меня? Нет, никогда на свете.

Хома Я и не говорю, что вправду так оно и случится, а просто пример привожу, чтобы понятней было: все мы на один покрой.

Галя О нет, не все!.. Он не такой, он не разлюбит.

Хома А что? Разве он тебе поклялся уже?

Галя. А как же!

Хома А ты и поверила?

Галя Я бы и без клятвы поверила.

Хома Глупая ты, глупая! Разве не знаешь,

что кто много обещает, тот ничего не дает? Ой, опомнись да послушайся отцовского совета. Хорошо, что я уж такой, — что пообещаю, то и сделаю. Ну, не дай я тебе приданого, что тогда, а? Пожалуй, он тебя и нищей возьмет: мало ли каких дураков нет на свете? Да что из того? Подумай, что бы ты тогда делала?

Галя Что все делают — зарабатывала бы на хлеб.

Хома А что лучше: самой ли работать, или смотреть, как другие на тебя работают?

Галя Как кому.

Хома То-то и горе, что ты еще глупая. Я бы тебе много чего еще сказал, да некогда: того и гляди, сваты на порог. А есть у тебя полотенца?

Галя (*весело*) Есть, есть! Как я рада! У меня сердце не на месте. Вам тоже так весело?

Хома Весело, очень весело... Ступай, да не забудь сказать, когда придут колядовать, чтобы их гнали в шею.

Галя За что? Это же старый обычай. Да и справляют его раз в году.

Хома А сваты бывают раз в жизни...

Галя А ведь правда, чтоб не помешали...

Еще и обряда не дадут справить. Побегу скажу, чтобы заперли ворота и калитку. (*Уходит*.)

Хома (*ходит, задумавшись*) Кажется, дело идет на лад. Она поверит, что сватов прислал Назар, сдуру и согласится... сваты не проговорятся, свадьбу можно отложить до той недели, а за неделю и нашего брата, мужика, уговоришь, чтоб не брыкался, не то что девку... Только бы черт не принес того воробья желторотого! Тогда пиши пропало. Переполошит всё! (*С важностью.*) А подумаешь и так: какое ему дело до Гали? Это же мое дитя, мое добро, стало быть — моя власть и моя сила над нею. Я отец, я царь ей... А ну его! Не такое дело, чтобы долго раздумывать. Только бы не оплошать, береженого и бог бережет, или как там еще говорят: ровней сгладишь, тесней ляжешь.

Галя (*вбегает в восторге*) Приехали! Приехали!

Хома (*вздвогнув*) Ох, как ты меня испугала! Ступай к себе в комнату, — придешь, когда кликну.

Галя Зачем в комнату? Я здесь останусь,

никто не увидит.

Хома Нельзя: обычай не велит.

Галя Ну, ладно, уйду. (Уходит.)

Хома с важностью садится за стол. За дверью стучат три раза. Входят два свата с хлебом и, низко кланяясь хозяину, кладут хлеб на стол.

Сваты Дай боже вечер добрый, вельможный пане!

Хома И вам добрый вечер. (Дает знак свату. Тот кланяется. Хома шепчет ему на ухо и потом продолжает.) Добрый вечер, люди добрые! Просим садиться, будьте гостями. Откуда это вас бог несет? Издалека или из близких мест? Может, вы какие охотники? Может, рыбаки или, может, вольные казаки?

Сват (тихо покашливает) И рыбаки и вольные казаки... Мы люди немецкие, идем из земли турецкой... Вот как-то в нашей земле выпала пороша. Я и говорю товарищу: «Чего нам смотреть на погоду — пойдем искать звериного следу». Вот и пошли. Ходили, ходили, ничего не нашли. Глядь, идет нам навстречу князь, поднимает кверху плечи, говорит нам такие речи: «Эй, вы, охотники, лов-

цы-молодцы, будьте ласковы, докажите дружбу. Попалась мне куница — красная девица. Не ем, не пью и не сплю с того часа, а всё думаю, как бы ее достать. Помогите мне ее поймать, тогда, чего душенька ваша пожелает, всё просите, всё дам: хоть десять городов или тридевять кладов, чего вам ни захочется». Ну, нам того и надо. Пошли мы по следам: по всем городам, везде и всюду — и в неметчину и в туретчину... все царства и государства прошли, а все куницы не нашли. Вот мы и говорим князю: «Что за дивная та зверушка? Верно ли, что лучше нет? Идем другую искать». Так где тебе! Наш князь и слушать не хочет. «Куда, говорит, я ни ездил, в каких царствах, в каких государствах не бывал, а такой куницы, сиречь красной девицы, не видал». Снова пошли мы по следу и как раз в это село зашли, — как его прозывают, не знаем. Тут опять выпала пороша. Мы, ловцы-молодцы, давай следить, давай ходить; сегодня на заре встали и тут на след напали. Верно, что зверь наш зашел во двор ваш, в хату пробрался, в горнице остался, тут он и отыскался. Тут и притаилась наша куница, в вашей хате крас-

ная девица. Вот нашему слову конец, а ваш ответ всему делу венец. Ради бога, отдайте нашему князю куницу — свою красную девицу. Отвечайте добром, решили ли отдавать, или надо ей еще подрастать.

Хома (*притворно, с сердцем*) Что за напасть такая! Откуда вы такую беду накликаете? Слышишь, Галя? Галя! будь ласкова, посоветуй, что мне делать с этими ловцами-молодцами...

Галя выходит на середину светлицы, останавливается и, стыдливо потупив глаза, перебирает пальцами передник.

Хома Видите, ловцы-молодцы, что натворили: меня, старика, с дочкой пристыдили! Ай-ай-ай, так вот что мы сделаем: хлеб святой примем, доброго слова не чураемся, а чтоб вы нас не пугали, будто мы прячем куницу, сиречь красную девицу, мы вас повяжем. Пришел и нам черед складное слово сказать. Ну, дочка, довольно тебе молчать да хмуриться, или нечем тебе ловцов-молодцов повязать? Слышишь, Галя? Может, полотенец нет? Может, ничего не припасла? Не училась прясть, не училась шить — тогда повяжи чем знаешь,

хоть веревочкой, если есть.

Галя уходит в свою светлицу и немедленно возвращается, неся на серебряном блюде два вышитые полотенца, и кладет на хлеб, принесенный сватами; потом подходит к отцу и низко кланяется и целует руку; потом берет блюдо с полотенцами и подносит сватам — сперва одному, потом другому. Сваты, взявши полотенца, кланяются Хоме.

Сват Спасибо отцу, что свое дитя рано будил и всякому добру учил. Спасибо и тебе, девушка, что рано вставала, тонкую пряжу пряла, приданое припасала.

Галя берет полотенце и перевязывает через плечо одному и другому, потом отходит и робко поглядывает на двери.

Хома (к Гале) Догадался уж, догадался! Хочешь и князя повязать... погоди, завтра вместе его повяжем. Ишь, верно, испугался, что не показался. Постой еще, попадешься — не убежишь.

Сват Он и сам прилетит, как услышит, что вы так похваляетесь.

Хома Ну, пока еще полетит, нам ждать нечего. Просим садиться. Что там есть, по-

едим, что дадут, выпьем, да кое о чем побеседуем. А ты, Галя, тем часом не гуляй, в ковши меду наливай да подноси гостям хлеба-соли, проси их с приветом и ласкою.

Сваты чинно садятся за стол. Галя принимает от отца чарку и флягу и подносит старшему свату. Сват не принимает.

Сват Мы вам такой беды натворили, что боимся, как бы вы нас не отравили... Пригубьте сначала сами. *(Кланяется.)*

Галя, поглядывая на отца, робко и стыдливо подносит [чарку] к губам и подает свату.

Сват *(подняв чару)* Теперь правильно. Пошли же, боже, нашим молодым счастья, и богатства, и доброго здравия, чтоб и внуков поженить и правнуков дождаться...

Свата прерывает хор колядников под окнами. Все слушают со вниманием. Хома с досадою покручивает усы; Галя весело поглядывает на окно. Сват в продолжение колядки [несколько раз] повторяет:

Хорошо колядуют наши казаки.

КОЛЯДКА

Видит же бог, видит творец,

*Что мир погибает,
Архангела Гавриила
В Назарет посылает.
Благовестил в Назарете,
Стала слава в вертене.
О прекрасный Вифлеем,
Отверзи врата Эдема!*

Хома (к Гале, с сердцем) Я же наказывал тебе, чтобы никого не пускали! Замечталась, забыла!

Входит Назар с молодыми казаками.

Назар Дай боже вечер добрый, помогай вам во всех добрых делах!

Все казаки повторяют то же. Назар, не снимая шапки, в ужасе останавливается, по-сматривает то на гостей, то на Галю. Все молчат.

Хома (смешавшись) Спасибо... спасибо... милости просим. Садитесь, пожалуйста...

Молчание продолжается. Галя, улыбаясь, украдкой поглядывает на Назара.

Назар Сядем, сядем, было бы где, — мы гости незваные. Может, помешали, так мы уйдем, откуда пришли. (Смотрит на сватов.) Так вот почему полковник послал меня с гра-

мотами в Гуляй-поле! (Глядя на Галю.) Весело, весело! Наливай полней горилки... и я выпью за твое здоровье! Да не бойся, не бойся, наливай!..

Галя в ужасе роняет поднос и флягу.

Хома (в бешенстве) Кто смеет издеваться над моей дочерью?

Назар Я! Или не узнал? Я, Назар Стодоля! Тот самый, за кого ты вчера обещал выдать дочку свою, тот самый, кого ты знаешь с той поры, как он вырвал тебя из-под ножа гайдамацкого! Вспомни еще: я тот, кто и самому гетману не позволит над собою смеяться!.. Узнал?

Хома Узнал. (Равнодушно.) Дальше что?

Галя Разве не ты прислал?

Хома Молчи! Прочь отсюда!..

Назар (останавливает Галю) Постой, останься тут! И тебя дурачат!

Хома Не дурачу, а как отец приказываю... Она просватана за Чигиринского полковника.

Назар (с презрением) Полковника! Вчера была моя, сегодня полковника, а завтра чья будет? Слышишь, Галя?

Галя (падая на руки Назара) Слышу! О, по-

чему я не глухая?

Сват Осмелюсь доложить...

Назар Молчи, поганец, шептун...

Хома Отдай мне дочку мою! (*Робко подходит к Назару.*)

Назар Прочь, Иуда!

Хома (*в ужасе*) Прохор, Максим, Иван, Стеха! Гей, кто там есть! Возьмите его, разбойника, он убьет меня!

Назар Пускай бог тебя убьет, детопродавец... (*К Гале.*) Галя, сердце мое! Скажи хоть одно слово: не знала ты, за кого? Отвечай: не знала?

Галя (*приходит в себя*) Не знала, ей-богу, не знала!

Назар (*к Хоме*) Слышишь ты?

Хома Не слышу, оглох!

Назар (*к гостям*) Люди добрые! Если вы не оглохли, так послушайте. Он называл меня своим сыном, а я его отцом, тогда он все слышал, а сегодня оглох... Где же его правда? Честный он человек? Правдивый, а?

Гости молчат.

Гнат (*подходит к Назару*) Он не человек. Брось его, — такая дрянь не стоит путного

слова. *(Берет его за руку.)*

Назар Постой... Нет, он человек, он называл меня сыном. *(К Хома.)* Правда?

Хома Не тебе учить, как мне кого называть. Я ей отец, а не тебе, значит, моя воля отдать ее за кого хочу.

Назар А если она не захочет, тогда что?

Хома Заставлю.

Назар Можно ли кого заставить утопиться или повеситься? Разве ты бог, что в силах творить чудеса? Разве ты дьявол, что нет у тебя жалости к родному ребенку? Видишь, у нее есть сердце, а ты вместо сердца суешь камень. Слушай, и ты когда-то был молодой, и ты когда-то знал радость и горе. Скажи, что чувствовало, что говорило твое сердце, когда над тобой насмехались?

Хома Болтай еще!..

Назар *(в исступлении)* Ты еще глумиться надо мною!.. Да я растопчу тебя, как жабу! Лгун! *(Быстро подходит к нему и хватает его за горло.)*

Галя *(схватив руку Назара)* Что ты делаешь! Убей меня... На, режь! Назар молча опускает руки.

Хома (*подбегает к сватам*) Видели? Хотел меня задушить! Сваты молчат.

Гнат (*к Назару*) Мы еще с ним расплатимся, придет час. Идем с этого базара.

Назар Не пойду! С места не тронусь.

Гнат Ну, так торгуйся. Может, уступят дешевле.

Галя Боже мой, боже мой, они издеваются надо мною!

Хома Не издеваются, а торгуются.

Гнат Довольно, брат... идем.

Назар Постой, еще не опоздали. (*Подходит к Хоме.*) Прости меня, я сгоряча забылся... Ты добрый человек. Прости или зарежь меня, только не говори, что она не моя, не говори!.. Смотри: я гетману никогда не кланялся. (*Падает на колени.*) Ради спасения твоей души, если у тебя есть бог в сердце, ради всех святых, если ты в кого веруешь, ради спасения твоей дочери, если она тебе дорога, — взгляни на меня! Пускай сваты со своим хлебом идут, откуда пришли. Христом богом молю, не губи ее, бедную. Лучше ее нет на свете, за что ты хочешь убить ее? Возьми голову мою, вот на, разбей ее обухом. Не надо мне головы, только

дай своей дочке пожить еще на свете, не за-
едай ее века, она не виновата.

Хома, дрожа, поглядывает на гостей.

Гнат (*быстро подбегает к Назару*) Кого ты
просишь? Кому кланяешься? Перед кем пада-
ешь ниц? После этого я на тебя и смотреть не
хочу... Прощай! Кланяется дьяволу! Он тебя
кипящей смолою напоит! (*Хочет идти.*)

Назар (*удерживает его*) Постой!.. Дай еще
одно слово сказать.

Галя (*обнимая ноги отца*) Вы обещали по-
койнице матери, когда она умирала, вы у са-
мого гроба клялись выдать меня за Назара...
Что вы делаете? Чем я вас прогневала?.. За
что вы хотите меня убить? Разве я вам не
дочь? (*Заливается слезами.*)

Назар Камень! Железо! Ты огня захотел?..
Будет огонь, будет! Для тебя всю преиспод-
нюю вызову... Жди меня!.. (*Гале.*) Бедная, бед-
ная, нет у тебя отца, есть у тебя палач, а не
отец! Бедненькая, сердце мое, пташечка моя
бесприютная! (*Целует ее.*) А я еще беднее те-
бя, у меня и палача нет, некому и зарезать ме-
ня. Прощай, мое сердце, прощай. Скоро уви-
димся.

Галя безмолвная падает на руки Назара... Он целует. Хома силится вырвать ее. Назар отталкивает его и снова целует Галю.

Назар (к сватам) Расскажите полковнику, что видали и что слышали... Скажите, что его невеста у вас на глазах целовалась со мною. (*Галя обнимает его и целует.*) Видите, видите!.. Прощай же, мое сердце, моя голубочка! (*Целует ее.*) Я знаю, что мне делать. Я найду правду... Прощай, вернись, ожидай!..

Галя падает без чувств. Назар, закрыв лицо руками, удаляется. Гнат и казаки за ним. Хома и сваты подбегают к Гале.

Акт второй

Внутренность простой хаты, опрятно убранной. На столе горят свечи. Хозяйка прибирает около печи.

Хозяйка Господи, Господи! Как подумаешь, когда еще мы были в девушках: услышишь где-нибудь вечерницы, так даже тыны трещат: а теперь... вот скоро третьи петухи запоют, а вечерницы еще и не начинались. Оно хоть и праздник, — известно, колядуют, — а все-таки пора бы... Нет, что ни говори, а свет переменялся. Хоть бы и запорожцы... ну, какие теперь запорожцы? Тыфу на их удаль, да и только!.. Такие ли были раньше? Бывало, как налетят из своей Сечи, что твои орлы-соколы! Бывало, схватит тебя который, до земли не допустит, так и носит... Ой-ой-ой! Куда это все подевалось?.. (Покачавши грустно головой, поет.)

*Звезда с месяцем над долиною
Повстречалася;
Дожидалася ясной зорюшки,
Не дождалася.
Я домой пришла, горько плакала.*

Не молилася,—
На постель свою, неутешная,
Повалилася.
Не заснула я, все мне чудилась
Ночка темная
И вишневый сад, очи карие,
Брови черные.
На заре-заря я очнулася.
И сказала так:
За Дунай-реку чернобровый мой
На гнедом коне
Полетел орлом!.. Я все плакала,
Все смеялася.
Казаки домой от Дунай-реки
Возвращались.
Не вернулся мой... Свою молодость
Что же трачу я?
Звезда с месяцем повстречалася,—
И заплачу я.

Точнехонько моя доля! Будто эту песню про меня сложили. Где мои молодые лета? — и следу нет, словно по воде поплыли. (Помолчав.) Что ж это в самом деле никто не идет? Ох, уж эта мне полоумная Стеха! Пошла за девушками да где-то и застряла с казаками. И

свела ж их вместе нечистая сила! Добро бы этот Кичатый был парубок, а то старый уже человек... Ну и взял бы себе в ключницы не молоденькую, а рассудительную, преданную, да чтоб была на все руки, да старенькая, а эта... так и вертится, словно кубарь... Как-то он еще свою дочь пристроит? Гляди, лезет в полковницы! Долго ли она будет любоваться полковничьей лысиной вместо ясного месяца? Ох, ох! старики, старики! Сидеть бы вам на печи да жевать калачи: так нет, давай им женку, да еще молодую! Как бы не так!.. Вот Стодоля — молодец! Я его знаю, уж он протопчет тропинку через полковничий сад... Да и дурак бы он был, кабы не протоптал. Про себя скажу, что... того... Кто-то идет... Сейчас, сейчас... Наконец-то. (Открывает дверь.)

Входят Назар и Гнат.

Хозяйка Свят, свят, свят!.. Откуда, какую дорогою, каким ветром, какими путями занесло вас в мою хату?

Гнат Не спрашивай, голубка, состаришься, а старость, ей-богу, тебе не к лицу. Чего же ты насупилась?

Хозяйка Садитесь, пожалуйста, садитесь!

Гнат Ну, брось, не сердись. Мало чего с языка не слетит! Не все хватай, что плывет. У тебя сегодня вечерницы?

Хозяйка Разве наши вечерницы для вас? Вы пришли только так — посмеяться!..

Гнат Ну и посмеемся, коли будет весело.

Хозяйка *(глядя на Назара)* Будет весело, да не всем.

Гнат Ну, это мы увидим потом... А если бы нам чего-нибудь такого, для чего чарки делают, да и зубам поищи-ка работы. Проклятый скряга и поужинать не дал. Ну, что рот раззявила? Скорей!

Хозяйка Сейчас. *(Отходя.)* Бедненький Назар! *(Достает с полки флягу с вином и закуску и ставит на стол. Назар печально смотрит на Игната.)*

Гнат *(к хозяйке)* Теперь знаешь что? Возьми метлу и смети-ка с месяца пыль, чтобы стало светлее. Ишь, как потемнело! А мы тем временем потолкуем о деле.

Хозяйка Что это, бог с вами!.. Разве я ведьма?

Гнат Я так, наобум сказал... Заткни себе уши. Поняла?

Хозяйка А!.. вы хотите поговорить вдвоем втихомолку? Ладно, я пойду за Стехою. *(Надевает свиту и уходит.)*

Гнат *(посмотрев ей вслед)* Ушла... Ну, что ж ты смотришь на меня, словно не узнаешь?

Назар Теперь бы и отца родного не узнал.

Гнат Умные люди все так делают: и в барских хоромах и в мужичьей хате! *(Наливает рюмку и подносит.)* Не хочешь? Как хочешь! А я бы советовал чарочку, другую адамовых слезок, как говаривал, бывало, отец эконома. Братский монастырь ты небось не забыл?

Назар Нет, ты лучше скажи, зачем ты меня привел сюда?

Гнат Затем, чтоб поговорить с тобой, как с казаком, а не с бабою. За казацкий ум и за казацкую волю! *(Выпивает.)*

Назар Счастливый ты человек!..

Гнат Ты счастливее!

Назар Побыл бы ты в моей шкуре!.. Идем, Гнат! Мне тут душно.

Гнат Погоди, еще рано... Посмотрим, как добрые люди веселятся, и посоветуемся, куда нам идти.

Назар Мне все равно, куда ни поведешь.

Гнат Ты опять баба! Разве пристали казаку такие речи?

Назар Горько мне, Гнат! Ты смеешься, а у меня печенки воротит! Разве мое горе смешно для тебя?

Гнат Смешновато...

Назар А я думал, ты добрый.

Гнат А я думал, ты казак, а ты, вижу, — баба!.. Ну, скажи мне, что это ты сходишь с ума? Где у тебя твой ум? Стоит ли женщина, будь она хоть дочкой немецкого цезаря, стоит ли она такого дорогого добра, как мужской ум?

Назар Стоит.

Гнат Враки! Ты знаешь, в какую цену поставил царь Соломон золотой плуг? При нужде, говорит, кусок хлеба дороже, чем золото. А я скажу, чарка горилки казаку милее всех женщин на свете!

Назар Морочишь ты меня, Гнат, а мне теперь так нужен преданный друг.

Гнат Ладно. Я и есть этот друг, потому что говорю тебе правду. А если хочешь, я для тебя и врать начну. Все, что хочешь.

Назар Не смейся, а говори толком, что же мне, по-твоему, делать. Тебе можно и гово-

рить и думать.

Гнат Вот что. Прежде всего выпей горилки. Она и без меня наставит тебя на ум. (*Наливает рюмку.*) Не забыл ли ты, как умно рассуждает латинский пиит...^{4} как его... ну, тот, за которого меня в Братстве попарили розгами, когда отец ректор нашел у меня за голенищем его премудрые вирши. Он говорит: «Все пустяки, кроме горилки, а иногда и женщина — кстати». Вот как-то! (*Выпивает.*)

Назар (*презрительно*) Жалкий ты, несчастный человек! Я думал, что в тебе есть хоть крошка добра, а в тебе нет даже и того, что есть у скотины. О, если бы ты мог заглянуть сюда (*указывает на сердце*), куда сам бог не заглядывает! Да нет! Может, ты только так говоришь... Друг ты мой добрый, мой верный, ведь плакал же ты когда-нибудь: плачь со мною теперь, хоть притворяйся, да плачь. Не мучай меня. У меня от горя сердце рвется! Пусть уж черти смеются в аду: им любо... А ты все же человек... (*С участием смотрит на него.*)

Гнат Верно, я человек, я мужчина, а ты и в самом деле баба, еще раз тебе говорю: черт

знает, из-за чего убиваешься!

Назар Нет у тебя сердца, камень ты!

Гнат Как хочешь, так и думай, а я несчастней тебя, несчастнее пса твоего: пес ласкается к тебе, и ты любишь его, а я?.. И я, дурень, когда-то в этих змей-баб- влюблялся, искал их любви, проливал горячие слезы и рад был отдать за них жизнь... а что из того? хочешь знать?

Назар Не надо, не хочу, не говори. Нет у тебя бога в сердце.

Гнат Был когда-то, да обросло сердце мхом, как гнилой никчемный пенёк дубовый. Придет и твоя пора, всё вспомнишь. *(Ласково.)* Будет тебе, будет! Не смотри так хмуро: право, от того не полегчает. Глупости всё: и дружба и любовь, черт с ними, нет их на свете. Одни дураки да младенцы верят латинским стихам... Потолкуем лучше о деле, а той порой налетят сюда сороки чернобровые. Выпьем, посмеемся вместе с ними, и, поверь мне, вся дурь из головы вылетит!.. Я это знаю по опыту: горе меня научило.

Назар *(вставая из-за стола)* Да, и я изведаль горе, только ничему не научился: тебя же

не хочу слушать, ты злей дьявола. (*Хочет идти.*)

Гнат Куда же ты?

Назар С тобой мне холодно, пойду в пекло, погреюсь.

Гнат Постой, ты один не найдешь. Я покажу тебе дорогу.

Назар Найду и один.

Гнат (*удерживает его*) Ты в самом деле хочешь идти? Ошалел ты, что ли, сумасшедший!

Назар Я никому не дам себя в обиду и глупого совета не послушаю. Пусти меня!

Гнат Насилу очнулся... Да куда же ты, дурень?

Назар (*вспыльчиво*) Молчи, а то тут тебе и аминь.

Гнат (*не выпуская руки Назара*) Так и я могу, да что дальше? С окоченелым покойником в гроб?^{5}

Назар Хоть к черту в ад. Пусти меня, пойду в Чигирин к полковнику.

Гнат Зачем?

Назар Убью его!

Гнат А если не убьешь, тогда что? Уж не

хочешь ли ты уговаривать его отказаться от Гали? А?

Назар Так или не так, а пойду.

Гнат К дьяволу в гости. А не лучше ли вместо пузатого полковника обнять тонкую да стройную Галю? Нечего тебе хмурить брови. Слушай меня и делай так, как я тебе скажу, потому что ты сегодня ничего путного не выдумашь.

Назар Дальше что?

Гнат *(осматриваясь)* Глухие тут стены? *(Вполголоса.)* Украдем Галю, вот и все. Ладно?

Назар *(немного помолчав, жмет руку Гната)* Прости меня...

Гнат Ну, что еще?

Назар Ты настоящий друг.

Гнат Ну, про это потом. Говори: так или не так?

Назар Так. Я весь твой: говори, приказывай.

Гнат Слушай же. Она, само собою, выходила к тебе когда-нибудь в сад поздно вечером, хоть, может, и не одна?

Назар С ключницей.

Гнат Значит, и вправду любит... Не зава-

лялся ли у тебя в кармане червонец?

Назар Два.

Гнат Еще лучше. Это будет ключнице на сережки, а плахту обещаю на словах. Только говори с нею так, чтобы она про меня и не знала, потому что женщины все тараторки: не для них придумано слово молчать... к тому же она еще дороже запросит.

Назар Ничего не пожалею, отдам все, что у меня есть. Где же увижу я ключницу?

Гнат Она будет здесь. Ты же слышал, как хозяйка честила Стеху за то, что она где-то замешкалась? Смотри же, сделай все так, как надо. Я буду дожидаться у старой корчмы с тройкой добрых вороных. Знаешь, за садом, на старой дороге.

Назар Знаю.

Гнат Эту корчму и днем люди, крестясь, обходят, а ночью никто не посмеет... лучшего места и искать не надо, только управляйтесь проворнее.

Назар А если она не захочет — что тогда?

Гнат Кто? Ключница или...

Назар И та и другая.

Гнат Захотят обе, только ты сумей угово-

рить их. Ключница за червонец пойдет колядовать хоть к самому сатане, а Галя в одной сорочке пойдет за тобой на край света, а так как это очень далеко, ты спровадь ее на Запорожье⁶⁾, а там и сам гетман не важнее чабана. Ведь ты же не выписывался из запорожцев?

Назар Нет.

Гнат Так чего же еще тебе надо? А кто у тебя куренным атаманом?

Назар Сокорина.

Гнат Знаю! Удалой, завзятый! В ковшике воды дьявола утопит — не то что в Днепре. А! Кажется, кто-то идет.

Назар О, если бы твое, брат, слово да богу в уши!

Гнат Ничего нет легче, только развеселись, будь казаком. (*Громко.*) Ну, выпьем же чарочку за шинкарочку. (*Пьют.*)

[*Входит хозяйка.*]

Хозяйка Ох, устала... насилу нашла ее, проклятую Стеху!

Гнат А что, пыль с месяца смахнула?

Хозяйка Смейтесь, а оно и вправду прояснилось.

Гнат Вот же тебе за труды. (*Подает чарку.*)

Хозяйка Ох, до чего я устала... Нет, спасибо. Не могу... Разве для вас. (*Пробует понемножку. Гнат знаками просит. Она, в притворстве усилий и кривляний, выпивает, а остальные капли хлещет в потолок.*) Чтобы враги молчали, а соседи и не знали. (*Отдает чарку.*)

Гнат (*подносит Назару, тот отказывается знаком*) Не хочешь — как хочешь. А мне кажется, нет в свете такого горя, чтобы нельзя было утопить его в чарке горилки. Чарка, вторая, и черт в воду! Правильно я говорю, Катерина?

Хозяйка Как кому, иному и бутыль не по-может.

Гнат (*Назару*) Ты и в самом деле не будешь пить?

Назар Не буду.

Гнат Вольному воля, а спасенному рай. За твое здоровье. (*Выпивает.*) Правильно поется в песне: кабы мужику не жена, не знал бы он скуки, кабы не горилка, куда бы он девал свои муки? Так в горилку ее, проклятую, в горилку! Умный человек тебя выдумал, да. (*К Назару.*) На тебя и смотреть противно. Ну, еще од-

ну и довольно. *(Наливает.)* А помнишь, как мы удирали из Братства на Запорожье да по дороге встретили одну чернобровенькую, и ты чуть-чуть было не променял запорожской воли на черные брови? Ишь ты, забыл, а я так все, что было, знаю, да и то, что будет, отгадаю.

Стеха *(вбегает второпях)* Ох, моя матинко, как я умаялась. Всех обегала, всюду была. Шуточки! *(Осматриваясь.)* Ох, боже мой! Я и не вижу... Добрый вечер. Вот уж не думала, не гадала. Спасибо, спасибо! Не побрезговали нашими слободскими вечерницами. Только не удивляйтесь: все у нас кое-как, не то, что у вас в Чигирине.

Гнат Да у вас еще лучше.

Стеха Довольно вам смеяться!

Хозяйка Придет кто-нибудь?

Стеха Как же? Все придут.

Гнат берет за руку хозяйку и отводит в сторону. Назар встает из-за стола и подходит к Стехе.

Гнат *(к хозяйке)* Что-то голова у меня разболелась: пойду посмотрю, каков месяц... Слушай, а про кобзаря, верно, и забыла? Сбе-

гай-ка... Без него веселье — не в веселье.

Хозяйка Стеха, ты звала Кирика?

Стеха Ох, матинко, забыла. Сейчас сбегаю.

Гнат Опять где-нибудь застрянешь... Сама лучше сбегай.

Хозяйка Хорошо.

Хозяйка и Гнат уходят.

Назар *(берет за руку Стеху)* У меня просьба к тебе, Стеха!

Стеха Знаю, знаю, какая просьба: сказать панночке, чтобы к вам вышла, когда пан заснет; да только теперь уж не то, что бывало. Ведь вы сами знаете, что случилось теперь.

Назар Это не помешает, мне одно только словечко сказать. *(Дает ей червонец.)* Вот, возьми. Еще и плахта будет, если послужишь.

Стеха *(принимает червонец)* Как бы это сделать, не придумаю. На беду старик всю ночь глаз не сомкнет. Бедная панночка! А как я плакала, как просила! Нет, поставил-таки на своем, старый сатана.

Назар Так ты сделаешь? Дождаться?

Стеха Сделаю, сделаю. Только...

Назар Не бойсь. Больше меры горя не будет. А коли хочешь, то и ты с нами! Бежим-ка

отсюда вместе.

Стеха Куда с вами?

Назар Туда, где жить легче, где ты будешь пани, а не ключница... Ну, догадалась?

Стеха Ой, не хотите ли вы меня одурачить? Думают, если богаты, так и все ихнее.

Гнат (за сценой) Катря, Катря! Посмотри, что это там на месяце?

Голос хозяйки Разве вы не знаете? Брат брата на вилы поднял.

Гнат Как же это? Ей-ей, не слышал.

Хозяйка В хате расскажу, я озябла.

В продолжение этого разговора Назар объясняется со Стехой знаками и шепотом. Стеха делает утвердительный знак и отходит.

Входят Гнат и хозяйка.

Стеха Разве вы этого не знаете?

Гнат Либо забыл, либо совсем не знал — не припомню.

Стеха Так вот слушайте, как оно было: только что кончились страсти Христовы, и наступила пасха, и добрые люди стоят еще у заутрени, старший брат пошел подкинуть волам сена, а вместо сена вилами своего младшего брата проткнул: так их бог вместе и по-

ставил на месяц, на виду у всего крещеного мира, чтобы видели, что в такой великий праздник, пока не освятят куличей, и скоту есть грешно, не то что людям.

Хозяйка (*насмешливо*) Ишь, как мудро прочитала!

Гнат Чудо — не девка. Красавица — и такая разумная!

(*Обнимает Стеху.*)

Стеха (*притворно*) Что это, в самом деле, какие бесстыдники городские казаки. Все бы им над нами насмеяться. (*Гнат целует ее.*) Ну вот еще выдумали! Как это можно? Пустите, не то закричу.

С шумом входят казаки и девушки.

В толпе Ай да Стеха! Ну и проворная! И тут успела! А старый Кичатый?

Стеха (*вырываясь*) Что? Поживились?.. Ага! Так и не довелось поцеловать... Кто там горло дерет, что успела? Они только так, ничего и не сделали.

Гнат (*к казакам*) Ну, кто у вас атаман? Есть ли музыканты?

Голоса И кобзарь и музыканты.

Гнат А выпить и закусить?

Голоса Как же без этого? Всё есть.

Гнат Ох, да и бравые же молодцы, что твои чигиринцы! *(К девушкам.)* Которая из вас пойдёт со мной танцевать?

Голоса Пропустите, пропустите, — музыканты идут.

Входят музыканты-евреи. Впереди слепой старик с кобзою. Девушки и казаки в беспорядке расступаются. В продолжение суматохи Назар разговаривает с Гнатом.

Гнат Будь веселей, не показывай виду. Стеха сумеет отвязаться от них, только нам с тобой надо вперед убежать. Я, пожалуй, уйду сейчас, а ты пока останься — так, для виду. Да слушай, не очень долго женихайся, скорее в корчму: я буду там.

Назар Ладно, только и ты попроворнее...

Гнат За меня не бойся... Смотри, старые знакомые! Кузьма, как это ты тут очутился?

Один из казаков С хуторов — в церковь, а вечерницы по запаху чуем.

Гнат Молодцы!.. А вы, долгополые, как сюда забрели?

Еврей Так, дорогою. В Чигирине заработка нет, прослышали мы, что у пана Кичатого

свадьба будет, вот и пришли.

Гнат *(в сторону)* Навострили уши. *(Громко .)* А ну-те, запорожского казачка! *(Казакам.)* Кто из вас побойчей — ударь каблуками. Посмотрю я, так ли, как бывало у нас в Запорожье. *(Тихо Назару.)* Да не унывай ты, говорю тебе: все будет хорошо.

Назар Будет ли, нет, только сделай милость, не очень тут мешкай. Уходи поскорее.

Гнат Успеем еще с козами на торг. А ты, будь так добр, не хмурься: все дело испортишь. Поглядим казачка, да и прочь.

Удаляются в глубину и разговаривают между собою. Музыканты заиграли. Один казак выскакивает из толпы и пляшет козачок. Гнат и Назар любуются.

Ай да молодец! Бравый! Что твой запорожец! *(Танец кончается.)* Ну, веселитесь же, добрые люди, гуляйте, хлопцы. А нам довольно, пора ехать: до Чигирина не близко, к рассвету надо быть там. Прощайте, казаки, прощайте, дивчата, прощай, хозяйка. А где же та... Кичатого?

Стеха прячется между казаками. Игнат, поймав ее, целует.

Прощай, прощай, моя милая, моя разумница, моя красавица! Прощай!

Стеха (вырываясь) Ай-ай-ай! Закричу, ей-богу, крикну!

Назар и Гнат уходят. Хозяйка провожает их.

Стеха (охорашиваясь) Что за народ эти казаки, все бы им целоваться. (К хозяйке.) Тетка, тетка, а ну-ка мы с тобой... (Пляшет и поет.)

*Через гору пойду,
Скроюсь за горою...
На беду,
Где пойду,
Казаки за мною.
Тот начнет говорить,
Тот сережки сулить,
Кого знаю,
Приласкаю,
Кто сережки дарит.
Ой, сережки мои,
Мои золотые!
Сердитесь,
Дивитесь,
Вороги лихие!*

Хозяйка (вырываясь) Ой, мои кукушечки! Мне-то на старости лет и не подобало б.

Стеха между тем шалит с казаками, хватая за руку молодого казака, и, вертясь, приплясывает.

Ишь, какая озорная! Да перестанешь ты или нет?

Стеха *(пляшет и поет)*

*Тра-ла-ла, тра-ла-ла,
На базаре была,
Черевички купила,
Три червонца дала,
А четвертый пропила,
Музыканта наняла.*

Что же вы, пропади вы пропадом! Деньги только берете зря. Вам бы сала кусок, а не деньги.

В толпе хохот.

А где наш Кирик? Сюда его! Он один лучше всех этих голодранцев.

Выходит кобзарь.

Вот он, мой голубчик. Ну-ка, какую-нибудь песенку с прибаутками или сказочку пострашнее, чтобы целую ночь не заснуть.

Кобзарь Ладно, ладно. Хочешь — сказочку, хочешь — песенку, — что любишь!

Голоса Сказку, сказку!

Другие Нет, песню, да такую, чтобы поджилки тряслись. Мы еще не танцевали.

Первые голоса (*и с ними Стеха паче всех*)
Натанцуетесь до третьих петухов.

Стеха До петухов еще долго. Сказку! (*К хозяйке.*) Сказку, тетя?

Хозяйка Известно, сказку, пока не так поздно. После и слушать страшно будет.

Кобзарь Сказку так сказку, мне все равно.

В толпе Перещебетала-таки, цокотуха.

Другой голос Ишь какая!

Стеха А что? Таки перещебетала!

Кобзарь садится на скамейку. Кругом него с шумом и хохотом в беспорядке казаки и девушки. (Подносит кобзарю рюмку вина.) Выпей, дедушка, для смелости.

Кобзарь (*выпивши*) Спасибо тебе, милая. (*Прокашлявшись.*) Слушать — что кушать: в горшке не болтать, усов не марать, слов не пропускать, другим не мешать.

Общий легкий шепот и смех.

Стеха Послушаю, послушаю, есть ли что такое страшное, чего бы я испугалась.

Голос Слышишь ты? Если не будешь молчать, то проваливай.

Другой Не то выгоним!

Стеха Ишь какие дерзкие! Сотник вас всех перевешает.

Голос Как бы не так! Смотри, чтоб на одной осине тебя рядом с сотником не повесили...

Хозяйка Да замолчите же, ради бога. (**Кобзарю.**) Говори, дед, говори. Их не переслушаешь.

Кобзарь (*прокашлявшись*)

В венгерской стороне, у цесарцев, за шляхетскою землю, стоит гора высокая, а в той горе нора глубокая, в норе сидит не зверь, не птица, — турецкая царица. Сидит она сто тысяч лет, не молодеет, не стареет, а только, чем дальше, лютеет; ест она от раннего утра до заката — не хлеб печеный, не курей и не какие-нибудь яства людские, а жрет-пожирает детей, потому что когда-то в Туреччине, перед тем, как родила она дочь, армянский знахарь сказал ей, что эта дочь, когда вырастет, будет в тысячу раз ее краше. И вот чуть родила она дочь, так сейчас же и съела ее, и с той поры сидит в своей норе и без передышки пожирает детей. Не разбирает, крещеные они или

некрещенные — глотают, да и только. И девочек и мальчиков...

Стеха (*быстро*) И мальчиков? Ах, треклятая баба! Ее счастье, что я не знаю, где та гора...

Голос А что бы ты сделала?

Стеха Что? Задушила бы злодейку.

Голос Куда тебе, трусиха!

Второй голос Ты боишься и за двери выйдти.

Стеха Кто? Я?

В толпе Да не мешай же слушать... Кто же, кроме тебя, ты!

Стеха Я трусиха?! Хочешь, сейчас пойду на кладбище? А хотите, так и в старую корчму, что на старой дороге?

В толпе Ишь, какая прыткая! За порог не выйдешь, умрешь.

Стеха Я умру? Давай об заклад! Чтоставишь?

В толпе Я плачу музыкантам за всю эту ночь, а ты?

Стеха Полведра сливянки, три куска сала и паляница.

В толпе Ладно. Только чтобы сливянка бы-

ла из панского подвала.

Стеха Уж где ни возьму, до этого вам дела нет. А поставлю. Где моя шубка? (*Надевает верхнее платье.*) Смотри, не идти на попятный. (*Кобзарю.*) Когда вернусь, тогда, дедушка, и доскажешь. (*Уходит.*)

Кобзарь Ладно.

В толпе А чтоб поверили, принеси кусок кирпича, или изразец от печки, или что хочешь, только из корчмы.

Стеха (*за сценою*) Принесу, принесу.

Голоса Вот удалая девка! Так-так!

Второй Ей бы усы да чуприну, и хоть в самое пекло.

Третий Подумают, что казак.

Хозяйка Козырь-девка, не чета вам. Вот пойдет да вернется, тогда и плати.

Голос Либо сливянку пей, салом да паляницей закусывай.

Хозяйка Посмотрим, посмотрим, чья возьмет... Чего сидеть? Чтобы зря музыкантам не платить, ну-ка, потанцуем еще. А ну, сыграйте, да по-нашему.

Толпа в беспорядке расступается. Казак с девушкою выходит танцевать. Музыканты

заиграли, и пляска началась. Занавес тихо опускается.

Акт третий

Внутренность развалин корчмы. Стены без потолка и несколько уцелевших стропил. Все занесено снегом и освещено луною. Несколько минут молчания. Вдали слышна песня; потом ближе, ближе и является Стеха, робко припевая: «Ах, сережки!..» Она останавливается у развалившейся печи и с робостью осматривается кругом.

Стеха Как страшно! Где же они? И коней тоже не видать. Уж не махнули ли они без меня? То-то будет славно! За два червонца продать свое счастье... (Осматривает следы.) Нет никаких следов, только мои. Что, если они обманули да проехали другою дорогою? Вот тебе и сотничиха... Побегу поскорее домой, не случилось ли там чего?.. Если скажут, что я помогала, — все пропало. (Поспешно возвращается.)

Навстречу ей **Назар** несет на руках **Галю**.

Это вы? А здесь так страшно... Не случилось ли чего?

Назар *(опустив Галю)* Ничего, не бойся. А кони тут?

Стеха Нет, не видала.

Назар Сбегай посмотри и, если нет, беги скорей в слободу, не встретишь ли на дороге.

Галя Стеха, почему ж ты не идешь? Беги скорее... Батюшка проснется! Беги!

Стеха Сейчас, моя панночка, для вас полечу на край света. *(Поспешно выламывает из печи изразец.)*

Галя Что ты делаешь?

Стеха Сейчас. Это от волков. *(Быстро удаляется.)*

Галя Идем на дорогу... Тут мне страшно.

Назар Нельзя, сердце мое: там увидят, а сюда никто не войдет.

Галя *(грустно)* Ну, делай, как знаешь, а я... я все сделала... Боже! На заре проснется отец... Ох, Назар, Назар! Что я наделала?..

Назар Ничего лучшего и сделать нельзя.

Галя Отец проклянет меня.

Назар Себя пусть проклинает... Ты озябла, моя крошечка. Возьми мою кирею. *(Снимает плащ и расстилат на снегу.)* Отдохни, мое серденько, положи в мою шапку ноженки. (

Галя садится на плащ. Назар вкладывает ее ноги в свою шапку.) Вот так теплее! *(Целует ее.)* Теплее, сердце мое.

Галя О, мой голубок, мой сокол ясный! Как мне тепло, как мне весело! Только я боюсь: батюшка такой сердитый.

Назар Ничего не бойся, моя пташечка, пока я с тобою. Не бойся, только люби меня. А я подумал тогда... когда...

Галя Когда? Что подумал? Может, недоброе?

Назар Не то что недоброе, да не теперь вспоминать о недоброе, когда на сердце такая радость. А завтра... что со мною будет завтра? Я умру, меня задушит мое счастье, моя доля. *(Кладет ей на колени свою голову. Галя перебирает его волосы. Назар, подняв голову, с нежностью смотрит ей в очи.)* О мои очи, мои карие! *(Немного помолчав.)* Сердце мое, ты не говорила отцу, что пойдешь замуж за полковника? не говорила?

Галя Опять! Какой ты в самом деле! Я заплачу. Ведь он ничего мне не говорил о полковнике, так как же бы я ему сказала?

Назар Бедняжка! Он продавал тебя, а ты

ничего и не знала... Прости его! Пусть бог милосердный на том свете судит его и карает.

Галя Я буду молиться о нем! Может, бог и простит ему грехи.

Назар Молись за кого хочешь, только меня не разлюби, моя галочка... Я умру тогда...

Галя Какой ты чудной! Ты думаешь, что я так только тебя люблю. Нет, Назар, я не люблю, а и сама не знаю, что со мною... Как бы тебе рассказать? Даже страшно... Знаешь, что? Когда я смотрю на тебя, так мне кажется, что ты — это я, а я — это ты. Странно... не знаю, отчего оно так. Когда останусь одна, то все про тебя думаю-думаю, и мне представится, что ты в Чигирине гарцуешь на вороном коне перед гетманскими хоромами, а все гетманши, полковницы ни на кого больше и не глядят... только на тебя. У меня в очах так и потемнеет... Я заплачу... заплачу... так тяжело станет на сердце! Отчего это так, Назар, ты не знаешь?

Назар Знаю, сердце мое, знаю. Как сладко мне слушать, что ты говоришь. Говори, говори еще, обними меня. *(Обнимаются, целуются.)* Еще, еще один последний раз! *(В изнемо-*

жениии кладет ей голову на колени.)

Галя Как мне весело с тобой! Всегда ли оно так будет весело? Скажи мне, Назар.

Назар *(не поднимая головы)* Всю жизнь.

Галя А куда ж мы поедем?

Назар В рай.

Галя Знаю, — да где он?

Назар *(подняв голову)* Сейчас не спрашивай меня; я ничего не знаю... Мы поедем туда, где нет и не будет ни полковника, ни твоего отца, где одна только воля. Одна воля да счастье... О, как хорошо мы будем жить! Выстрою тебе дом светлый-светлый да высокий; размалюю его всякими красками: и черными, и синими, и зелеными — всякими, всякими. Наряжу тебя в шелк да в золото, посажу на золотое кресло, словно королеву, и долго-долго, пока не умру, буду все любоваться тобою. Да и умру ли я когда-нибудь?.. Нет, никогда не умру. Когда ты будешь со мною, то смерть не посмеет и заглянуть в наш дом.

Галя *(грустно)* Ох, нет, Назар, не говори так. Мне стало страшно, и сердце так защемило, так заболело, будто слышит недобрый час или какое горе...

Назар Какое горе? Где оно? Для нас нет его в целом свете.

Галя Не знаю, Назар, только у меня что-то на сердце так тяжело, так горько... Я все думаю о бабушке...

Назар Зачем ты о нем думаешь? Не думай, и весело будет. Знаешь, приедем мы в Кодак... Это запорожский город. Вот как приедем — скорей в церковь, повенчаемся, тогда и сам гетман нас не разлучит, и будем долго, долго там весело жить. Ты будешь петь песни и плясать, а я буду играть на бандуре и рассказывать тебе о славных делах казацких, о Савве Чалом, о Свирговском, обо всех, обо всех удалых казаках наших. Вырастишь мне сына, молодца чернобрового, мы пошлем его на Сечь; там поставлю его перед казацкой громадой и скажу: смотрите, любуйтесь — это мой сын. Мне его выкормила, выходила, такого молодца, моя Галя... Что, весело?

Галя Весело, мой Назар, мой миленький, а сердце у меня все же болит. Мне кажется, что бабушка уже проснулся и ищет меня...

Назар Бог знает, о чем думаешь ты! Сейчас будут кони, а те не найдут нас, пусть хоть всю

землю перевернут. Не тужи, моя ласточка.

Галя Знаешь что? Идем домой, разбудим его, станем перед ним на колени... он нас простит: он меня любит.

Назар Разве я не просил его, разве не становился перед ним на колени? Ты же видела.

Галя Видела, ты просил... Назар, он ведь отец мне!

Назар Не знать бы такого отца!

Галя Ты сердисься, Назар? Не сердись, мой милый, мой чернобровый! Посмотри, я весела, я не жалею, что покинула... Поцелуй же меня, мой сокол ясный, мой орел сизокрылый.

Обнимаются и целуются.

Назар О моя радость, мой сон волшебный! Не грусти, сердце мое! Скоро мы полетим так, что ветер нас не догонит. А ночь-то, ночь! Будто празднует наше счастье. Тиха, светла, как твои ясные очи. Ты не боишься? Побудь здесь одна. Я пойду посмотрю на дорогу.

Галя Нет, не боюсь.

Назар Почему же ты опять закручинилась?

Галя Так, ничего. Я вспомнила покойни-

цу-няню. Она рассказывала, что в этой корчме давным-давно ночевал какой-то запорожский старшина, а на другой день нашли его в Тясмине, и что здесь Богдан встречал своего сына Тимофея⁽⁷⁾, когда казаки везли его из Молдавии, покрытого красной китайкой, и что здесь запорожцы вырезали евреев. С того времени в ней никто не живет: ночью всё ходят еврей-покойники... Ух, как здесь страшно!

Назар Тебе твоя нянька бог знает чего наговорила.

Галя Она божилась, что правда. Не ходи, останься со мною или пойдем оба. Мне тяжело и на минутку расстаться с тобою.

Назар Я не пойду... Ты не озябла?

Галя Нет, твоя шапка такая теплая. (*Снимает шапку с ног и целует.*) О моя милая шапка! Надень ее, ведь и ты озяб.

Назар Надень ты. Я посмотрю на тебя, какая ты в казацкой шапке.

Она надевает шапку. Назар любит.

Прелесть! Черные усы, саблю дамасскую, пистоль за пояс — и казак хоть куда. (*Целует ее.*) Казаче мой чернобровый!

Галя (*надевает ему шапку*) Вот так лучше!

Постой, я приколю тебе ленту. Знаешь, как бывает на свадьбе у молодого.

Назар Это ты еще и завтра сделаешь... >

Галя Ох, погоди! Я и забыла. Ведь я захватила платок, что для тебя вышивала. *(Вынимает из-за пазухи белый, шитый красным шелком платок и подает Назару.)* Что, хорош? Я сама вышивала и деньги на шелк сама заработала.

Назар Спасибо, сердце мое.

Галя Не спеть ли ту песню про платочек, что я слышала у тетки в Чигирине?

Назар Если веселая, спой.

Галя Нет, невеселая, да мне уже надоело сидеть. Слушай же. *(Выходит на край сцены.)*

Назар стоит, задумавшись [1].

Галя Что это ты так загрустил? Не надо бы и петь.

Назар Ничего, сердце мое. Возьми свой платок. *(Подает ей платок.)* Завтра подарить опять.

Галя Зачем он мне? Разорви, если он тебе не нравится, я вышью другой. *(Печально.)* Только не знаю, когда. *(Плачет, помолчавши.)*

Назар Не плачь, мое сердце. Смотри, я весел.

Галя Весел? А почему же ты плакал? Ты что-то знаешь, да не хочешь сказать. Скажи, мой голубь, мой орел сизокрылый, скажи, мое сердце!

Назар Знаю, знаю, моя голубка, что я счастливейший на свете человек.

Галя А я еще счастливее. Никогда не стану петь про платок: бог с ним!

Назар Я тебя выучу другой песне, самой веселой, хорошей песне.

Смотрят друг на друга и целуются. Подкрадываются Хома и Стеха.

Хома Сюда! Вот они! Сюда!

Галя Отец!.. Пропала я!

Стеха (*пробегает около них*) Полковница! Полковница!

Назар молча берет левою рукою Галю, а правую вынимает саблю. Хома стремительно ведет на него своих слуг. Стеха прячется.

Хома (*в бешенстве*) Целуйтесь, целуйтесь, голубки! (*Слугам.*) Палками его, собаку! Что ж вы стали? Хватайте, рвите его!

Слуги стоят в нерешительности.

Назар Кому жизнь не мила, бейся со мной.
(*Хоме.*) Чего тебе надо?

Хома Смерти твоей, вор!

Назар Зачем же собаками травить? Бери
меня сам, если хочешь.

Хома Рук марать не хочу! Хватайте его! А,
пес поганый, я разорву тебя! (*Дерутся на саб-
лях.*)

Галя (*падает между ними на колени*)
Отец! убей, убей меня! Я виновата... я прогне-
вила тебя... убей меня, только не уводи с со-
бой!

Хома Молчи, краденая кошка!

Назар (*Хоме*) Молчи, дьявол лютый!

Хома Дочку отдай!

Галя Не отдавай, не отдавай меня! Я утоп-
люсь!

Хома Топись, змея, а не то растопчу тебя!

Галя Топчи, души меня, я твое дитя!

Хома (*слугам*) Берите его! Всех переве-
шаю! Всех осыплю золотом!

Слуги бросаются на Назара.

Галя Обманет, обманет!

Хома Не обману! Не скули ты, слепой ще-
нок!

Бросаются на Галю. Назар заслоняет ее. Слуги нападают сзади на Назара и вяжут ему руки.

Хома Ха-ха-ха! Волк, волк! Что же ты не рвешь нас?

Назар Прочь, жаба поганая!

Галя (*перед Хомою на коленях*) Отец мой, палач мой! Я разорву тебя, — я буду день и ночь плакать из-за тебя! И плясать и плакать буду! Чего пожелаете, все сделаю, — только не убивай его! Я за полковника пойду...

Назар Галя!

Галя Нет, нет... (*Падает без чувств.*)

Хома (*слугам*) Чего вы смотрите? Пускай издохнет собака, вы пока что снимите шкуру.

Слуга замахнулся палкою на Назара.

Стой! Мы не татары. За что его убивать? Есть у кого веревка, пояс либо вожжи, чтоб скрутить ему руки и ноги?

Слуги поясами связывают Назара.

Стеха (*падает возле лежащей в беспомощности Гали*) О моя пташечка, моя лебедочка! Могла ли я знать, что так станется? Очнись, моя кукушечка, моя ласточка!

Хома Так, так, хорошо. Теперь завяжите

ему рот. Да вот у него и платочек в руке. Уж не свадебный ли? Хорошо, пригодится хоть на что-нибудь. (*Завязывает платком рот.*) Не туго, чтобы не стонал. Мороз хоть и лютый, да, может, выдержит! А вот если нападет волчья стая... волки издалека поживу чуют... то-то будет им завтрак, не хуже гетманского! Теперь кладите его на белую перину — пускай проспится да подумает, с кем посмел шутики шутить!

Слуги кладут Назара на снег.

(*Указывает на Галю.*) А эта, видать, угорела... Возьмите ее!.. Дома очнется.

Слуги берут Галю на руки и несут.

Стеха (*взяв Хому за руку, ведет его за Галю*) Ну, что? Скажешь, что не люблю тебя?

Хома Спасибо, спасибо. (*Назару.*) Будь здоров, приятель! Не поминай лихом. Пускай тебе приснится веселая свадьба.

Хома со Стехою шепчутся и исчезают. Назар тихо стонет. Вскоре за сценою раздается шум.

Голос Хомы (*издалека*) Бросьте ее! Вяжите его!

Гнат (*за сценою*) Я тебе свяжу, изменник

проклятый!

Вбегает Галя и бросается к Назару.

Галя Орел мой! Сердце мое! *(Развязывает платок.)*

Назар Душно мне, душно!

Гнат *(ведет Хому, схватив его за грудь)* Последний раз говорю: отдашь Галю за Назара или нет?

Хома Нет!

Гнат Так подыхай же, бешеный пес! *(Замахнулся саблей.)*

Хома Постой! Не знаешь ты казацкого нашего обычая?

Гнат Что меня живьем надо будет зарыть рядом с твоим мерзким трупом? Знаю! *(Слу-гам.)* Ройте могилу! *(Целится из пистоля.)*

Хома Вяжите его!

Между тем Галя развязывает руки Назару.

Назар О доля моя! Сердце мое!

Гнат Ройте могилу! *(Хоме, прицелившись.)* Лукавый человек, за что и себя без исповеди губишь и меня тащишь за собой? Прощайся с белым светом. Молись богу! *(Назару.)* Назар, брат мой, друг мой! Схорони меня честно! Прощай! А мы...

Назар Постой!..

Галя (*Гнату*) Постой!

Назар Отпусти его, не стоит он твоей гибели. Не губи свою душу. (*Хоме.*) Ступай, лукавый человек, иди, куда знаешь. Не позволил тебе бог погубить меня, а я чужой крови не хочу. Иди!

Хома (*падает перед Назаром*) Назар! Сын! Отец родной! Заколи меня, замучай, привяжи к конским хвостам и разорви, только не прощай! (*Падает к его ногам и плачет.*) О, хитрец я, хитрец, грешный и проклятый!.. Дочка, доля моя! Сердце мое! Упроси его, пускай лучше убьет, чтобы я белого света не поганил! (*Снова плачет.*) Боже мой, боже мой!

Назар (*поднимает его*) Встань, молись богу, грешник. Если люди прощают, — бог и того милосердней!

Хома (*вставши, утирает слезы*) О слезы, слезы! Что же вы раньше не лились? Назар, я пойду в чернецы... В рясе замолю свои преступления! Бери мое богатство, бери мою Галю, бери все, что у меня было! Галя! Назар! Обнимитесь, поцелуйтесь, мои деточки. Хоть и грешник я, а все-таки отец.

Назар и Галя обнимаются.

Боже вас благослови!

[1843, 1844]

Отрывок из драмы Никита Гайдай[2]^{8}

Действие III

Вечер. Внутренность хаты мрачно освещена нагоревшею свечкой, на столе стоящею. Марьяна одна. Смотрит пристально в окно.

Марьяна Правду матушка говорила, что казаки все такие недобрые: им все равно, смеется ли мы, или плачем. Уехал, ему и горя мало, а еще жених! что же будет после?.. Целый день что он там делает? Несносный этот гетман, он, верно, его угощает за то, что он его оборонил от смерти. Очень нужно угощать: так богу было угодно. (*Прислушивается.*) Чу! Кажется, едет. (*Помолчав.*) Нет, не едет. Хоть бы дорогу было видно, все бы легче. Должно быть, будет дождь. Ни одной звездочки на небе. Что это мне гетман не идет из головы? Какой он нехороший, должно быть, он злой: он так на меня смотрел сердито. Что это? (*Прислушивается.*) Он! Он! Приехал! Разговаривает с Дорошем... Матушка! Матушка! Ни-

кита приехал!

Никита входит мрачный, навстречу ему бежит Марьяна. Катерина выходит из боковых дверей.

Марьяна Что ты там так долго делал?

Катерина Слава богу! Я думала, что ты опять на Запорожье уехал.

Никита Оно бы лучше было.

Марьяна Что с тобой? Ты такой сердитый, невеселый.

Никита Так, ничего, — мало спал.

Катерина Так и есть; я говорила: еще рано, успеешь наговориться с своим гетманом.

Никита (*подавая Катерине шапку и грамоты*) Зашейте в шапку эти грамоты поскорее и покрепче.

Катерина (*принимая грамоты и шапку*) Какие это грамоты? Зачем?..

Никита После расскажу, зашейте поскорее.

Катерина Не посланец ли ты гетманский?
а?

Никита После узнаете.

Катерина Что это? Слова нельзя добиться.
(*Уходит.*)

Марьяна Какие это грамоты, Никито? За-

чем ты их в шапку велел зашить?

Никита Чтобы не растерялись в дороге.

Марьяна Разве ты куда едешь?

Никита Еду, и далеко.

Марьяна Какой ты, право, — все бы ему шутить.

Никита Я не шучу.

Марьяна Нет, я не верю, шутишь, шутишь. Ну, развеселись же! Какой ты сердитый! На кого ты рассердился? Или ты нездоров? Скажи мне: я все, все знать хочу.

*Хочу тебя развеселять,
Хочу узнать твои желанья,
Твои сердечные страданья
Хочу с тобою разделять;
Скажи же мне.*

Никита

*Тебе сказать!
К чему тебе мои страданья,
Моя сердечная тоска?*

Марьяна

*Чтоб разделить ее, как с другом,
Как с братом милым и отцом;
Предупредить твои желанья,*

*Прекрасный взгляд твой пони-
мать,
И петь с тобою, и рыдать,
И лаской девичьей моею
Твои недуги врачевать;
Чтобы любить тебя.*

Никита

*Любить!
Как много, много ты сказала!
Любить!., любить!., прекрасный
звук.
Прекрасно тайное значенье
Простого слова. Но, дитя!
Ты поняла ль душой невинной,
Что ты сказала мне?*

Марьяна

*Кто? Я?
Ах, я любить, любить умею,
Да не умею рассказать,
Как я люблю тебя. С тобою
Я все готова разделять;
Ты для меня отец и брат;
Ты для меня все, все на свете!
И даже матушку любить
Я не могу, как я любила,
Когда не видела тебя.*

Никита

*Ты божий ангел-утешитель.
Как мне отрадно понимать
Невинные простые речи!
Любить одно! не разделять
Любовь прекрасную на двое —
Это по-моему. И тот,
Кто говорит, что все он любит,
Холодный камень он: он лжет,
Он ничего тогда не любит,
Он богохульствует. Любовь,
Как солнце ясное высоко
Одно на небе голубом.
Как бог один, одна любовь!..
Затаена в душе глубоко,
В душе прекрасной, как твоя.
Меня ты любишь, знаю я.
Но ты соперницу имеешь,
Как ты, прекрасную.*

Марьяна

Кто? Я? Где же она и кто такая?

Никита

*Украина милая моя!
Моя Украина родная!
Ее широкие поля!
Ее высокие курганы!*

Святая прадедов земля!
Люблю тебя, моя Украина:
Твои зеленые дубровы,
Твои шелковые луга,
Днепра крутые берега,
Люблю я вас любовью новой,
Любовью крепкою.
И ты, Украины образ несравнен-
ный,
Люблю тебя, в тебе одной
Я всю Украину обожаю.

Марьяна

И я люблю ее, как ты;
Я песни родины певала,
И я всегда воображала
Прекрасно-гордые черты,
И брови черные, и стан,
Как у тебя, живой, высокий.
И я в тебе, мой кареокый,
Славу Украины люблю;
Вождей бессмертных обожаю,
Что в песнях кобзари поют.

Никита

Как ты прекрасна! Ты казачка,
И я люблю тебя. Люблю,
Как мою родину святую...

Как счастлив я! Люби меня,
Вообрази во мне героя
Минувших дней, — только люби!..

Марьяна

Ты мой навеки, ты мой милый,
Я неразлучная твоя:
И на край света, и в могилу
С тобою я, с тобою я,
С тобой повсюду, и как любо
Нам будет горе горевать
И пир веселый пировать!
Я боевые песни буду
Петь для тебя; пойду плясать;
Ты мне расскажешь про походы:
Как вы ходили воевать
Татар, турецкого султана,
Как Сагайдачный с казаками
Москву и Польшу воевал,
Как Наливайко собирал
Перед родными бунчуками
Народ казацкий защищать
Святую церковь. Все, как было,
Будешь рассказывать, а я...
Ивана сына пленяю
И, пленая, припеваю:
«Вырастай казакам на славу,
Врагам на расправу!..»

*И вырастет сын Иван,
Запорожский атаман,
Как ты, смелый, кареокий,
Как ты, стройный и высокий,
Как мне весело, как любо,
Как я рада, рада буду...*

(Поет и пляшет.)

*«С золотыми подковами
Башмаки, башмаки!
Не смейтесь на улице,
Кзаки, казаки.
Я золото не молотом
Накую, накую,
Вдоль улицы протанцую,
Пропою, пропою».
Что хорошо?*

Никита Настоящий ребенок! Теперь ты пляшешь и через минуту готова плакать.

Марьяна А ты настоящий дед старый, никогда не пляшешь. И, кажется, не плачешь, а вечно хмуришься, как будто сердит на меня за то, что я тебя люблю; или ты болен? Скажи, что у тебя болит?

Никита *(показывая на сердце)* Вот что!

Марьяна

*Что же мне делать, я не знаю,
Чем пособить тебе могу?*

Никита

Молися богу.

Марьяна

*Я молюся,
А ты попрежнему грустишь.*

Никита

*Утешься, скоро перестану;
Заплачу радостно, как ты,
С тобою вместе протанцую.*

Марьяна Когда же? скоро ли?

Никита Очень скоро; только возвращусь из Варшавы и — пир горой.

Марьяна Разве ты в Варшаву едешь? Зачем?

Никита Да, еду. А ты смотри все к свадьбе приготовь.

Марьяна Все приготовлю. Зачем едешь?

Никита Я гетманский посланник, еду с грамотами к королю и сейму.

Марьяна Что же в этих грамотах написано? Ты читал?

Никита Нет, не читал, да и зачем мне знать пустое маранье придворных хитростей! Они не искренни со мною, хитрят, секретничают, но правды им не перехитрить: она возьмет свое. Я полагаю, они трактуют о вольностях казацких, чтоб отстранить Хмельницкого. Немного поздно спохватились, но, может быть, еще успеют без крови дело погасить. Дай-то, господи! пора им опомниться; но зачем они секретничают со мною? Будто я не знаю дел Хмельницкого и сейма? Да мне все равно: пускай они пишут, что хотят, а я скажу, что чувствую и знаю. Владислав добрый король. Друг, друг благородного Хмельницкого; он меня выслушает.

*Я смело стану перед троном,
Как добрый сын родных полей:
И сейму правдою моею
Святость народного закона
Я докажу. Они поймут,
Поймут, надменные магнаты,
Что их огромные палаты
Травою дикой порастут
За поругание закона,
Что наша правда, наши стоны
На них суд божий призовут.*

Что Наливайка дух великий
Воскреснет снова средь мечей
И тьмы страдальческих теней
Наши неистовые клики
В степях разбудят. Божий суд
Страдальцы грозно принесут
На те широкие базары,
Где Острицы кровь текла,
Где вы разыгрывали кары,
Где реву медного вола
В восторге злом рукоплескали;
Где вы младенцев распинали
В глазах отцов и матерей,
На те базары тьмы теней,
В молчанье грозном, как страда-
ли,
Расправу злую принесут
И вашей кровию польют
Ваши широкие базары.

(Со вздохом.)

О боже сильный! Боже славы!
Пошли мне мудрость отвратить
Эту кровавую расправу,
Пошли мне мудрость вразумить
Алчных грабителей лукавых,
Что братья мы, что не любовью,
Раздором грешная земля
Утучнена, родною кровью!

*(Помолчав.)
Я знаю сердце короля;
Он добр, сговорчив, но магнаты...
Несчастной черни палачи!..
Они коварны: их словам
Не должно верить простодушно...
Они обманут, и тогда
Беда Украине, беда!
И вам, кровавые деспоты,
Несдобровать!*

Они думают передать страшную расправу сынам и внукам. Нет! Теперь должно кончить, и кончить навсегда. Мы знаем вас, вероломные! Мученическая смерть Богуна, Острицы и Наливайка нам показала, как исполняете вы клятвы. Столетняя война — и между кем? Между родными братьями. Страшно! (*Немного помолчав.*) Что ежели определено судьбою мне, простому человеку, окончить то словами, чего миллионы не могли кончить саблями?..

*С какою радостью сердечной
Я возвращуся в Чигирин!
С каким торжественным восторгом
Взгляну на славные поля,*

Где кровь казацкая текла,
Где улеглись миллионы
Несчастных жертв. Всему конец!
Всему кровавому конец!
Сынам и внукам мир и слава!
О днях минувших, днях кровавых
Кобзарь им песню пропоеет,
В конце той песни знаменитой
Он имя сотника Никиты
С благоговеньем помянет.
(В восторге.)
Какая радость, боже мой!
Я славу словом завоюю
И славный подвиг торжествую
С тобой одной! В тебе одной
Я всю Украину поцелую.
(В восторге целует Марьяну.)

Марьяна Как это весело!

Никита Как мне весело, когда б ты знала!
Ты, как дитя неразумное, веселишься и плачешь, а я?.. Но после о радостях поговорим.
Иди к матушке и поторопи ее с шапкой.

Марьяна Да зачем тебе так скоро шапка нужна?

Никита После скажу, иди скорее. Невеста еще только, а уже и не слушается.

Марьяна (усмехаясь) Иду, иду. (Уходит.)

Никита ходит задумавшись по комнате. Немного погодя, остановись, говорит как бы с самим собою, сначала тихо, потом громче и останавливается на авансцене.

Никита

*Святая родина! святая!
Иначе как ее назвать!
Ту землю милую, родную,
Где мы родились, росли
И в колыбели полюбили
Родные песни старины.
(Громче.)
То песни славы! звуки рая!
Сынам на диво, на любовь
Сложили их, не умудряя,
Дела великие отцов,
И эти звуки, эти горы,
Эти широкие поля,
Немолчный говор синя моря,
Небо высокое, земля
С ее богатством, нищетою,—
Все это наше, нам родное,
Родные дети мы всему,
Мы часть ее, земли той милой,
Где наши деды родились,
Где их высокие могилы
В степях так гордо поднялись,*

*И наши очи приковали
Своею мрачною красой,
И без речей нам рассказали
Судьбу Украины родной.*

(Немного помолчав.)

*В ком нет любви к стране родной,
Те сердцем нищие калеки,
Ничтожные в своих делах
И суетны в ничтожной славе.*

(Немного помолчав.)

*И чем несчастней, тем милей
Всегда нам родина бывает,
Тем краше вид ее полей...*

(Со вздохом.)

А наша родина страдает,

(Печально.)

А прежде счастлива была.

Тогда враги ее боялись,

Тогда сыны ее мужали

И славные отцов дела

Своею славой обновляли,

И все минуло, все прошло!

Казак в неволе изнывает,

И поле славы поросло

Травой негодной... умирает

И звук и память о былом!

(Торжественно.)

Нет, запоем мы песню славы

*На пепелище роковом!
Мы цепь неволи разорвем,
Огонь и кровь мы на расправу
В жилища вражды принесем!
И наши вопли, наши стоны
С их алчной яростью умрут!
И наши вольные законы
В степях широких оживут!*

(Взволнованный, долго ходит молча по хате, останавливается и говорит как бы сам с собою.)

Славяне, несчастные славяне! Так нещадно и так много пролито храброй вашей крови междоусобными ножами! Ужели вам вечно суждено быть игралищем иноплеменников? Настанет ли час искупления? Придет мудрый вождь из среды вашей погасить пламенник раздора и слить воедино любовь и братством могущественное племя!

Задумывается. Входят Катерина с шапкой и Марьяна.

Катерина Слава богу, насилу-то угромождила их: такие большие!

Никита (очнувшись) Что вы так долго с ними делали?

[1841]

Повести^{9}

Наймичка [3]^{10}

Между городом Кременчугом и городом Ромнами лежит большая^{11} транспортная, или чумацкая, дорога, называемая Ромодановым шляхом. Откуда она взяла такое название, — это покрыто туманом неизвестности; чумаки же рассказывают вот какую былицу.

Жил в городе Крюкове (что за Днепром, против Кременчуга), — так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумаки Роман. Каждое божие лето отправлял он две валки, по крайней мере возов в двадцать каждая: одну на Дон за рыбою, а другую в Крым за солью. К первой пречистой чумаки, его наймиты, возвращались в город Крюков. Часть добра сваливалась в его коморах, а с другую половиною добра он уже сам отправлялся в город Ромны со своею валкою, а шел он вот какую дорогою: сначала на Хорол, так что ему Золотоноша оставалась вправо, а Ве-

сельный Подол влево, потом из Хорола на Миргород, из Миргорода на Лохвицу, а из Лохвицы уже в Ромны. Так посудите сами, какой он круг всегда давал! И для почтаря это чего-нибудь да стоит, а про чумака и говорить нечего. Вот он однажды, продавши на *роздрийб* и *частку* гуртом свое добро в городе Ромнах, думал было возвращаться домой, да приостановился ненадолго около корчмы, около той самой корчмы, что и теперь стоит уже за городом Ромнами, под вербами, на Лохвицкой и Зиньковской дороге и на Ромодановом шляху.

А тут уже под вербами, около корчмы, стояло десяток-другой чумацких возов распряженных, а кой-где под возами сидят себе люди добрые да горилку *кружат*. Вот он остановился со своею *худобою*, снял шапку, помолился богу и, обратившись к чумакам, сказал:

— Благословите, Панове молодцы, волы попасать!

Чумаки ему отвечали так:

— Боже благословы, вельке поле! — и принялись за свое дело.

А он, оставя волы в ярмах, пошел в корчму,

говоря:

— Я только четвертку выпью.

Заходит в корчму, а там шинкарочка, точно на картине намалевана, будто шляхтянка какая. Чумак Роман был уже хотя и не молодой чумак, однако в нем сердце заиграло, глядя на такую кралю. Краля это смекнула да, усмехнувшись, и спрашивает его:

— А чего вам хорошего надобится, господа чумаче?

Она-таки умела и по-московски слово закинуть.

— А вот чего мне надо, моя добродейко: кварту горилки, да две кварталы меду, да сама сядь коло мене.

— Добре, — сказала шинкарка и, наливши ему кварту водки, пошла в лёх с поставцем и принесла меду.

Сидит чумак Роман в конце стола, закуривши свою чумацкую люльку, а около него сидит молодая шинкарочка да смотрит на его седые усы своими голубиными глазками. Пьет чумак Роман, кружит он серебряною чарою горилку горькую, а шинкарочка молодая золотым кубком мед сладкий. Долго они

вдвоем себе сидели, пили, разные песни пели. На дворе уже стемнело, а они сидят себе, пьют и поют. Уже и темная ночь на дворе, уже бы чумаку и в дорогу пора, а он сидит себе да пьет. Уже и полночь на дворе, а он все-таки сидит и пьет, а шинкарочка, знай, наливает. А волы, бедные, в ярмах стоят. Вот уже и Чепига, и Волосожар⁽¹²⁾ за гору спрятались, и зарница взошла. Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку, люльку и вышел из корчмы, лег в воз, накрылся свитою и едва проговорил: «Соб, мои половые!» — волы двинулись, взяли соб и пошли частым полем, а не Лохвицкою дорогою. Неизвестно, долго ли они так шли и долго ли чумак Роман спал, только он проснулся уже в городе Кременчуге. По его следу поехали другие чумаки и пробили широкую дорогу и назвали ее Романовым шляхом. А почему его зовут Ромоданом, этого чумаки не знают.

Таково слово в слово сказание народа о Ромодановской дороге. Не улыбайтесь добродушно, мой благосклонный читатель, я и сам плохо верю этому сказанию, но, по долгу писателя, должен был упомянуть о сем досужем

вымысле народа.

Ближе к истине полагать можно вот что о происхождении Ромодановского шляху. Не был ли его пролагателем князь Григорий Ромодановский, который в 1686 году водил московскую рать под Брусяную гору, чигиринскую резиденцию неукротимого гетмана Петра Дорошенка^{13}? Я думаю, это будет правдоподобнее. Но кто бы ни проложил эту дорогу, нам, правду сказать, до этого дела нету. А заговорили мы о ней потому, что описываемое мною происшествие совершается по сторонам ее.

Но чтобы вы полное имели понятие о Ромодановской дороге, то я прибавлю вот что.

Примечательна эта дорога тем, что, начиная от Ромен и до Кременчуга, не касается она, на расстоянии трехсот верст, ни одного города, ни местечка, ни села, ни даже хутора. Лежит себе чистым, ровным, злачным полем. Только кой-где стоят корчмы с огромными стодами и глубокими колодезями, построенными собственно для русских извозчиков, — наши чумаки никогда не останавливаются в корчмах. А по сторонам ее часто встре-

чаются земляные укрепления разной величины и формы, поросшие пыреем. Нередко виднеются и курганы, совершенно круглые, сажень пятьдесят в диаметре, — есть и больше и меньше, — всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине кургана. Их простой народ называет просто могилами. Есть и такие насыпи (и это самые большие), которых и форму определить нельзя, — это валы разной величины и в разных направлениях. Думать надо, что форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой *линии*, построенной Петром Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели, но результаты оказались совсем не удовлетворительны. То может быть, что и описываемые мною курганы были пробованы каким-нибудь любителем селитры — Ходаковским^[14] в некотором роде. Не знаю, пускай про то ведают антиквари.

Нужно еще прибавить, что все эти так называемые могилы имеют свои названия^[15],

как то: Няньки, Мордачевы, Королевы и так далее. Последние, быть может, окопы Карла XII, потому что он в этих местах когда-то шлялся со своими синекафтанными шведами.

Я, одначе, во зло употребляю терпение моих благосклонных слушателей: разносился со своим Ромоданом, как дурень с писаною торбой, наговорил, что твоя перекупка с бубликами, а о самом-то деле не сказал еще ни слова.

Недалеко от Ромодановского шляху, по правую сторону (едучи из Ромен), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами, липами и ясенями; вдоль широкой долины извилиствится белой блестящей полосой Сула. По берегам ее стоят, распустя свои зеленые косы, старые вербы и бересты. Вдоль берега Сулы растянулося большое село, закрытое темными зелеными садами; только кое-где из густой зелени прорезывается белое пятнышко, — это белая хата с соломенною крышею. Таков вид всех почти сел в Малороссии, с большим или меньшим количеством ветряных мельниц. И как приветливо они машут

своими крылами утомленному путнику, предлагая гостеприимный отдых в своих зеленых, благоухающих садах.

Солнце близилось к горизонту и золотило своим желтобагровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрылась прозрачным светлофиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане.

Сула зарделася матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с милым косарем своим. По желтопурпуровому мату извиистой Сулы кой-где тянутся за рыбачьим челноком светлые блестящие струйки, тянутся и пропадают в темнозеленом очерете. Вербы и вязы еще ниже склонились к воде, как бы оплакивая умирающий день. В такую-то вечернюю пору возвращались в село с поля молодые прекрасные жницы^{16}. И как в этот день жнива были окончены, то они, каждая для себя и для освящения в церкви, сплели венки из колосьев пшеницы, жита и васильков и, увенчавшиеся венком, возвращались с песнями ввечеру в

село, выбрав сначала из среды себя царицу, чтоб было кому песни припевать.

Впереди всех их, тихо выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую золотистым венком и распущенною черною косою; в руках у нее был серп и небольшой сноп жита, перевитый зеленою березкою, — настоящая Церера. За нею шли девушки и пели в честь ее свои заунывные песни; за девушками шли молодые косари с косами (они косили отаву на Суле) и скромно вторили им.

И вся эта картина была освещена заходящим раскаленным солнцем.

Прекрасная, умилительная картина!

А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее повнимательнее, и вы увидите на ее светлом розовом фоне такие пятна, что невольно отворотитесь, и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц вы горько улыбнетесь и закроете уши.

Живуча и деятельна натура человека!

С утра до вечера на солнце, без малейшей тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бед-

ная жница, и что же, — настал вечер, идет домой, поет, а дома, не успела повечерять, опять на улице или в саду, и опять поет и поет, не умолкая, до рассвета; с рассветом опять за серп и на ниву, и снова целый день на солнце, согнувшись целый день, как ни в чем не бывало.

О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжелый труд человечеству.

Группы косарей и жниц со своею прекрасною царицей, отраженные в светлых струях Сулы, медленно приближались к селу. Навстречу им выбежали дети и вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя взрослых детей своих с благополучным окончанием озимых жнив.

Мать же своей прекрасной царицы со слезами благодарила девушек за оказанную честь ее дочери и просила всех до своей хаты на вечерю.

Девушки, войдя в село, значительно переглянулись между собою, а молодые косари на-

хмурили свои черные брови. Что бы это значило?

А вот что! И те и другие заметили около некоторых ворот *вихи*.

Какое же им дело до вих? — вы скажете. — О, им великое дело до этих зловещих маяков.

Когда вы въезжаете в малороссийское село и видите у ворот на высоком шесте несколько соломенных кисточек, это значит, что в селе не пехота, а кавалерия квартирует. Виха означает конюшню, а число соломенных кисточек — число лошадей на конюшне. В описываемое мною село пришли еще только квартирьеры, назначили квартиры и поставили вихи для конюшен.

Вздрогнуло сердце не одного чернобрового косаря при виде этих зловещих вих. Не один из них припомнил страшные, трагические рассказы про бесталанных покрыток. А жницы! О мои родные жницы! Никакие кровавые драмы вас не научат! Новина — ваш проклятый идол, новина, перед которым вы кладете все, часто честь, а за нею и жизнь свою бесталанную!

С поклоном и честью встретил жниц седо-

усый Влас, отец прекрасной Лукии, и просил их милостиво зайти к нему в *оселю* и повечерять, что бог дал.

Жницы с песнями вошли на двор, а на дворе уже на зеленом *спорыше* была разостлана большая белая скатерть. Девушки, по приглашению хозяина и хозяйки, сели вокруг скатерти. А царица свята, снявши золотой тяжелый венок свой и завернув вокруг головы кое-как свою роскошную черную косу и засучив широкие рукава своей рубахи, приняла от матери графин с водкою и начала потчевать своих подруг.

В продолжение ужина отец и мать Лукии сидели на *призьбе* и любовались своей единственной прекрасной дочерью. Через край полную счастья жизнью их сердце билось, глядя на свою Лукию.

А она, как приветливая хозяйка и услужливая работница, угощала подруг своих со всею прелестию наивной простоты.

После вечера девушки, помолясь богу и поблагодарив хозяина и хозяйку и свою молодую подругу за вечерю и взявши венки, чинно вышли на улицу. А на улице под частоко-

лом и под вербами дожидали их их чернобровые косари.

— Иды и ты, моя доненько, на улыцю, поспивай з дивчатами.

— Не хочеться мени, моя мамо!

— Чому ж тобі не хочеться, мое серденько? Може ты утомылася, то ляж, засны.

— Я ляжу спать, мамо.

— Постривай же, я тобі постелю постелю.

И мать постлала постель своей утомленной дочери и, перекрестя, уложила ее спать.

Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастьем, немного повертевшись на постели, заснула.

А усталые подруги ее всю ночь простояли со своими чернобровыми косарями под вербами и под калинами, припевая:

*Вийди, Грицю, на улицю
І ти, Коваленку,
Постошо пщ вербою
Вкупочщ тихенько.*

Если бы на завтрашний день не вступили уланы в село, то вся бы эта история могла и кончиться одной идиллией, а уланы, только что вступили, — сейчас завязали драму.

Вследствие чего и прошу моих слушателей пропустить мимо ушей по крайней мере год и обратить снисходительное внимание на картину следующего содержания.

Верстах в пяти, а может быть и больше, по левую сторону Ромодановского шляху (из Ромен же едучи), как раз против описанного мною села, лежит пологая широкая равнина, такая широкая и длинная, что горизонт ее в тумане теряется, а в летние жаркие и тихие дни то бывают и миражи, как будто бы в необитаемых, бесплодных и безводных степях киргизских. Вся эта долина испещрена разноцветными нивами и уставлена темными могилами, формою и величиною похожими на те могилы, что между Киевом и Васильковым, на Белоокняжем поле^{17}. Я это говорю потому, что из Киева в Одессу более проехало людей, интересующихся отечественными древностями, нежели из Ромен в Кременчуг. Ромодановским шляхом, как известно, ходят только одни чумаки, а чумаки простой человек, какое ему дело до каких бы то ни было могил? Он может только задать себе вопрос: «Чиим то трупом вас начинено?» — или, за-

думчиво глядя на темные могилы, запоет однострунно, монотонно.

Так вот на этой-то равнине, между угрюмыми могилами и пестрыми нивами, зеленеет небольшой гай (роща), как бы оазис в пустыне аравийской, — красно сказано! Это хутор богатого казака Якима Гирла.

Подойдем же мы ближе к хутору и посмотрим на красоту его безыскусственную и на жизнь его хозяина. Для нас это путешествие тем более необходимо, что на этом уединенном хуторе будет продолжаться предлагаемая драма.

Весь хутор с фруктовым садом и гаем занимает не более пяти квадратных верст и окружен глубоким и широким рвом, а ров усажен вокруг всего хутора крыжовником. Ворота не дощатые, как это бывает у постоянных русских дворов, а обыкновенные, простые, по сторонам их дубовые массивные столбы и по нескольку частоколин да у глухого конца ворот старая, широковетвистая верба, как бы застилающая от недоброго глаза благодатный хутор. Войдя на двор хутора, вы увидите с правой стороны большую клуню, обставлен-

ную полускирдами разного хлеба; по левую сторону ворот — загороды с сараями для разной скотины, а за клунею невдалеке, под старыми берестами, — две дубовые коморы и воживня; напротив комор лёх с железными дверями, а в самом конце двора, под липами, беллет хата, снопками крытая на польский лад. За хатою идет уже сад с разными породами яблонь, груш, слив, вишен, черешен и даже три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыма еще дедом Якима Гирла; посередине сада колодезь с колесом и навесом⁽¹⁸⁾. А за садом, в гаю, на небольшой поляне, пасека — с куренем и погребом для пчел. А там уже дубы, липы, березы и всякое дерево до самого рва. А за рвом уже был небольшой ставочек и около него огород, окруженный небольшим рвом и усаженный кукурузою и подсолнечником, а баштан был немного подальше, в поле.

Так такой-то благодатный хутор у старого казака Якима Гирла. А каким добром наполнены его дубовые коморы и лёх, и рассказать нельзя.

А чумаки его, где они на свете не ходят! И

в Крыму, и на Дону, и в Одессе, а про Киев и говорить нечего.

Раз было взялся он поставить песок сахарный в самую Москву, только Москва шутить не любит с нашим братом хохлом, так что он едва с парой волов домой пришел. И с тех пор, если ему ненароком кто скажет слово про Москву, то просто из хаты выгонит, а если в гостях услышит такое слово, то наденет шапку и, не прощаясь с хозяином, уедет на свой хутор. Яким Гирло, как видно, был человек не так себе, не всякому давал себе ступить на пяты.

Это было в августе месяце, в воскресенье, так около полудня. Яким Гирло вышел из хаты и сел на призьбе; он был человек уже немолодой, но свежий и здоровый, усы и чуб были не то что седые, а серые. Рубаха на нем чистая, белая, шаровары тоже белые, — он не любил разных московских китаек и носил все белое; сапоги на нем добрые, юхтовые. Взглянувши на него раз, то можно было сказать, что это человек достаточный: в лице что-то есть такое.

Вскоре за ним вышла и жена его Марта,

женщина лет сорока, а может и больше, чисто и хорошо одетая, в желтых юхтовых сапогах, в плахте и шелковой красной юпке, — хоть бы и на старухе, так было бы к лицу.

Вынесла Марта сначала скамейку, покрытую килымком, поставила ее перед мужем, а потом уже вынесла миску с варениками и тарелку со сметаной, и все это поставила на временном столе перед мужем и сама села около него.

— Нумо полудновать, Якиме! — сказала она мужу. Яким, перекрестясь, сказал:

— А полудновать, так и полудновать; Господи благослови! — И с этим словом расправил свои серые усы и взял вареник.

После вареников Марта вынесла миску слив и желтую душистую дыню; покушали и слив и дыни немного. После полдника Марта убрала все и села опять на призьбе около своего мужа. Долго они сидели молча, наконец, Марта заговорила:

— Что-то долго не видать чумаков наших с рыбою.

— Да, что-то долго не видать.

И Яким замолчал. Ему как бы не хотелось

продолжать разговоры. Впрочем, он вообще был неговорлив. Немного погодя Марта опять заговорила:

— Я все думаю, Якиме, кому-то мы после себя добро свое оставим? Не даровал нам с тобою господь ни дочери, ни сына. Так и помремодиночки!

— Так что ж, что помремодиночки? Люди добрые похоронят, а добро поживут!

— Конечно, поживут, никуда оно не денется, а все-таки лучше, если б было свое родное дитя.

— Так где же его взять, коли господь прогневался на нас за грехи наши.

— Да, прогневали мы милосердного господа, не утешил он ледачую старость нашу! Так и гробовой доской покроемся, и некому будет от души заплакать, и некому будет помянуть наши души грешные! Знаешь что, Якиме! Поеду я завтра в Бурты да отвезу отцу Нилу на сорокоуст и за твою и за свою душу. Пускай отслужит, когда помремодиночки.

— Ты заговоришь всегда такое, что просто не слушал бы тебя. Ну, скажи-таки, умная ты голово, кто, живой человек, по своей душе со-

рокоусты правит?

— Нету, Якиме! Не по живой душе, а по усопшей. А это я думаю сделать для того, чтобы после не остаться без поминовения.

— Бог милостивый, не останемся, а я вот что думаю: что-то наша челядь из села долго не возвращается.

— Цыть, цыть, Якиме! Чуешь!.. О, ще раз!

— Что там ще раз?..

— Чуешь!.. Дытына плаче...

— Так и есть, за воротами...

— Пойдем, посмотримо, Якиме.

— Ходимо.

И не по летам бодро встали с призьбы и пошли к воротам.

Кто же расскажет радость старой Марты и Якима, когда они увидели под перелазом дитя, окутанное старой серой свиткой, и головка прикрыта зеленым широким лопухом.

— Якиме! — только могла проговорить старая Марта, всплеснув руками.

А старый Яким, снявши брыль, молился богу.

— Якиме! — сказала Марта, взявши ребенка на руки. — Посмотри, какое здоровое да хо-

рошее!

Яким взял ребенка на руки и сказал:

— Пойдем в хату, — оно, бедное, голодное.

И они пошли в хату со своею дорогою ношею.

Пришедши в хату, Яким бережно положил младенца на стол, достал с полки псалтырь (он был грамотный) и, перекрестясь трижды, прочитал псалом Живый в помощи вышнего. Потом взял младенца в руки и, передавая его Марте, сказал:

— Паче ока береги его!

Марта, перекрестясь, приняла его и положила на подушку.

— Посмотри за ним, Якиме, пока я молока принесу.

Принесши молока, Марта принялась кормить младенца, а Яким вышел на двор, нашел в сарае ночвы и стал прилаживать к ним веревки. Через полчаса принес он в хату, к немалому удивлению Марты, готовую колыску. Остаток дня прошел для них незаметно. К вечеру, когда ребенок заснул в своей скороспелке-колыске, Марта, позабыв, что было воскресенье, достала тонкого полотна из бод-

ни и принялася кроить маленькие рубашки.

Возвратившаяся из села челядь рассказывала, что она видела на могиле какую-то молодницу. Сначала она пела какую-то песню, а [потом] заплакала, а когда мы перекрестились, то она исчезла; должно быть, нечистая сила и в могилу провалилася, — так закончила свой рассказ Мартоха, девка не робкого десятка.

На другой день, до восхода солнца, Яким заложил в бричку пару добрых коней, помостил в бричке сена, покрыл его килымом. сел в бричку и поехал в село Бурты за отцом Нилом.

Проезжая мимо могилы, он увидел в утреннем тумане на могиле женщину. Она была лицом обращена к его хутору. Он посмотрел на нее, остановил коней и громко сказал:

— День добрый, молодыце!

— Спасыби, — отвечала женщина.

— Что ты тут делаешь, молодыце?

— Вчера корову загубыла, так смотрю сегодня, не пасется ли где.

— Ну, добре, оставайся здорова!

— Спасыби.

Яким дернул вожжами, и добрые кони понесли его шляшком через поле.

К обеду Яким возвратился на хутор с отцом Нилом и с отцом диаконом. Отдохнувши немного под хатою и освежившись укрепленным березовым соком, отец Нил вошел в хату, сначала прочитал младенцу молитву и нарек его Марком. Потом с отцом диаконом совершил обряд святого крещения. Восприемниками были Яким и счастливая Марта.

До самой субботы гостил отец Нил и диакон у Якима на хуторе, да и не они одни, а много-таки добрых людей набралось на Марковы крестины.

Прошел месяц после крестин Марочка (так называла его Марта), и на хуторе Якима Гирла ничего особенного не случилось, разве только что вскоре после крестин чумаки пришли из Дону; но это происшествие весьма обыкновенное, хотя, правду сказать, наблюдательный ум и в этом обыкновенном случае наберет много пищи, как на ничтожном цветке трудолюбивая пчела. Особенно в первые дни послушать досужего чумака, как он при-

мется рассказывать за чаркою горилки, какие он бесконечные степи проходил, из каких бездонных криниць волов поил, по сколько суток сам без воды и хлеба пропадал, какие города видел, какие на какой реке переправы имел, какие где народы видел, — просто волосы дыбом станут, когда слушаешь.

Но у Якима Гирла не было такого досужего чумака, следовательно, не было и повествования о мудреных чумацких приключениях.

Сентябрь месяц проходил и, проходя через хутор, красил своим дуновением зеленый гай разными золотыми и красными красками. Так издали ежели посмотреть на гай, то кажется, как будто он покрыт дорогим разноцветным ковром, особенно при закате или при восходе солнца.

На могиле близ хутора почти каждое утро и вечер челядь видела таинственную молодлицу, и начали поговаривать, что это что-нибудь не просто. А оно было очень просто, — бедная эта молодлица была не кто иной, как простая покрывка и мать маленького Марочка. Она, сердечная, не могла оторваться от того места, где выросло ее бедное, ее прекрас-

ное дитя. Сколько раз она приходила по ночам к самому хутору, обходила кругом его, проводила ночи бессонные во рву или по воскресеньям, когда челядь уходила в село, она невидимкою подкрадывалась к самым воротам, чтобы услышать хотя один звук своего милого дитяти. Сколько раз она покушалась взойти на двор и выпросить назад или, наконец, украсть свое дитя, потому что ей без него не можно было жить на свете, и без него хлеб не елся, вода не пила, солнце божие не светило и не грело.

После измены своего улана-обольстителя вся любовь ее, все нежнейшие чувства уничтоженной матери были сосредоточены на нем одном, на своем сироте-дитяти. А оно, бедное, в чужих людях, на чужих руках засыпает, чужой грудью питается, без любви, без сердечного материнского поцелуя. Любовь матери превозмогла и страх и стыд; она решилась во что бы то ни стало войти на хутор, решилась и дожидала только воскресенья, когда людей меньше будет на хуторе.

В воскресенье, пообедавши и, разумеется, отдохнувши, Яким Гирло сидел за столом в

своей светлице и читал из псалтыря *Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие*, — а Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, стояла над ним долго, задумавшись, и, вздохнувши, сказала:

— А что я думаю, Якиме?

— А бог тебя знает, что ты там думаешь?

— Я думаю, прости меня господи, что если наш Марочко, боже нас сохрани, умрет, что мы тогда делать будем.

— Я так и думал! Ну не грех ли тебе такое все скверное в голову забирать!

— Нету, Якиме, когда я на него смотрю сонного, то мне всегда такое в голову лезет.

— Молися богу, Марто, бог милосердный не попустит такого великого несчастья.

— Еще я думаю, Якиме, коли, даст бог, доживем до покровы, то поедем в церковь, запричастим нашего Марочка, ему тогда будет как раз шесть недель.

— Поедем, это дело христианское.

— А там, я думаю, заодно уже расспросить, не найдется ли хорошая наймишка, потому что теперь, сам видишь, нам одной наймишки мало.

— Что ж! Что нужно, я от того не прочь.

— Да если б бог дал, чтобы и хозяйство-таки знала, тогда я бы себе нянчилась с Марочком, а она бы по хозяйству поралась.

Марта, вздохнувши, замолчала. А Яким, перекрестясь, начал снова *Не ревнуй лукавнующим*.

Через несколько минут дверь осторожно отворилась, и в хату вошла бедно, но опрятно одетая молодая женщина. Она робко остановилась на пороге и, поклонясь, едва проговорила:

— Боже помогай!

— Спасыби, небого! — сказал Яким. — Садиться просимо!

Она молча села на лаву у порога и молча пристально [глядела] на колыску и на Марту. Много было нужно ей душевной силы перенести эту минуту и не показать виду, что она самое близкое существо спящему Марочку.

— Что же ты нам скажешь хорошее, небого? — спросил ее Яким.

— Я зайшла у вас спросить, не нужно ли вам будет наймички?

— Нужно, голубочко, и страх нужно. У нас

теперь, дал бог, малая дытына, так я все с нею нянчуся, а хозяйство совсем заброшено.

— Так я бы у вас найнялася.

— Наймись, наймись, голубочко, у нас тебе худа не будет.

— А издалека ли ты, небого?

— Из-под Ромен, дядюшка.

— Добре! А что же ты возьмешь платы за год?

— А что вы платите другим, то и мне дай-те!

— Добре! Мы платимо Мартоси пятнадцать на ассигнации, новую белую свиту и шкапови чоботы.

— Добре, и я так наймуся.

— Добре! Дай вже нам, Марто, чого-нибудь пополудновать.

Марта, уходя, сказала Якиму:

— Посмотри на Марочка. Ежели оно проснетя, то покольши его.

Яким передвинулся на другой конец стола, поближе к колыбели.

Марта прибавила из-за дверей:

— Та не бери его на свои железные руки. Я сама сейчас вернуса.

— Разносила со своими панскими руками, — проворчал Яким и ласково прибавил:

— Садись, небого, на ослон, поближе к столу.

— Спасыби вам! — и наймичка подошла к столу и посмотрела на колыбель, переменилася в лице, и две крупные слезы скатилися с ее исхудалых щек. Яким заметил это и спросил:

— Что, небого, може, и у тебя дытына е?

— Было, да господь себе взял.

— Так, так. Значить ты, небого, вдова?

— Ни, московка...^{19} — проговорила сквозь слезы наймичка.

— Так, так... а как тебе зовуть, небого?

— Лукия...

В это время проснулся ребенок и заплакал. Старый Яким принялся колыхать, припевая:

*Е...е, люлі
Чужим дітям дулі,
А нашому калачі,
Щоб спало вдень і вночі.*

Бедная Лукия! Потому что это была она, та самая счастливая прекрасная царица непорочного сельского праздника. Бедная! Чем от-

далися в твоём сердце звуки твоего милого единого дитяти? Бедная! Ты сама чуть не зарыдала и не запела вместе с Якимом. Но ты силою любви твоей удержала порыв восторга и только тихими слезами утишила его.

Марта возвратилась с полдником, поставила его кое-как на столе и бросилась к колыбели.

— Цыть, цыть, мое серденько! Ну тебя со своим волчьим голосом, только моего Марочка перепугал. Цыть, моя пташечко! Я тебе мюзючок дам! — И она сунула ребенку рожок с теплым молоком и обратилась к Якиму:

— Чому же ты не просишь полудновать? А коли хочешь яблоч или дуль, то сам сходи в лёх; та заодно наточи и грушевого квасу, а я от дытыны не отойду, поки воно не засне, сердешнее! Ишь, как напугал, и до сих пор еще слезки у бедного на щечках. Годуйся, годуйся, мое серденько!

Яким, помолясь богу, сел за стол, пригласил и Лукию с собою садиться. После нескольких вареников он заговорил, как бы сам с собою:

— Видишь, какая на свете правда! Отдать

бедного одинокого человека в москали, а жену, сироту убогую, пустить по миру! Нехорошо меж людьми делается! Добро, что она еще богобоязненная, ищет себе кусок хлеба трудами честными. А другая бы на ее месте и при ее красоте и молодости пропала! С душою и телом пропала навеки.

— Разве Лукия московка? — спросила Марта, вслушавшись в слова Якима.

— Московка, — ответил Яким, не подымая головы.

— Бесталанная! А может, муж твой, Лукие, пьяныця, ледацо було?

— Ледацо! — ответила Лукия.

Яким поднял голову, посмотрел на Лукию и сказал:

— Так туда ж ему и дорога.

— И я так думаю, Лукие! — сказала Марта. — Боже сохрани и заступи, пресвятая дево, нашу бедную сестру от лихого да ледачого мужа! Мы вот с Якимом, благодаря бога, часточку прожили-таки на свити, правда... ну, да смолоду чего иногда не случается...

— Ну, завела теперь свои гусла... — сказал Яким полушутя, полусурово. — Да вашу сест-

ру если б не попомять хорошенько, то и добра не видать.

— Ну, да вы хороши, негде правды спрятать... Отак всегда заговорюся с ним и не вижу, что мой Марочко давно заснул.

Она бережно закрыла его чистою простынкою и присела, перекрестясь, к столу около Лукии, сказавши:

— Годуйся, Лукие! ты не смотри на него! Он у меня всегда что-нибудь ворчит. Такой уж зародился ничкеменный.

И она взглянула, ласково усмехаясь, на мужа. Яким и виду не показал, что заметил ее улыбку, только погладил усы рукой.

Полдник кончился, все встали из-за стола, помолились богу, и Марта, собирая со стола посуду, сказала Лукии:

— Ты бы, Лукие, пошла в другую хату та отдохнула с дороги, теперь там никого нету, все ушли в село на музыки.

— Спасыби вам! Я не очень устала, — а ей, бедной, весьма нужен был покой или по крайней мере уединение.

— Ну, где же-таки не устала, ведь, шутка сказать, от Липового до нас будет, я думаю,

верст сорок, как ты думаешь, Якиме?

— Сорок будет, — ответил Яким.

— Я в Ромне переночувала.

— Ну, та хоть и переночувала, а спочить тебе все-таки не пошкодыть, — сказала Марта, как бы инстинктом угадывая душевную усталость Лукии.

— То я пойду и одпочину немного, — сказала Лукия, отступая к порогу.

— Постой же, я тоби покажу хату, — сказала Марта и вышла в темные сени. Потом отворила противоположную дверь светлицы и ввела Лукию в просторную чистую хату.

— Ляж отут на *полу* или на лави та отдохни немного, Лукие!

— Спасыби вам! — сказала Лукия. Марта вышла из хаты, притворивши за собою двери.

Лукия, оставшись одна, кругом оглянулася, как бы уверяясь, что она одна в хате. Упала на лаву, закрыла лицо руками, тихо и горько зарыдала. Она плакала не от горя и неведения, ее прежде пожиравшего, но от полноты душевной радости. Она уверилась, что дитя ее здорово и что люди, принявшие его, — люди добрые.

— Господи! — она проговорила. — Благодарю тебя, святая мать божия! Благодарю тебя, святая заступнице! Благодарю тебя, моя единая утешительнице! — И она снова залилась слезами. Приходя в себя, она ходила по хате и тихо плакала, ломая свои исхудалые загорелые руки.

— А как ты думаешь, Марто? — сказал Яким своей жене, когда они остались одни в светлице. — Я думаю, что наша новобранка честного, хорошего роду дочка.

— И я думаю, Якиме, — сказала Марта, вытирая миску, — что она честного роду, — худого человека сразу угадаешь. Та видишь, она такая сумная, а може это так, с дороги.

— Ни, не с дороги, я думаю, а она бесталанная, и сама знает свое бесталанье. Когда ты выходила за полуднем, то она взглянула на Марочка и заплакала. Я спрашиваю: «Чего ты плачешь?» А она мне и говорит: «И у меня было дитя, та бог прибрал». Так вот оно что.

— Бедная! Ей только и радости, что дитя оставалось на свете, и того бог лишил. А не говорила, хлопчик чи дивчина?

— Хлопчик, — сказал Яким и задумался.

Марта, поставивши миску в мисник, села на лаве и тоже пригорюнилась. Через минуты две молчания, вздохнувши, Марта спросила у Якима:

— А как ты думаешь, Якиме, отдавать ли нам Марочка в школу, или нет?

— Разумная голово! Подумала ли ты, что говоришь! Теля еще бог знае где, а ты уже и *довбню* готовишь! — сказал Яким почти сердито.

— Ну, вот уж и рассердился. Я так только сказала.

— То-то вы все так говорите, цокотухи, а того не подумаешь, что еще бог пошлет завтра. Школа, школа — вещь, коли ты хочешь знать, немалая. Вот, например, у Таранухи учили, учили сына, а вышло что? Пьяныця и любостяжатель.

— Ну, ты уже когда рассердишься, то с тобою и рады нету! — сказала Марта, вставая со скамьи. — У тебя и спросить ничего нельзя. Ну, коли не хочешь отдавать в школу, то сам учи.

— Я-то буду учить его письма, сколько сам, грешный, разумею, а вот чтобы ты его сначала

ла научила!

— А я его чему научу? Нехай соби здоров росте та щасливый буде! Мое дело женское, чему я его научу?

— Чему? Тому, чего ты и сама не знаешь: всему доброму! Вот что! Ты теперь у него мать, так учи его, когда он, даст бог, заговорит, молиться богу, а я, посмотревши, как он будет молиться, и письма святого выучу, и псалтырь ему свою святую, умираючи, передам.

— Насилу договорил до краю! Цыть, цыть, мое серденько! — в это время проснулся Марко. Марта подбежала к колыске и, убаюкивая Марка, бессознательно запела:

*Ой жила вдова
Та на край-села,
Вигодувала сина,
Сина Івана.
Вигодувавши, до школи дала;
А з школи взявши,
Коня купила.*

И, взявши на руки малютку, ходила, приговаривая:

— Вот если бы лето, то в садок бы пошли,

зашли бы в пасеку. А там сидит старый дид, — у! какой страшный! Вон он! вон он! посмотри, какой страшный! — И она показала на Якима, сидящего за столом. Яким молча улыбнулся.

Знаешь ли ты, видишь ли ты, бесталанница, свое родное, счастливое дитя?

Видит и знает. Она, не прислушиваясь, слышала каждый звук, произнесенный старую Мартою и старым Якимом. Она в глубине души своей прозревала будущее своего дитяти и от полноты сердечной радости благодарила всемилосердного бога за ниспосланное ей счастье!

Следующий и последующие дни текли на хуторе обыкновенным чередом. Новая наймичка вскоре освоилась со всею челядью и всем полюбилась. Она ко всем равно была внимательна и ласкова равно со всеми; хозяйка и хозяин были ею особенно довольны, особенно за любовь ее к маленькому Марку. И действительно, он ни засыпал, ни просыпался без нее; она всегда находила предлог

присутствовать при его колыбели, приносила ему пеленки теплые, чистые такие, что хоть бы и панычу какому, так не в стыд. Она как бы чуяла его пробуждение, и к этому времени всегда у ней было готово подогретое свежее молоко. Старая Марта не могла надивиться усердию и заботливости своей новой наймички. Еще прошел месяц, и Лукия, к немалой обиде старшей наймички, овладела всем домом. Сама хозяйка уступила ей все хлопоты и распоряжения по хозяйству, а наконец, и ключи от комор и лёху отдала ей, себе только оставила ключ от скрыни, и то потому, что, ей казалось, неприлично хозяйке не иметь *ключа*.

Сам старый Яким, на что уже человек серьезный и несловоохотливый на похвалу кому бы то ни было, и тот, бывало, наедине с Мартою иной раз не утерпит и скажет:

— Что за благодать нам господь послал в этой Лукин!

— Я сама, встаючи и ложася, молюся богу за благодать его святую. Ты посмотри только, Якиме! Где она ни поворотится, что ни сделает, только смотри та любуйся, а уж до Мароч-

ка какая щирая, так я и не надивлюся. Хоть бы и прошедшую ночь. Марочка проснулся, и заплакало, бедное; я сплю себе, как убитая, а она, и бог ее знает, как она услышала из другой хаты! Когда я проснулася, то она ему уже рожок с молоком подавала, да еще и мне же говорит: «Не турбуйтесь, я и сама его приплю». Спасыби ей! Такая добрая да щирая, и вот уже который месяц она у нас, а хоть бы раз тебе в село сходила. Я как-то ей раз в воскресенье говорю: «Да ты бы, Лукие, хоть до церкви в село сходила!» — «И дома, говорит, можно помолиться богу, лишь бы усердие было». Такая, право, щирая та усердная, дай ей бог здоровье. Я просто паную за ее плечами.

— Да, и такое добро бог посылает какому-нибудь ледачому человеку.

— И не говори, Якиме! Я иногда смотрю на нее, та аж заплачу. Чему бы тебе, милосердный боже, не послать ей талану та радости в ее жизни! Хоть бы когда-нибудь тебе усмехнулась или пожартовала, разве только с Марочком. А то всегда такая смутная та невеселая.

Подобные разговоры часто повторялися между хозяевами. Дивилися ее постоянной

задумчивости, но им, простодушным, и в голову не приходила настоящая причина ее; они видели достаточную причину быть московкою, чтобы быть бесталанною. О роде и племени ее они как бы боялись с нею речь заводить, инстинктивно понимая, что у несчастного не должно спрашивать о его прежнем счастье.

Поклон вам, грубые, простые люди! Вы бы своими расспросами заставляли ее врать и, значит, вдвойне страдать, потому что она не рождена была выдумывать небывалые исповеди своего сердца. Она была простое, натуральное, умное и прекрасное дитя природы. Она полюбила всей чистотою своего сердца уланского офицера за красоту его и ласковые речи. И когда он, ею наигравшись, бросил, как ребенок игрушку, то она, неразумная, только заплакала и долго и до сих пор не может себе растолковать, как может человек божиться и после соврать. Для ее простой, девственной души это было неудобовразумимо. А между людьми более или менее цивилизованными это вещь самая простая. Это все равно что взять и не отдать.

На рождественских святках хозяйева поехали в село навестить своих знакомых, в том числе и отца Нила, и отца диакона, и весь причет церковный. Она осталась одна в доме, — челядь тоже отправилась в село на музыку, кроме старого наймита Саввы, который и дневал и ночевал в загороде с волами.

Ее счастье было полное, она была одна, одна со своим счастливым сыном.

Первое, что она сделала, проводивши хозяев и затворивши за ними ворота, — осмотрела внимательно весь двор, вошла в хату и засунула засовом двери. Марко в это время спал; она подошла к его колыбели, открыла простынку и смотрела на него, пока он проснулся.

Потом взяла ребенка на руки и нежно, глубоко нежно поцеловала. Ребенок, как бы чувствуя поцелуй родной матери, обвил ее сухую шею своими пухлыми ручонками. Потом она одной рукой сняла со скрыни килым и разостлала его на полу, посадила на килым Марка и, отойдя шага на два от него, плакала и улыбалась на свое прекрасное дитя. Потом села на ковер и взяла на руки Марка, нежно при-

жимая к груди своей. О, как она в этот миг была прекрасна, как счастлива! Какая чудная, торжественная радость была разлита во всем существе ее!

Что если бы мог в это мгновение взглянуть на нее ее обольститель? — Он бы пал перед нею на колени и помолился, как перед святою.

Нет, его очерствелой, грязной душе недоступно подобное чувство.

Долго она играла с ним, подымала его выше головы своей, ставила на пол, опять подымала и опять ставила, разговаривала с ним, смеялась, целовала его, плакала и опять смеялась; словом, она играла с ним, как семилетняя девочка, пела ему песни, сказывала сказки, называла его всеми уменьшительными сердечными именами, и дитя, как бы симпатизируя радости своей счастливой матери, в продолжение дня ни разу не заплакало. И какое оно прекрасное было! Карие большие глазенки блестели, как алмазы, и в них много было сходства с глазами его прекрасной матери. Их оттеняли черные длинные ресницы, что и придавало им какое-то недетское выра-

жение.

Лукия и не заметила, как наступил вечер. Что ей делать? Нужно вечерять варить, а Марко и не думает о колыске, разыгрался так, что его и до ночи не уложишь. Хоть бы скорее кто из села пришел, а то приедут хозяева, — что они скажут? Подумают, что она проспала весь день и весь вечер.

Ворота заскрипели, и на двор въехали хозяева. Она отворила им двери, жалуясь на Марка, что не дает ей печи затопить.

— Что же он делает? Все плачет? — спросила Марта.

— Какое плачет! Целый день хоть бы скривился. Все *пустуе*.

— Ах ты, волоцюго, волоцюго! — сказала она, подходя к Марку. — Да ты ему еще и килым постлала?

— Не лежит в колыске, — все просится на руки.

— Ах ты, непосидящий, постой, вот я тебе дам! — И, снявши кожух и свиту, она взяла его на руки и сунула ему в ручонки позолоченный медяник, гостинец отца Нила.

Лукия принялася затоплять печь, а через

несколько минут вошел и Яким в хату, отбивая арапником снежную пыль с смушевой новой шапки.

— Добрывечир! — сказал он, войдя в хату.

— Добрывечир! — отвечала Лукия.

— От мы, благодарить бога, и додому вернулись, — сказал он, крестясь. — А что наш хозяин дома поделывает? Плачет, я думаю, для праздника?

— Где там тебе плачет! Целый день покою не дал бедной Лукии. Пустуе, и целый день пустуе.

— Ах ты, гайдамака! Смотри, как он обоими ручищами медяник загарбав!

И, положивши на стол узел, снимая свиту и кожух, заговорил как бы сам с собою:

— Горе мне с этой матушкою Якилыною. На дорогу-таки, та й на дорогу! Вот тебе и надорожився, — а тут еще и диаконица и тытарша со своею сльвянкою. Ну что ты с ними будешь делать? Сбили с панталыку, окаянные, та й годи! — Лукие, покинь ты свою печь к недоброму! Иди-ка сюда!

— А что ж вы будете вечерять, когда я печь покину? — обратясь к нему с рогачом в руках

и усмехаясь, сказала Лукія.

— Не хочу я вечерять сёгодня, та и завтра не хочу вечерять и послезавтра. Та и стара моя тоже вечерять не хоче, правда, Марто?

— Вот видишь, какой разумный! Хорошо, что сам сытый, то думает, что и все сыты, а Лукія, может быть, целый день, бедная, ничего не ела.

— Ну! ну! и пошла уже! С тобою и пожартувать нельзя.

— Хорошие жарты выдумал!

— Та ну вас, варить хоть три вечери разом, а я добре знаю, что не буду вечерять.

— Ото завгорить! Нам больше останется!

— Пускай вам остается, — сказал Яким, сядя за стол. — А засвети, Лукіе, свечку!

Лукія засветила свечу и поставила на стол. Яким, развязывая узел, запел тихонько:

Та виріс я в наймах, в неволі,

Та не було долі ніколи.

Та гей!..

Ой, виріс я в наймах, в дорозі,

При чужом возі в дорозі.

Та гей!..

Та чужії вози мажучи,

*Та чужії воли пасучи,
Та гей!..* {20}

— Лукие! Брось ты там свою печь, — сказал он, развертывая большой красный платок. — Возьми соби, дочко, моя бесталаннице; возьми та носы на здоровье! А вот и на очипок, а вот на юпку и на спидницу, возьми, возьми, дочко моя, та носы на здоровья. Ходы ты у нас не так, як сырота, а ходы ты у нас, як роменская мещанка, как нашего головы дочка. Это поносишь, другого накуплю, потому что ты у нас не наймичка, а хозяйка; мы с старою за твоими плечами, як у бога за дверьми живемо.

— Возьми, возьми, Лукие! — прибавила Марта. — Возьми! Это мы для тебя у московских крамарей купили.

— Да на что же вы покупали такое добро? — сказала Лукия. — Зачем было напрасно только деньги тратить!

— Не твои, дочко, гроши, божи — бог дал, бог и возьмет, — и он передал ей гостинцы.

Лукия, принимая подарки, кланялась и сквозь слезы говорила:

— Благодарю! благодарю вас, мои родные,

мои благодетели.

— Вот так лучше! — говорил весело Яким. — Ты нам уже, Лукрие, послужи на старости, а мы, даст бог, понемногу с тобою расчитаемся. Ты видишь, мы вже люди старые; бог знает, что завтра будет. А у нас, ты видишь, дытына малая, одинокая. Ну, боже сохрани, моей старой не стане, — куда оно денется!

— Перекрестися! Что ты там, как сыч на комори, вищуешь?

— А что ж, всё в руке божией.

Марта, укладывая Марку в колыбель, тихо проговорила:

— Не слушай его, Марку, это он так от тытаревой слывянки.

— Что?.. — сказал протяжно Яким. — Как дам я тебе слывянку, так ты меня будешь знать!

— Вот уж нельзя и слова сказать.

— Нельзя.

И в хате воцарилася тишина. Только Марта шепотом напевала колыбельную песенку, изредка поглядывая на сердитого Якима. Вскоре собралися все домочадцы; вечеря бы-

да готова. Уселися все за стол в противоположной хате, кроме Якима, повечеряли и положились спать. Через минуту на хуторе все спало.

Не спал только старый Яким; он сидел в светлице за столом, склонив свою серую голову на мощные жилистые руки.

Долго он сидел молча, потом запел едва слышно:

*Ой воли мої та полові,
Та чому ви не орете?*^{20}

Окончивши песню, он заговорил сам с собою:

— Пойду! Непременно пойду чумаковать! Да и в самом деле, что я дома высижу с этими бабами! Кроме греха, ничего! То ли дело в дорожи. Товариство, степ, могилы, города, а в городах храмы божий, базары, купечество! Подходит к тебе бородач пузатый: «Почем, говорит, чумаче, рыба? или соль?» — «По тому и по тому, господа купець». — «А меньше не можна, братец-чумак?» — «Ни, говоришь, господа купець!» — «Ну, когда нельзя, так быть по сему». И гребешь собі червончики в га-

ман.

— Эх, чумацтво! чумацтво! Когда-то я тебе забуду? Нет, конечно, иду чумаковать, только дай бог дождать лета, а то я отут с бабами совсем прокисну.

И, вставши из-за стола, он долго еще ходил по хате, потом остановился перед образами, помолился богу, достал псалтырь и прочитал псалом *Господь просвещение мое, кого убоюся*. Потом начал сапоги снимать, приговаривая:

— От бесталанье, некому и сапоги снять! Снявши сапоги, он погасил свечу и лег спать, читая наизусть молитву *Да воскреснет бог*.

Однообразно прошла зима на хуторе. Настал великий пост, отговелися, и пост проводили, и *велькодня* святого дождали. На праздниках, когда хозяева уехали к отцу Нилу в гости, Лукия со своим сыном наедине повторила ту же самую сцену, что и на рождественском празднике, с тою разницею, что она теперь надела в первый раз новую юпку, *спидницу* и на голову повязала шелковый платок: все это подарки, как уже известно, старого Якима.

Да еще после полудня на хутор зашел венгерец с разными *кроплями*^{21} и постучал в окошко, чем немало напугал увлеченную разговором с сыном Лукию. Она вскоре оправилась, отворила засов и впустила венгерца в хату.

Венгерец, как известно, был в шляпе с широкими полями и сферической тульей, в широком синем плаще, с коробкою за плечами, с палкою длинною в руке и с длинными усами.

Лукия пригласила его сесть на лаву, что он исполнил нецеремонно, сначала снявши коробку с плеч. Лукия тем временем уложила своего Марушечка в колыбель и прикрыла простынею, бояся недоброго глаза, потом обратилась к венгерцу и спросила:

— Какие же у вас лекарства есть?

— Лекарства? О, у меня всякие, разные есть кропли: и на зубы, и на голова, и на рука, и на нога, — всякие, всякие кропли есть, только, хорош фрау, деньга будешь не жалеть? — сказал венгерец, довольно нахально улыбаясь.

— Ну, хорошо, а есть ли у тебя такое лекарство, чтобы от всяких болезней ребенку помо-

гало?

— О, как же! От разной болезни есть, разное, всякие кропли есть.

И он раскрыл свою коробку, показывая ей пузырек за пузырьком с разноцветною жидкостью.

— Вот эта от зуба, это — голова, эта — лихорадка, эта — рука, эта — нога, эта — брушка немножко.

— А нет ли у тебя семибратней крови⁽²²⁾? Она одна ото всех болезней помогает.

— Есть, есть, зараз ищу!

И он вскоре достал из коробки завернутую в бумажке семибратнюю кровь. Это небольшие кусочки чего-то окаменелого, вроде мелкого ракушника, темно-розового цвета. А почему оно называется семибратней кровью, то этого и сами венгерцы не знают.

— Что же будет стоить этот кусочек?

— Этот два рубля и одна полтина.

— А боже ж мой! Что же мне делать? У меня только три копы.

— Только один рубля и одна полтин? Нельзя, немножко мало, разве еще, хороший фрау, румочка шнапс, понимаешь — водка, и

немножко кушать.

— Хорошо, и водки дам, и кушать дам, только уступите мне, ради бога, за три копы.

— Хорошо, хорошо, отдаю! — и он подал ей кусочек волшебного медикамента.

Она взяла его с благоговением, завернула в хустку и спрятала за образ; достала медные деньги из сундучка, расплатилась с венгерцем и посадила его за стол, достала из мисника восьмиугольную размалеванную пляшку с водкой и поставила перед ним. Поставила пасху, холодное поросся и пирожки с сыром и со сметаной. Уставивши все это порядком, положила ему ручник белый, вышитый по концам красной заполочью, на колени и отошла к колыбели.

Венгерец, хотя просил немножко шнапсу, однако выпил две рюмки залпом, а третью — после первого куска поросенка. Окончивши все, что было на стол поставлено, он вежливо раскланялся с Лукией, потом попросил огня, закурил свою фарфоровую трубку с кривым чубуком и начал собираться в дорогу. Взваливши коробку на спину, плащ на плечи, палку в руки, шляпу на голову, он еще раз рас-

кланялся с Лукией и вышел из хаты.

Лукия, проводивши венгра за ворота, возвратилась в хату, подошла к колыбели, открыла простыню и, увидевши, что Марко спит, перекрестила его и едва коснулася губами его разгоревшейся щечки, бояся поцелуем разбудить его.

— Теперь я, слава богу, спокойна, — говорила она про себя. — Теперь я хорошо знаю, что мой Марочко будет жив и здоров. Теперь у меня есть лекарство от всяких немочей, а про счастье его я уже не сомневаюсь. Я вымолю у бога ему и век долгий и долю добрую. Сказать ли ему когда-нибудь, что я его родная мать? Или никогда не говорить? — И она задумалась. — Нет, не скажу, никогда не скажу! Разве перед смертью на исповеди попу покажуся, а то никому в свете не скажу.

И, говоря это, она убрала со стола после трапезы венгра, подошла к колыбели, посмотрела на сына, стала на колени перед образами и молилася со слезами о жизни и счастье возлюбленного сына.

Солнце уже закатилось; домочадцы с песнями возвратились домой; наконец, ворота

растворилися, и сами хозяева возвратилися домой.

— А мы, Лукие, на дороге венгра встретили, — говорила Марта, входя в хату, — и я у него купила семибратней крови для нашего Марочка: бог его знает, а может что и случится, так вот у нас и лекарство есть. Что, он спит? — сказала она, понизив голос.

— Спит, — отвечала тихо Лукия. — И здесь венгер был, и я тоже купила семибратней крови.

*Ой, гоп по вечер!
Запирайте, діти, двері,
А ти, стара, не журишь
Та до мене прихились.*

Так припевал веселый Яким, входя в хату.

— Цыть!.. пьяный лобуре! — проговорила шепотом Марта, показывая на колыбель.

Яким замолчал и, как бы испугавшись, снял шапку и начал креститься перед образом, потом молча разделся и лег на постель.

— Ай да отець Нил, а бодай же его...

— Цыть!.. — прошептала Марта.

Яким замолчал, опустя голову на подушку, и вскоре заснул. Не замедлило и все живущее

на хуторе последовать примеру Якима.

Весна быстро развивала зеленые ветви в якимовом гаю; черешни, вишни и все фруктовые деревья сверх зелени покрылись молочным белым цветом, а земля разноцветным рястом. Начались полевые работы. Яким проводил с пшеницею чумаков своих в дорогу, но сам не пошел чумаковать, боялся положить где-нибудь свои старые кости на чужине, в степи при дороге, как это нередко случается с записными чумаками.

Проводивши чумаков, он усердно и смиренно принялся за свою пасеку, говоря:

— Где мне уже теперь по дорогам шляться та с купцами торговаться! Вот мое дело — вертоград та пчелки божий. Нехай молодые чумакуют.

И он почти поселился в пасеке. Раз в день заходил он в хату, и то только пообедать. Когда в пасеке все было уставлено и убрано как следует, а пчелы еще не роились, то он раскроет себе псалтырь и читает вслух с утра до ночи, от доски до доски, а когда язык устанет, то он доделывает новый улей, еще прошед-

шее лето начатый, или починавает старую серую свиту.

Иногда приходила к нему в пасеку старая Марта с Марком, и это был для него торжественный праздник: вынималась часть меду из лучшего улья и со всеми ласками угощался дорогой гость, то есть Марко.

С наступлением весны Лукия с другою работницею неумоимо приготавливала гряды на огороде за гаем. И когда гряды были готовы и огородные овощи посеяны и посажены, она вскопала две грядки в гаю между деревьями, посадила цветов и каждый вечер поливала.

Настало лето, настали жнива, настал, наконец, и день рождения Марка, ей одной известный.

В тот памятный день она до рассвета пошла в свой цветник, нарвала самых лучших цветов, свила из них венки и, тихо вошедши в хату, так что и Марта не слыхала, положила венок на голову спящему Марку. Дитя от прикосновения свежих и влажных цветов проснулося и заплакало. Марта проснулася и увидела над колыбелью испуганную Лукию.

— Начто ты его разбудила? — спросила

Марта.

— Я не будила, оно само проснулося, я только венок ему принесла, потому что оно сегодня... — И она чуть-чуть не проговори-лась.

— Начто ему твой венок? Только ребенка перепугала. Возьми его, повесь перед Варварою великомученицею.

Лукия молча взяла венок и повесила перед образом.

В тот день был какой-то большой церковный праздник. Она *позычила* рубль денег у другой наймички и отпросилась у Марты в первый раз в село сходить, оделася в свою юпку, спидницу, повязала на голову шелковый платок, посмотрела в зеркальце, в стене вмазанное, и покраснела от удовольствия. И правду сказать, несмотря на пролитые ею слезы и претерпенное горе, сердечное и физическое, она все еще была красавица. Она все еще живо напоминала собою ту увенчанную пшеничным венком, ту счастливую царицу праздника — Лукию. Простясь с Марком и Мартою, она пошла в село.

Еще и во все звоны не звонили, когда она

вошла в церковь. В церкви уже народу было довольно, и все до единого заметили незнакомую молодницу. Девушки и женщины шепотом спрашивали одна у другой: «Чья это такая хорошая молодыця?..» Она же, не обращая ни на кого внимания, поставила перед местными образами по свечке и подала на часточку о здравии младенца Марка.

После обедни она заказала молебен о здравии рабов божиих Якима, Марты и младенца Марка. После обедни отец Нил вручил ей просвирку и просил зайти к нему пообедать.

Она зашла. Матушка Якилына *привитала* ее, как свою родственницу, много расспрашивала о хуторянах, в особенности о Марке: здоров ли он, большой, ли он вырос? вырезались ли у него зубки? и так далее.

После обеда Лукия простилася с отцом Нилом и матушкою Якилыною и пошла на хутор.

В селе долго об ней молва ходила между парубками и молодыми девушками, но никто не доведася, откуда она и кто такая.

Возвратясь на хутор, она отдала поклон от батюшки и от матушки старой Марте и Яки-

му, положила просвирку за образ до завтрашнего дня, полюбовалась на спящего Марка, сняла с себя праздничную одежду, затопила печь в другой хате и принялась варить вечерю.

Так прошел первый год пребывания Лукии на хуторе, так или почти так прошел и второй год без особенных приключений, разве только, что Марко начал произносить довольно явственно слово *мама*. И, боже мой, сколько общей радости было! Его, бедного, как попугая, попеременно заставляли повторять магическое слово. По прошествии недели или двух старый Яким добился того, что Марко начал выговаривать слово *тата*. Старый Яким был в детском восторге. Он уже хотел его начать грамоте учить, только, к великому его горю, оказалось, что Марко не мог выговорить ни одной буквы. А Марта каждый день ему мылила серую голову за то, что он понапрасну мучит бедную дытыну. Еще в конце того же года, как-то в воскресенье, после обеда, сидели они все трое под хатою и пробовали краснобокие спасовские яблоки, а Марко перед ними ползал на спорыше. Только они

себе, пробуя яблоки, заслушались Якима, а он им рассказывал уже в сотый раз, как он раз, идучи с Дону, у заднего воза колесо и *лушню* потерял. Они заслушались и не видят, что Марочко, вставши на ножки, дыбает к ним, протянувши ручки и улыбаясь, произнося слова: *мамо, тату*. Какая же радость их была, когда они увидели идущего к ним Марка!

Лукия затрепетала от восторга и бросилась к своему Марочку, взяла его за ручонку и подвела к внезапно осчастливленным старикам.

Тут они принялись поочередно водить его около хаты и доводили до того, что Марко заплакал и сквозь слезы проговорил: «Мама кака».

Старый Яким в восторг пришел от Маркового изречения.

— Так их, так, сыну, — говорил он, — ишь, старые бабы, замучили бедную дытыну, — хотя он первый неумоимо мучил его первым уроком хождения.

Да в этом же году осенью, по первой пороше, охотники, гоняся за зайцем, подскакали к самому хутору, и так как бедный заяц спрятался от собак на хуторе в гаю, то неистовые

псари решились не оставлять бедного зверька и в гостеприимном хуторе.

На этом основании они, подъехавши к воротам, стали громко требовать, чтобы им отворили ворота.

Накинувши тулуп, вышел к ним сам Яким и спросил, снявши шапку, что им нужно.

— Отворяй ворота, тебе говорят, старый хохол! Яким надел шапку и, не говоря ни слова, пошел обратно в хату.

— Что там такое за воротами?» — спросила его Марта.

— Татары подступили, — отвечал он спокойно. Ворота, кроме засова, были замкнуты еще тяжелым шведским замком. Охотники, полагать надо, что были немного *намоча морду* (термин из их же словаря), спешились и начали ломать ворота; но труд был не по силам и только привел их в пущее бешенство. Яким вышел во второй раз, а за ним, не утерпев, вышли Марта и Лукия.

Один из охотников вскочил на двор через перелаз и бежал с поднятым арапником к Якиме, но вдруг остановился как вкопанный и арапник опустил.

Это был красивый, стройный юноша с едва пробившимися усами.

Это был бездушный оболъститель бедной Лукии. Он увидел ее и руки опустил в изумлении. Когда же пришел в себя, то вежливо сказал Яким:

— Ну, добрый старичок, когда не хочешь нас пустить на свой хутор поохотиться, то пусти, пожалуйста, в свою избу немного обогреться.

— Милости просимо, — сказал Яким приветливо.

— Пожалуйте на двор, господа! — крикнул он своим товарищам.

Лукия узнала его по голосу, быстро воротилась в светлицу, взяла спящего Марка из колыски и вынесла в другую хату.

— Что ты делаешь? — спросила ее Марта.

— Они пьяные войдут в светлицу и разбьют его, бедного.

Лукия не ошиблася, охотники вошли с шумом и огромной оплетенной бутылью в хату. Спросили довольно нахально закуски, уселись за столом и принялись мочить морды.

Молодой корнет выпил только два стакана

и больше не хотел пить. Он вопросительно осматривал хату и, наконец, спросил у Марты:

— Почтенная старушка, я с тобой на дворе видел еще одну женщину, — кто она у вас такая?

— Это Лукия, наша наймичка.

— Так это колыбель, должно быть, ее ребенка?

— Нет, это наша дытына.

— Куда же спряталась твоя работница? Ведь мы не звери, чего она испугалась?

Так спрашивал чернобровый, со вздернутым фиолетовым носом и длинными усами, охотник. Это был эскадронный командир уланского полка.

— Она в другой хате пораεταιся.

— Нельзя ли, голубушка, взглянуть на твою работницу? Она, кажется, недурна собою, — сказал тот же ротмистр, покручивая усы.

— Такая же, как и другие люди. Да ей теперь и некогда, — отвечала Марта.

— Закуримте трубки, господа, да марш! Я думаю, кони порядочно продрогли. Старушка,

одолжи-ка нам огонька.

Марта зажгла им свечу; охотники закурили разнокалиберные трубки и вышли из хаты. За ворота проводил их Яким и, пожелав им счастливого *полюванья*, возвратился в хату.

Лукия, по уходе непрошенных гостей, тоже вошла с плачущим Марком, уложила его в люльку, укутала и стала качать, тихонько напевая какую-то песню. Марко замолчал и вскоре заснул.

Яким долго молча сидел за столом, облокотясь на руки, и, наконец, едва внятно заговорил.

— Бог его святой знает, когда эти уланы от нас уйдут? Прогневали мы милостивого господа; вот уже четвертый год стоят, да и стоят. Как будто навики тут поселились. И что тот дурень турок думает, хоть бы войну скорее начал. А там бы, может, бог дал бы, и улан от нас вывели на войну, а то даром только хлеб едят, благо дешевый. Ну, да хлеб бы еще ничего, у нас его, слава богу, немало. А то грех, да и только с ними! Теперь хоть бы и наши Бурты, — велико ли село? А люди добрые говорят,

что уже третью покрывку покрыли.

Лукия вздрогнула.

— Да, третью покрывку! Шутка ли? Каково же отцу и матери бесталанной? А им, горемычным? Пропавшие, пропавшие навеки.

Лукия тихо заплакала.

— Плачь, моя доню! Плачь! Ты еще, слава богу, хоть московка, все-таки не покрывка; у тебя еще осталась хоть добрая слава! А у них, бедных, что осталось? Позор, и до гроба позор!

В продолжение всего этого монолога Марта сидела на скрыне, подперши старую голову руками, потом и она заговорила:

— Так, Якиме, так. Вечная наруга, вечное проклятие на земли. А на том свете что? Огонь неугасимый! Сказано, блудница!

— Ото-то и есть, что ты, глупая баба, стоишь в церкви, а не слышишь, что отец диакон в евангелии читает!

— А что ж он там читает?

— А то, что господь прощает всех раскаявшихся грешников, даже и блудницу.

— Правда! Правда, Якиме! А вот и Мария Египетская... как ты читаешь в житии...

— Вот то-то и есть, а приподобилась же? Не плачь, дочка Лукие! Тебе нечего плакать. Ты мужнина жена, пускай плачут да молятся вот те бесталанницы. А уж ты и без мужа найдешь кусок честного хлеба... Айв самом деле, давайте пообедаем, а то за теми уланами и пообедать не удастся.

Лукия молча накрыла стол чистой скатертью, поставила солонку и положила хлеб и нож на стол. Яким, перекрестясь, начал резать хлеб на тонкие куски, сначала сделав ножом крест на хлебе. Богу помоляся, [села] за стол Марта, а Лукия стала наливать борщ в миску.

Заяц на беду свою выскочил из хутора в поле в то самое время, как Яким затворял калитку и желал охотникам доброго полеванья. Охотники, увидя косога врага своего, закричали: *ату его!* и помчались вслед за борзыми. Только снежная пыль поднялась.

Один охотник, проскакав немного, отстал от товарищей, остановил коня, постоял недолго, как бы раздумывая о чем-то, потом махнул нагайкою и поворотил коня по на-

правлению к Ромодановскому шляху.

Охотник этот был молодой корнет, которого мы видели в хате пьющего водку стаканом. Но это в сторону: можно и водку пить и честным быть. Одно другому не мешает. Молодому корнету, как кажется, вино (а может быть, и воспитание) помешало быть честным (потому что он по породе — благородный).

Долго он ехал молча, как бы погружаясь в думу. О чем же он думал, сей благородный юноша? Верно, он вспомнил прошлое, бывшее; верно, он вспомнил свой проступок перед простою крестьянкою — и совесть мучит молодую и уже испорченную душу.

Ничего не бывало! Он по временам говорил сам с собою вот что:

— Фу ты, черт ее побери, как она после родов по хорошела! Просто бель фам! (Молчание.) Жаль, не видал мальчугана, а должен быть прехорошенький. Я помню его глазенки, совершенно как у нее. (Опять молчание.) А что, если на досуге начать снова? Да леко, черт возьми, ездить — верст тридцать по крайней мере! А чертовски похорошела! И зачем она, дура, бежала из своего села? Смеют-

ся... Эка важность! По смеются, да и перестанут. (Опять молчание.) Ба! Превосходная идея! Эскадрон один в этих двух селах! Решено! Жертвую Мурзою ротмистру, пускай меня переведет в третий взвод, а он квартирует в этом селе, как бишь его, — Гурта, Бурта, что ли? Bravo! Превосходная мысль! Я тогда могу бывать каждый день на хуторе. Превосходно. Ну, моя чернобровая Лукеюшка, закутим! Вспомним прежнее, бывшее! Марш, нечего долго раздумывать! — И он пустился в галоп.

Проскакав версты две, он дал лошади перевести дух и опять заговорил:

— Хорошо! А как же я расстануся с братьями-разбойниками? Ведь день-другой, пожалуй, неделю можно поестъ рябчиков, а там захочется и куропатки! Впрочем, я могу каждую неделю по крайней мере навещать свою удалую братию один раз. Оно будет и разнообразнее и, следовательно, интереснее. Решено! Ведь в этих случаях жертва необходима! Неси меня, мой борзый конь.

И он сильно ударил нагайкою по ребрам своего борзого коня. Конь полетел быстрее и быстрее, почуя близость знакомого села, и в

широкой, покрытой снегом долине показала-
ся синяя полоса, — это было село, родное село
Лукии.

Он проехал шагом *царыну* и легкой рысью
въехал в село. Первый живой предмет, попав-
шийся ему на глаза, это был пьяный мужик,
едва державшийся на ногах. Корнет узнал в
нем отца Лукии.

— Здравствуйте, почтеннейший! — сказал
корнет, приостанавливая коня.

— Здравствуйте, ваше благородие, — едва
проговорил мужик, снимая шапку.

— А ведь я отыскал твою Лукеюшку!

— Она теперь не моя, а ваша, ваше благо-
родие.

И, сказавши это, нахлобучил свою порыже-
лую шапку на глаза и побрел, шатаясь, к сво-
ей давно уже не беленной хате. Корнет по-
смотрел вслед ему и проговорил:

— Глупый мужик, а туда же рассуждает.

И, подбоченясь, поехал шагом вдоль села.

А глупый мужик, не рассуждая, пришел в
свою нетопленую хату, посмотрел на голые
стены и, как бы отрезвясь, снял шапку, пере-
крестился три раза и лег на дубовой, давно

уже не мытой лаве, говоря как бы сквозь сон:

— Вот тебе и постеля, старый дурню! Не умел спать на перине — теперь на лаве! под лавою! в помыйныци! на смитныку! в калюже с свиньями спи, стара пьяныця! О господи, господи, твоя воля! А кажется, такая тихая, такая смиренная была! А вот же одурила, одурила мою седую голову!

И он, не подымая головы, навзрыд заплакал.

В хате было пусто, холодно, под лавами валялись разбитые горшки и растрепанный венник. От стола и *ослона* только остатки валяются по хате, а от другой лавы и остатков не видно. Кочерги, макогона и рогача тоже не видно около печи, а в печи зола инеем покрылася.

Пустка! Совершенная пустка! А недавно была веселая, белая, светлая хата.

Куда же девалась скромная прелесть простой мужицкой хаты?

Посрамления своего единого дитяти, своей Лукии, не пережила престарелая мать, она плакала, плакала, потом захворала и вскоре умерла. Старик, похоронивши свою бедную

подругу, не устоял против великого горя, начал пить и в два года пропил все свое добро, уже добивался до самой хаты.

Такие-то бывают иногда последствия минутного увлечения.

Старик долго еще бормотал, полусонный, и, наконец, замолк. Немного погодя мышь из норки выбежала на середину хаты, повертела головкой и, вероятно, заметила спящего на лаве хозяина, повернулась назад, еще раз осмотрелась и скрылась в норку.

На хуторе дни проходили без особых приключений. Марко выросал не по дням, а по часам. У него прорезались зубки без особых припадков, как это бывает с другими детьми. Он стал уже ходить по хате без помощи ослон или лавы, и, целые часы глядя на его походку, любуясь, старый Яким давал ему разные названия, как-то: гайдамака, чумака, запорожец, и однажды нечаянно назвал его уланом, отчего Лукия вздрогнула, побледнела и вышла из хаты. А Марта, не замечая смущения Лукии, вскрикнула на Якима:

— Перекрестися, божевильный! Какой он у

тебя улан? — и, взявши Марка на руки, целовала его, крестя и приговаривая: — укрой и сохрани тебя мать божия от всякой злой напасти! — и, лаская, укладывала его в люльку.

Лукия возвратилась в хату. Марко уснул, и тишина водворилась в хате.

Неделю спустя после описанной нами сцены, после обеда, Яким по обыкновению отдыхал, Марта тоже на печи дремала, а Марко, вооружась арапником, нарочно для него сплетенным Лукиею, бегал от стола до порога и от порога до стола, размахивая своим арапником. Лукия молча любовалась своим сыном. Она с чувством тихого восторга смотрела на него и не знала предела своему счастью.

Ей послышалось, что наружная дверь за скрипела. Она вздрогнула. Через минуту отворилась дверь в хату и вошел в охотничьем наряде корнет.

Лукия вскрикнула, схватила Марка и выбежала из хаты. Он выбежал за нею, но не мог ее догнать. Лукия спряталась в клуне, куда он побоялся войти, потому что там были *молотники*.

Походивши немного по двору, он вышел за

ворота и, севши на коня, поскакал в поле.

Дремавшая Марта соскочила с печи и, не видя в хате ни Марка, ни Лукии, переполошилась. За нею проснулся и Яким, и оба, не понимая, что случилось, смотрели друг на друга.

— Где Марко? — спросила Марта.

— Не знаю! — отвечал Яким.

— Кто тут кричал в хате?

— Не знаю! — отвечал Яким.

— Ты никогда ничего не знаешь! — почти крикнула Марта и вышла из хаты.

— А ты так хорошо знаешь, когда едят, да тебе не дают, — сказал Яким, медленно подымаясь с постели.

Марта вошла в другую хату, и там нету ни Марка, ни Лукии; она вышла на двор и встретила из клуни идущую перепуганную Лукию. А Марко, бедняжка, посинел от холода и прегромко плакал.

— Ты бога не боишься, Лукие? — кричала Марта. — Ну как-таки можно бедное дитя выносить на такой холод? Видишь, как оно, сердечное, посинело. Дай его мне. И что это тебе в голову пришло, скажи, ради матери божьей?

— Я испугалася, — едва проговорила Лукия.

— Какого ты там рожна испугалася?

— У нас был в хате...

— Кто там у нас был в хате?

— Улан, кажется, — шепотом проговорила Лукия. Они вошли в хату.

— Что там такое случилось с вами? — спросил Яким.

— Лукия говорит, что у нас улан был в хате! Яким засмеялся и спросил.

— А волка не было с уланом?

Лукия на его остроуту не отвечала.

Марка кое-как успокоили, и старый Яким снова, усмехаясь, заговорил:

— Ну, скажи, Лукие, какой это к нам улан приходил, рудый, серый и волохатый? А бодай же тебе, Лукие! От насмешила, так, так!

И он простосердечно захохотал. Лукия молча улыбалася, а Марта, качая люльку, шепотом говорила:

— Цыть! Дытыну розбудишь своим проклятым хохотом. Оно, бедное, только что глазки закрыло.

— Да как же тут не смеяться, вовкулака^[23]

или тот, как его, улан рудый в хату заходил.

— Та пускай себе и заходил, только ты замолчи, — сказала Марта, не переставая качать люльку.

Не проходило дня, чтобы старики не подтрунили над бедною Лукиею, и это продолжалось до тех пор, пока не посетил их корнет в другой раз.

А это случилось ровно через неделю.

Старики и Лукия тешились Марком, как он таскал за собою повозочку, Лукиею же сделанную из редьки, и погонял сам себя нитяным арапником. И только что он прошел от стола до дверей, как дверь отворилась и в хату вошел корнет и чуть не свалил с ног чумака Марка.

Лукия бросилась к ребенку, схватила его и бросилась из хаты. Марта выбежала за нею, а корнет, снявши шапку, поздоровался с Якимом.

— Доброго здоровья, — отвечал Яким, вставая.

— Что это они у тебя такие дикие?

— Да что, добродию! Сказано — бабы. А бабы и козы все равно, скачут, когда завидят че-

ловека. Дуры хуторяне, никакого звычайу не знают.

— А я сегодня поохотился немного, да и тебя, старина, навестил, — сказал он, садясь на лаву.

— Покорно благодаримо, просимо, садитесь. Не угодно ли будет пополудновать у нас по-простому? Вы, я думаю, на своей охоте проголодались?

— Да, весьма не помешало б. Я-таки порядочно голоден, — с утра ничего не ел.

— Ото-то ж! Посидите ж часть времени, а я пойду отыскивать своих диких хуторянок.

И он вышел из хаты.

Корнет, оставшись наедине, прошелся раза два по хате и остановился около люльки.

— Ба! Превосходная мысль! — прошептал он и, вынув из кошелька червонец, положил под подушку в люльку и только что уселся на прежнем месте, как вошла Марта в хату, молча поклонилась гостю, достала чистую скатерть, накрыла стол и начала молча готовить полдник. Через несколько минут вошел Яким в хату, говоря:

— Хоть кол на голове теши, не хочет войти

в хату, да и только!

— Кто это не идет в хату? — спросил охотник.

— Да наша наймичка, такая глупая, как будто людей отродясь не видала.

— А не идет, так и пускай себе не идет, — сказала Марта, — мы и без нее управимся.

Приготовивши все для полдника, она вышла из хаты.

— Прошу вашей милости, садитесь за стол та полу-днуйте, что бог дал, — сказал Яким, садясь на ослоне.

— Ах да, я и забыл. Ведь у меня есть роменская кизлярка!

И он вынул из охотничьей сумы бутылку с водкой и поставил на столе.

— Не извольте трудиться, ваша честь! У нас, правда, есть и своя, да мы с старою мало употребляем, то и добрых людей иногда забываем потчевать.

И он хотел встать, но охотник удержал его.

— Постой! постой, дядя! Ведь у вас не такая, у меня ведь настоящая кизлярка! — и он вынул серебряную чарку из сумы.

— Не знаю, не случилось пивать такой. А

всякие вина перепробовал на своем веку.

— Так вот попробуй, дядя, — сказал охотник, подавая старику чарку.

— Попробуем, что там за кизлярка! — сказал он, принимая чарку и крестясь. — Господи, благослови!

Выпивши водку, он немного помолчал и проговорил:

— Нечего сказать, хорошая водка. А дорогога?

— По целковому бутылка.

— О, цур же ей, когда так! У нас на карбованець видро купишь.

— Купишь, да не этакой!

— Э, все одинаково, лишь бы назавтра голова болела.

И они молча принялись закусывать колбасу и холодное свиное сало, до которого, впрочем, охотник не прикасался. Невежа не знал, что холодное свиное сало лучше всякого пате-фуа²⁴. А впрочем, о вкусах спорить нельзя.

Охотник, кстати, привел поговорку, что по одной не закусывают. Потом другую, — что без троицы дом не строится. Потом еще и еще поговорку, а за поговоркой, разумеется, нали-

валася и выпивалася чарка, так что не прошло часа, а в бутылке уже было пусто, как у пьяницы в кармане.

Они стали говорить громче и быстрее. Охотник наговорил Якиму много любезностей, почти великосветских, и, между прочим, вот какую:

— А ты мне, дядя, с первого раза понравился. Помнишь?

— Помню, — отвечал Яким. — А вы мне так попросту совсем тогда не понравились. А теперь так вижу, что ты человек хороший.

— Вот то-то и есть! Ты раскуси-ка меня, дядя, так не то увидишь!

— Нет, я кусать тебя не буду, а знаёмьтсья милости просимо.

— Ведь я, правду тебе сказать, для тебя и в ваше село на квартиру перешел, чтобы только к тебе в гости ездить.

— Благодаримо, благодаримо! Марто! — крикнул он, вставая со скамьи. — Пряжи яешню с колбасою! Давай ведро выстоялки. Не знаешь, старая бабо, какой у нас человек сидит!

— Полно, полно, ничего не надо, дядя! Я

сейчас уеду.

— Уедешь, только не сейчас, я тебе еще покажу нашего Марка.

— А кто это такой ваш Марко?

— А наша дытына. Разве ты не знаешь, что у нас и сын есть? — И он пошел к двери, бормоча: — Вот я вам дам, вражи бабы! — и он вышел за двери.

Через минуту он внес на руках в хату плачущего Марка, а за ним вошла и Марта.

— Посмотри! посмотри! — говорил он. — Какое нам добро господь на старости послал! На, забавляй его по-своему, — и он передал Марка Марте.

— Иды, иды, гайдамака ты, сякий-такий сыну! — И он рассказал охотнику историю успокоившегося Марка.

Охотник, рассеянно выслушав рассказ Якима, сказал:

— А кто же его настоящая мать?

— А бог ее знает! Уповать надо, покрывка какая-нибудь, бесталанница!

— У тебя всё покрывки! А может, и честная женщина, только бедная, — сказала Марта.

— А может, и честная, бог ее знает. Куда же

вы? — сказал он, обращаясь к охотнику. — Погостите, бога ради, вы у нас и то редко бываете. Стара! Выстоялки! Яешни!

— Благодарю тебя, дядя. Буду часто бывать, только сегодня не держи, не могу, дома есть дело.

— А коли дело, так и дело. Как волите, сами лучше знаете. А хорошо б попробовать еще нашей выстоялки.

— Нет, благодарю, в другой раз. Прощай, дядя! И он вышел из хаты.

Яким, проводив за ворота дорогого гостя и в сотый раз повторив просьбу не минать их хутора, возвращался в хату, бормоча про себя:

— Притча во языцех! Вот тебе и москаль! Вот тебе и улан! Та дай бог, чтоб и крещеные люди такие росли на божьей земле. Молодец, нечего сказать! И где он такую дорогую водку покупает? Говорит, в Ромнах. Надо будет поехать в Ромен та достать такой водки, чтоб не стыдно было, когда в другой раз заедет. Так я думаю — не достанешь. Паны всю выпили. Ну, уж за этими панами нашему брату просто некуда деваться! А что ж, ведь и он тоже пан, хоть и московский. А человек хороший, очень

хороший человек. Хоть бы и у нас таких панив насыать. А что, на Москве тоже растут паны?

И, задавши себе такой хитрый вопрос, Яким, шатаясь, вошел в хату.

Лукия, перестилая ввечеру постельку Марка, нашла под подушкою червонец и сейчас догадалась, что это было дело его нежного папаша, взяла его в руки и не знала, что с ним делать. Подумавши немного, она опустила его в пазуху и молча продолжала свое дело.

Охотник сдержал свое слово. Он каждую неделю исправно два и три раза посещал хутор, только без всякого со стороны сердечной поощрения. Поил Якима кизляркою, а Яким его потчевал десятилетнею выстоялкою. Тем и кончались его визиты. Лукия всегда убегала из хаты, когда его только завидит, а он был до того скромн или лукав, что никогда ни слова не сказал старикам про их наймичку, как будто он ее никогда и не видал.

Любовался всегда своим Марком, как совершенно для него посторонний, привозил ему всегда пряники, а иногда и другие гостин-

цы, чем и успел приласкать к себе дитя. Так что, бывало, когда он входил в хату, то оно бежало к нему навстречу, протягивая ручонки, и кричало *да-да*.

В великом посту, когда старики говели и с пятницы на субботу остались ночевать у отца Нила, чтобы не проспять заутрени, корнет перед вечером приехал на хутор. Он знал, что старики в селе и ночевать не будут дома. Оставил с денщиком своего коня, а сам прокрался, как вор, на двор и потом в хату.

Лукия в это время играла с Марком, и когда увидела его в хате, то вскрикнула и чуть ребенка из рук не уронила. Они молча остановились друг перед другом. Марко протянул к нему ручонки и сказал свое обычное *да-да*. Но *да-да* не отвечал ни слова на привет Марка, а Лукия схватила его ручонки и прижала к себе.

Долго продолжалось молчание, наконец он заговорил:

— Скажи, Лукеюшка, за что ты меня не любишь, зачем ты от меня прячешься всякий раз, когда я сюда приеду?

Лукия молчала.

— Я мучуся! Я страдаю! Я умираю без тебя! Цветочек мой прекрасный, мой розан ненаглядный, проговори хоть одно слово, хоть взгляни на меня!

Она взглянула на него, но не проговорила ни слова.

— За что я тебе вдруг немилым стал? Вспомни ты темный сад и те короткие сладкие минуты, что мы проводили с тобой.

Она опять взглянула на него, и из прекрасных ее карих очей покатались крупные слезы.

— Чего ты плачешь, моя прекрасная? Или тебе стало жаль прошлого? Что ж, от тебя зависит, начнем снова.

Она плюнула ему в глаза.

— Не сердися, моя крошечка, я тебе всего, всего себя, всю жизнь свою тебе отдам.

Лукия с омерзением отворотилась от него, подошла к двери и, отворивши дверь, громко крикнула:

— Катре!

— Не зови никого, побудь со мною наедине, я тебе всю правду, всю истину скажу. И ежели есть у тебя хоть искра чувства, ты из-

винишь меня!

Между тем вошла в хату, со скалкою в руках, дюжая Катря.

— Катре, голубочко, побудь с этим паном, а я вынесу Марка в другую хату, а то он его боится и плачет.

И с этим словом она вышла из хаты. Через минуту она возвратилась, держа в руке червонец, подошла к нежному своему обожателю и, подавая ему червонец, сказала:

— Марко и без твоих червонцев богат, возьми!

Он отодвинул ее руку. Она бросила ему червонец на пол и вышла из хаты.

Он поднял червонец, повертел его в руке, как бы раздумывая, что с ним делать.

— Вот тебе, голубушка, — сказал он Катре, подавая ей червонец. — Только ты пособи мне ее уломать.

Катря, взявши червонец, проговорила:

— Какой хорошенький дукачик! Что ж это у него дырочки нету? Как же его носить? Вот теперь если б доброе намисто!

— И монисто куплю, только ты уломай ее.

— Добре, уломаю. И он вышел из хаты.

— За что это он ломать просил? — спросила Катря у входящей Лукии.

— Не знаю, — ответила она.

— Посмотри, какой хорошенький он мне дукачик подарил.

Лукия взглянула на червонец и не сказала ни слова. Катря вышла, а Лукия осталась в светлице в всю ночь проплакала.

В субботу после вечерни старики возвратились домой и не могли нахвалиться гостеприимством своего знакомого охотника. Он их после обеда от отца Нила зазвал к себе на квартиру, и чем уж он их не угощал! И чаем, и сахаром, и всякою всячиною, так что всего и не упомнишь. Одно только Марте не понравилось, что у него везде табак: и на столе табак, и на окнах табак, и на лаве табак — везде табак. Она думала, что у него и чай из табаку, а потому-то съела кусочек сахара, другой спрятала для Марка, а до чаю и рукой не прикоснулась. Еще две вещи ей сильно не понравились: это собака на постели и денщик, такой старый, оборванный, грязный, на руках грязи, что и *вихтем* не отмоешь. И еще чудно:

он уже сытый, а он ругает и все кричит: «Эй, малый!» А может, это по их московскому зычаю так и следует, бог там их знает!

Посещения его продолжались попрежнему, и по-прежнему без успеха. Он часто дарил разные безделушки дебелий и простовой Катре. А та по простоте своей говорила ему, что Лукия каждый день и ночь за ним плачет и что даст бог велькодня дожждаться, тогда можно будет просто в церковь, да и *Исайя, луй*^{25}.

Пост был в исходе, нужно было и Лукии отговеться. Как же ей быть? Он теперь квартирует в Буртах, он не даст ей и богу помолиться, а не то что отговеться. Подумавши, она попросилась у своих хозяев навестить своего отца и заодно отговеться в своем селе.

Старики охотно согласились и предложили ей сани и лошадь. Она отказывалась, но не могла отказаться. А на говенье, кроме платы за службу, [Яким] дал ей карбованец.

После обеда, в воскресенье на шестой неделе, она выехала из хутора на маленьких саночках прямо на Ромодановский шлях.

Не хотелось ей, бедной, ехать в свое село,

но любовь дочери поборола в ней стыд по-
крытки. Она уже третий год не имела ника-
ких сведений о своих родных.

С трепетом въехала она в свое родное село,
подъехала к воротам своим и вскрикнула в
ужасе.

Ворота были разобраны, частокол пова-
лился, соломенная крыша на хате ветром
разорвана, и черные стропила виднелися, как
ребра из полуистлевшего чудовища.

Привязала лошадь к оставшейся около во-
рот вербе, а сама вошла в хату. Пустка, и сна-
ружи и внутри пустка!

— Куда же они делися, неужели умерли? —
спросила она сама себя и вышла из хаты.

У кого же она теперь приютится?

У нее давно когда-то, года три тому назад,
была знакомая край села, старая московка, у
которой прежде собирались *вечерницы*. Она к
ней и направила свою лошадку.

У этой старой московки почти на выгоне
было не то, что называют хатой, а вернее то,
что у нас называют куренем, то есть ежели
смотреть издали, то это скорее похоже на ку-
чу навозу, нежели на жилище человека.

Вблизи же она была, как говорится (и говорится справедливо), живописна, и живописна до такой степени, что я хотя и не любитель подобных живописных вещей, беруся, однакоже, нарисовать — того для, чтобы показать моим почти сонным слушателям, что я не лгу, как какой-то курьер.

Ахнули в селе люди добрые, когда увидели около куреня московки клячу и едва заметные санишки.

— Откуда она взяла такое добро? — все в селе вскрикнули. — Ведь у нее давно уже вечерницы^{26}} не собираются!

Пошли по селу толки, — такие точно толки, как бывают в уездном городе, когда проедет по его единственной улице жандарм на тройке.

Лукия, распрягши лошадь, привязала ее к санному полозу и, бросивши ей сенца, вошла в москалихин курень (это было в сумерки). Войдя, помолилася и едва-едва нащупала свою старую знакомую. Нащупавши, она сказала:

— Добрывечир!

— Добрывечир! — едва отвечало ей что-то.

Лукия ощупала тряпки, а в тряпках завернуто что-то живое.

— Нездужаю: стара, погана, погана стала.

— Чи нема у вас лою? Я б каганець засвистыла.

— Ничего нема. И печь нетоплена. Я позавчера ходыла в гости, воротылася додому, та й занедужала.

— Что же у вас больть?

— Все больть, моя голубко.

Лукия оставила ее и через полчаса возвратылася с дровами, затопила полуразвалившуюся печь, нашла где-то под *припичком* с обитыми краями горшок и, положи в него снегу, приставила к огню.

— Спасыби тобі, — проговорила больная.

Пока растаивал снег и потом грелася вода, Лукия вышла на двор, посмотрела на клячу, на сани и говорила сама с собою:

— Господи, у меня хоть чужие добри люди есть! А у нее никого нету, — настоящая сирота.

Она подошла к саням, вынула из них торбу с *паляныцями* и молча вошла в хату. Вода в горшке уже кипела; она его отставила от огня

и спросила хозяйку:

— Чи нема у вас какой-нибудь мисочки?

— Есть, голубко. На печке посмотри, мне на днях Майчиха прислала рыбки, дай бог ей доброе здоровье, так мисочки я ей еще не относала.

Лукия действительно нашла глиняную небольшую чашку, вымыла ее, налила горячей воды и, подавая больной, сказала:

— Выпей ты горячей воды немного та съешь хоть кусочок паляницы, тебе лучше станет. Если б можно было достать шавлии, то оно бы еще лучше было. — И, говоря это, она отломил кусок белого хлеба и подала больной. Больная выпила воду, съела немного хлеба и благодарил свою лекарку.

— Тебя сама мать божия послала ко мне!

— Лежи, не вставай, я тебя укрою, — и она укрыла ее своим тулупом.

Между тем печка истопилася. Она закрыла трубу. Больная начала дремать. Зазвонили к повечерие. Лукия надела белую свиту, осмотрела еще раз свою больную и вышла из хаты.

Она пошла к повечерие. Как она войдет в церковь? Ведь на нее все пальцами покажут.

Все скажут ей в глаза, что она свою мать и отца в гроб свела.

«Пускай показывают на меня, — думала она себе. — Пускай смеются, говорят, знущаются, я все вытерплю, все выстрадаю, я должна выстрадать, — я великая грешница! Об одном только прошу тебя, милосердный боже мой, пошли ты здоровье и добрую долю моему единому сыну».

Опасения ее насчет насмешек были напрасны. Народу было в церкви мало, и ее никто не заметил. Она же себе остановилась у самых дверей, а в церкви никто назад не обращается (по крайней мере так делается в наших селах).

Уже в сумерки она возвратилась в хатку и, увидя, что больная все еще спит, тихонько вышла из хаты, сводила свою лошадку к Суле, напоила ее и, приведя обратно, подложила ей сена и обошла кругом хаты, выбирая место, где бы приютить свою лошадку. Хотя на дворе уже был март, но все-таки на случай ветру не помешало б приютить, но приюта совершенно никакого не было.

— Господи, какая она бедная! — сказала

она. — Хоть бы тебе тынок какой, хоть бы хлевушка какой, — таки совершенно ничего! Как же она живет, горемычная?

И, проговоря это, она вошла в хату. Больная уже проснулась и хотела подняться с постели, чтобы достать воды. Лукия подала ей простывшей воды, уложила ее в постель и в потемках села на полу около ее постели. Больная заговорила:

— С меня как рукою сняло. Если бы не ты, то я не знаю, что бы со мной и было. Благодарю тебя, пускай бог тебе заплатит.

Лукия молча вздохнула.

— Чего ты так тяжело вздыхаешь?

— Так, — отвечала Лукия.

— Может быть, ты тоже нездужаешь?

— Нет, слава богу, здорова!

— Ах ты, моя бесталаннице! — сказала больная с чувством. — Я и забыла, при моей немощи, про твое тяжелое бесталанье! Ну, скажи ж мени, моя горлыце, живо ли оно, здорово ли оно, моя рыбочко?

— Слава богу, здорово.

— Как же его зовут, моя галочка?

— Марком, — неохотно ответила Лукия.

— О горе мое, тяжкое горе! — помолчав, заговорила больная снова. — Что же мы с тобою будем вечерять? Ведь у меня ничего нету.

— У меня паляныця есть.

— У тебя... у тебя... да у меня ничего нету.

— Даст бог, и у тебя будет.

— А где же мы свитла возьмем? — через минуту проговорила больная.

— Сегодня и так повечеряем. — И она ощупью нашла мешок с хлебом, подала кусок больной и себе другой отломилла. Поужинавши чем бог послал, Лукия наведалась к лошади и, возвратясь в хату, помолилась богу и легла на полу спать. Словоохотная старуха пробовала с ней заговаривать, но Лукия, пожелавши ей доброй ночи, вскоре заснула или притворилась заснувшею.

На другой день поутру Лукия, возвратясь от заутрени, нашла свою пациентку на ногах. Она уже затопила печку и что-то приставила в горшке к огню. Увидя входящую Лукию, она быстро обратилась к ней и сказала:

— Добрыдень! Добрыдень, моя голубка! А я уже и печь затопила.

— Добрыдень вам! — сказала Лукия.

— А ты еще краше стала, как прежде была. Ей-богу, правда. Да у тебя и лошадь есть?

— Лошадь не моя, добрые люди позычили.

— Добрые люди, спасыби им! Побудь ты, моя голубочко, недолго дома, а я сбегаю тоже к добрым людям, не добуду ли чего к обеду. Ведь ты знаешь, как я живу — где день, где ночь.

— Возьми у меня денег, за деньги скорее достанешь, нежели выпросишь.

— Правда! Правда твоя, голубко сыза, — и она взяла у нее *копу* грошами. — От теперь можно и на свежую рыбку рассчитывать, и на олию, и на все доброе. Хозяйнуй же, моя рыбка, я духом вернуся.

И она выбежала из хатки.

Зазвонили к часам, — хозяйка не возвращается в свою *господу*. Уже на шестой и на девятый звонят, — ее все нету. Лукия хотела замкнуть хатку и идти в церковь. Но, горе, и засунуть нечем, не то чтобы замкнуть. Делать нечего, нужно дождаться, хату нельзя так оставить. Хоть, правду сказать, вору там совершенно нечего было делать. Наконец, далеко уже за полдень, пришла и хозяйка. Правда,

она принесла, кроме съестных припасов, четыре свечи и даже кое-что из посуды, как то: две ложки и что-то вроде черепка. И несмотря на все эти покупки, и сама еще была навеселе. Бедняжка-таки не утерпела, забежала к своей щирой приятельке-шинкарке.

— Вот тебе, моя голубка сыза, — сказала она скороговоркою, — вот тебе и все наше господство. Теперь заходимося варить обедать.

— Вари вже ты без мене, — сказала Лукія улыбнувшись. — Вари, а я пойду до церкви.

— Разве уже дзвоньлы?

— Скоро зазвонять.

И действительно вскоре стали благовестить к повечерие. Лукія оделась и ушла в церковь. Хозяйка осталася одна и принялася за стряпню, тихо припевая:

*Упилася я,
Не за вашія —
В мене курка неслася,
Я за яйця впилася.*

Не знаю, как назвать подобные явления в семье человечества: жалкими или счастливыми. Я думаю, скорее счастливыми, потому

что они на всякое житейское горе почти смеются, и это, не думайте, чтоб было от недостатка того, что мы называем чувством, совсем нет: они чувствуют по-своему. Вот хоть, например, и эта бедная поющая старушонка. Бог ее знает, быть может, песня эта у нее выражает самый злой сарказм, а может быть, и самую чувствительную элегию. Или она готова рассказать вам свое грустное похождение в Казань и обратно с непритворным смехом, а на чужое полугоре готова зарыдать и сию же минуту утереть слезы, как ни в чем не бывало. По-моему, счастливы подобные натуры.

Когда Лукия пришла из церкви, у ней уже готов был смиренный ужин. Вместо стола накрыла свою пустую бодню, поставила на нее зажженную свечу, поставила свежую рыбу и поставила четверточку водки.

От водки и рыбы Лукия отказалась по той причине, что она говеет:

— Не хочешь, то як хочешь, моя голубко сыза, а я на старости выпью.

— Выпый на здоровья.

После вечери они долго еще просидели, — Лукия за работою, а хозяйка за рассказами да

расспросами. Лукия шила своему сыну к празднику обнову, — жупанок из красной китайки и белую рубашечку с *мережаным комаром*.

— Так ты его с тех пор и не видала, голубко сыза?

— Ни.

— Его недавно вывели из нашего села в какое-то другое село на квартиру. И что же ты думаешь? Найшлася така дура, что и туда за ним пошла. Может быть, знала Одарку Норивну, так вот она самая. Та й лыхо ж он с нею здесь, и выделывал, да и то правда, с одной ли ею?

При этом рассказе Лукия то бледнела, то краснела. Бедная женщина, неужели злость или ревность прокрадывается в твою смиренную душу? Забудь его, не стоит он твоего воспоминанья.

Так или почти так проводили они вечера в продолжение недели. Отгворевшись, Лукия заложила лошадку, простилася с хозяйкою и выехала за село. В поле снегу уже почти не было, оставался кой-где по дороге, и то почерневший. Кое-как дотащилася она до Ромода-

нового шляху, а там оставила свои санишки, а лошадь повела за повод на хутор.

*В селі довго говорили
Дечого багато,
Та не чули вже тих речей
Ні батько, ні мати.^{27}*

Уланы же, когда узнали о полюбовнице своего командира, то, глядя на нее, идущую из церкви, только улыбалися и усы крутили.

Сердобольные кумушки-соседушки, когда узнали, что она еще у московки квартировала, тогда и рукой махнули.

Лукия, возвратясь на хутор, не могла налюбоваться на своего Марочка. Она еще никогда на целую неделю с ним не разлучалась. В радости хотела было и сшитые ею обновы на него одеть, но поудержалась. Старики за радость ей объявили, что когда она уехала говеть, в тот самый день приезжал к ним улан-охотник, брал Марка на руки, целовал его, любовался им и обещал ему к празднику такое подарить, что мы все здывуемся.

Лукия даже не улыбнулась, чем старики были недовольны. И когда она вышла из ха-

ты, то Марта, лаская Марка, проговорила:

— Да ей-то что до тебя, моя дытыно! Ты для нее чужой, то ей и байдуже.

— Ну, ты вже пойдешь прибырать, — проворчал Яким, надел шапку и пошел на двор.

До праздника не посещал их улан-охотник по случаю распутицы, зато на праздники не проходило дня, чтобы он не посетил хутора и каждый раз не говорил, что почта не пришла еще из Петербурга, должно быть по случаю распутицы. Случалось иногда, он заставал Лукию наедине, и тут меры не было его клятвам, что он ее полюбил еще пуще прежнего. Она уже на него почти не сердилась.

Подлый ты, лукавый человек! Чего ты от нее хочешь? Ужели для мгновенного скотского наслаждения ты возмущаешь ее едва успокоенное сердце?

Бедная ты, слабая ты женщина! Ты опять готова слушать его хитрые дьявольские речи. Ты опять готова впутаться в его ядовитую паутину. Ты готова забыть свое собственное прошедшее горе, горе отца и матери и даже их могилы!

Она и забыла бы (дьявол же искусил свято-

го). Она опять упала бы в бездну и, может быть, упала б невозвратно, но, к счастью ее, уланам на фоминой неделе назначен поход в другую губернию. И это только обстоятельство спасло ее.

Каких усилий, какого тяжкого труда ей стоило переломить себя! И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти. Без высокой любви своей к дитищу пошла бы ты за эскадроном, как ходят тысячи тебе подобных. Сначала твой *мылый-чорнобровый* остриг бы тебя и одел мальчиком (как сердечную Оксану^[28]), чтобы скрыть твой пол от товарищей, а через месяц он перестал бы тебя и скрывать, а на другой — играла бы тобою пьяная молодежь на бивуаке; на третий — ты бы для них устарела и опротивела, потому что ты опять забеременела, и возили б тебя вместе с дорогими собаками в телеге, потому что от тебя отвязаться нельзя, а тебе приютиться негде, кроме уланского обоза. И вот ты родила ночью под телегою. И только одна безмолвная луна — святая свидетельница твоих физических страданий,

а милосердный бог — один утешитель и успокоитель твоей сердечной горести. Ты успокоилась немного, отерла слезы, прислушиваешься, — кругом все тихо, только едва слышно издали фыркание коней да вблизи чирикание кузнечика. Младенец твой молчит. Ты едва поднялася на ноги, берешь его и крадешься тихонько в степь из обоза и, вышедши на дорогу, ты снова с нее своротила, потому что ты дороги боишься. Ты опять в степи и, уже далеко от дороги и обоза, кладешь свое дитя на душистую траву, и как волчица роет нору для своих будущих волчат, так ты, иступленная, роешь могилу для своего детища. Остановися! Оно плачет, но ты не слышишь, тебе чудится вой волков в степи. Ямка готова, ты судорожно схватываешь дитя свое, бросаешь в яму, и у тебя не достало духу покрыть его землею, — ты, как сумасшедшая, бежишь в степь. О, какое благодение было б теперь для тебя помешательство! Но ты в изнеможении [падаешь] в траву и вскоре, как после страшного сна, пробуждаешься, и пробуждаешься на горе. Ты смутно, но все вспомнила, и от изнеможения не можешь встать на но-

ги, — силишься, силишься — и все напрасно. Так тебя и рассвет и утро застаёт. Так тебя и полдненное солнце печёт. Смерть близится к тебе. Но смерть грешников люта. Вечер освежает тебя, и ты, собравши остаток силы, ползешь в траве и, на свое горькое горе, выползешь на дорогу. Тебя, полуживую, подняли чумаки и привезли в село, сдали добрым людям на руки, и ты медленно оживаешь. Выздоравливаешь и, полунагая, отправляешься в корчму. Ты припомнила: когда тебя уланы вином поили, тебе было весело и ты забывалась. Но кто теперь тебе, нищей, подурневшей, вина даст? Ты у еврея в корчме нанялася носить воду за четвертку вина. Но увы! вино не помогло, а злее еще напомнило тебе, что ты детоубийца! И разгоряченное воображение твое представляет бесконечный ряд страданий. «Что мне делать?» — ты в исступлении Кричишь, а дьявол шепчет тебе на ухо: «Утопись!» И ты, послушная сатане, бежишь, быть может, к твоей родной Суле и топишься. Косари тебе помешали. Ты рассказала им свое преступление. Тебя в сельскую расправу, потом в тюрьму, потом в село твое родное да, не

снимая кандалов, и на кобылу. А с кобылы прямехонько в Сибирь.

Могло случиться и иначе. Ты могла бы и подружиться с добрыми уланами — и попутешествовала б себе за их эскадронами во всякую погоду, как едиnorodная мать Энея (у Котляревского):

*...боса,
Задрипана, простоволоса...^{29}*

И часто, часто бедная богиня Пафоса:

*В шинелі сірій щеголяла,
Манішки офіцерам прала.
Горілку з перцем продавала и т. д.*

Так, может быть, и тебе бы пришлось коротать свою поруганную, грешную, безраскаянную жизнь. Но ты спасена ангелом прекрасным, ты своим сыном спасена, и будущность твоя, хотя и горькая, печальная, но не преступная и безотрадная.

В понедельник на фоминой неделе старик со старухою поехали в село родителей поминать. Лукія и за своих дала им на часточку.

— От что, Якиме! — сказала Марта, — запишемo и ее отца и мать в свою граматку, та

пускай так укупи и поминают: ведь она у нас как наша дочь родная.

— А что ж, и хорошо, запишем.

И Лукия, простясь со стариками, засунула изнутри двери, вошла в хату, остановилась над колыбелью, долго смотрела на спящего Марка и, наконец, проговорила:

— Господы милосердный, и укрипы и спасы мене! Где я на всем свете найду таких людей, которые б меня дочерью звали и отца моего и мать мою в свою граматку записали?

И она тихо заплакала и стала молиться. В это время проснулся Марко и, протягивая к ней ручонки из колыбели, пролепетал к ней: «Мамо!» Она, как бы испуганная, обратилась к нему. Взяла его на руки и, целуя его, залилась слезами, едва выговаривая:

— Сыну мий, сыну, моя ты дытыно!

А Марко, как бы понимая ее слова, охватил пухлыми ручонками ее прекрасную шею и лепетал: «Мамо! Мамо!»

Придя в себя, она стала на колени перед образами, перекрестилась, потом взяла Марка за ручонку, сложила его розовые пальчики и начала учить его креститься, говоря и пла-

ча:

— Молыся, сыну! Молысь, моя дытыно! Молыся, ангеле божий, за мене, за мене, грешницу, молыся!

До обеда Лукия утешалася своим сыном в хате, а после обеда окутала его и пошла в сад рясту рвать. Погулявши в саду и нарвавши рясту, она возвращалася в хату и уже было взялася за ручку у дверей, вдруг слышит — ее зовут. Она оглянулася и вздрогнула — за воротами стоял ее возлюбленный. Она хотела скрыться в хату, но он снова позвал ее.

— Да отвори ворота, мне не хочется с коня слазить.

Лукия как бы невольно подошла к воротам, но не отворила их.

— Что же ты стоишь? Или не отворишь, выйди сюда, я тебя поцелую.

Лукия не вышла.

— Что же, на тебя столбняк, что ли, напал? Готова ли ты, или опять раздумала?

— Раздумала.

— Фу ты, несносная! Полно дурачиться, одевайся скорее, за хутором тебя телега дожидает.

— Пускай себе дожидает.

— Да не беси же ты меня! Скажи, пойдешь ли ты, или нет?

— Ни.

— Проклятая! Да ведь я без тебя жить не могу!

— То не живи!

— То не живи? Тварь ты бездушная! Что же мне, давиться, что ли, из-за тебя?

— Давись.

— Шутишь ты, что ли, со мною? Скажи, последний раз я тебя спрашиваю, пойдешь ты или нет?

— Нет, не пойду.

— Дура же ты, дура! А я тебе добра желал, хотел тебя счастливою сделать!

Лукия грустно посмотрела на него. Он продолжал:

— Хотел в Ромне перевенчаться с тобою.

Лукия еще раз взглянула, отворотилась и хотела было идти в хату.

— Остановися, одно слово! Она остановилась.

— Подойди ближе!

— Ну, говори, что ты там такое ска-

жешь? — И она подошла к воротам.

— Ну, скажи, глупая, разве тебе лучше мужичкой быть?

— Лучше!

— Да пойми ты меня! Ведь ты будешь офицерша!

— Не хочу я быть офицершей. Я мать офицерского сына, с меня довольно!

И она снова отвортилася.

— Вот же тебе, упрямая хохлячка! — И он ее ударил по голове нагайкой, проговоря: — Проклятая! — Поворотя коня, он ускакал в поле. Лукия посмотрела ему вслед, опустила дитя на землю и тихо пошла с ним в хату. Но в хату не могла войти. Села на призьбе, бледная и изнеможенная, выпустила из рук Марочка и лицо закрыла руками. Долго она сидела в таком положении, а Марочко между тем уселся у ног ее и уже увядший ряст рассыпал вокруг себя.

Лукия, наконец, проговорила шепотом:

— Офицерша... Бреше... За что же он меня ударил? Что я ему сделала? Сына привела!

И она горько, горько заплакала. Марочко, глядя на нее, и себе заплакал. Она взяла его

на руки, поцеловала, встала и молча пошла в хату.

Старики, возвратяся ввечеру из села, рассказывали ей, смеяся, как уланы выходили из села и как одна уже тяжкая дивчина пошла за повозкою их знакомого охотника.

— Як бо ии зовуть? — заговорила Марта. — Постой... постой... вот же ж и забыла... те, те, вспомнила: Одаркою!

Лукия вздрогнула.

— Только из какого-то другого села, а не буртянская.

— Что же это нашего знакомого не видно было меж уланами?

— Да, не видно было. А я нарочно его выглядала, да нет, не видно было.

— Должно быть, вперед уехал.

— Должно быть!

Мирно и безмятежно текли часы, дни, месяцы и годы на благодатном хуторе Якима. Коморы его начинялися всяким добром, волы и коровы его и всякая другая худоба множилася и тучнела, чумаки его каждое божие лето возвращалися с дороги с великою лихвою,

пчелы его по трижды в одно лето роились, так что одного меду продавал он ежегодно рублей сот на пять, если не больше, не говоря уже про воск. Садовой овощи, правда, он не продавал, а то и тут бы не одну лупнул сотнягу. Пускай, говорит, добрые люди поживут, спасибо скажут! Словом, к Якиме на хутор со всех сторон добро лилося, как будто сама фортуна коловратная на его хуторе поселилась в лице Лукии и Марка. И то правду сказать, что Лукия была хозяйка невсыпущая и распорядительная.

— И бог его знает, где это она всему так научилась? — бывало, глядя на ее дела, говорит старая Марта. — Вот тебе и московка! Поди ты с нею! Благодать божия, да и только, — верно, разумного отца дытына.

Старикам оставалось только смотреть на нее и молиться богу, — они-таки и не забывали бога. Марта ежегодно ходила в Киев на поклонение святым угодникам печерским, а Яким, хотя и не ходил, зато дома в продолжение года молебствовал: то криницу в саду посвятит, то пасеку посвятит, то так пригласит отца Нила помолобствовать о здравии и дол-

годенствии, а сам все себе сидит в пасеке, рои снимает да псалтырь читает.

Так-то счастливо проходили дни, месяцы и годы на хуторе. А Марку между тем кончался седьмой годочек. И что же это за дитя выросло! Прекрасное, тихое, послушное, несмотря на то, что все его чуть на руках не носили, особенно Лукия. Бывало в воскресенье, когда старики уедут в село до церкви, оденет его в жупанок, в красные сапожки и сивую крымских смушек шапочку, поставит его перед собою и любит на него, как на малеваного. А между тем она ему и виду никогда не показала, что она ему мать. Для чего она это делала, бог ее знает. Может быть, она боялась старых, а может быть и так.

Старики часто поговаривали, что пора Марка в школу отдать, но все дожидали, пока ему исполнится семь лет.

И вот ему исполнилось семь лет. Это случилось как раз на *зеленых святках*^[30], в воскресенье. Из церкви прямо на хутор привезли отца Нила и отца диакона и весь причет церковный. После молебствия и водоосвящения в саду вернулись в облачении в хату. А окро-

пивши святою водою *оселю, сыны и коморы*, вернулись снова в хату. Тогда отец Нил взял Марка за руку и, поставив его на колени перед святыми образами, а сам, раскрыв псалтырь и перекрестясь трижды, прочитал псалом: «Боже, в помощь мою вонми». По прочтении псалма, сложив с себя ризы, сел за стол и спросил у Якима букварь. Марта достала из скрыни букварь (он у нее хранился, потому что она его принесла из Киева) и подала Якиму, а Яким уже отцу Нилу.

— Приступи ко мне, чадо мое, — сказал он Марку. Марко подошел.

— Говори за мною! — И Марко робко повторял: *аз, буки, веди*, и т. д. По прочтении азбуки отец Нил закрыл букварь и сказал:

— Корень учения горек, плоды же его сладки суть. Сегодня пока довольно, а на будущее время и вяще потрудимся. А теперь пока, отдавши богово богови, отдаймо и кесарево кесареви!

Яким, как сам тоже человек грамотный, тотчас смекнул, к чему говорит отец Нил из писания. Моргнул Марте и Лукии, а сам победжал в комору, сказавши:

— 3-за позволения вашего, прошу, батюшка, садовитесь за стол.

Через минуту стол был уставлен яствами и напоями, разными квасами фруктовыми и наливками, а кроме всего этого, Яким посередине стола поставил хитро сделанный стеклянный бочонок с выстоялкою. Отец Нил, прочитавши *Отче наш* и *Ядят узози и насытятся*, поблагословил ястие и питье сие и сел за стол. Его примеру, перекрестясь, последовали и другие (окроме Марты и Лукии) и молча начали воздавать кесарево кесареви.

После обеда отец Нил и весь причет церковный вышли в сад и сели на траве под старую грушею около криницы. И отец Нил отверз уста своя, в притчах глаголя. И чего он тут не глаголал: и о Симеоне Столпнике, и о Марии Египетской, и о страшном суде, и только было начал *О толсте сердце их*, а тут явилася Лукия с ковром, а Марта со стеклянным бочоночком, только уже налитым не выстоялкою, а сливянкою.

Отец Нил, увидя их, воскликнул:

— Хвалите, отроци, господа! И господиню, — прибавил он, ласково улыбаяся Марте.

Лукия между тем разостлала ковер, а Марта поставила на него *барыльце* с сливянкою и, поклонившись, просила: — Батюшка, благословить. — Батюшка, возвыся глас свой и осеняя *барыло* крестным знамением, возгласил:

— Изыди из тебе душе нечистый и вселися в тебе сила Христова и яви чудеса миру.

В это время старый Яким подошел к ним, держа в руках на малёванной тарелке свежие большие яблоки. Отец Нил, увидя яблоки, сказал:

— Благ муж щедряя и дая! Только скажите вы мне, бога ради, Якиме, каким образом вы их сохранили?

— А вот как покушаете, то тогда и скажу, — говорил Яким, ставя яблоки на ковер.

— Хорошо, и покушаемо. Да где наш новый школяр? Пускай бы он нас хоть сливянкою попотчевал, — говорил отец Нил, протягивая руку к яблоку. В минуту Лукия привела в сад и Марка.

— А ну-ка, новый школяру! — говорил Яким, смеясь, — попотчуй батюшку сливянкою, а воны тебе когда-нибудь березовою ка-

шею попотчуют.

— Корень учения горек! — весьма кстати проговорил отец Нил.

Лукия взяла бочонок, а Марко рюмку и стали потчевать гостей. Когда поднес Марко рюмку отцу диакону, то тот, принимая рюмку, проговорил:

— Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд!

— Та блуд-таки, блуд! — скороговоркою сказала Марта, — а вы, отче Елисею, выпейте еще одну рюмочку нашей сльвяночки. — Что отец Елисей и исполнил.

Сидели они под грушею до самого вечера и слушали отца Нила. А отец Нил договорился до того, что начал выговаривать вместо *пророк Давид* — *пророк Демид*, а потом все духовенство запело хором: *О всепетую мати, потом Богом избранную мати, деву отроковицу*, а потом *О, горе мне, грешнику суцу*. Тут уже и Яким не утерпел, подтянул-таки тихонько басом.

— Эх, если бы тимпан и органы или хоч гусли доброгласны! — воскликнул отец Нил. — О, тут бы мы воскликнули господев!

А что, не послать ли нам за гусями?

— Послать! Послать! — закричали все в один голос.

— А послать, так и послать, — говорил Яким. — Лукие, скажи Сыдорови, нехай коней запрягае, я сам пойду. А тым часом, отче Ниле, прошу до госпбды. И вы, отец Елисей, и вы, и вы, — сказал он, обращаясь к причетникам. — На дворе и темно и холодно.

И компания отправилась в хату, а что там было в хате, бог его знает. Знаю только, что Яким за гусями не поехал.

Клепальное воскресенье продлилося до вторника. Во вторник, уже *поснидавши*, гости поехали домой, а Яким и Марта, провожая их, [всё] жалкувалы, что они не остались еще на *годыночку*, то есть на два дня.

В следующее воскресенье рано поутру одели Марка в самый лучший его жупан, засунули ему *граматку* за пазуху, посадили его на повозку и повезли в село, якобы до *церквы*. Обманули бедного Марка, — они повезли его в школу.

Лукия хотя и не плакала при расставанье с

сыном, но ей все-таки жаль было расставаться с ним.

Грустно, неохотно расставалась Лукия со своим сыном, со своею единою утехой, но она не останавливала, не отговаривала, как это делала старая Марта. Марта сквозь слезы выговаривала Якиму:

— Ну, скажи! Скажи ты мне, где ты видел, чтоб из школы добро вышло? Так, выйдет какой-нибудь пьянычка, а может еще и вор, боже обороны; от только дытыну испортят.

— Замолчи ты, пока я не рассердился! — говорил Яким, надевая на Марка сверх жупанка новую свитку.

— Ну куда ты его кутаешь?

— Куда? В дорогу! Ведь он там останется, так не возыть же за ным свыту.

Так снаряжали Марка в далекую дорогу. Лукия молча смотрела на все это и, слушая доводы Марты, почти соглашалась с нею. Но когда Яким, помоляся богу и выходя из хаты, сказал: «Учение — свет, а неучение — тьма», то Лукия вполне с ним согласилась, говоря:

— По крайней мере выучится хоть богу помолиться.

И, проводя их за ворота, долго стояла она и смотрела вслед удалявшейся повозке. А когда повозка скрылась, она перекрестила воздух в ту сторону и, возвращался в хату, говорила:

— Пошли тебе господи благодать свою святую.

Вечеру Марта рассказывала Лукии про Марка, что он, бедный, плакал, когда прощался с ними, и что он будет жить у отца Нила, а в школу только учиться будет ходить, и что она нарочно заходила в школу, чтобы посмотреть, где он будет учиться.

— Пустка! Совершенная пустка! — говорила она. — Так что страшно одной зайти было, а школяры такие желтые, бледные, как будто с креста сняты, сердечные. А под лавою все розги, все розги да такие колючие! Бог их знает, где они их берут. Настоящая шипшина. А на стене, около самого образа, — тройчатка, настоящая дротянка, да, я думаю, она-таки из дроту и сплетена. А дьяк такой сердитый! аж страшно смотреть. Я, правда, дала ему копу, знаешь, чтобы он не очень силовал Марка, хоть на первые дни. Надо будет еще чего-ни-

будь послать ему, я думаю, хоть полотна на штаны та на сорочку, — а то замучит бедную дытыну. Чи не понесла б ты ему, Лукия, хоть даже завтра, а то я боюсь: убье, занивечить сердечного Марочка.

— Добре, я понесу, — сказала Лукия, — та и сама посмотрю на ту школу.

— Посмотришь, посмотришь! Ты вот еще что: учыны к завтраму паляныци. Я думаю и паляныць зо дви послать Маркови, а то воно, бедное, хоть и обедает у попа, да какой там у них обед! Я думаю, всегда голодное.

Назавтра Лукия отправилась в село с паляницами и со свертком полотна. Она не зашла к отцу Нилу, а прямо прошла в школу. Дьяк встретил ее совсем не сердитый, и школа не была похожа на пустку: хата как хата, только что школяры сидят да читают, кто во что горазд. И Марко ее тут же меж школярами сидит и тоже читает. Она, когда увидела его читающего, то чуть было не заплакала. «Как оно, бедное, скоро научилося», — подумала она и посмотрела под лаву — под лавою ни одной розги не видно было. Посмотрела на

образа — около образов тройчатки тоже не видать. Она, отдавши дьякови посильное приношение, спросила его, можно ли ей повидаться с таким-то Марком?

— Можна, можна! Чому не можна? — говорив дьяк с важностию и, подойдя к новобранцу (как он называл Марка), сказал ему:

— Ты, Марку, сегодня учился хорошо, а по-сему и гулять остаток дня можешь, иди с миром домой.

Марко сложил азбучку, положил ее за пазуху и встал со скамейки; обернулся, увидел свою наймичку и заплакал. Лукия тоже чуть не заплакала. Она взяла его за руку и, простясь с дьяком, вышла из школы. Вышедши из школы, она утерла слезы у Марка рукавом своим, потом сама заплакала, и пошли они тихонько к хате отца Нила.

Такие приношения делала она дьяку и Марку каждую неделю, а в воскресенье Марта само собою привозила дьячку и копу грошей, или меду, или кусок сала, или что-нибудь тому подобное.

Месяца через два, с божиею помощию, Марко одолел букварь до самого *Иже хоцет*

спастися. По обычаю древнему нужно бы кашу варить^{31}, о чем было дано знать заблаговременно на хутор. Варивши кашу, Марта положила в нее шесть пятак, а Лукия, когда Марта отвернулася, бросила в кашу гривенник.

Когда каша была готова, Лукия понесла ее в село к отцу Нилу. А от отца Нила Марко понес ее в школу, в ручнике, вышитом Лукиею. Принесши кашу в школу, он поставил ее доли, ручник преподнес учителю, а до каши просил товарищей. Товарищи, разумеется, не заставили повторять просьбы, уселися вокруг горшка, а Марко взял тройчатку, стал над ними, и пошла потеха: Марко немилосердно бил всякого, кто хоть крошку ронял дорогой каши на пол.

Кончивши кашу, Марко тройчаткою погнал товарищей *до воды*, а пригнавши от воды, принялися *громадою* горшок бить. Разбили горшок, и учитель распустил их всех по домам в знак торжественного сего события.

После описанной церемонии Марко был отпущен на родину, то есть на хутор, отдохнуть недели две после граматки. Но вместо

отдыха он встретил новые, непредвиденные им труды: Яким, в присутствии Марты и Лукин, заставлял его прочитывать каждый день всю граматку от доски до доски и даже *Иже хочет спастися*.

— Да для чего это уже *Иже хочет спастися* ты заставляешь его читать? — говорила Марта. — Он его не учился, то и читать не нужно.

— Ты, Марто, человек неграмотный, то и не мешалась бы не в свое дело, — говорил обыкновенно Яким. — Мы-то знаем, что делаем.

Марко под конец второй недели готов был бежать из родительского дома в школу. В школе ожидали его ровесники-товарищи, а дома кто ему товарищ? Правда, оно и в школе не тепло, но все-таки лучше, нежели дома.

По прошествии двух недель снабдили Марка всяким добром удобосъедаемым и, вдобавок, часословом, принесенным Мартою в то лето из Киева, и отправили в школу.

В великом посту, когда говели Яким и Марта, то Марко уже посередине церкви читал большое повечерие, к неопisanному восторгу

стариков. Выходя из церкви, Яким погладил по голове Марка и дал ему гривну меди на бублики, сказавши:

— Учись, учися, Марку. Науку не носят за плечима.

А Марта дома Лукии чудеса про Марка рассказывала. Она говорила, что дьяк просто дурень в сравнении с Марком, что Марко вскоре и самого отца Нила за пояс *заткне*, разве только что на гусях не будет играть, да это ему и не нужно.

— Да что же это он, да как же это он там читает? — обыкновенно спрашивала Лукия.

— А так читает, что хоть бы и самому дьяку, так не стыдно. Да, я думаю, дьяк и заставляет читать все такое, чего сам прочитать не в силах. Я думаю, что так.

Лукия с нетерпением ожидала шестой недели поста, в которую собиралась говеть. Наконец, дождалась и, наконец, услышала читающего Марка — и уже не одну *Нескверную, неблазную*, а и *полунощницу* и даже *часы*.

Велика была ее сердечная радость, когда она, выходя из церкви, слышала такие слова:

— Какой хороший школяр! Да как он пре-

красно читает, точно пташка какая щебечет. Наделил же господь добрых людей такую дытыною!

Такие и им подобные слова слушала Лукия всякий раз при выходе из церкви. За то Марко и возмездие получал немалое: он в продолжение недели всю школу кормил бубликами.

Марко быстро двигался на поприще образования, так что к концу другого года, к удивлению всех, в особенности учителя, он прошел всю псалтырь, даже с молитвами. А чтением кафизм в церкви приобрел общую известность и похвалу всего села, так что уже на что Денис Посяда, который никого не хвалил, и тот, бывало, выходя из церкви, скажет:

— Ничого сказать, славный школяр; прекрасно читает.

Долго толковали между собою отец Нил с Якимом, учить ли Марка писать или так и кончить на псалтыре. С домашними Яким не входил в рассуждение по поводу этого предмета. Он знал наверно, что в Марте первой: он встретил бы оппозицию, а потому и молчал благоразумно. А по зрелом рассуждении с

отцом Нилом решил, чтобы Марка учить писать.

Хитрость книжная, можно сказать, далася нашему Марку, да и хитрость скорописца не отвернулася от него. В полгода с небольшим он постиг все тайны каллиграфии и так, бывало, выведет букву ферт, что сам учитель только плечами двинет, и больше ничего. Но кого он больше всех восхищал своею тростию скорописца, так это старого Якима. Он ему при всяком удобном случае писал послания, надписывая на конверте, что такой-то и такой губернии, такого-то и такого повета, на благополучный хутор такой-то, жителю Якиму, Миронову сыну, такому-то. Старик был в восторге, получа такое письмо от своего сына из школы.

— Вот оно что значит просвещенный человек, — говорил он, бывало, Марте и Лукии, держа письмо в руках, которого он, конечно, не понимал, потому что читал только печатное. — Я вот и не был в селе, а знаю, что там творится. А вы, бабы, ну, скажите, что вы знаете? Вот то-то и есть! А я так знаю. Вчера отец Нил на гусях играл *Иисусе мой прелюбезный,*

а матушка Якилына с прочими мироносыцями ему подтягивали. Вот что!

— Ну, та ты из своего письма наговоришь, то и груши на верби растут, — говорила обыкновенно Марта.

— Что ж, когда не веришь, то на, возьми, прочитай. — И он ей подавал письмо.

— Читай уже ты один, а мы и так себе останемся. И Яким, бывало, через пятое-десятое по складам прочитает им:

«Любезнейшие и драгоценнейшие родители! Я, слава всевышнему, жив и здоров, чего и вам желаю. Единородный сын ваш Марко Гирло».

— Только то и было? — спрашивала Марта.

— А тебе чего еще хочется? — отвечал, смеясь, Яким.

— А как же там батюшка с матушкою, говорил ты, что в письме написано.

— А дзусь вам знать, цокотухи! — И при этом он клал письмо за образ.

Смеючися, пролетали годы над хутором. Марко выросстал, делался юношею, и каким юношею! Просто чудо! Бывало, сельские красавицы не налюбуются на Марка Гирла. Шко-

лу он оставил вот по какому случаю. Однажды Марта, возвратясь из Киева, занемогла да, прохворавши семь недель, и богу душу отдала. Долго плакал старый Яким и, плачучи, поселился, наконец, в своей пасеке. Надо было для утехи старика взять из школы Марка. Лукия так и сделала. «Пускай себе, — думала она, — чего не доучилось в школе, доучится дома. А старику, бедному, все-таки будет розвага. А то и он умрет, бедный, с тоски та с горя».

И в воскресенье, рассчитавшись с дьячком и отцом Нилом, привезла Марка на хутор. Обрадовался, ожил Яким, увидя перед собою существо, которое одно только и привязывало его к жизни.

До прибытия Марка из школы старый Яким был похож на Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны, с тою разницею, что в доме и вообще в хозяйстве не было заметно того печального запустения, какое было видно в доме Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны, потому что у него осталась Лукия.

Бывало, сидит бедный старик в пасеке

несколько часов сряду, головы не подымая, только вздохнет и утрет машинально слезу, скатившуюся на седые усы, вздохнет опять и опять заплачет. И так просиживал он до тех пор, пока Лукия приходила звать его обедать. Тогда молча вставал он и шел за Лукиею в хату. Она заводила с ним речь о хозяйстве, о чумаках, о пчелах, о яблоках, но он отвечал только *да* или *нет*. Однажды она ему сказала:

— Вы бы взяли хоть псалтырь прочитали за ее грешную душу, и вам бы легче стало.

Яким молча с полки достал псалтырь и пошел в сад (Марта была похоронена в саду между старыми липами), остановился над могилою Марты, раскрыл книгу, перекрестился и начал читать *Блажен муж*. Когда же дочитал до *Славы* и начал читать *Со святыми упокой*, то не мог проговорить «рабу твою Марту». Залился старик слезами, и книга из рук упала на могилу.

Так-то время и уединение связывают простосердечных людей друг с другом.

Благословенно и время и уединение, простосердечные люди!

Яким с каждым днем оживал более и бо-

лее. Луккия угождала и ухаживала за ним, как за малым ребенком, а Марко, несмотря на его юность (и, как Гоголь говорит, юркость), не отставал от него ни на минуту. Он уже знал, что он не родной его сын, и в глубине молодой души своей чувствовал все благо, сделанное ему чужими добрыми людьми. Он иногда задумывался и спрашивал себя: «Кто же мой отец? и кто моя мать?» — и, разумеется, оставался без ответа.

Каждую субботу с утра до обеда читал он псалтырь над могилою Марты, а Яким, стоя около него, молился и плакал и, плачучи, шептал иногда:

— Кто же бы за твою душу теперь псалтырь прочитал, если б мы его не отдавали в школу? Читай, сыну! Читай, моя дытыно! Она с того света услышит и спасибо тебе скажет. Душа ее праведная по мытарствах теперь ходит, — и старик снова заливался слезами.

А между тем Марку пошел уже двадцатый год. Пора ему уже была и вечерницы посетить, посмотреть, что и там делается. Дождавшись осени, он это и сделал, и так удачно, что

после первого посещения вечерниц, возвращаясь домой, стал у Якима просить благословения на женитьбу.

— Вот тебе и на! — сказал Яким, выслушавши его. — Я думал, что он все еще школяр, а он уже во куда лезет! Рано, рано, сыну! Ты сначала погуляй, попарубкуй немного, почумакуй, привезы мени гостинець з Крыму або з Дону. А то — ну сам ты скажи, какая за тебя, безусого, выйде. Разве какая бессережная! А вот спросим у Лукии, — я думаю, и она скажет, что еще рано.

Спросили у Лукии, и она сказала, что рано. Марко наш и нос повесил. А между тем ночевать стал ходить в клуню: в хате ему, видите, стало душно.

— Знаю я, чего тебе душно! — говорил, улыбаясь, старый Яким. А Лукия ничего не говорила, только по целым ночам молилась богу, чтобы бог сохранил его от всякого скверного дела от всякого нечистого соблазна. Однажды после обеда, когда Яким отдыхал, она вызвала Марка в другую хату и ласково спросила у него:

— Скажи мне, Марку, по истинной правде,

кого ты полюбил? На ком ты думаешь жениться?

Марко расписал ей свою красавицу, как и все любовники расписывают. Что она и такая, и такая, и красавица, и раскрасавица, что лучше ее и во всем мире нет. Лукия с умилением слушала своего сына и сказала, наконец:

— Верю, что краше ее во всем мире нет. А скажи ты мне, какого она роду? Кто отец ее и кто такая мать? Что они за люди и как они с людьми живут?

— Честного она и богатого роду!

— Богатства тебе не нужно, ты и сам, слава богу, богатый. А скажи ты мне, любишь ли ты ее?

— Как свою душу! Как святого бога на небесах!

— Ну, Марку, я тебе верю. Ты ее любишь, а когда любишь, то ты ей зла не сделаешь. Смотри, Марку! Сохрани тебя мать господняя, если ты ее погубишь! Не будет тебе прощения ни от бога, ни от добрых людей!

— Как же я погублю ее, скажи ты мне, когда я ее люблю?

— Как погубишь?.. Дай господи, чтобы ты и не знал, как вы нас губите, как мы сами себя губим!

— Лукие, ты давно у нас живешь, скажи мне, не знаешь ли ты, кто такая моя маты?

Лукия при этом неожиданном вопросе затрепетала и не могла ответить ни слова.

— Скажи мне! Скажи, ты, верно, знаешь? Лукия едва ответила:

— Не знаю!

— Знаешь! Ей-богу, знаешь! Скажи мне, моя голубко, моя матынка! — и он схватил ее за руки.

— Марта, — отвечала Лукия тихо.

— Ни, не Марта, я знаю, что не Марта! Я знаю, что я байстрюк, подкидыш!

Лукия схватила его за руку, сказавши:

— Молчи! кто-то идет! — и вышла быстро из хаты.

«Она, верно, знает», — подумал Марко и вышел вслед за нею.

Дождавшись весны, Яким поручил все хозяйство Лукии, а сам, по обещанию, поехал в Киев, взяв и Марка с собою.

Лукия не пропускала ни одного воскресения

нья, чтобы не побывать в селе, и после обеда ни всегда заходила к матушке и после обеда долго с нею беседовала наедине. Она расспрашивала попадью о своей будущей невестке и узнала, что она честного и хорошего роду и что про нее дурной славы не слыхать. Наконец, она через попадью и сама с нею познакомилась и увидела, что сын и попадья говорят правду.

Через месяц Яким с Марком возвратились на хутор и навезли разных дорогих гостинцев своей наймичке. А для себя привезли, кроме синего сукна и китайки, *Ефрема Сирина* и *Житие святых отец* за весь год.

Дни летние и длинные вечера осенние Марко читал святые книги, а Яким слушал и обновлялся духом. Он пришел в свое нормальное положение, подчас не прочь был послушать, как отец Нил играет на гусях и как отец диакон поет *Всякому городу нрав и права* ^{32} и прочее такое. Только всегда приговаривал:

— Ох, якбы теперь со мною была Марта! Дали б мы себе знать! — И после этого всегда старик задумывался, а часто и плакал, гово-

ря: — Сырота я! Сыротою так и в домовыну ляжу. Марко? Так что ж Марко! Звычайне не чужий! Оженю его, непременно оженю после покровы⁽³³⁾, а летом пускай сходит в дорогу, та привезе мени з Крыму сыву шапку, таку сыву, как моя голова.

А Марко, прочитавши житие какого-нибудь святого, отправлялся в клуню ночевать, то есть в село к своей возлюбленной.

А Лукія, уложивши спать старого Якима, молилася до полуночи богу, чтобы охранял он ее сына от всякого зла.

Весною, снарядивши новые возы, новые мережаные *ярма, притыки, лушни и занозы*, Яким отправил своего Марка чумаковать на Дон за рыбою.

— Иди ж, мой сыну! — говорил он, — та везы своей молодой подарки. После покровы, даст бог, мы вас и скрутымо.

Марко с горем пополам отправился на Дон за рыбою. А Лукія, взявши котомку на плечи, пошла в Киев помолиться святым угодникам о благополучном возвращении сына с дороги. Яким один остался на господи. Он, распоря-

дившись весенними работами, вынул пчел из погребца, расставил их как следует по пасеке, взял *Ефрема Сирина* и поселился на все лето в пасеке.

А Лукия, между тем, пришла в Киев, стала у какой-то мещанки на квартире и, чтоб не платить ей денег за квартиру и за харч, взялась ей носить воду для домашнего обиходу. В полдень она носила воду из Днепра, а поутру и ввечеру ходила по церквам святым и пещерам. Отговевшись и причастившись святых тайн, она на сбереженные деньги купила небольшой образок святого гробокопателя Марка, колечко у Варвары великомученицы и шапочку Ивана многострадального. Уложивши все это в котомочку и простившись со своею хозяйкою, она возвращалась домой. Только не доходя уже [до] Прилук, именно в Дубовому Гаю, занемогла *пропасницею*. Кое-как доплелася она до Ромна, а из Ромен должна была нанять подводу до хутора, потому что уже не в силах была идти. А она хотела зайти в Густыню^[34], в то время только возобновлявшуюся, и не удалось ей, бедной.

Испугался старый Яким, когда ее увидел.

— Исхудала, постарела, как будто с креста снятая, — говорил он. — Чи не послать нам за знахаркою? — спрашивал ее Яким.

— Пошлить, бо я страх нездужаю.

И Яким не послал, а сам поехал в село и привез знахарку. Знахарка лечила ее месяц-другой и не помогала.

Во времена самой нежной моей юности (мне было тогда тринадцать лет) я чумаковал тогда с покойником отцом. Выезжали мы из Гуляйполя, я сидел на возе и смотрел не на Новомиргород, лежащий в долине над Тикичем, а на степь, лежащую за Тикичем. Смотрел и думал (а что я тогда думал, то разгадает только один бог). Вот мы взяли соб, перешли вброд Тикич, поднялись на гору. Смотрю. — опять степь, степь широкая, беспредельная, только чуть мреет влево что-то похожее на лесок. Я спрашиваю у отца: что это видно?

— Девятая рота, — отвечает он мне. Но для меня этого не довольно. Я думаю: «Что это — девятая рота?»

Степь, и все степь.

Наконец, мы остановились ночевать в Ди-

довой Балке.

На другой день та же степь и те же детские думы.

— А вот и Елисавет⁽³⁵⁾! — сказал отец.

— Где? — спросил я.

— Вон на горе цыганские шатры белеют.

К половине дня мы приехали в Грузовку, а на другой день поутру уже в самый Елисавет.

Грустно мне, печально мне вспоминать теперь мою молодость, мою юность, мое детство беззаботное! Грустно мне вспоминать теперь те степи широкие, беспредельные, которые я тогда видел и которых уже не увижу никогда.

Побывавши в Таганроге и Ростове, Марко со своими чумаками вышел в степь, и не почтовым шляхом, *прямувалы* чумаки через Орель на Старые Санжары. В Санжарах, переправившись через Ворсклу, задали чумаки пир добрым людям. Купили три *цебра* вина, *найняли троисту музыку*⁽³⁶⁾, та и понесли вино перед музыкантами. Кого встретят, пан ли это, мужик ли, все равно: «Стой, пый горилку!» Музыка играет, а чумаки все до одного танцуют.

С таким-то торжеством прошел Марко через Санжары.

В Белоцерковке повторилось то же, а в Миргороде, хоть и не было переправы, чумаки-таки сделали свое.

— Хорол хоть и не велька ричка, а все-таки, — говорили они, — треба свято одбуты. — И *одбулы* свято. В Миргороде они взяли уже не четыре цебра вина, а бочку, и весь город *покотом* положили, а о музыкантах и танцах и говорить нечего.

Из Миргорода с божиєю помощью вышли на Ромодан.

Вышедши на Ромодан и попасши волов, чумаки потянулись по Ромодану на Ромны.

*Идуть собі чумаченьки
Та йдучи співають.^{37}*

— Что же ты, Марку, что же ты не поешь с товарищами-чумаками?

— А вот почему я не пою с товарищами-чумаками:

*Покинул я дома молодую девушку.
Что теперь сталося с нею?*

*Везу я ей с Дону парчи, аксамиту,
всего дорогого.*

*А она, быть может, моя моло-
дая, вышла за другого.*

И чем ближе они подходили к корчме, от которой ему поворотить надо вправо, тем он грустнее становился.

— Что это мне эта наймичка не идет с ума? А може, вона скаже, — прибавлял он в раздумье.

Минули Лохвицу, пришли и до корчмы. Попрощался Марко со своими товарищами-чумаками, как следует подякував их за науку, и поворотил себе на хутор со своими возами.

Путь невелик, всего, может быть, пять верст, но он остановился со своею валкою ночевать в поле. Наймиты себе ночуют в поле около волов и возов, а он побежал к своей возлюбленной.

*Сердце мое! Доле моя!
Моя Катерино! — {38}*

сказал он ей, когда она вышла в вишник. Он много говорил ей подобных речей, гово-

рил потому, что не знал, что делается дома.

А дома делалось вот что.

Знахарка довела своими лекарствами бедную Лукию до того, что Яким просил отца Никола с причетом отправить над нею маслосвятие. После этого духовного лекарства Лукии сделалось лучше. Она начала по крайней мере говорить. И первое слово, что она сказала, это был вопрос:

— Что, не пришел еще?

— Кто такой? — спросил Яким.

— Марко, — едва прошептала она.

К вечеру ей стало лучше, и она просила Якима постлать постель на полу. Когда перенесли ее на пол, то она показала знаком Яким, чтобы он сел около нее. Яким сел, и она ему шепотом сказала:

— Я не дождуся его, умру. У меня есть гроши, — отдаете ему. Вся плата, что я от вас брала, у меня спрятана в коморе, на горыщи, под соломяним желобом. Отдайте ему, — я для него их прятала. Та отдайте ему еще образок Марка, святого гробокопателя, что я при несла из Киева, а молодой его, когда пойдут венчаться, отдайте перстень святой Варвары, а

себе, мой тату, возьмите шапочку святого Ивана.

И, помолчавши, она сказала:

— Ох, мне становится трудно. Я не дождусь его, умру. А он должен быть близко. Я его вижу. — И, помолчав, спросила: — Еще далеко до света?

— Третьи петухи только что пропели, — ответил Яким.

— Дай-то мне, господи, до утра дожить, хоть взглянуть на него. Он поутру приедет.

И в ту ночь, когда она исповедовалась Якиму, Марко целовал свою нареченную, стоя с нею под калиною, и говорил ей сладкие, задушевные, упоительные юношеские речи. Замокчал и долго молча смотрел на нее и только целовал ее прекрасные карие очи.

Пропели третьи петухи. Вскоре начала занимать заря.

— До завтра, мое сердце единое! — сказал Марко, целуя свою невесту.

— До завтра, мий голубе сызый! — и они расстались.

— Иде, иде, — шептала больная, когда взошло солнце. — О, чуєте, ворота скрипнули. —

Яким вышел из хаты и встретил Марка с чумаками, входящего во двор.

— Иды швыдче в хату! — сказал обрадованный Яким Марку. — Я тут и без тебе лад дам.

Марко вошел в хату. Больная, увидя его, вздрогнула, приподнялася и протянула к нему руки, говоря:

— Сыну мой! Моя дытыно! Иды, иды до мене! Марко подошел к ней.

— Сядь, сядь коло мене. Нагны меии свою голову.

Марко молча повиновался. Она охватила его кудрявую голову исхудалыми руками и шептала ему на ухо:

— Просты! Просты мене! Я., я... я твоя маты.

Когда Яким возвратился в хату, то увидел, что Марко, плача, целовал ноги уже умершей наймички.

*25 февраля 1844,
Переяслав.*

Варнак^{39}

Есть в нашем русском православном огромном царстве небольшая благодатная земля^{40}, такая небольшая, что может вместить в себе по крайней мере четыре немецких царства и Францию впридачу. А обитают в этой небольшой земле разноязычные народы и, между прочим, народ русский и самый православный. И этот-то народ русский не пашет и не сеет совершенно ничего, кроме дынь и арбузов; а хлеб ест белый, пшеничный, называемый по-ихнему калаци, и воспевает свою славную реку, называя ее кормилицей своей, золотым дном с берегами серебряными.

Грустно видеть грязь и нищету на земле скудной, бесплодной, где человек борется с неблагоприятною почвой и падает, наконец, изнеможенный под тяжестью труда и нищеты. Грустно, невыразимо грустно!

Каково же видеть ту же самую безобразную нищету в стране, текущей млеком и медом, как, например, в этой земле благодатной? Отвратительно! А еще отвратительнее встретить между этой ленивой нищеты оби-

лие и при обилии отвратительную грязь и невежество!

А в этой стране благословенной это встречается не редко, а даже очень часто.

Какие же могут быть причины нищеты в краю, текущем млеком и медом?

На сей важный политико-экономический вопрос я на досуге напишу четырехтомный нравоописательно-исторический роман, в котором потщуся изобразить с микроскопическими подробностями нравы, обычаи и историю сего архиправославного народа.

А пока созреет этот знаменитый роман в моей многоумной голове, я расскажу вам вот что.

Есть в этой благодатной стране, неглубоко под землю, огромная глыба соли, а на этой глыбе соли построена небольшая крепостца, называемая в простонародии Соляной Защитой^{41}.

Обстоятельства заставили меня побывать однажды в этой Соляной защите.

В первое воскресенье моего там пребывания увидел я в церкви старика, совершенно седого, но еще довольно свежего и необычно-

венно выразительной и благородной физиономии.

Он в церкви исправлял должность причетника, ставил свечи перед образами, снимал со свечей, гасил догоревшие и в конце обедни ходил с кошельком вместо церковного старосты.

Его величавая наружность меня поразила. Огромный рост, седая длинная волнистая борода, такие же белые густые вьющиеся волосы, темные густые брови. Лицо правильное, чистое, с легким румянцем на щеках, как у юноши, словом, он мог бы быть прекрасной моделью для Моисея боговидца^{42} или для гомеровского Нестора^{43}.

Пленившись симпатически старческой прелестью этого почтенного мужа, я, выходя из церкви, спросил у хромого инвалида, кто такой этот почтенный старец, что снимал со свечей перед образами.

Инвалид отвечал мне довольно лаконично: «Это, батюшка, бывший варнак, а теперь здешний посельщик, добрейшей души человек».

После этого ответа я остановился около

церкви и провожал глазами заинтересовавшего меня старика. И чем более смотрел я на него, тем менее находил я в нем сходства с варнаком.

Однакож инвалид не мог сказать зря такого слова!

Я вспомнил, что прежде здесь добывалась соль арестантами и что многие из них, кончивши свой тяжкий термин, были поселены тут же, смотря по нравственности.

Но неужели такая благородная наружность могла принадлежать преступнику?

И я решился узнать подробнее о прошлом этого замечательного наружностью старика.

В продолжение недели я узнал, что он действительно здешний поселенец, и что человек испытанной честности, и человек, хотя и не богатый, но и не бедный, живет в своем собственном домике, хотя и небольшом, но живет так, как дай бог и в хоромах бы жили: чисто, сытно и честно; имеет он у себя человек десять работников, хотя из киргиз^{44}, но дай бог, чтобы и русские так работали, как эти полудикари; и что на будущий год его непременно выберут церковным старостой за

его добродетели, и так далее.

Я решился познакомиться с ним лично и при благоприятном случае узнать точнее его прошлую жизнь, и если найду в ней что-либо нравственное, назидательное или по крайней мере занимательное, то запишу все это, предам тиснению, назидания или увеселения ради.

Случалось ли вам встречать старика такой почтенной, благородной наружности, что невольно снимешь шапку и поклонисься ему?

Со мной это часто случалось. Однажды встретил я его, идущего от вечерни, и невольно ему поклонился. Он мне вежливо ответил поклоном и спросил:

— Вы, кажется, нездешний? Я вас не встречал здесь прежде.

— Вы не ошиблись: я действительно недавно приехал в вашу Защиту.

— А позвольте спросить, издалека ли?

Я сказал ему место моей родины.

Старик мне судорожно подал руку, которую я чуть-чуть не поцеловал.

— Вы земляк мой! — сказал он грустно. —

Давно ли вы оставили нашу прекрасную родину?

— Не более года, — отвечал я.

— Какой вы счастливец! Вы так недавно видели наш богом благословенный край! А я вот уже лет тридцать с лишком не видал его! Что-то там теперь делается?

И у старика навернулись слезы.

— Ежели досуг вам, — сказал он, — то не побрезгуйте мною, посетите меня, пусть я хоть посмотрю на вас, на земляка моего! Будьте добры и ласковы, не откажите мне!

Я, разумеется, был рад такому предложению.

И через несколько минут мы подошли к небольшому беленькому домику, соломой крытому; наружность его мне напоминала Малороссию.

У ворот встретила нас пожилая женщина в малороссийском платье и приветствовала нас добрым вечером.

— Добрый вечер, Мотре! Прошу покорно в нашу хату, — сказал он, обращаясь ко мне. — Здесь, видите, неподалеку живут земляки наши курские и харьковские, так я и

взял себе в работницы землячку, — оно все как-то лучше.

Говоря это, он ввел меня в свою хату.

Внутренность хаты, как и наружность ее, напоминала Малороссию. Стены вымазаны белой, а пол желтой глиной и усыпан ароматными травами; вокруг стен чистые широкие дубовые *лавы*, а перед образом всех скорбящих матери теплилась лампада и стоял наполь, покрытый чистым, белым с широкою бахромою полотенцем. На налое лежала книга, с виду похожая на псалтырь *in quarto*.

— Прошу, садитесь, дорогой мой гость!

Я сел и стал внимательно рассматривать комнату, или, лучше сказать, любоваться ею.

Везде, во всем виден был порядок доброго хозяина и заботливость хозяйки, все было чисто и привлекательно. Комната была разделена на две половины узкою, длинною печкою вместо перегородки, а печка украшена лепными арабесками домашнего художества (такие печи можно видеть на Волыни и Подолии). В углу перед образами стоял стол, покрытый бухарским ковром и сверху белой скатертью; на столе лежал ржаной хлеб, впо-

ловину покрытый тонким белым полотенцем, вышитым разными цветными шелками, около хлеба стояла фаянсовая солонка с белой, как рафинад, солью, и тут же, на другом конце стола, лежала большая книга, вроде четьи-минеи⁽⁴⁵⁾, в красном сафьянном переплете, с золотыми, вытиснутыми и почерневшими от времени украшениями. Это была библия (как я после узнал) — изящное киевское издание 1743 года с высокопарным посвящением гетману Разумовскому⁽⁴⁶⁾ (издание весьма редкое). Между окнами на стене висел в позолоченной рамке эстамп, выгравированный Миллером с картины Доменикино Цампиери⁽⁴⁷⁾, изображающий Иоанна Богослова. Около двери, в углу, стоял посох степного дерева *джигилу* и тут же, около посоха, на гвозде висели кандалы.

Старик в продолжение этого времени хозяйничал вне хаты и возвратился в хату в то самое время, когда я смотрел на кандалы.

— Что, земляк, любишься на мой трофей? Тяжкий трофей! Я завоевал его многолетним преступлением и принес его сюда на ногах своих из самого Житомира. Здесь носил я его

двадцать лет, и теперь еще казнюся им, и буду казниться и исповедовать ему грехи свои до гробовой доски!

Все это было сказано таким грустным, потрясающим душу голосом, что я не мог сказать слова утешительного бедному старику и сидел молча, пока он сам не заговорил.

— Прости мне, старому грешнику, земляк, я возмутил твою душу своим нечистым воспоминанием! Что делать? Против воли рвется на язык! Я держу у себя этот проклятый знак человеческого унижения для казни собственной души. Но оставим в покое прошлое, а поговорим лучше о чем-нибудь другом. Расскажи мне, друже мой, что-нибудь о нашей прекрасной Волыни и Подолии!

Но я совершенно не мог ни о чем говорить и вскоре простился с ним.

Он меня не удерживал, просил только навещать его, как время позволит.

Мне время позволяло, и я посещал его почти ежедневно. И часто мы с ним заговаривались до полуночи, и всякий раз я открывал в нем новые добродетели, новые достоинства. Он был образован, как любой аристократ того

времени, с тою разницею, что любил читать, и в особенности итальянских поэтов — Боккаччио^{48}, Ариосто^{49}, Тасса^{50}. А «Божественную комедию»^{51} он наизусть читал.

— Давно я уже ничего не читаю, — сказал он мне однажды, — кроме этой божественной книги! Да и к чему теперь читать? Было время, читал, восхищался дивными созданиями прекрасного искусства! Теперь довольно, я состарился, огрубел, я ничему уже не могу сочувствовать, как бывало когда-то! Да и к чему, правду сказать, послужило мне чтение? Мои чистые, молодые сочувствия? Что я из них сделал? Или, лучше сказать, что люди из них сделали? Грех! И бесконечное горе! Если б я не читал ничего, не увлекался ничем, не то бы из меня было: был бы я себе простым пахарем, добрым человеком... А теперь что я?

Мы с ним каждый вечер делались откровеннее и откровеннее.

Однажды я навел его на мысль, чтобы он мне поверил свое горе, чтобы рассказал мне про свои прежние, молодые лета.

Он долго как бы не хотел меня понять, ему неприятно, горько было вспоминать свое про-

шедшее, и однажды сказал он мне:

— Друже мой! Ты хочешь моей исповеди! Ты желаешь знать мою прошлую бесталанную жизнь? Тяжело будет слушать тебе, друже мой добрый, потому что прошлая жизнь моя исполнена греха и беззакония. А настоящая, как ты сам видишь, — немощь и одиночество вдали от моей [прекрасной] и милой Волыни! Я знаю, ты будешь слушать с участием мою сердечную исповедь и тебе будет горько ее вчуже слушать. Слушай же, мой благородный друже! Она мне душу освежит, моя грустная нелицемерная повесть!

И он вздохнул, перекрестясь, и начал свою повесть с самых ранних лет своего детства.

На гранитных берегах прекрасной реки Случи, где она верстах в десяти выше Новограда-Волынского, извившись подобно змее, образовала правильное кольцо версты две в поперечнике, в центре этого кольца стоят окруженные дубровою остатки огромных каменных палат — прежде бывшее жилище одной знатной польской фамилии, а теперь жилище сов и нетопырей!

Это дело моих проклятых рук! Я поселил там змею и ночную птицу. О господи, прости мне сей грех невольный! Грех великий!

По косогору, спускаясь к самой реке, лежит укрытое фруктовыми садами большое село с почерневшею от времени деревянною треглавою церковью.

Эти церкви у нас поляки называют казацкими^{52}, вероятно потому, что большая часть этих церквей построена казаками во времена унии, на скорую руку, и представляют они собою тип простой, грубой, хлопской, как говорят поляки же, архитектуры.

Это село — моя родина! В этом прекрасном селе я родился на грех и на страдания!

Отца своего я не помню; а мать как во сне вижу, когда в гроб ее положили и понесли на марах на кладбище.

И едва помню еще, когда священник над ее телом прочитал ^{53}молитву, напечатанную на большом листе красными и черными буквами, и, прочитавши, накрыл ей лицо этою молитвою; потом заколотили гроб и опустили в яму. Священник заступом крестообразно запечатал яму и заставил меня бросить горсть

земли на гроб моей матери. Я бросил и пошел за людьми в село.

Помню еще, в нашей хате было много людей, и все обедали, только не шумно, а тихо и скромно: вдова, как видно, не оставила по себе обильных поминок.

Во время обеда я играл с детьми на дворе, а когда все разошлись после обеда, то меня и дети покинули, и я остался один с моею заузданной палочкой-лошадкой. Вошел я в хату. В хате соседка наша, тоже горемычная вдова, убирала посуду, дала мне кусок пирога. Я съел его и заснул на материной постели. Старушка, прибравши все в хате, заперла ее на засов и ушла к себе домой. Я проспал в пустой хате всю ночь один и, проснувшись поутру, чего-то испугался и заплакал.

Плакал я недолго, вскоре пришла соседка-старушка и принесла мне полную миску угорок-слив и утешила меня.

Старушка посыпала курам пшена и, накормивши серого кота и рябую собаку, взяла меня и повела к себе домой.

У вдовы была дочь, старше меня несколькими годами; она меня приласкала, накорми-

ла яблоками, грушами и тому подобными сластями.

Когда я уходил к себе домой, то она меня всегда провожала, и когда начинал плакать дома, не найдя в хате матери, то она утешала меня, говоря, что мать моя поехала на ярмарок и привезет мне гостинца — *медяного москаля*^{54}, чем я, разумеется, и утешался.

И так мало-помалу стал я забывать свою великую потерю, при помощи вдовиной прекрасной дочери.

Я привязался к ней, как к сестре родной, и она действительно заменяла мне сестру родную.

После я думал матерью ее назвать, но богу не угодно было благословить мое предположение!

Часто посещал я свою бедную опустелую хату. Скажите, что может быть грустнее пустки?

Я до сих пор помню то страшно грустное впечатление, которое тогда меня одолевало!

В великом посту, на страстной неделе, священник, обходя с молитвою село, посетил и мою бедную благодетельницу и, увидя меня,

взял к себе, обещаясь вывести меня в люди.

У священника был сын Ясь, моих лет, и, не знаю почему, он мне с первого взгляда не понравился.

Меня посадили за букварь вместе с Ясем⁽⁵⁵⁾. Мне это было весьма не по нраву, однако я учился с успехом, а Ясь был туп. Яся хвалили, а меня называли ленивцем и тупицей. Мне эта несправедливость казалась обидною, и я стал бегать от попа к своим благодетельницам, откуда меня приводили обратно к попу, а поп меня жестоко наказывал за побеги.

Однажды убежал я от попа к своим друзьям и, бояся войти к ним в хату, просидел целый день в бурьяне под *тыном*, выжидая, не выйдет ли сестра из хаты: я звал сестрою дочь вдовы. Наконец, она вышла, я показался ей и попросил хлеба. Она мне вынесла большой ломоть хлеба и кусок свиного сала. Я сквозь слезы поцеловал ее и скрылся в густом сливнике.

Утоливши голод, я начал помышлять о ночлеге.

Идти к попу — будут бить, идти ко вдове — она отведет к попу, и все-таки будут бить.

Идти в свою *пустку* ночевать — страшно. Размышляя таким образом, я очутился за *царыной* (выгон).

А за *царыной* стояло в копнах сжатое жито; не рассуждая, я отправился к копнам и в первой копне приютился и заснул сном непорочности.

Ночью просыпаюсь я и слышу вдали вой волков.

До сих пор не могу я забыть того неприятного чувства. Это не страх за жизнь, а что-то смешанное со страхом и отвращением.

Вой волков начал стихать понемногу, и я, скорчившись от холоду и накрывшись снопом, снова заснул.

Поутру рано разбудил меня арапником *лановой*.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он меня грозно.

— Сплю! — отвечал я ему.

— Я тебе дам сплю! Нашел место спать! Разве у тебя хаты нет?

— Есть, дядюшка, только *пустка*, — сказал я ему сквозь слезы.

— Ну, а отец и мать у тебя есть?

— Нету, дядюшка, я сирота.

— Ну, а коли сирота, так иди же за мною!

И он поворотил свою лошадь к дороге, ударил ее слегка арапником и поехал. А я пошел босиком по колючей *стерне*, дрожа всем телом от холода и страха.

«Не поведет ли он меня, — так я думал себе, — боже сохрани, к попу!» — И при этой мысли я хотел от него бежать в село и спрятаться где-нибудь в бурьян, но он поминутно оглядывался на меня и, направляя свою лошадь в противоположную сторону от села, привел меня на панский двор и отдал на руки управителю, рассказавши, где и как меня нашел.

Управитель был добрый старичок, пан Кошулька; велел мне сшить курточку и шаровары из домашней *пистри*, и я сделался у него домашним казачком. Жил я у пана Кошульки осень и зиму. Немногим лучше мне было у него, чем у попа, — разница только та, что не учили грамоте, а бил и щипал меня кто хотел.

Весною однажды увидела меня на дворе старая графиня (управитель жил с нею на одном дворе, только в особом флигеле), подозре-

ла меня к себе и, спросив, как зовут, ушла в свои покои.

На другой день после этого случая сняли с меня мерку и начали шить новое платье, и уже не пистрѣвое, а суконное, и сукна тонкого, дорогого, сапоги и шапку, а прежде я так ходил.

Когда все было готово, дали мне чистую рубашку, чего прежде также не бывало.

И когда меня умыли, причесали, одели в новое суконное платье, тогда сам пан Кошулька надел новый синий фрак с медными пуговицами и повел меня в графинины покои.

Дежурный гайдук доложил о нас графине. Графиня велела звать нас в приемную. В приемной мы долга ее ждали, и пан Кошулька не смел сесть на стул. Я удивлялся: в комнате так много стульев, а он не хочет сесть ни на одном.

Наконец, графиня вышла, приветствовала пана Кошульку легким наклонением головы и велела позвать панну Магдалену.

Через минуту из боковых дверей явилася панна Магдалена.

Очаровательное, незабвенное видение!

Я как теперь ее вижу: молодая, стройная, прекрасная! Ее задумчивые голубые выразительные глаза были устремлены прямо на меня; по мне пробежал какой-то невыразимо приятный трепет.

Панна Магдалена была дочь одного промотавшегося пана, и, благодаря хорошему воспитанию, она была принята графиней к себе в дом в виде компаньонки для себя и гувернантки для малолетнего своего сына.

— Вот, друг мой Магдалена, — сказала графиня, — рекомендую тебе, компаньона и лакея моему бедному Болеславу. Возьмите его к себе, — пусть они вместе играют в свободное время.

Графиня вышла, а панна Магдалена взяла меня за руку и повела к себе в покои.

В покоях панны Магдалены встретил меня мальчик моих лет, худой и зеленый; это был граф Болеслав, единственный сын графини. Он довольно нагло спросил меня:

— Как тебя зовут?

Я тихо отвечал ему:

— Кириллом.

— Фи, какое хлопское имя! Ну, да это ничего. Я тебя буду звать Яном. А что, Ян, ты в лошадки умеешь играть?

— Нет, не умею, — отвечал я.

— Ну, так я тебя выучу!

И сейчас же принялся меня учить играть в лошадки. Хотя я эту науку понимал не хуже его, но мне почему-то не хотелось быть с ним откровенным.

На другой день поутру, когда граф Болеслав еще спал, панна Магдалена накормила меня булкою с горячим молоком и с участием сестры спросила меня, кто был у меня отец и кто мать и где они теперь?

Я рассказал ей все с такими подробностями, что она поцеловала меня и заплакала.

С той поры она каждый божий день поила меня по утрам горячим молоком и кормила сладкими булочками.

— Ну, Ясю! — меня все в доме называли Ясем, — ну, Ясю! — однажды поутру сказала она мне, — хочешь ли ты учиться грамоте?

— Я уже учился у попа грамоте, — отвечал я, — если вы будете меня учить, то я опять буду учиться, а если не вы, то я не хочу, чтобы

меня учили грамоте.

Она улыбнулась и сказала:

— Я сама буду тебя учить, — и подала мне французскую азбучку.

— Посмотри, ты знаешь эти буквы?

— Нет! Мне показывали у попа другую азбучку.

— Ну, так я тебя буду учить по этой азбучке, по этой легче!

И тут же принялась мне показывать новые для меня буквы.

К удивлению ее и радости, я в один день выучил все буквы французского алфавита.

Когда я начал довольно бегло читать по-французски, она стала учить меня по-итальянски, — это был тогда модный и любимый ее язык.

Я и тут показал довольно быстрые успехи, так что в непродолжительном времени сравнялся в познаниях с графом Болеславом, к невыразимой радости панны Магдалены.

Мир душе твоей, прекрасное, доброе создание! Никогда я не забуду твоих ласковых, приветливых речей, твоего сердечного участия в судьбе моей печальной!

Она полюбила меня так, как только может любить мать свое единственное дитя. Всеми возможными ласками поощряла она мои успехи.

Бедная, она не предвидела следствий моему неуместному образованию!

Время шло своим чередом. Я подрастал, учился с прилежанием и успехом.

С графом Болеславом мы не могли подружиться совершенно, в нем было что-то отталкивающее, какая-то преждевременная, наглая, недетская спесь. Он иногда показывал мне приязнь за то, что, бывало, когда он нашалит не в меру, то я всю вину брал на себя, что мне, разумеется, не проходило даром.

Вследствие его шалостей прослыл я почти разбойником; великодушие мое было известно только одной панне Магдалене и всегда вознаграждалось необыкновенными ее ласками.

Графиня была женщина светская, избалованная прежними успехами на поприще светской жизни, любила у себя банкеты, где, разумеется, первенствовала между провинциалками, читала итальянские и француз-

ские новеллы и больше ничего не делала. Сын выросстал хотя и под одной крышей с нею, но она его видела раз или два в день, и то мимоходом.

Однажды заметила она, что Болеслав уже мальчик порядочный ростом и что нужно для него выписать учителей, потому что она намерена приготовить его для университета.

Пригласили учителей, начались уроки. Я в виде слуги присутствовал при этих уроках и заучивал все то, что было читано и толковано графу.

Я почти всегда приготавливал графа к экзамену, потому что он ничего не мог или не хотел помнить из уроков учителей.

Панна Магдалена попрежнему меня ласкала и лелеяла и разговаривала со мною не иначе как на итальянском языке. И по вечерам, проэкзаменовав меня из того предмета, который я слушал в учебной графа, она давала мне уроки на фортепиано.

Сама она — настоящая артистка на этом инструменте. Часто, бывало, после моего урока она просиживала до полуночи за фортепиано, варьируя чудные создания Бетховена

(это был ее любимый композитор, только что явившийся в музыкальном мире). Я, бывало, сижу в уголку, не пошевеливнуса, сижу и слушаю, слушаю и заплачу, сам не знаю отчего. Музыку я полюбил страстно, и этой, любовью я обязан панне Магдалене. Через год с небольшим мы с нею играли в две руки некоторые сонаты Моцарта и Бетховена.

Однажды графиня застала нас за фортепиано и была очень недовольна, заметя весьма справедливо панне Магдалене, что я рожден не для музыки, а для рала и плуга.

Панна Магдалена почувствовала всю важность этого замечания, обняла меня и горько зарыдала. За нею заплакал и я, не вполне разумея благоразумное замечание графини.

Граф быстро выросстал и учился весьма медленно и тупо; нельзя сказать, чтобы он был вовсе без способностей, нет, в нем были кое-какие способности, но и те были заглушены небрежением матери.

Графиня постоянно восхищалась успехами своего милого Болеслава, а успехи Болеслава ограничивались гармоническим лепетаньем

на итальянском языке; она была в восторге и больше ничего не требовала от своего милого Болеслава, хотя и готовила его для университета.

Учителя получали исправно содержание и жалование и делали свое дело, как наемники или как большая часть учителей: читали ему ежедневно свои уроки или на досуге рассказывали ему про псовую охоту и тому подобные анекдоты.

Одна панна Магдалена с чувством матери заботилась о его моральном образовании; но неуместные восторги графини мешали ей, и Болеслав уже очень хорошо понимал (тоже, может быть, учителя поселили в нем это понятие), что он граф, и граф богатый, что ему не нужно никаких познаний и добродетелей, и часто грубыми своими выходками приводил бедную панну Магдалену в слезы.

Мне было больно смотреть на эту благородную, прекрасную женщину. Я в душе возненавидел Болеслава, и если б не она, то я давно бы ему свернул голову.

Но она, бедная, жестоко оскорбленная, бывало, приголубит меня и повторяет мне свя-

тые слова: *Любите и ненавидящих вас.*

Я забыл вам сказать, друже мой добрый, что графиня была ни вдова, ни мужнина жена, как говорится.

Муж ее бросил и жил постоянно в Италии, быстро проматывая свое прекрасное подольское имение.

А графиня с сыном жила, как вам уже известно, на Волыни и занималась (как она сама говорила) *эдукацией* единственного сына.

Теперь скажите мне, какой добрый, нравственный пример мог видеть мальчик в семейной жизни своих родителей? Прежде он часто, бывало, спрашивал у своей нежной матери: «Скоро ли приедет папаша?»— на что мать ему отвечала, что его папаша негодяй и что если он и приедет когда-нибудь, то она его в дом не пустит. Хорошо было слушать сыну от матери подобные слова! Впрочем, в быту богатых людей подобная семейная распря не редкость, следовательно, и на молодого графа это не делало большого впечатления.

Домашнее воспитание графа кончилось; надобно было выбрать приличное его породе

учебное заведение, в которое можно бы было послать его для окончательного образования. По этому случаю дан был большой банкет, а после банкета на другой день приглашены были гости на домашний сейм, на котором было рассуждаемо, куда именно послать графа для окончательного образования. Перебрали все лица, все университеты, начиная с геттингенского, и, наконец, общим голосом решили послать графа в Вильно и приготовить из него политико-эконома.

После этого важного события, спустя месяц, дала графиня еще большой банкет, на котором молодой граф отличился в мазурке. Через несколько дней после банкета уехал он в огромном дорожном берлине^{56} в Вильно.

Я почувствовал себя свободнее: он стоял перегородкой между мною и панной Магдаленой; мне нельзя было при нем сказать ей простого слова, чтобы не подвергнуть ее, бедную, насмешкам злого мальчика.

Наконец, он уехал, и мы остались одни, и действительно одни. Во всем доме не было никого, с кем бы можно было так дружески и так откровенно поговорить, как мы с нею раз-

говаривали.

Старая графиня едва замечала ее присутствие в своем доме. Ее это грубое невнимание тревожило, она несколько раз собиралась оставить графиню, но где она, бедная, могла приклонить свою одинокую голову? Она готова была выйти замуж за самого грубого посессора^{57}, чтоб только избавиться от графини. Но грубые посессоры на бедных девушках не женятся, а она, бедная, совершенно ничего не имела, кроме чистого, благородного сердца.

Открывая свои задушевные мысли, она мне говорила, что останется в этом доме только до тех пор, пока я не вырасту и не буду в силах располагать собою; тогда она отправится в Варшаву или в Вильно и примет чин смиренной кармелитки^{58}.

Мир твоей доброй, твоей праведной душе!

Грустно мне было выслушивать ее задушевную исповедь, ее непорочные предположения. Бывало, просидим за полночь, наговоримся, наплачемся и расстанемся до другого вечера почти счастливыми. Часто свои грустные проекты она кончала симфонией Себастьяна Баха на домашнем органе. Это была

святая Цецилия⁽⁵⁹⁾! И я, затаив дыхание, слушал ее и молился на нее. Это были самые чистые, самые счастливые минуты моей печальной жизни.

Меня засадили в экономическую контору писать. И тут-то я почувствовал свою горькую зависимость.

Тут я впервые услышал слово *крепостной*.

Горькое! проклятое слово! И день тот проклят, в который я его услышал в первый раз!

Но делать было нечего! Нужно было покориться судьбе! Тяжкое для меня настало время!

Одна только незабвенная панна Магдалена могла укрощать и успокаивать меня. Я ей одной обязан, что не наложил на себя грешные руки! А может быть, было бы и лучше? Нет! Как ни печальна, как ни тяжела наша жизнь, но мы не вправе ее прекратить. Пускай тот ее от нас отнимет, кто даровал нам ее.

Я продолжал писать в конторе, а по вечерам посещал панну Магдалену.

О чем мы с ней не говорили! О чем мы с ней не мечтали! И все-то наши мечты и предположения разошлись, как дым по светлomu

небу! Она мне сообщала книги порядочного содержания, какие только могла открыть в домашней библиотеке графини, потому что вся почти библиотека была составлена из романов.

В конторе писаря смеялись надо мною, называя меня *панычом*, белоручкой, немцем, потому что я читал не русские и не польские книги.

Однажды во время жнив, или, по здешнему, страды, послали меня с лановым на лан переписать жниц и копны нажатой пшеницы.

Проходя мимо жниц, я увидел женщину, как будто мне знакомую, и около нее, между снопами, прикрытая зеленым *холодком* (спелая спаржа), спала девочка лет десяти, украшенная полевыми цветами; около нее в тени — *тыква* (кувшин) с водою и торба с хлебом.

Я долго любовался прекрасным личиком спящего дитяти.

Налюбовавшись этою скромною прекрасною картиною, я спросил у почти знакомой мне женщины, как ее имя, чтобы записать в

реестр жниц. Она сказала мне свое имя. Имя и голос мне показались чрезвычайно знакомыми.

Я спросил ее, не дочь ли она, Домаха, такой-то вдовы?

Она отвечала, что она самая.

— А это твое дитя? Она отвечала:

— Мое!

Я расспросил ее о ее домашнем житье-бытье. Напомнил ей тот вечер, когда она мне, голодному беглецу, вынесла кусок хлеба.

Она вспомнила, узнала меня и обрадовалась, как родному брату, и просила меня навестить ее в старой материной хате.

В следующее же воскресенье, после обедни, посетил я ее в знакомой мне хате; из грустного ее рассказа узнал я вот что. Старушка вдова, моя благодетельница, давно уже умерла, а после смерти матери она вышла замуж; муж вскоре бежал на Бессарабию⁽⁶⁰⁾, бросил ее одну с маленькою дытыною. Рассказала она мне все это так просто, так трогательно, как только рассказывается самая печальная истина.

Просила она меня остаться у нее обедать

чем бог послал. Я остался, и она, бедная, почти плакала, что не было у нее и пятака на четвертку горилки. Бедная!

Во всей хате ее была видна скудость и нищета. Но при всем том все было чисто и опрятно. Старая хата была тщательно вымазана, хотя и желтой глиной, — белую глину нужно купить или на хлеб выменять, а за желтой стоит только сходить на берег Случи.

Вся бедная домашняя утварь была в чистоте и порядке. Рубахи как на ней самой, так и на дочери были чистые, белые. Все у нее было в таком порядке, что и самая нищета показалась мне не так отвратительною, как я себе ее воображал.

Простившись с нею, я пошел домой, обещая навещать ее каждое воскресенье.

По дороге зашел я в свою старую пустку. Печальный вид! Окна выбиты, двери выломаны, дорожки поросли бурьяном, а в провалившейся печи сова гнездо себе свила. Посмотрел я на это запустение, и мне стало грустно. Я страшно почувствовал свое одиночество.

Мне пришло в голову возобновить свою пустку и поселиться в ней. Но что я буду де-

лать в ней один? Жениться? На ком же я женюсь? На крестьянке? Как же я с нею буду жить?

И, подумавши, решился я возобновить свою пустку и поселить в ней мою ново-старую знакомку с дочерью. Девочке в это время было лет десять, не более, мне было семнадцать лёт. Воспитаю ее по-своему и женюсь на ней. Подумал, подумал и пошел я в свою контору. Дорогой разыгралось мое молодое воображение: я представлял себе все счастье, всю прелесть своей будущей семейной жизни.

Вечеру сообщил я свой план панне Магдалене; она была в восторге, плакала, целовала мои руки, называла меня своим сыном, своим родным братом, говорила, что я делаю доброе, христианское дело, укрывая от нищеты и горя вдову и сироту, в заключение обещалась помогать мне всем — и советами, и деньгами, и научить мою будущую жену и грамоте, и музыке, и хозяйству.

На другой день я принялся за дело: выпросил себе свободы на несколько дней, нанял мастеров, и началось возобновление моего

детского жилища.

К хате вместо коморы прибавил я светлицу, сад огородил новым частоколом, около хаты оставил место для цветника, не забыл также сарая для коровы и прочих домашних животных — словом, устроил все, что необходимо для крестьянского быта.

И когда все это было готово, пошел я просить свою соседку на новоселье.

Заплакала она, бедная, когда сказал я ей, что все это устроено для нее и ее маленькой Марыси.

В воскресенье, после обеда, пошли мы навестить их с панною Магдаленою, и как же она, бедная, была рада, что ею и панна не погнушалась!

Так как хата моя была недалеко от панского двора, то мы с панною Магдаленою каждый день посещали нашу воспитанницу. Панна Магдалена учила ее читать по-польски, а я по-русски. Мне не хотелось ее больше ничему учить, я все как-то не верил в свое и ее счастье.

Быстро мчались мои молодые годы! Быстро выростала Марыся, и выросла и стала кра-

савицей, настоящей вольнянкой-красавицей. Боже мой! Я, бывало, смотрю на нее и не на-смотрюсь! А бывало, когда в саду вечером за-поет под гитару нашу заунывно-мелодиче-скую песню, в это время я плакал и молился богу! И какая же умная-разумная была! Панна Магдалена, бывало, не налюбуется ею, не на-дивуется ее понятливости. Я был счастлив, она меня любила и, следовательно, была то-же счастлива. Насущные дела мои тоже дви-гались вперед. Я из простого писаря сделался конторщиком, а по смерти пана Кошульки и управляющим имениями графини.

Было предположено, чтобы после праздни-ка рождества Христова обвенчаться нам с Ма-рысею. Панна Магдалена была прошена поса-женной матерью с моей стороны, а посаженным отцом почтенный сосед наш *тытарець* (церков-ный староста). Все было готово, но не сбы-лось!

Кончивши курс в университете, бог его знает, по какому факультету, граф не заехал даже повидаться со старухою матерью, отпра-вился за границу (для усовершенствования себя в некоторых науках, — так он писал по

крайней мере матери). Разумеется, старая графиня была в восторге от такого похвального рвения к наукам.

Нежная мать посылала ему исправно деньги и в каждом письме просила его, чтобы он скорее усовершенствовался в науках и ехал бы домой, потому что она уже старуха, близкая ко гробу, то хоть бы посмотреть на него перед смертью.

Но добрый сын не внимал мольбам старой матери. Она, бедная, постоянно плакала, — она его, наконец, полюбила и не знала, как заманить его к себе. А я, видя ее постоянно унылою и действительно близкою ко гробу, на погибель свою посоветовал ей не посылать ему денег, то он поневоле приедет. Старуха так и сделала. Через несколько месяцев нежный сынок возвратился к старой умирающей матери.

Возвратился он из-за границы с французом-камердинером и двумя бульдогами и милой мама своей привез бронзовый браслет и анекдот о том, как он убил на дуэли, — не зная, впрочем, — родного отца своего, за что старуха мать наделила его самыми судо-

рожными поцелуями.

Это было в сентябре месяце; мне нужно было в подольское имение графини, чтобы отправить пшеницу в Одессу⁽⁶¹⁾ и самому за нею вслед отправиться, чтобы продать ее. И я поехал.

Я поехал из Балты в Одессу на почтовых. Это было во время полнолуния. Я проехал две станции от Балты, и меня застала ночь в степи, — ночь лунная, светлая, тихая, очаровательная ночь! В степи ничто не шелохнется, ни малейшего звука, ни малейшего движения, только когда проедешь мимо могилы, то на могиле будто *тырса* пошевелится, и тебе сделается чего-то страшно.

О могилы! могилы! высокие могилы! Сколько возвышенных, прекрасных идей переливалось в моей молодой душе, глядя на вас, темные, немые памятники минувшей народной славы и бесславия! А еще, бывало, когда ночью далеко-далеко в степи чабан заиграет на сопилке (свирели) свою однотонную грустную мелодию!

О горе мое, что мне нельзя переселиться в тот чудный край и послушать на старости

родную унылую песню!

Бывало, я часто остановлю ямщика на дороге и слушаю чабана, слушаю, слушаю и не наслушаюсь. Ямщик, бедный, продрогнет от ночной росы и бездействия, а я сижу себе на телеге и слушаю, долго слушаю; слушаю, пока не заплачу.

— Пошел, гонец! пошел живее! Карбованец на пиво! — и гонец встряхнет вожжами, махнет арапником, и кони полетели, колокольчик завизжал, заплакал, и вот опять в степи землянка, — это почтовая станция.

Мне будто легче, но ночевать не хочется, я требую лошадей и еду. На другом переезде то же, что и на первом, — та же широкая степь и те же темные могилы, тот же чабан и та же заунывная песня, и та же прекрасная полная луна!

Приехал я в Одессу. Дождался чумаков своих, продал пшеницу и с мешками дукатов возвратился домой.

Горе меня, горе горькое дома ожидало!

Теперь, друже мой, теперь, на старости, после тяжких испытаний, я не могу вспоминать об этом равнодушно.

Отдавая графине отчет в своей поездке в Одессу и полученные мною за пшеницу деньги, я увидел мелькнувшую в другой комнате Марысю в голубом немецком платье (она обыкновенно носила наше национальное платье). Меня это в сердце кольнуло.

От графини я побежал домой. Меня встретила в слезах мать Марыси.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Боже ж мой, боже милостивый!

— Что случилось?

— Доле моя! Моя проклятая доле!

Я долго стоял, не понимая ее. А она все плакала, проклинала свою долю и целовала мои ноги. Когда она пришла в себя, я спросил ее:

— Что случилось?

Она сквозь слезы едва проговорила:

— Графиня Марысю твою взяла в покоивки (в горничные).

— Что ж, тут еще большего горя нет, я выпрошу ее у графини назад додому.

— Большое, большое горе! — простонала она. — Молодой... молодой граф! Будь он проклят со всем его родом и племенем!

— Что же такое? Что граф?

— Не спрашивай, не говори со мною! Иди к нему: пускай он сам тебе все расскажет.

И она снова стала плакать и рвать на себе волосы, со стоном произнося имя Марыси.

Я, наконец, понял, что бедная моя Марыся сделалася жертвою гнусного, развращенного сластолюбца.

Боже мой великий! Зачем ты меня не поразил тогда своим святым громом! Сколько бы греха тогда пронеслося мимо моей грешной души! Его судьбы неисповедимы. Он иначе судил меня!

Я, не помня себя, побежал во двор. Вошел в кабинет графа и увидел у ног его плачущую свою Марысю. Я бросился на него, и только два огромных гайдука спасли его от смерти.

Меня связали, вынесли в погреб и приставили сторожей.

Не помню, долго ли я находился связанным. Но когда пришел в себя, то почувствовал, что лежу на соломе в сыром и темном погребе; нащупал я около себя ведро воды и кусок хлеба. Но мне пить и есть не хотелось. Я чувствовал во всем теле слабость, прошедшее

казалось мне каким-то страшным сном.

Через несколько дней силы мои восстановились. Добрая панна Магдалена присылала мне тайком чаю и белого хлеба, но сама не решалась навестить меня.

Я пробовал несколько раз сломать дверь и уйти, но мне сторожа снаружи грозили веревкою; веревки я не боялся, да дверь-то была железная и силой нельзя было взять.

Сидел я в погребе до тех пор, пока граф, укравши у матери деньги, опять не уехал за границу.

Меня из погреба выпустили ночью, и я, как дикий зверь, бросился за ворота. Это было зимою, и я без шапки побежал куда глаза глядят.

Вскоре я увидел в поле огонек и пошел на него. То была корчма. Я почувствовал холод и побежал к корчме.

Вошел в корчму и вижу — за столом сидят два широкоплечих мужика, и перед ними на столе стоит медная кварта с водкой. Я поздоровался, они мне молча кивнули головами. Я сел за стол и спросил себе кварту водки. Еврей узнал меня и, подавая мне водку, с ка-

ким-то страхом показал мне глазами на моих соседей.

Я выпил стакан водки, потом другой, предложил моим соседям, они не отказались. Завел я с ними разговор, и они на вопрос мой, что они за люди, сказали мне, что были в Одессе на заработках и теперь возвращаются домой.

Я почувствовал сладость хмеля и спросил себе еще кварту водки, они спросили две кварты.

Вскоре стали они надо мной подшучивать, что я не выпил еще и двух кварт водки, а уже пьян. Я сначала отшучивался, а потом пустился в откровенности и рассказал им свою историю с самого детства, а в заключение заплакал. Один из них сказал мне смеясь:

— Э! Э! земляче! Бый лыхом об землю, як швець мокрою халявою об лаву. Слезами, земляче, ничего не возьмешь. Мы тоже, как видишь, были люди бедные, обиженные, загнанные, ограбленные! А теперь, слава милосердному богу, пануем! Да еще как пануем! Только глянь да посмотри! Ударь горем о землю! Пойдем с нами, с нами — вольными каза-

ками, право слово, не будешь каяться! Мы живем вольно, весело! Палаты наши — зеленая дуброва! майданы наши — степь широкая, привольная! Мы днем спим в своих зеленых палатах, а ночью гуляем и топчем ногами аксамит и золото! Что ж, товарищ, так? По рукам, что ли?

— Постой, дайте подумаю, — сказал я.

— А по-моему, земляче, и стоять и думать нечего; пускай евреи да паны думают, как им подальше дукаты прятать, украденные у бедных мужиков! Не думай, а выпей-ка лучше вот этой думы.

И он налил мне стакан водки; я выпил и протянул им руку.

— Вот это так! Вот это по-нашему! А то думать! А что выдумаешь? Ей-богу, ничего, чарки горилки не выдумаешь, право!

— Гей, свыняче ухо! — закричал другой. — Давай вина! Давай меду! Давай пива! Горилки не хочу. Да слушай, свине, чтоб было поросья жареное! Я индыка и петуха терпеть не могу. Слышишь! Живо!

Бедный еврейчик задрожал и пошел с фонарем и *поставцем* в погреб.

Мы просидели за полночь. Они мне запла- тили откровенностью за откровенность; из рассказов их я узнал, что один из них был бе- жавший на Бессарабию отец моей Марыси, а другой тоже был беглый крепостной крестья- нин, и промышляют они с *товариством* чест- ным *лицарским* промыслом, то есть разбоем.

Перед рассветом они пошли в *стодолу* спать. Я хотя был сильно пьян, но заснуть не мог. Мне не давал сомкнуть глаза ненавист- ный граф. Я тихонько встал, вышел из стодо- лы и пошел в село. Подошел к своей хате, обо- шел ее кругом. Горько мне было. Посмотрел я, посмотрел на хату; машинально вырубил ог- ня и сунул трут в соломенную крышу. Через минуту она вспыхнула; я остановился на ули- це, посмотрел, как горит мое добро, и пошел обратно в корчму, к своим новым товарищам.

Начало светать, когда я подошел к корчме. Разбудил товарищей. Они были совершенно трезвы, я был тоже почти трезв. Они выпили еще кварту водки, но я пить не мог. Взяли приготовленный евреем мешок с жареными курами и гусями и пошли молча через поле в дуброву.

И я пошел за ними. Долго я оглядывался на свое родное село, его уже не видно было, только слышен был какой-то гул и видно было зарево от моей бедной хаты.

Мы пришли на хутор, нашли там одну старуху, топившую печь. Товарищи мои спросили у нее:

— Что, не было Марка? Старуха отвечала:

— Не было.

— Ну, вари обедать, а ты, приятелю, ложись да отдохни.

Я лег и заснул. Мне снился разбойничий притон. С испугу я проснулся и увидел, что я действительно нахожусь в разбойничьем притоне.

Прошел один только месяц, и я сделался настоящим разбойником. Правда, я никого не убивал, зато немилосердно грабил богатых евреев, и шляхту, и всякого, кто проезжал в богатом экипаже. И, начитавшись романов о великодушных рыцарях-разбойниках, мне вздумалось подражать им, то есть брать у богатых и отдавать бедным. Я так и делал.

Прошел еще месяц, и меня единогласно провозгласили атаманом. Шайка моя быстро

увеличивалась, так что по прошествии четырех месяцев у меня уже было более сотни удалых голов; с такой силой я брал уже смелость нападать открыто на господские дома, и не без успеха, потому что крестьяне изменяли своим тиранам.

Рыцарскими подвигами своими я снискал благорасположение крестьян на Подолии и на Волыни. Слава о моем бескорыстии быстро распространялась между ними, а шайка моя еще быстрее выростала, так что через полгода у меня считалось около трехсот товарищей. Я своей армии никогда не держал в одном месте потому, что прокормить ее было трудно и потому, чтобы полицию сбить с толку насчет моего местопребывания. Полиции я, правда, не очень трусил, потому что крестьяне меня любили и в случае опасности укрывали.

Я иногда скоплял свою армию в одно место не для того, чтобы сделать нападение на неприятеля, а для того, чтобы попить вместе неделю-другую вместе. Для этого у меня в разных лесах были погреба или забытые древние пещеры, которые были известны только моим есаулам и весьма немногим испытан-

ным товарищам.

В погребах хранилось вино, съестные и прочие припасы: оружие, свинец, порох и деньги.

Такой погреб был у меня один близ Звенигородки, в так называемом *Братерском лесу*. Этот погреб был вырыт, как говорит народное предание, гайдамаками в 1768 году. Другой такой же погреб — между Заславлем и Острогом, тоже, кажется, гайдамацкой работы. А третий, самый большой, — около Киева, за оградою Китаевской пустыни⁽⁶²⁾, в лесу же. Это были огромные пещеры, вырытые, как кажется, во время Андрея Боголюбского. На горе, в которой вырыты пещеры, заметны и до сих пор следы земляных укреплений, может быть, ограды его загородного терема.

В этих-то пещерах пировал я по несколько дней со всем своим товариществом в виду Китаевской обители, а святые отцы и не подозревали этого.

Освещал я их белыми восковыми свечами, тут же в Китаевской обители приготовляемыми для Киево-Печерской лавры. Устилал я эти мрачные пещеры дорогими коврами, ша-

лями и аксамитом. Шумно, весело было!

Иногда переселишься мыслью в тот край, вспомнишь бывалое и как будто помолодеешь! Господи, прости мое согрешение!..

И рассказчик набожно перекрестился.

...Попировавши несколько дней, я распускал свою команду в разные стороны, назначая каждому отряду или прежнего утверждая есаула, с наказом, чтоб все есаулы назывались моим именем и прозвищем. Сам же я переряжался мужиком или паном и отправлялся в Киев или другой какой город.

Словом, я вел себя, как знаменитый Ринальдо Ринальдини⁽⁶³⁾.

Случалось часто мне бывать на берегах Случи, близ моего родного села. Но я в село зайти боялся. Я не боялся измены со стороны крестьян; они были все мною наделены, кто деньгами, а кто натурою, как то: волами, лошадьми и прочим. Я не боялся их, но мне страшно было встретить Марысю или панну Магдалену.

Бывало, целые ночи просиживал я на берегу моей милой Случи, смотря на угасавшие огоньки в смиренных хатах мирных, покор-

ных своей судьбе моих собратьев. Бывало, плакал я и каялся, но я слишком далеко зашел, чтобы можно было назад воротиться без помощи искреннего друга. Я несколько раз покушался навестить панну Магдалену, — и всякий раз раздумывал. Мне стыдно, мне страшно было ее видеть! Так боится дьявол встретить чистого ангела! В это время я был самый жалкий, самый несчастный человек.

Походивши около села, полюбовавшись на светлые воды Случи, я удалялся в лес, как волк, боялся встречи человека. В лесу находил я одну из своих шаяк, увешивал широкие ветви столетнего дуба дорогим ковром и бархатом и принимался пить со своими преступными товарищами.

Я думал окунуть свою грязную совесть в дорогом вине, но не тут-то было! Она выплыла из вина и бешеной кошкой впивалась мне в сердце.

В эти страшные минуты являлись мне как будто наяву панна Магдалена и моя прекрасная бракоокраденная невеста. Они являлись мне, как два ангела, и говорили со мной так тихо, сладко, так приятно, что я приходил в

себя совершенно счастливым человеком.

Однажды я решился написать письмо, и в письме своем просил я у них свидания наедине. Местом свидания я назначил пустую хатку в саду у нашего тытаря, предполагаемого моего посаженного отца. Я решился оставить свое проклятое ремесло и готов был сделаться хоть каторжником, только бы очистить свою грязную совесть.

Я тщательно скрывал свое намерение от товарищей, да и к чему бы повела откровенность? К грубым насмешкам, и больше ничего!

С трепетом дожидал я дня, назначенного мною для свидания с панною Магдаленою.

В это время шлялся я со своим малым отрядом около Луцка.

Однажды из лесу заметили мы: большой дорожный берлин катился в пыли по столбовой дороге.

Я скомандовал своим удальцам: *из яру на долину*, то есть выйти на дорогу и остановить берлин. Сказано — сделано. Берлин остановили. Он мне издали показался знакомым, и пока я подбежал к нему, чтобы увериться, не

ошибаюсь ли я, чемоданы от берлина были уже отрезаны и сам хозяин был донага раздет и дрожал за свою жизнь.

И кого же я узнал в этом нагом человеке?

Своего злейшего врага, развратного сластолюбца — графа Болеслава!

Признаюсь, мне было смешно и больно смотреть на него. Он меня тоже узнал и затрепетал всем телом.

Я отвернулся от него и приказал привязать чемоданы, развязать и одеть графа и его камердинера-француза. И дал еще червонец ямщику на водку и отпустил их с богом, не тронувши ни волоска. Граф со страха не мог проговорить слово, а француз, усевшись на козлах, вежливо приподнял шляпу и сказал:

— *Merci, monsieur!*

После этого происшествия мне казалось, что я смело могу идти на свидание с панной Магдаленою. Я мечтал уже о ее тихих, сладких речах, о ее прекрасном, милосердном взгляде. Я воображал себя покаявшимся, безмолвным, покорным тружеником где-нибудь в глухом монастыре или в далекой ссылке, с очищенной совестью. Я был счастлив!

Но бог судил продлить мои преступления.

В дороге я сильно заболел, меня привезли товарищи на хутор в лесу, близ Дубно, к старухе знахарке, и там оставили. Старуха меня кормила и лечила как знала.

Старшинство свое я передал товарищу, Прохору Кичатому, человеку физически сильному и не разбойничьего сердца.

С октября месяца я пролежал до апреля почти не двигаясь. В конце апреля я мог встать на ноги и перейти в другой угол хаты.

На фоминой неделе я уже сидел под хатою и мог любоваться тихими меланхолическими прелестями оживающей природы.

Это был хутор самый уединенный, так что, кажется, кроме моей лекарки и ее старого мужа, никто и не подозревал существования их хутора.

Я начал выходить почти каждый день, с позволения моей лекарки, посидеть несколько часов под хатою.

Сижу, бывало, себе и люблюсь на прозрачный небольшой *ставок*, увенчанный зеленым очеретом и греблею, усаженною в два ряда старыми вербами, пустившими свои ветви

в прозрачную воду. А ниже гребли старая, как и ее хозяин, мельница об одном колесе с сладко шепчущими лотоками. На поверхности пруда плавают гуси и утки, каждая в двух экземплярах — одна вверх головою, а другая вниз; издали кажется, что и в воде утка и на воде утка. На берегу около гребли маленький челнок, опрокинутый вверх дном, а под навесом старой мельницы развешена рыбачья сеть. А кругом хутора — дубовый лес непроходимый, только в одном месте вроде просеки, как будто нарочно для полноты пейзажа. И в эту просеку, далеко на горизонте синеют, как огромные бастионы, отрасли Карпатских гор.

Я оживал, глядя на эту прекрасную волшебницу-природу.

По временам навещал меня Прохор Кичатый, привозил всегда подарок моей лекарке, а мне разных лакомств, говорил мне, что товарищи без меня соскучились, что заработков никаких нету, что он чуть было не попался в руки полиции в Кременце и что меня товарищи ждут, как самого бога с неба.

Но у меня было другое на уме: я думал, как бы только собраться с силами и пуститься

прямо в Почаев^{64} помолиться святой заступнице почаевской, потом пробраться на берега Случи повидаться с панною Магдаленою, а потом уже — куда бог пошлет, только не к товарищам.

В конце мая я мог уже с помощью посоха пуститься в дорогу.

Оделся я в старое крестьянское платье, взял котомку на плечи, посох в руки и, по старой привычке, пистолет за пазуху, поблагодарил, чем мог, моих добрых хозяев, помолился и вышел из хаты. Старик вывел меня на кременецкую дорогу, и я, простившись еще раз со стариком, пошел по дороге к Кременцу, думая сначала зайти в Почаев, а потом уже идти на свидание с панною Магдаленою.

Возвращаясь из Почаева, я зашел в Кременец посмотреть на *королеву Бону*^{65} и на воздвигавшиеся в то время палаты или кляштор для кременецкого лица.

Мир праху твоему, благородный Чацкий^{66}! Ты любил мир и просвещение! Ты любил человека, как нам Христос его любить заповедал!

Из Кременца пошел я через село Вербы в

Дубно, а из Дубна на Острог, Корец и на Новгород-Волынский, на берега моей родной, моей прекрасной Случи.

Тут я отдохнул и на другой день к вечеру был уже в виду своего села.

Я думал было переночевать в дуброве и поутру уже дать знать панне Магдалене, что я здесь. Но как я дам знать? У меня не было ни бумаги, ни чернил, ни пера.

Подумавши, я решился идти в знакомую корчму, написать там записку и послать еврея к панне Магдалене; притом же меня и голод сильно одолевал. Я пошел в корчму.

Еврей не показал виду, что узнал меня. Я спросил у еврея четвертку водки, кусок хлеба и тарань. Утоливши немного голод, я спросил лоскуток бумаги, перо и чернила, написал записку и послал еврея на панский двор.

В ожидании ответа я прилег было на лавке отдохнуть и уже начал дремать.

Вдруг двери отворились, и в корчму вбежал граф с толпой вооруженных мужиков.

— Держите! Вяжите его! — кричал он.

Я вскочил с лавки, вынул пистолет, ни в кого не целясь, спустил курок, и граф пова-

лился на пол.

Прости мне, милосердный господи, сей грех невольный! Я не хотел его смерти. Он был у меня в руках, и я отпустил его.

Сам сатана направил мою руку, и я сделался невольным убийцею, прослывши разбойником во всем крае. Это была первая и последняя жертва моих рук. Но это не оправдание, — я все-таки был разбойником и посягателем на чужое добро.

Мужики, зная меня лично и зная мою разбойничью славу, которая была сопряжена со слухами, будто я колдун, не хотели вязать меня, но я бросил пистолет в голову предателю-еврею и в сопровождении мужиков пошел на панский двор.

На дворе уже меня связали по приказанию графини и заперли в знакомый уже мне погреб. Но уже не дали мне ни хлеба, ни воды, и панна Магдалена не присылала мне ни чаю, ни белого хлеба, как это делала прежде. И она! — так я думал тогда, — и она, моя добрая! моя единая! и она оставила меня!

Я пролежал в погребке связанный трое су-

ток; это я знаю потому, что три раза показывался дневной свет сверху, в душник. Мне не подавали ни хлеба, ни воды, да мне и не нужно было ни того, ни другого; меня кормило мое сердечное горе и поили слезы, а мучила и терзала совесть. Я почувствовал все свои преступления разом. Я был хищник, грабитель и, наконец, убийца. О, мое горе в ту бесконечную трехсуточную ночь было неизмеримо! Мне представлялись все мои преступления так живо, так страшно выразительно, что я закрывал глаза руками. Иногда, и то ненадолго, картина переменялась, и мне представлялось мое детство: пустка, ночь в поле, вой волков, лановый, пан Кошулька и моя благородная панна Магдалена, а за нею, как светлый божественный ангел, прекрасная моя, непорочная Марыся... Боже мой! боже мой! вскую мя еси оставил!

Картина переменялась, и я видел погубившего меня врага моего, кругом меня все в огне горело, и я впадал в бешенство: кричал, плакал и грыз каменный пол погребя.

Мучения мои были страшны, молитвы и всякие другие добрые, помыслы покинули ме-

ня на жертву лютым демонам.

Припадки бешенства повторялись со мною ежечасно. Однажды я пришел в себя и почувствовал жажду, подполз к дверям (я ходить не мог, потому что у меня были связаны руки и ноги), стал кричать, просить воды. Никто не отзывался на мой крик. Жажда меня терзала. Я рванулся, и веревки на руках подались, я еще раз, — веревки чувствительно ослабли. Кое-как я освободил руки и потом ноги, прошелся ощупью по своей темнице, и мне стало будто легче. Подхожу к душнику, смотрю — свету не видно, должно быть, ночь. Теперь все спят; неужели ж и сторожа мои заснули? Подхожу к дверям, стучу, зову — никто не откликается. Через минуту прислушиваюсь, на дворе слышу легкий шум и голоса людей, вероятно, меня услышали. Кричу опять, никто не отвечает, а шум на дворе все более и более увеличивается. Оглядываюсь — из душника красный свет пробился в погреб, и слышу голоса: пожар! пожар!

Тут я потерял всякую надежду выпросить воды, — кто теперь меня услышит? А жажда сильнее и сильнее меня стала мучить, я про-

бывал лизать сырые стены, но мне легче не было; я знал, что в погребе есть вино, но оно было заперто другою железною дверью. Я выл, как зверь, от страдания. Мне представлялася со всеми ужасами голодная смерть. Слушаю, дверь отворяют и зовут меня по имени. Я бросился к двери, — дверь растворилась, и я увидел на пороге своих товарищей. Первое мое слово было: воды! Принесли мне воды, я напился, оглядываюсь вокруг себя, и страшно выговорить, что я увидел.

На дворе, при свете пожара, соучастники мои режут, и бьют, и живых в огонь бросают несчастных гостей графини.

О, лучше не родиться, чем быть свидетелем и причиною такого ужаса!

Пока меня держали в погребе, крестьяне дали знать моим товарищам о случившемся, и они прилетели на выручку. Ужасная была выручка!

К графине собралось много гостей с детьми и женами по случаю похорон сына. Но ему бог не судил в земле лежать, — труп его грешный сгорел на пышном катафалке.

Все уже было готово к похоронам, уже

ксендзы начали панихиду петь, как тут мои разбойники налетели, как коршуны, зажгли великолепные палаты, и началось убийство. Грудных младенцев не пощадили. Варвары!

А крестьяне собрались на двор, как бы на потешное зрелище. Ни один и пальцем не пошевелил; только хохотали, когда разбойники бросали со второго этажа толстого пана или пани. Грубые, жестокосердые люди!

А кто их огрубил? Кто ожесточил? Вы сами, жестокие, насытые паны!

Крестьяне, впрочем, спасли панну Магдалену за ее ангельскую доброту и за то, что она по воскресеньям ходила в нашу церковь. Спасли и мою бедную Марысю, потому что она была не панна.

Я отыскивал их в селе, мне хотелось еще хоть раз взглянуть на них, бедных. Но крестьяне не показали мне их убежища, бояся, чтобы я не убил невольно преступную Марысю.

Бедные, они не верили, что я чистосердечно простил ее.

И мне не удалось их тогда увидеть.

При свете пожара товарищи увлекли меня

с собою, по направлению к корчме, где я в первый раз встретил разбойников и где совершил убийство. Товарищи напились вина, зажгли корчму и еврея-предателя живого в огонь бросили.

Мы ушли ночевать в дуброву.

К удивлению моему, я не видел у разбойников никакой добычи, следовательно, все это было сделано только для моей свободы. О бедная моя свобода! убийством и пожаром ты куплена была!

Я не принимал никакого участия в делах преступного братства, я почти все хворал, и вскоре опять ко мне болезнь прежняя возвратилась. Случилось это недалеко от моей родины, то я и просил товарищей перенести меня в село и положить в тытаревой хатке, что в саду, а там что бог даст. Долго они не соглашались, боясь преследования полиции, но я убедил их в моей безопасности; я знал наверное, что меня тытарь не выдаст, а если б и выдал, то я не боялся правосудия и казни, потому что я и без того казнилса ежеминутно. Мне страшно надоела зверям подобная разбойничья жизнь.

Ночью перенесли меня товарищи в назначенную мной хатку в тытаревом саду. Положили меня в хатке и дали знать хозяину, что у него есть гость *недужий*.

Поутру пришел ко мне сам хозяин. Принес мне воды, хлеба и кипяченого молока с шалфеем; с участием расспросил, что у меня болит, и напоил меня горячим молоком. Потом принес мне постель и к вечеру привел знахаря. Прекрасное, благородное лицо знахаря, с белою окладистою бородою, внушило мне доверие, но лекарства его все-таки мне не помогли.

Хозяин и знахарь просиживали со мною целые дни, но женщин я не видал у себя в хате; вероятно, благоразумный хозяин не говорил своей жене про меня, не полагаясь на женскую скромность.

Мне становилось хуже и хуже, так что я просил к себе священника позвать.

Привели ко мне ночью священника, и я узнал того самого отца Никифора, который когда-то обещал сделать из меня человека. Он был уже седой, но бодрый старец. Удивился простодушный старик, когда я напомнил того

бедного Кирилка-сироту, взятого им давно когда-то у бедной вдовы Дорошихи.

После исповеди и принятия святых тайн я почувствовал себя лучше. Святое, великое дело религия для человека, тем более для такого, как я, грешника!

День ото дня мне становилось лучше. Добрый хозяин мой как ни старался скрыть мое пребывание в его доме, однако тайна была открыта.

Поздно вечером я сидел у окна и слушал пение соловья в саду, вдыхая в себя запах цветущих черешен и вишен.

За деревьями мне показалось что-то, будто мелькнуло черное, смотрю пристальнее — человеческая фигура тихо подходит к хате; ближе — вижу, женщина в черном платье, только не крестьянского покроя. Подходит к самому окну, и кого же я узнал? Мою единую, мою незабвенную панну Магдалену.

Она вошла тихонько в хату.

Мы судорожно обнялись и поцеловались и долго держали друг друга за руки, не говоря ни слова.

Потом, как сестра, как самая нежная, неж-

ная любовница, она обвила меня своими руками и горько, горько зарыдала.

Недолго продолжалось наше свидание, потому что я был еще слаб; она это поняла и вскоре простилась со мною, обещаясь навещать меня на другой день. Она ради моей бедной Марыси осталась с ней жить в селе, потому что Марыся, как подданка, не могла следовать за нею в монастырь. Случайно узнала она о моем пребывании у тытаря. Она искала для себя квартиру в селе, и ей рекомендовала дьяконша тытареву хатку в саду как самое уютное и дешевое убежище.

Она днем пришла посмотреть хатку. Хозяева мои были в поле на работе, а то бы они ее не пустили в сад.

Я в то время спал, когда она приходила в хатку. Она меня видела спящего, узнала и не разбудила, а посетила вечером.

Свидания наши продолжались ежедневно, когда хозяйева мои уходили в поле на работу. И, боже мой, о чем мы с ней не переговорили! Какие возвышенные, благородные помыслы и чувства она исповедала передо мною!

Она рассказала мне, как она по получении

моего письма, в котором я просил у нее свидания, приходила каждый вечер в продолжение лета и осени в эту самую хатку и дожидала меня иногда до рассвета. И какие чистые, христианские средства в то время она придумывала к моему обращению! Мы исповедались друг перед другом, говорили обо всем, что было близкого, сердечного, но о Марысе не было сказано ни слова; она как бы боялась напомнить мне о ней, а я тоже боялся услышать ее имя из непорочных уст панны Магдалены.

А Марыся моя бедная приходила каждый раз с панною Магдаленою и оставалась в саду, не смея зайти ко мне в хату.

Однажды я собрался с духом и спросил:

— Что моя бедная Марыся? Жива ли она?

— Жива, но не скажу здорова, — отвечала панна Магдалена.

— Что же с нею? — спросил я с трепетом.

— Она страдает! сердечным недугом страдает!

— Можно ли мне ее увидеть? Приведите ее ко мне, пускай я хотя взгляну на нее.

Панна Магдалена вышла из хаты и через минуту возвратилась, ведя за собою Марысю.

Я не узнал ее: она страшно переменилась — бледная, худая и с каким-то лихорадочным блеском в глазах.

Долго она стояла как окаменелая, наконец едва внятно проговорила:

— Прости!.. Прости меня!

И, рыдая, упала к ногам моим.

Я был слишком потрясен и не мог проговорить ей ни слова.

Безмолвное свидание наше скоро кончилось. Панна Магдалена вывела ее полуживую из хаты, и я не смел останавливать. Панна Магдалена имела надо мною безграничную моральную власть, я повиновался ей, как ребенок матери.

Марыся вместе с панною Магдаленою посещали меня каждый день, и однажды Марыся рассказала мне свою грустную историю со дня, как я уехал в Одессу продавать пшеницу.

Не повторяю я тебе, друже мой, этой тяжелой повести, потому что она отвратительно гнусна и, к несчастью, слишком обыкновенна на нашей бедной родине!

Она, несчастная, была матерью и в нищете растила своего бедного сына: графиня покой-

ная не хотела ничем помочь нищей матери своего внука, страшась ложного стыда.

Бедные вы, мелкодушные графини!

День ото дня мне было лучше; а между нами решено было, как скоро можно будет мне выходить, то отправиться не в отдаленный глухой монастырь, как я прежде думал, а идти в Житомир и явиться к губернатору, рассказать ему все преступления свои и положиться на милосердие божие и на правосудие человеческое. Я так и сделал.

Ночью, простившись с моим скромным и гостеприимным хозяином, я, не видимый никем, вышел из села.

В лесу, на берегу Случи, меня ожидала панна Магдалена и Марыся, — мы так еще днем условились.

С рассветом они вывели меня на житомирскую дорогу, и мы расстались, расстались навеки.

— И при последнем целовании незабвенная моя панна Магдалена благословила меня этою святою книгою, — и он указал на лежащую на столе библию, о которой я говорил

уже.

— Святая, божественная книга, — продолжал он восторженно, — мое единое прибежище, покров и упование.

Старик задумался, заплакал и сквозь слезы говорил, как бы сам про себя: «Одна-единственная вещь, уцелевшая от пожара».

— Друже мой, — сказал он после минутного молчания, — ежели бог приведет тебя в наш край, то посети бедное село на берегу Случи, и если найдешь их живыми, то поцелуй их от меня, а если померли, то отслужи за их мученические души панихиду. Я пришел в Житомир, явился к губернатору, чистосердечно рассказал ему свою страшную историю и был арестован. Меня судили как убийцу и осудили милостиво и человеколюбиво. Вот тебе и вся моя грешная повесть, мой друже и мой милый земляче. А остальное пускай тебе доскажут кандалы мои и мои преждевременные седины.

1845 года, Киев.

Княгиня^{67}

Село! О, сколько милых, очаровательных видений^{68} пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове! Село! И вот стоит передо мною наша бедная, старая белая хата, с потемневшею соломенною крышею и черным дымарем, а около хаты на причилку яблоня с краснобокими яблоками, а вокруг яблони цветник — любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки! А у ворот стоит старая развесистая верба с засохшею верхушкою, а за вербою стоит клуныя, окруженная стогами жита, пшеницы и разного всякого хлеба; за клунею по косогору пойдет уже сад. Да какой сад! Видал я на своем веку-таки порядочные сады^{69}, как, например, уманский и петергофский, но это что за сады! Гроша не стоят в сравнении с нашим великолепным садом: густой, темный, тихий, словом, другого такого сада нет на всем свете. А за садом левада, за левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручей, уставленный вербами и калиною и окутанный широколиственными, темными, зелеными лопуха-

ми; а в этом ручье под нависшими лопухами купается кубический белокурый мальчуган, а выкупавшись, перебегает он долину и леваду, вбегает в тенистый сад и падает под первую грушею или яблонею и засыпает настоящим, невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, думает и спрашивает сам у себя: «А что же там за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо. А что, если бы пойти да посмотреть, как это они его там подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это недалеко».

Встал и, не задумавшись, пошел он через долину и леваду прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел *царыну*, прошел с полверсты поля, на поле стоит высокая черная могила. Он вскарабкался на могилу, чтобы с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо.

Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны: и по одну сторону село, и по другую сторону село, и там из темных садов выглядывает трехглавая церковь, белым железом крытая, и там тоже выглядывает церковь из

темных садов, и тоже железом крытая. Мальчуган задумался. «Нет, — думает он, — сегодня поздно, не дойду я до тех железных столбов, а завтра вместе с Катрею⁽⁷⁰⁾. Она до череды коров погонит, а я пойду к железным столбам, а сегодня одурю Микиту (брата)⁽⁷¹⁾, скажу, что я видел железные столбы, те, что подпирают небо». — И он, скатившись кубарем с могилы, встал на ноги и пошел, не оглядываясь, в чужое село. К его счастью, встретились ему чумаки и, остановивши, спросили:

— А куда ты мандруешь, парубче?

— Додому.

— А де ж твоя дома, небораче?

— В Киреливци.

— Так чого ж ты идешь у Морынци?

— Я не в Морынци, а в Киреливку иду.

— А колы в Киреливку, так сидай на мою мажу, товарищу, мы тебе довеземо додому.

Посадили его на скрыньку, что бывает в передке чумацкого воза, и дали ему батиг в руки, и он погоняет себе волов, как ни в чем не бывало. Подъезжая к селу, он [увидал] свою хату на противоположной горе и закричал в село:

— Онде, онде наша хата!

— А колы ты вже бачишь свою хату, — сказал хозяин воза, — то и иди соби с богом!

И, снявши мальчугана с воза, поставил на ноги и, обращаясь к товарищам, сказал:

— Нехай иде соби с богом!

— Нехай иде соби с богом! — проговорили чумаки, и мальчуган побежал себе с богом в село.

Смеркало уже на дворе, когда я (потому что этот кубический белокурый мальчуган был не кто иной, как смиренный автор сего хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа) подошел к нашему перелазу. Смотрю через перелаз на двор, а там, около хаты, на темном зеленом бархатном *спорыше* все наши сидят себе в кружке и вечеряют; только моя старшая сестра и нянька Катерина не вечеряет, а стоит себе около дверей, подперши голову рукою, и как будто поглядывает на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелаза, то она вскрикнула: «Прыйшов! прыйшов! — и, подбежав ко мне, схватила меня на руки, понесла через двор и посадила в кружок вечерять, сказавши: — Сидай ве-

черять, приبلудо!» Повечерявши, сестра повела меня спать и, уложивши в постель, перекрестила, поцеловала и, улыбаясь, назвала меня опять приبلудою.

Я долго не мог заснуть; происшествия прошлого дня мне не давали спать. Я думал все о железных столбах и о том, говорить ли мне о них Катерине и Миките, или не говорить. Никита был раз с отцом в Одессе⁽⁷²⁾ и там, конечно, видел эти столбы. Как же я ему буду говорить о них, когда я их вовсе не видал? Катерину можно б одурить... Нет, я и ей не скажу ничего, — и, подумавши еще недолго о железных столбах, я заснул.

Через два-три года я уже вижу себя в школе у слепого Совгиря (так назывался наш нестихарный дьячок⁽⁷³⁾), складывающего *тму-мну*. И, проскладавши, бывало, до *тля-мля*⁽⁷⁴⁾, выйду из школы на улицу, посмотрю в яр, а там мои счастливые сверстники играют себе на соломе около клуни и не знают, что есть на свете и дьяк и школа. Смотрю, бывало, на них и думаю: «Отчего же я такой бесталаный, зачем меня, сердечного, мучат над проклятым букварем?» — и, махнувши рукою,

дам драла через *цвынтарь* в яр, к счастливым, на светлую, теплую солому, и только что начну свои гимнастические упражнения на соломе, как идут два псалтырника, берут меня, раба божия, за руки и обращают вспять, сиречь ведут в школу, а в школе, сами здоровы, знаете, что делается за несвоевременные отлучки.

Совгирь-слипый (слепым его звали за то что он был только косою, а не слепой) был в нашем селе дьячком не то чтобы стихарным, настоящим дьячком а так себе приبلудою. Предшественник его, Никифор Хмара, тоже был у нас нестихарным дьячком; только раз у *тытаря на меду* захворал ночью, а к утру и помер, бог его знает отчего. А Совгирь-слипый случился тут же у *тытаря на банкете* да, не долго думаячи, в следующее же воскресенье стал на клиросе. Пропел обедню, прочитал апостола, да так прочитал, что *громада* и сам отец Касиян только чмокнули. Вот так после обедни громадою был провозглашен слипый Совгирь дьячком и с честью, подобающею его сану, введен был в школу, яко в свою *дидивцину*. Великий человек громада!

Поселился он в своей школе, и школяры в том числе и аз невеликий, пошли к нему за наукою. А собою был он росту высокого, широкоплечий и смотрел бы настоящим запорожцем, если бы не был косой; даже свою незаплетенную косу носил он как-то вроде чупрыны.

Нрава он был более сурового, нежели веселого а в отношении житейских потребностей и вообще комфорта он был настоящий спартанец. Но что мне более всего в нем не нравилось, так это то, что, бывало, в субботу после вечерни начнет нас всех, по обыкновению, кормить березовою кашею; это все еще ничего пускай бы себе кормил, нам эта каша была в обыкновение, а то вот где, можно сказать, истинное испытание: бьет бывало, а самому лежать велит да не кричать, а не борзяся и явственно читать пятую заповедь. Настоящий спартанец!

Ну, скажите, люди добрые, рождался ли когда на свет такой богатырь, чтобы улежал спокойно под розгами? Нет, я думаю, такого человека еще земля не носила.

Бывало, когда дойдет до меня очередь, то

я уже не прошу о помиловании, а прошу только, чтобы он умилосердился надо мною и велел меня, субботы ради святой, придержать хоть немножко. Иной раз, бывало, и умилосердится, да уж так отжарит, что лучше б и не просить о милосердии.

Мир праху твоему, слипый Совгирю! Ты, горемыка, и сам не знал, что делал: тебя так били, и ты так бил и не подозревал греха в своем простосердечии! Мир праху твоему, жалкий скиталец, ты был совершенно прав!

И вот я, к несказанной моей радости, кончил *Мал бех*⁽⁷⁵⁾, то есть кончил псалтырь, поставил, по обыкновению, кашу братии с грошами, совершил сей священный обряд неукосненно по всем преданиям старины и на другой же день принялся мелом выводить премудрые каракули на крашеной доске, сиречь я уже был не псалтырник, а скорописец.

В эту-то почти счастливую для меня эпоху случилось преобразование школы: прислали к нам из самого Киева стихарного дьячка. Совгирь-слипый сначала было поартачился, но принужден был уступить перед лицом закона и, собравши всю свою мизерию в одну

торбу, закинул ее на плечи, взял патерыцу в руку, а тетрадь из синей бумаги со сковородинскими псалмами⁽⁷⁶⁾ в другую и пошел искать себе другой школы. А братия моя по науке, аки овцы от волка рассыпашася, так они от нового стихарного дьячка, зане пьяница бе, паче всех пьяниц на свете. Тяжко противу рожна прати! И я, терпеливейший из братии, наконец взял свое орудие — *таблицу*, перо, *каламарь* с мелом⁽⁷⁷⁾ и пошел восвоеси с миром, дивясь бывшему.

С этого времени начинается длинный ряд самых грустных, самых безотрадних моих воспоминаний! Вскоре умирает мать, отец женится на молодой вдове и берет с нею троих детей вместо приданого. Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве. Не проходило часа без слез и драки между нами, детьми, и не проходило часа без ссоры и брани между отцом и мачехою; меня мачеха особенно ненавидела, вероятно за то, что я часто тузил ее тщедушного Степанка. Того же года отец осенью поехал за чем-то в Киев, занемог в дороге и, воз-

вратясь домой, вскоре умер.

После смерти отца один из многих моих дядей, чтоб вывести сироту в люди, как он говорил, предложил мне за ястие и питие пасти летом стадо свиное, а зимой помогать его *наймиту* по хозяйству, но я другую часть избрал.

Взявши свою таблицу, каламарь и псалтырь, отправился я к пьяному стихарному дьячку в школу и поселился у него в виде школяра и работника. Тут начинается моя практическая жизнь. Пребывание мое в школе было довольно не комфортабельно. Хорошо еще, если случались покойники в селе (прости меня, господи!), то мы еще кое-как перебивались, а не то просто голодали по нескольку дней сряду. Вечером иногда, бывало, я возьму торбу, а учитель возьмет в десную посох дебелий, а в шуйцу сосуд скудельный (мы и жидкостями не пренебрегали, как то: грушевым квасом и прочая) и пойдем под окнами петь *богом избранную*. Иной раз принесем-таки кое-что в школу, а иной раз и так насухо придем, разве только что не голодные.

Я знал почти всю псалтырь наизусть и читал ее, как говорили слушатели мои, вырази-

тельно, то есть громко. Вследствие такого моего досужества не был в селе похоронен ни один покойник, над которым бы я не прочитал псалтыри. За прочтение псалтыри я получал *кныш* и *копу* деньгами. Деньги я отдавал учителю как его доход, и он уже от щедрот своих уделял мне пятак на бублики, и это был один-единственный источник моего существования. При таких, можно сказать, умеренных, доходах я не мог жить открыто и одевался даже не щегольски, как прилично званию школяра. Ходил я постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечной грязной бесшменной рубашке, а о шапке и сапогах и помину не было ни летом, ни зимою. Однажды дал мне какой-то мужик за прочтение псалтыри на *пришвы ремню*, да и тот от меня учитель отобрал как свою собственность.

И много, много мог бы я рассказать презабавительных и назидательных вещей на эту тему, да рассказывать как-то грустно.

Так пролетели четыре жалких года над моею детскою головою.

Потом воспоминания мои принимают еще печальнейшие образы. Далеко, далеко от мо-

ей бедной, моей милой родины

*Без любви, без радости
Юность пролетела.*^{78}

Не пролетела, правда, а проползла в нищете, в невежестве и в унижении. И все это длилось ровно двадцать лет.

В продолжение моего странствования вне моей милой родины я воображал ее такую, какую видел в детстве, — прекрасною, грандиозною, а о нравах ее молчаливых обитателей я составил уже свои понятия, гармонируя их, разумеется, с пейзажем. Да мне и в голову не приходило, чтобы это могло быть иначе, а выходит, что иначе.

После двадцатилетних испытаний я немного оперился и, разумеется, полетел прямо в родимое гнездо. Вскоре передо мною засверкали давно знакомые мне беленькие хатки. Они как будто улыбались мне из темной зелени.

Может ли быть место в этих милых приютах нищете и ее гнусным спутникам! Нет! А иначе человек был бы не человек, а простое животное. С этим сладким убеждением я про-

ехал почти всю Черниговскую губернию, нигде не останавливаясь. Из города Козельца мне нужно было взять в сторону от почтовой дороги, — взглянуть поближе на мой эдем и даже выслушать сию печальную и правдивую повесть.

Город Козелец ничем не отличается своею физиономиею от прочих своих собратий, поветовых малороссийских городов. В истории нашей он тоже не играет особенной роли, как, например, заднепряньские его товарищи, разве только что в 1663. году здесь была собрана знаменитая Черная Рада^[79]. Словом, городок ничем не примечательный; но проезжий, если он только не спит во время перемены лошадей или не закусывает у пана Тихоновича, то непременно полюбуется величественным храмом грациозной архитектуры растреллиевской^[80], воздвигнутым Натальей Розумихою, родоначальницею дома графов Разумовских.

В шести верстах от города Козельца, в селе Лемешах, в бедной хатке, на *сволоке*, или балке, читаем: «Сей дом соорудила раба божия Наталия Розумиха^[81], 1710 року божьего». А в

городе Козельце в величественном храме читаем на мраморной доске: «Сей храм соорудила графиня Наталия Разумовская в 1742 году». Странные два памятника одной и той же строительницы!

В Козельце нанял я пару немудрых лошадок вместе с рыжим еврейчиком и поехал себе проселком, куда мне нужно. Это было в сентябре месяце. С утра был день только серенький, а к вечеру стал и мокренький; время шло к ночи, нужно было где-нибудь приютить себя на ночь, а по дороге не только корчмы — и мизерного шинка не видно.

Не доезжая Трубежа, или, по-местному, Трубайла, нам показалось на косогоре село. Подъезжаем ближе, — и действительно село, только погорелое, и ничего живого на черной улице не видно. А за греблею, по ту сторону Трубежа, мы увидели между вербами и едва начинающими желтеть садами белые хаты. Проехали мы по плотине мимо двух шумящих мельниц и очутились в большом казачьем селе. Чистые большие хаты и неразрушенные *тыны* свидетельствовали о благосостоянии обитателей, но первая к царыне хата

своей милотой мне особенно приглянулась, так что я решил просить себе в ней приюта на ночь. Дождик моросил-таки порядочно, а хозяин приветливо улыбающейся хаты, как ни в чем не бывало, стоит себе, облокотясь на тын, в новом нагольном тулупе, курит коротенькую трубку и, улыбаясь, смотрит, как его любимцы — круторогие *половые* волы — наслаждаются в огороде капустою. Увидевши в окно такое святотатство, из хаты выбежала хозяйка и сквозь слезы закричала:

— Чего же ты стоишь, недолуде старый, и смотришь, как добро нивечить скотына? Чому ты ии не заженешь в загороду?

— Я ее тридцать лет загонял, пускай теперь другие загоняют, — ответил хозяин совершенно равнодушно и продолжал курить трубку.

— А боже мий с тобою! — снова закричала хозяйка. — Да ты хоть бы кожух скинул, видишь, дождь идет?

— Так что ж? Пускай себе идет с богом!

— Как что ж? Кожух изнивечишь!

— Так что ж, пускай себе изнивечу, — у меня другой есть.

— Хоть кол на голове теши, а он все свое правит — сказала хозяйка и побежала выгнать с огорода скотину. Хозяин посмотрел ей вслед и самодовольно улыбнулся.

Мне очень понравилась его совершенно хохлацкая выходка, и я, высунувшись из брички, приветствовал хозяина с добрым вечером, на что он отвечал:

— Добрывечир и вам, люди добри! А чи далеко бог провадить? — прибавил он, надевая шапку.

— Та не далеко, а все-таки сегодня не доидемо, — сказал я, вылезая из брички, и прибавил с расстановкою: — А чи не можна б у вас, дядюшко, пидночувать?

— Чому не можна, можна, боже благословы! Хата чимала, а мы добрым людям ради.

И, говоря, он отворил ворота, и бричка всунулась во двор.

— Просымо покорно до господы! — сказал мне хозяин, когда я вошел на двор, и заметно было, что он старался выговаривать слова на русский лад.

Я вошел в хату; в хате было почти темно, но все-таки можно было видеть, что хата бы-

ла просторная и чистая.

— Просымо покорно, садовитесь, — говорил хозяин, показывая на *лаву*, — а я тым часом скажу свой старий, щоб що-нибудь нам засвитула, — прибавил он, уходя из хаты.

Через минуту вошла в хату старушка со свечой и, поставив ее на столе, тихо отошла к двери и, сложа руки на груди, молча остановилась. Она была в чистом чепце и в таком же немецком платье⁽⁸²⁾; меня это удивило. «Каким родом, — подумал я, — очутилось подобное явление в мужицкой хате?»

Вскоре за старушкой вошел хозяин в хату, неся на руках плачущее дитя. Дитя, увидя старушку, зажало губки и, улыбаясь, протянуло к ней свои крошечные ручонки.

— Возьми его, Микитовна, до себе, — говорил хозяин, передавая дитя старушке.

— Бач, воно мужика боиться, сказано — панська дытына, — прибавил он, глядя его по головке своей костлявой и широкой рукою.

У меня в кармане были леденцы; нужно заметить, что я этот продукт постоянно имел в кармане во время моих поездок по Малороссии. Заметьте, что ничем нельзя так скоро за-

добрить моего угрюмого земляка, как приласкать его дитя, и я часто не без пользы употреблял эту тактику. Я подал леденец дитяти, оно сначала посмотрело на меня своими необыкновенно большими глазами, потом молча взяло леденец и, улыбаясь, воткнуло в свои розовые губки.

Тут я мог поближе взглянуть на дитя и на старушку. Старушка показалась мне живой картиной Жерар Доу, а дитя было херувим Рафаэля⁽⁸³⁾. Меня поразила эта чистая, тонкая красота дитяти; мои глаза остановились на этом прекрасном создании. Старушка отнесла дитя в сторону и перекрестила, вероятно, от дурного глаза, а хозяин, подойдя ко мне, сказал:

— А что, не правда ли, что панская дытына?

— Прекрасное дитя, — ответил я и подал дитяти еще один леденец.

Хозяин заметно был доволен моими гостинцами и, подходя к старушке, сказал:

— Дай лышень мени его, Микитовна, а ты пиды та скажи мойй старий, чи не найде вона там чего-не-будь нам подвечиркувать та

може, коли не лыха буде, то й тее... по чарочці... догадуєтесь, Микитовна?

— Мы, добродію, люды прости, — сказав он, звертаючись до мене, — у нас нема нічого такого солодкого, ні того чаю, ніжче того сахару, а так просто, по-простому.

Старушка вийшла з хати, а він, з дитиною на руках підходячи до мене, сказав:

— Отепер подивіться на його, добродію, правда, що хороше, сказано — княжа.

— Да як же очутилося у вас княжеске дитя? Розкажіть мені, ради бога, — спитав я з здивуванням.

— Нехай вам, добродію, Микитовна розкаже, бо тут, не вам кажучи, була настояща комедія. Ви бачили отам, за Трубайлом, погорили село?

— Видел, — відповів я.

— Так добре, що видели. Вот то саме село було колысь оцього дитятка матери, та и выгорело. А вона, его маты... Т& я не розкажу вам, як воно там выгорело: мене тоди дома не було, то я й не бачив его. Нехай Микитовна сама розкаже, вона бачила, то вона й знає, як воно диялось.

Между тем старушка вошла в хату и чистой белой скатертью поверх *кильма* накрыла стол, достала с *польци* восьмиугольный расписанный графин с водкою и рюмку и поставила на стол; потом принесла на деревянной тарелке, тоже разрисованной, кусками нарезанного *чабака* и *паляныцю*. И все это было сделано ею тихо, чинно, так что, глядя на нее, можно было наверное сказать, что она выросла и состарилась не в мужицкой хате. Потом взяла на руки ребенка и отошла в сторону, а хозяин сказал ей:

— Микитовна, когда положишь спать дытynu, то зайды до нас, — нам треба буде розпытать у тебя дещо. Та скажите там мой старий, нехай нам вечерю готуе, та не галушки або кулиш, — бачите, у нас чужи люди!

Старушка вышла из хаты, а он вслед ей прибавил:

— Зайдить же до нас, Микитовна, як упораетесь.

— Хорошо, зайду, — отвечала она из сеней. Выпивши по одной, а потом и по другой, хозяин мой стал словоохотнее. Он разговорился до того, что, сам не замечая, рассказал мне

всю свою биографию. Рассказал мне, между прочим, как он, будучи парубком еще, был в *погоньцах* под французом⁽⁸⁴⁾ и воротился из Неметчины голый-голым, с одним батогом в руках, и как потом пошел внаймы до попа, и как после трудом и разумом разбогател и сделался из бездомного сироты-наймита первым хозяином в селе. Словом, через час времени я, не допытываясь, узнал всю его самую сокровенную историю.

Но что мне особенно в нем понравилось, — что он, рассказывая свою обыкновенную историю, касался как бы мимоходом своих богатырских подвигов, не подозревая в них ничего необыкновенного.

А между тем старушка принесла нам вечерю и сама повечеряла с нами. Помолившись богу после вечери, хозяин, обратясь к старушке, сказал:

— Теперь, Микитовна, розкажить нам про свою княгиню, як воно там у вас діялося. А с самого начала, — прибавил он, — наточить нам с кухоль сльвянки, — воно, знаете, веселите буде слухать.

Через минут пять старушка возвратилася

в хату с порядочным стеклянным *глечиком* в руках. Поставивши глечик на стол, сама она села на скамейку и, помолчав немного, проговорила вздохнувши:

— Про ее бесталанье, Степановичу, про ее тяжкую, горькую долю я готова каждый день, каждую годину рассказывать всему свету, чтобы весь свет знал про ее горькие кровавые слезы и казнил ее кровавыми слезами, — и она тихо заплакала.

Мы выпили по рюмке сливянки, а старушка, утерши слезы, начала так:

— Не умею сказать, сколько минуло тому лет, только это случилось давно, еще до француза; я была еще тогда такою *стрыгою*, когда покойный Демьян Федорович, царство ему небесное, пришел из-под француза. Они служили в каких-то казаках⁽⁸⁵⁾, а в каких именно, не умею вам сказать. Знаю только, что в казаках, и больше ничего. Батюшку своего Федора Павловича, царство ему небесное, они не застали в живых. Осмотревшись дома около хозяйства, поправили, что нужно было поправить, а что не нужно, то и так оставили. Тогда же они выстроили и два *витряка*, вот что на

горе стоят. Они только и уцелели от всего добра. Построивши витряюг, да и задумали свататься и высватали они аж за Остром у какого-то Солоньны Катерину Лукьяновну. Вот весною засваталися, а после першої пречистой и повенчались: и полгода не был женихом, голубчик мой. После их свадьбы меня и взяли во двор, в покои. Долго я плакала и сучала за своими домашними, а после и привыкла, когда побольше подросла. На другой или на третий год... кажется на третий, дал им бог дитя. Назвали его Катериною, а меня приставили к нему нянькою. С той поры и по сие лютое время я не разлучалася с моею беспаланницею ни на один час: она у меня на главах выросла, и замуж вышла, и...

— Та годи вам плакать, Микитовна! — сказал хозяин с участием. — На все те воля бо- жия, слезами только бога гневите.

Старушка, помолчав немного, продолжала:
— А какой хозяин! Какой пан добрый! Ду- ша какая праведная была! И все пошло пра- хом. Бывало, покойный Катеринич приедет к нам из Киева да только подивуется, а уж мож- но сказать, что Катеринич даром никого не

похвалит, да, правду сказать, бывало чему и подивоваться. Село всего-навсего сорок хат, а посмотрите, чего в этом селе нет! И ставы, и млыны, и пасики, и винныця, и броварь, и скотины разной, а в коморах — и, господи! — разве птичьего молока нет, а то все есть. А по селу так любо было по улице пройти: хаты чистые, белые; казалось, что в нашем хуторе вечная велькодная неделя.

Люди ходят себе по улице или сидят под хатами обутые, одетые, а дети бегают по улице в беленьких сорочечках, точно янголята божий. О, ох! и где это все девалось? Правдами Катерина Лукьяновна была хозяйка, но все-таки не то, что сам.

Бывало, каждое божие воскресенье или праздник какой запросят покойного отца Куприяна на отче наш⁽⁸⁶⁾, да и выставят двенадцать графинов, и все с разными настойками. А отец Куприян, царство ему небесное, по отче наш выпьет, бывало, из каждого графина по рюмке да как дойдет уже до последнего, то и скажет: «Вот это хорошая водка, ее и будем пить». — А водки, правду сказать, все были одинаково хорошие, да он, покойник, был

уже такой чудной, любил иногда, царство ему небесное, и пошутить.

— Чудный! чудный-таки был покойник, — говорил хозяин, наливая в рюмку сливянки. — А чтобы сказать пьяного, так я его никогда не видал: бог его знает, или это уже натуру такую добрую бог дает человеку, или человек уже сам приспособится, не знаю. А что, Микитовна, если б и вы с нами выпылы чарочку сливянки, — воно б, може, и полегшало!

Старушка отказалась от сливянки и, немного помолчав, продолжала свой рассказ:

— Катерине Демьяновне пошел уже другой годочек, как она в первый раз на ноги стала. Я привела ее за ручку в гостиную, где они поутру пили чай. Господи? что тут было радости, так и рассказать не можно! Катерина Лукьяновна взяли ее на руки и, поцеловавши, тут же сказали, что ни за кого на свете не выдадут ее замуж, как за князя или какого генерала. Ох! Так же оно и случилось на наше безголовье. А какие люди сватались! Нет, таки дай ей князя или генерала, — вот тебе и князь!

— Да, таки нечего сказать, хороший

князь! — перебил хозяин. — Дал он ей, бедной, знать себя.

— Стало оно вырастать, стали его учить сначала грамоте, а потом — и, господи! — чему они его не учили! Бывало, жаль посмотреть на бедное дитя: и шить, и вышивать, и прясть, и нитки сучить, а раз сам так послал ее, бедную, и коров даже доить. Бывало сама иногда вскинется на него: «Что ты, говорит, делаешь с бедным ребенком? Разве мы ее за мужика, что ли, готовим?» — «А может, и за мужиком придется жить: будущее кто знает?» — бывало, скажет сам, да и замолчит. А она ему: «Ты бы лучше для нее фортепьяны купил в Киеве». — Купили и фортепьяны на контрактах⁸⁷. Привезли с фортепьянами и учителя, не умею сказать, поляк ли он был, или немец, не знаю, только он говорить совсем не умел по-нашему. Бывало, скажет слово, так слушаешь да хохочешь. Вот он ее в год или в два выучил играть на тех фортепьянах, да как, бывало, заиграет моя лебедонька, так только сидишь, слушаешь, слушаешь, да и заплачешь, а она возьмет, да и переменит песню, да как ударит *Горлицю* или *Метельцю*⁸⁸

, — согрешила я, грешная, — не вытерплю, бывало, да как возьмуся в боки, да и пойду, да как пойду! Только *пидлога* ломится. А она играет, бывало, да хохочет. Однажды нас и застала сама да как прикрикнет на нас: «Ты, говорит, что это делаешь? Разве этому тебя учили играть? Только инструмент портишь своими мужицкими песнями. А ты, *цындря*, не знаешь, где коров доят, то будешь знать!» Я, разумеется, испугалась и стала себе в угол, да и стою, как будто меня и в комнате нет.

— А вы-таки, Микитовно, булы колысь, ни где правды сховать, таки добре *дзиндзюрысты*, — сказал хозяин, наливая рюмку сливянки.

— Просты мене, господа! Сказано — молодость, а в молодости чего не случается. А бывало, когда моя пташечка Катруся совсем выросла, то как только лягут спать паны после вечери, а мы и выйдем тихонько в сад, гуляем, гуляем, до самого света гуляем. А месяц так тебе и светит, как будто днем. А она еще, бывало, возьмет да и запоеет: *Не ходы, Грыцю, та на вечерныцю*, — да тихо, тихо, да сладко, так бы вот, кажется, и слушала б ее, слушала

б до самого свету.

— Помню, хорошо помню, — сказал хозяин, — раз иду я вночи коло вашего саду, только слушаю, что-то поет, только не *Грыця*, а другую какую-то песню. Я остановился и так простоял, как прикованный до тыну, до самого белого дня. Нечего сказать, прекрасно було слушать, как вона, бувало, заспивае.

— А поутру, спала ли, нет ли, вспорхнет, что твоя пташечка, и снова, поет, и снова веселится, — и никто, опричь меня, не знает, что ночью диялось. Ах, вот что я было чуть-чуть совсем не позабыла: есть тут, голубчики мои, недалеко от нашего села, на Трубайле, хутор майора Ячного. Вы его, Степанович, знаете, самого майора? Он и теперь еще здравствует, благодарение богу, а что за хозяин, так и покойному нашему Демьяну Федоровичу не уступит! Правда, у него только всего-навсе десять хат на хуторе, так зато и хаты, зато и люди! что хата, то семья — душ десять. Известное дело, в добре да в роскоши живут. А у самого майора ставочок, млыночок, садочок, витрячок, а домик — что твоя писанка: чистенький, беленький, только смотри да лю-

буйся! А что же, если б у него еще и хозяйка была б жива, а то он сам за всем хозяйничал. Правда, был у него сынок, но то, что еще можно сказать, дытына, да и то не на глазах росло, а было где-то в школах, не знаю — в Киеве, не знаю — в Нежине.

А были они с нашим покойным великие приятели. Бывало, или наш у него, или он у нашего, куска хлеба не съедят врозь, все вместе. На праздники приезжал к нему гостить и сын из школы, и только слава, что приезжал к отцу, а у нас, бывало, и днюет и ночует; и с моею Катрусеею, бывало, и в поле, и в саду, и в покоях, одно без другого никуда. Я, бывало, гляжу на них, та и думаю: «Вот вырастет парочка, так, что на диво; они просто одно для другого на свет божий родились». Так думал и майор, так думал и наш Демьян Федорович; а про детей и говорить нечего. Да все так думали, да не так думала Катерина Лукьяновна. Она спала и видела своего зятя или князя, или генерала, о других и думать не хотела. Бывало, когда ему, бедному, приходило время отправляться в школу, то Катруся моя уже за неделю начинает плакать, а когда он уедет

уже совсем, то она, бедная, просто в постель
сляжет и долго после того не ест, не пьет ни-
чего, — бог ее знает, чем она и жива была.

Так-то они, мои голубяточки, росли, росли,
да и выросли вместе, да и полюбились, сер-
дечные, на свое безголовье.

Господи! я уже в *домовыну* смотрю, а когда
вспомню про них, моих пташечек, то как буд-
то снова молодею. Бывало, уже перед тем, как
им надо расставаться, сойдутся себе в саду,
станут где-нибудь под липою или под бере-
стом, обнимутся, поцелуются и долго-долго
смотрят друг другу в очи, а слезы у обоих из
очей так жемчугом и катятся; знать, они чув-
ствовали, бедные, что не дадут им жить одно-
му для другого.

Вот он уже кончил свою школу. Покойный
губернатор Катеринич взял его к себе в Киев
и определил его в какую-то палату⁽⁸⁹⁾. Не умею
уже вам [сказать], для чего он его определил в
палаты. Вот он пробыл уже год в той палате, а
на другой год приезжает к нам в гости, да и
давай сватать мою Катрусю. Демьян Федоро-
вич, царство ему небесное, таки сразу согла-
сились и говорят, что лучше мужа нашей Ка-

те не найти и за морями. И правду говорили. Так что ж сама?.. Не Катруся сама — боже бо-роны! — а сама Катерина Лукьяновна? Упер-лась и руками и ногами. «Как? — закричит, бывало. — Чтобы я свою единственную дочь отдала за хуторянина, за *гречкосия*! Нет, луч-ше я ее в гроб положу, чем увижу ее, мою ми-лую Катеньку, на хуторе Ячного! Что она там будет делать, — индюков кормить, гусей заго-нять?.. Нет, не для того я ее на свет породила, не для хутора Ячного я ее воспитывала!» Фыркнет, бывало, и запрется в свои покои на целый день. А он сам около нее так и сядет, нет, хоть и не подходи, — знай, свое *провадить*: князя или генерала, да и только! Покойный Демьян Федорович хотел уже было без ее со-гласия перевенчать, да, зная, бог не судил ему это доброе дело. О рождестве он заболел, вернувшись из Козельца, а на середокрестной и богу душу отдал.

Господи! и теперь страшно вспомнить! Как он уже на вечной постели просил ее, чтобы не отдавала Кати ни за князя, ни за генерала, а чтобы отдала ее за молодого Ячного или за кого другого, только за свою ровню. Нет, так и

поставила на своем.

На тот грех, как раз в чистый четверг, вступила драгунья⁽⁹⁰⁾ в Козелец, да и заквартировалась по хуторам и по селам на все лето.

Да и драгунья ж это была! Чтобы она к нам никогда не возвращалась! Да, таки дала знать себя эта проклятая драгунья! Не одна чернобривка умылася слезами, провожавши эту природу драгунью. В одном нашем селе осталось четыре *покрытки*, а что же в Оглаве? да в Гоголеве?⁽⁹¹⁾ Там, я думаю, и не пересчитаешь!

— Горе нам, горе нам с теми драгунами!

— Да и теперь страшно вспомнить. Раз сыдымо мы ввечери все трое в гостинной; я, кажется, *карпетку* вязала, Катерина Лукьяновна сидела так, а Катруся книжку читала, да такую жалобную, чуть-чуть я не заплакала: про какого-то запорожца Киршу или про Юрия⁽⁹²⁾, не помню хорошенько, только очень жалобно. Вот уже дочиталась она, моя рыбонька, как того Юрия-запорожца закували в кайданы и посадылы в темныцю, только, глядь, смотрим, входит в комнату драгун, высоченный, усатый, а морда неначе те решето,

гладка та червона, здавалася червонишою од воротника, що пришитий до его мундыра. «Я, говорит, такой-то и такой князь Мордатый!» «Мы сами видим, что ты мордатый», — думаю себе. «Я, говорит, покупаю овес и сено; нет ли у вас овса и сена продажного?»

«Есть, — говорит Катерина Лукьяновна, — прошу садиться». Вот он себе и сел, а мы с Катрусей ушли в другую комнату дочитывать книжку. Только что начала читать, а в комнату входит Катерина Лукьяновна и говорит: «Вот тебе, Катенька, и твой суженый». Мы как сидели, так и обмерли. Как уже у них было в тот несчастный вечер и как он сватался, мы ничего не знали, только с того самого вечера князь к нам начал ездить каждый божий день и рано и вечером. А молодого Ячного, когда приедет он, бывало, из Киева, и на двор не пускали. Ходит, бывало, бедный, по-за садом да плачет, а мы, глядя на него, и себе в слезы. Что ж? И помогли слезы? А ни-ни; Катерина Лукьяновна-таки поставила на своем: как раз через год после смерти Демьяна Федоровича, на *велькодных святках*, просватала за князя мою бесталанницу Катрусю.

— И можно-таки сказать, что бесталанница: от всего добра, ото всей роскоши только и осталось, что два витряка, да и сама еще бог знает, останется ли в живых, — говорил хозяин как бы сам про себя, наливая рюмку сливянки.

— А вот как было, Степановичу. На фоминной неделе их и повенчали. Плакала, плакала она, моя бесталанница, да что! Знать, так господу угодно было. Не умолила она его, милосердного. Знать, господь бог, любя, наказует.

На другой день после свадьбы переехал он к нам из Козельца, и денщик его Яшка, такой скверный, оборванный, тоже с ним переехал. И только и добра было с ними, что преогромная белая кудрявая собака, юхтовый зеленый кiset и длинная трубка.

С того же дня и началось новое *господарство*.

На этом слове старушка остановилась и, помолчав немного, перекрестясь, сказала:

— Господи! прости меня, непрощенную грешницу! За что я осуждаю человека, ничего мне злого не сделавшего?.. А как подумаю, так он и мне-таки немало на делал зла. Он,

прости ему владыко милосердный! — тут она снова перекрестилась, — он, душегубец, загубил мое одно-единственное сокровище, мою одну-единственную любовь! Я никогда никого на свете так не любила, как полюбила ее, мою горькую бесталанницу. Одна моя единая радость, одно мое единое было сладкое счастье видеть ее счастливою замужем. И что же? Слезы! Слезы! Слезы и посрамление! А все мать! Всему, всему причиною одна родная мать: захотелось ей, видишь ли, свою единственную дочь увидеть княгинею! Ну, вот тебе и княгиня! Любишься теперь на свою княгиню! Любишься теперь на свое прекрасное село, на свой сад зеленый, на свой дом высокий! Любишься, Катерина Лукьяновна, любишься на свои хорошие дела! Ты, ты одна все это натворила!

Старушка от избытка чувств умолкла, а хозяин, немного погодя, сказал:

— Та цур ий, Микитовна, не згадуй ее, нехай ий лыхо сныться; розкажуйте, що там дальше буде.

— Ох! я не знаю, как мне уж и рассказывать, потому что тут пойдет все такое страм-

ное, скверное, что и подумать грешно, а не то что рассказывать.

— Розказуй уже, Микитовна, до краю, а то так не треба було и зачинать, — говорил хозяин, наливая рюмку сливянки и поднося ее рассказчице.

— Спасыби, спасыби, Степановичу, я вже моими слезами пьяна.

— А не хочете, то як хочете, а мы с добродием так выпьем, а вы тым часом розкажить, як воно зачалося у вас, те новое господарство? — говорил хозяин, потчюя меня сливянкой.

— А началось вот так, — проговорила старушка и, помолчавши, почти закричала:

— Ну, скажите вы мне, люди добрые, чего ей, грешнице, недоставало? Пани на всю губу, всякого добра и видимо и невидимо, купалася в роскоши! Так же нет, мало, дайте мне зятя князя, а то умру, як не даете. Добула, выторговала, купила себе князя, продавши свою дочь. О матери, матери! Вы забываете свои страдания при рождении дитяти, когда так недорого продаете это дитя, которое вам так дорого обошлось!

Старушка замолчала, а хозяин сказал:

— Все воно так, Микитовна, а мы все-таки не знаем, как у вас началось новое господарство.

И она спокойно продолжала:

— А началось воно так, Степановичу, что князь в комнатах завел псарню, — вот как началось новое господарство! Всякий божий день пиры да банкеты, бывало, свету божия не видишь от табачного дыму, а о прочем и говорить нечего. А еще, бывало, как зазовет к себе на охоту всю свою драгунию из Козельца, то господи и упаси! Наедут пьяные, грязные, скверные такие, что не дай бог и во сне таких увидеть. Да еще всякий возьмет себе по денщику такому же скверному, как и сам, и не день, и не два, и не три, а целую неделю gostят. А что они за эту неделю наделают в комнатах, так я и рассказать стыжуся. *Свынынецъ*, настоящий свынынецъ! Так что, бывало, вымываем да выкуриваем после них целый месяц. Отут-то я только узнала, что значит драгуния! А Катерина Лукьяновна смотрит на них да только себе улыбается, и больше ничего.

Не прошло и месяца, как он уже все к себе забрал в руки. Ключи от коморы и лёху были у его поганого Яшки. Так что ежели чего захочется Катерине Лукьяновне, то нужно было просить Яшку. Отут-то она в первый раз отроду заплакала, тут-то она увидела своего князя таким, каким его надо было матери видеть прежде. Но она, гордая, и виду не показывала, что все видит. А когда, бывало, придется уже ей до *скруту*, невоготу, то она хоть через великую силу, а все-таки улыбнется и поворотит все в *жарты* (в шутку). А Катруся, моя бедная Катруся, сидит, бывало, в своей комнате и день и ночь, да так рекою и разливается. А он (и это не один раз) приедет в полночь из Козельца пьяный да приведет с собою еврея с цимбалами, всех подымет на ноги. «Танцуйте, кричит, хохлацкие души, танцуйте! А не то всех вас передушу!» Мы, бывало, с Катрусею убежим себе в сад летом, а зимою не раз мы ночевали в мужицкой хате.

— Мне только вот что кажется чудным, — перебил ее хозяин, — как вы не догадались его пьяного задушить да сказали б, что умер с перепоею или просто сгорел.

— Э, так, думаете, и сказать легко! А грех! А страшный суд, Степановичу? Нет, пускай себе умирает своею смертию, бог ему и судья и кара, а не мы, грешные.

— Та воно-то так, Микитовна, а бывает и вот еще как: одному разбойнику на исповеди ^{93} в Киеве чернец задал такую *покуту*. «Возьми, говорит, непрощенный грешниче, два камня, свяжи их докупы сырцевым ремнем, перекинь через плечо, а когда ремень перервется, тогда твои грехи будут прощены». Отож идет он с теми камнями через кладовыще и видит, что на свежей могиле блудный сын мать свою проклинае. «Господи, — говорит разбойник, — не одного я доброго человека послал на тот свет, дай пошлю и этого злодея-ругателя», и только что убил его, ремень как ножом перерезало. — Вот что! — прибавил он значительно. — Так что же у вас там дальше происходило, Микитовна? — сказал, он подвигая к себе кухоль со сливянкою.

— А происходили, Степановичу, *спивы* та плясы, та полунощные банкеты, и добанкетовались до того, что к концу зимы нечего было на стол поставить. Драгуния, знаете, нае-

дет голодная, так тут хоть *макитру* пустую поставь на стол, то и ту съедят. Все, что ни поставь, бывало, как метлою метут. А когда не успеем, бывало, собрать во-время посуды, то и посуда полетит под стол, сказано, пьяни люди! А сам сидит себе за столом, та, знай, в ладоши бьет, та кричит *ура!!* Сначала я не понимала этого слова и думала, то он сердится и ругает своих гостей, а вышло, что он рад был, когда они пустошили добро. Вот так-то они всю зиму просодомили та прогоморили, а весною, смотрим, наше поле не зеленеет⁽⁹⁴⁾; ни трава, ни жито, ни пшеница не зеленеют. Пришли и *зеленые святки* (духов день), а поле черное, как будто на нем ничего и не сеяно. Уже и молебствовали и воду в *криницах* святили, — нет, ничто не возшло. Посеяли яровое, и зерно в земле погибло. Народ заплакал, скотина заревела с голоду, и, наконец, собаки завьли и разбежались, и, господь его знает, откуда эти волки взялись, — и днем и ночью так, бывало, и ходят по селу. Это было горе, всесветное горе! Но нам было горе двойное. Одно то, что люди в селе пухли от голоду и здыхали, як ти собаки, без святой исповеди и

причастия (отец Куприян сам занедужал); а другое наше горе было то, что наш князь, ничего этого не видя, назовет к себе гостей, свою драгунию из Козельца и с людьми, и с лошадьми, и с собаками, да и кормит их и поит целый месяц. А до того ему и дела нет, что у мужиков ни одной крыши не осталось на хате, — все скотина съела. Лесу даже не осталось, ни одного дерева живого: все деревья — и дуб, и ясень, и клен, и осыка, уж на что верба горькая, — и та была оскоблена и съедена людьми. О господи! Что-то голод делает с человеком! Посмотришь, бывало, совсем не человек ходит, а что-то страшное, зверь какой-то голодный, так что и взглянуть на него нельзя без ужаса. А дети-то, бедные дети! — просто пухли с голоду: лезят, бывало, по улице, как щенята, и только и знают одно слово: *папы! папы!*

Вы, может быть, думаете, что у нас хлеба не было? Мыши его ели в скирдах и в коморах; лет пять можно было б прокормить не только наше село, а весь Козелец. Так что же ты будешь делать? — не дает людям. «Лучше, говорит, продам, когда вздорожает, а люди

нехай дохнут, от них прибыли мало». — Катруся моя бедная заикнется, бывало, сказать слово про людей... «Молчать! — закричит он на нее, как на свою белую собаку. — Разве я не знаю, что делаю»? Она, бедная, и замолчит: выйдет в другую комнату, да в слезы, а я, на нее глядя, и себе туда же. Что будешь с ним делать? Сказано — зверь, а не человек! И бог его святой знает, как она еще, бедная, дитя выносила?

Она была тогда уже на износе, этим самым дитем, что вы сегодня здесь видели, — говорила она, обращаясь ко мне, — и когда, бывало, он заснет пьяный, то она, дрожа, на цыпочках, пройдет мимо него в свою комнату, упадет на колени перед образом скорбной божией матери, помолится и так горько заплачет, так горько, так тяжко, что я и не видела никогда, чтобы люди так плакали. Мне даже страшно делалось. А когда он поедет на охоту со своею драгунией, тогда мы возьмем себе по мешку хлеба печеного, — я еще, бывало, говорю ей: «Не берите, не подымайте через силу, — вы сами видите, какие вы, я одна понесу». — «Ничего, говорит, Микитовна (она

меня тоже Микитовною звала), — ты только показуй мне, у кого есть маленькие дети и старые немощные люди». Вот мы и пойдем по хатам. Господи! чего я там насмотрелась! Поверите ли, что голодная мать вырывает из рук хлеб у своего умирающего дитяти! И волчица, я думаю, этого не делает! Что значит голод!

Раз зашли мы в одну хату. О! я этой хаты, пока живу на свете, не забуду! Отворили мы двери, — на нас так и пахнуло *пусткою*. Входим и видим: посередине хаты на полу лежат двое худых-прехудых детей, только одни колени толстые. Одно уже совсем скончалось, а другое еще губками шевелит, а около них сидит мать, простоволосая, худая, бледная, в разорванной рубахе и без *запаски*. А глаза у нее, — господи, какие страшные! и она ими не смотрит ни на детей, ни на кого, а так, бог знает на что смотрит. Когда мы остановились на пороге, она как будто взглянула на нас и закричала: «Не треба! не треба!! хлеба!» Я вынула из мешка кусок хлеба и подала ей. Она молча обеими руками схватила его, задрожала и поднесла к губам умершего дитяти и по-

том захохотала. Мы вышли из хаты.

— Да, ты-таки, Микитовна, видела на своем веку багато дечого! — говорил хозяин, с участием глядя на старушку.

— И не говорите, Степановичу! Не приведи господи никому того видеть, что я видела.

— Господь его милосердный знает, — продолжал хозяин, обращаясь ко мне, — как это воно все мудро да хитро устроено на свете! Я про себя скажу: меня эти проклятые голодные годы просто на ноги поставили. У меня своего хлеба-таки было довольно, да у людей еще прикупил, как будто знал, что будут неурожайи. Вот как настал голодный год, ко мне все и сунулись за хлебом. Я хотя и вчетверо продавал дешевле, нежели паны евреям продавали, а все-таки выручил порядочную копейку. Чумаки мои одну зиму зимовали с *худобою* на Дону, а другую перезимовали за Днестром, а там голоду не було; волы, слава богу, и чумаки вернулись живи и здорови, да еще и соли и рыбы мени привезлы, а хлиб святой дома проданый. Вот у меня и *гроши*, и скотина, слава богу, жива и здорова. Так и бог его знает, как это воно так делается на свете, так див-

но! — прибавил он, обращаясь к рассказчице.

— Такой уже ваш талант, Степановичу, — сказала она вздыхая. — За то вам и господь посылает, что вы в нужде людей не оставляете! Вот хоть бы и я теперь, если бы не вы, куда бы я приклонилась с этою бедною сиротою? Хоть с горы та в воду...

— Господь с вами, Микитовна! Мы свои люди. С кем же нам делиться, как не с вами? А тем часом продолжайте, Микитовна, а то, може, нашему гостеву и заснуть треба, — говорил он, на меня поглядывая.

— Кое-как прошло лето, — продолжала старушка. — Осени мы и не видели, разом наступила зима — да лютая такая, да жестокая: и холод, и голод разом посетил нас. Лес, ободраный весь, высох, а князь, наш хозяин, запретил его на дрова рубить. «Кто, говорит, хоть веточку срубит, того, говорит, в гроб вгною. Лес славный, сухой, летом примусь, говорит, палаты себе строить. Я люблю простор, мне нужен дворец, а не лачуга хохлацкая, в которой я теперь гнезжуся, как медведь в берлоге!» И люди бедные и мерзли, и мерли. А что с ним будешь делать? Сказано — пан, что

хочет, то и делает.

На первой неделе филипповки⁽⁹⁵⁾ разрешилась она, бедная, от бремени и не хотела взять мамку, а сама кормила свое дитя. Вскоре после крестин поехал он в Козелец к товарищам и прогостил у них целую неделю. Отдохнули мы без него немного, слава богу. Только ночью, мы уже спать легли, приезжает он, ломится в двери да кричит. Я вскочила, отворила дверь, достала огня, только смотрю, какая-то женщина с ним, в картузе и офицерской шинели. Как крикнет он на меня: «Что ты, — говорит, — глаза вытаращила? Пошла вон, дура!» Я и ушла в свою комнату.

На другой день, за чаем, он сказал Катрусе: — Знаешь, душенька, какой сюрприз мне сделала сестрица? Не написавши мне ни слова, что хочет с тобою лично познакомиться, взяла да и приехала, как говорится, не думавши. Такая, право, ветреница! И вообрази себе, на перекладных ведь приехала, — настоящая гусар-баба. Просто одолжила! Вчера, вообрази себе, подхожу я к почтовой станции, смотрю, тройка у ворот стоит совсем готовая. Я остановился: дай, думаю, посмотрю, кто такой по-

едет. Только смотрю, выходит дама. Я, знаешь, так того... ты прости меня, душоночек, — проклятая привычка! Смотрю... и представь себе мой восторг! — это была моя сестра. Тут мы, разумеется, бросились в объятия друг другу.

— А я и не знала, что у тебя есть сестра, — проговорила Катруся.

— Как же, есть, и не одна, а две. Одна замужем за графом Горбатовым, та постоянно живет в столице при дворе; она бы тоже ко мне прикатила, но, знаешь, нельзя, она слишком заметна при дворе. Я тебе, душенька, свою сестрицу сейчас представлю.

Как плотно побледнела моя бедная Катруся: она, верно, бесталанная, догадалась, какая это будет сестрица. Через минуту он ввел под руку женщину, не знаю — молодую, не знаю — старую, за белилами та румянами нельзя было узнать.

— Рекомендую тебе, душенька: княжна Жюли Мордатова.

И она вертляво поклонилась, проговорила что-то, не знаю — по-русски, не знаю — по-польски, — я ничего не разобрала, да Катруся,

думаю, тоже, потому что она ей и головою не кивнула, а только побледнела пуще прежнего.

— Ты извини ее, друг мой: она у меня еще институтка, по-русски почти слова не выговорит, а в высшем кругу в русском языке никакой нет надобности. Да я про себя скажу, — я до двадцати лет не умел по-русски двух слов сказать. У нас в Грузии почти все равно, что и в столице — никто по-русски не говорит, — все пофранцузски. Такая мода, мой друг! Мы и свою крошку в столицу в институт пошлем, не правда ли?

Катруся не могла долее вытерпеть. Она молча встала и ушла в детскую, и я ушла за нею. А Катерина Лукьяновна осталась одна со своими князьями. Я была бы счастлива, Степановичу, если бы я забыла то, что у нас творилось в доме. Но бог меня, не знаю, за что, памятью покарал.

После этой проклятой сестры я ни на одну минуту не оставляла моей Катруси, да и она, моя бесталанница, с той поры ни шагу не выступала из своей комнаты. Господи! Святая Катерино великомученице, страдала ли ты

так, как она, моя бедная Катруся, страдала? Бывало, день плачет, ночь плачет. Я уже не знала, что с нею и делать. Вот она плакала, плакала, да и начала уже в уме мешаться. Я хотела было ребенка отнять от груди, нет, не дает: «Умру, говорит, с ним вместе, пускай меня в одну *труну* положат с ним, пускай, что хотят, делают, а его я никому не отдам!» Что же мне было делать с нею? Я так и оставила дитя; смотрю только, бывало, да плачу. Катерина Лукьяновна тоже, бывало, зайдет в нашу комнату, посмотрит на свою княгиню и хоть была гордая, но заплачет и выйдет из комнаты.

А тут же рядом в других комнатах песни да музыка, точно в корчме на перекрестном шляху, а еврейка Хайка, что князь назвал своею сестрицею, так и носится с драгунами, и поет, и пляшет, и всякие фигуры выделывает, отвратительная, — даже трубку курила!

Катруся, моя бедная, сначала показывала вид, что ничего не видит и не слышит; а после уже ей, сердечной, не вмоготу стало, да что станешь делать с таким иродом? У нашей сестры, сказано, одни слезы, ничего больше

не осталось. А слезы что? Вода! Ох! Не одну реку пролила она этой горькой воды! А он, как ни в чем не бывало, зайдет к ней иногда, да еще спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?» Как будто ослеп, — прости ты меня, господи, — не видит, что ее, бедную, едва ноги носят. «Не послать ли, друг мой, в Козелец за полковым штаб-доктором?» — «Не нужно», — скажет она, да и замолчит. «Ну, как знаешь; это твое дело, а не мое. Я в твои дела, друг мой, никогда не мешаюсь», — скажет, бывало, и уйдет, хлопнувши дверью.

Только мы и свет божий видели, когда, бывало, он уедет куда-нибудь недели на две, на три к своим товарищам драгунам. Тогда мы без него вымоем, выскоблим полы и выветрим немного покои, а то просто конюшня конюшнею. Раз он тоже ночью приехал и привез с собою другую сестру, уже не еврейку, а полячку или цыганку, кто ее знает, — помню только, что была черная, — и хотел тоже рекомендовать Катресе, только она его и в комнату не пустила.

Зима уже близилась к концу. Как раз на середокрестной мужики наши, собравшись гро-

мадою, пришли к нему просить зернового хлеба для посева. Что ежели, говорят, бог уродит, то они ему его добро возвратят седмерицею. Куда тебе! И выговорить слова не дал, прогнал их, бедных, да еще и собаками приравил. Хотела было вступить за них сама Катерина Лукьяновна, да как он гаркнет на нее: «Молчать! — говорит. — Не ваше дело: я сам знаю, что делаю. Я в ваши чепцы да кофты не мешаюсь, так прошу не вмешиваться и в мои распоряжения». — Сказавши это, кликнул своего Яшку и велел закладывать тройку, чтобы ехать куда-нибудь к своим драгунам.

Когда он уехал, Катерина Лукьяновна пошла в клуню, чтобы выбрать полускирдок жита и пшеницы, да и велеть смлотить мужичкам для семян: она думала, что он по своему обыкновению долго проездит. Посмотрела около клуни и половины скирд хлеба не досчитала. «А куда же все это делосся?» — спрашивает она у *токового*. А токовой отвечает, что сам князь по частям всё евреям продавал, да половину уже и продали: и солому и *полову* — все продали евреям, а евреи, разумеется, солому — драгунам, а *полову* (мякину) —

нашим же мужикам, а они, бедные, и полове были рады! Катерина Лукьяновна выбрала одну скирду жита, а другую — пшеницы и велела мужикам молотить. «Только поскорее, говорит, молотите, а то приедет князь, так он не даст вам ничего». Так и случилось! На другой день, только что начали молотить, глядь! — въезжает сам на двор. «Что вы делаете, мошенники? — крикнул на них. — Как вы посмели? Кто вам приказал? Я вас!» — да как выхватил нагайку у кучера или у Яшки, да как принялся *молотников* молотить, так что ни одного на току не осталось, — все разбежались. Досталось же и Катерине Лукьяновне за эту молотьбу! Она, бедная, три дня с постели не вставала!

После этого он уже все дома банкетовал, никуда не ездил, аж до *зеленых свят*. А на самой зеленой неделе и выехал он куда-то со своим Яшкою. Катерина Лукьяновна опять послала за мужиками и велела им намолотить хоть сколько-нибудь ярового хлеба для посева, потому что, благодаря бога, дожди перепали и земля-таки порядочно позеленела. Только что принялись они молотить просо и

гречиху, как в тот же день возвращается он сам, а за ним видимо и невидимо драгуния, как орда тая за Мамаем валит. Кто на мужицком возу, а кто так просто без седла верхом, а денщики — те, бедные, пешком и босиком, только с трубкою да кисетом в руках плелись за своими драгунами.

Как только что на порог он вступил, кликнул своего Яшку и приказал ему, чтоб к трем часам был готов обед на пятьдесят персон, к трем часам непременно, а ужин ввечеру на сто персон, тоже чтоб был готов непременно. «Для обеда и для ужина стол накрой в саду: полно, говорит, в этой конюшне валяться, Теперь можно и на подножный выйти». А червонцами так и гремит в карманах. «Да слушай, говорит, скажи приказчику, чтобы завтра всех мужиков выгнал хлеб молотить. Нужно весь перемолотить, сколько его ни есть». Вот тут-то мы и догадались, откуда у него червонцы взялись. «Неужели он весь хлеб продал? — говорит Катерина Лукьяновна. — Что же люди бедные посеют?»

А драгуния тым часом со всею своею мизериею, не заходя в покои, отправилась прямо в

сад и покотом на траве лежала и сквернословила да трубки курила, пока он не велел вынести им водку. Все стулья и столы тоже в сад вынесли. Велел было из спальни все забрать, да мы замкнулись и не пустили его к себе. Он выругался за дверью по-своему, по-московскому, и оставил нас в покое. Пока приготавливали обед, драгунья гуляла по саду и пила водку, расставленную чуть ли не под каждым деревом в больших графинах, а другие гости тоже пили водку и в карты играли. Наш князь с ними тоже пил и играл в карты, и все червонцы, что получил от еврея как задаток за хлеб, проиграл, потому что бросил на землю карты и вышел из-за стола, а товарищи его захохотали. Все это я в окно видела.

Смеркало уже, когда Яшка с другими денщиками начали накрывать на стол. Поставили столы, а на столы положили длинные доски, простые дубовые доски, и покрыли их холстом, потому что у нас хоть и была длинная скатерть, но Катерина Лукьяновна не дала ее, чтобы не испортили иногда пьяные гости, а скатерть была дорогая. Поставили на столе в трех местах свечи, а чтоб светлее бы-

ло, то по концам длинного стола зажгли смоляные бочки. И только что вся драгуния села за стол, откуда ни возмись, полковые трубы, да как грянут, так только земля задрожала! Не успели они и одного марша проиграть, смотрю, клуня наша загорелась: смоляные бочки так и сыплют искры на скирды и на клуню, а гости смотрят и, звычайне, пьяные, знай хохочут, да кричат ура!

— Катрусю, — говорю, — сердце мое, посмотрите, — говорю, — клуня наша горит, что мы будем делать? — Смотрю, а она — неживая. Я к Катерине Лукьяновне, и та без чувств лежит. Я на нее брызнула холодной водой, она очнулась. «Спасайте, говорю, Катрусю с младенцем, а то сгорит. Скирды уже все загорелись, скоро дойдет и до дома». Насилу-то, насилу мы ее в чувство привели, взяли ее под руки и вывели из дому. Я хотела было дитя взять у нее, но она его из рук не выпускала и только шептала: «Не дам, никому не отдам, сама его похороню». Мы испугались, она как-то страшно все это шептала. Мы повели ее через греблю, прямо к вам, Степановичу, в хату. Дай вам бог доброе здоровье, — сказала она,

обращаясь к хозяину, — и уже из вашей хаты я видела это проклятое пожарище.

И господь его знает, откуда тот ветер взялся. Снопы так прямо и летели на *будынок* из скирд, а потом ветер как будто переменялся, тогда загорелись будынки, и поворотил прямо на хаты. Через минуту все село запылало. «Пропали мы», — говорю я мой Катруси; а она, моя бедная, лежит, только головою мне кивает и языка во рту не поворотит. «Катрусю! Катрусю!» — кричу я, — не слышит. Я стою ни жива ни мертва. «Катрусю!» — едва проговорила я. Она вдруг вскочила, посмотрела вокруг себя, да как бросит своего бедного ребенка на пол и как закричит не своим голосом, да и ну на себе волосы рвать. Я вижу, что она не в своем уме, взяла дитя и вынесла в другую хату, и ее, бедную, мы с Степановичем кое-как уласкали, да завернули ее в *рядно* (в простыню), да и стали лить ей холодную воду на голову. Она пришла в себя, да и говорит: «Не буду, не буду!» А что и чего не буду, — она и сама не знала, что говорила. Потом она захохотала, потом начала петь, а потом запела, да так жалобно, так страшно запела, что мы

выбежали из хаты. Так она, бедная, промучилась до самого рассвета. Перед зарницею она немного успокоилась, а я тем временем села у окна и смотрела, как наше бедное село догорает. Над ним кое-где только дым дымился, ничего не осталось! И дом, и клуня, и село — все пропало. Остались одни дымари да печи от господского дому, а от мужичьих хат и того не осталось, потому что у них не каменные. Остался только сад, почерневший от дыму. Стоит себе в стороне, да такой черный и страшный, что я и смотреть на него боялась.

Заплакала я, грешная, глядя на это пожарище: что будешь делать? На все его святая воля. Разбудила я Катерину Лукьяновну и говорю ей: «Что же мы теперь будем делать? Где мы приютимся? Куда мы денемся с нашею бедною Катрусею?» — «А что?» — говорит она. «А то, — говорю я, — что она не в своем уме, что она помешалась». — «А ребенок?» — говорит она. «Ребенка, — говорю я, — я от нее отняла, а то она его чуть не задушила». Вскочила она и, простоволосая, выбежала на двор и кричит, чтобы бричку скорее заложили. Только видит, что двор чужой, — она

и замолчала, посмотрела на ту сторону гребли, ахнула, затрепетала и, как неживая, упала ко мне на руки. Когда пришла в себя, то сказала: «Где же княгиня? (Она всегда ее так называла.) Покажи мне ее». Мы пошли в комнату, где была заперта Катруся. Когда мы вошли к ней, то она, бедная, сидела на полу в одной рубашке и с растрепанной косою, и вся, как огонь, горела, несмотря на то, что в комнате было довольно-таки холодно. В руках держала она свое искомканное платье и прижимала его к груди своей. Когда мы вошли, она взглянула на нас и шепотом сказала: «Спит». Мы вышли из комнаты. Страшно было смотреть на нее, бедную, а Катерина Лукьяновна, как ни в чем не бывало, и не вздохнула даже, а не кто другой, как она сама, всему причина. Не осуди ее, господи, на твоём праведном суде!

Помолчавши немного, она обратилась ко мне и сказала: «Марино! нужно достать где-нибудь экипаж и лошадей да отвезти ее в Чернигов или в Киев. До Киева, кажется, будет ближе, но где же мы лошадей и экипаж достанем? Хоть бы бричку какую-нибудь». —

«А лошадей, — говорю я, — нам и Степанович даст. Только брички у него нет, а простая мужицкая повозка есть». — «Попроси, — говорит она, — хоть простой повозки».

Я выпросила у Степановича, спасибо ему, и коней и повозку. Наложили мы в повозку сена да покрыли рядом и положили ее, бедную, в повозку; около нее села сама Катерина Лукьяновна, да и повезли ее в Киев, в Кирилловский монастырь⁽⁹⁶⁾. Вот тебе, Катерина Лукьяновна, и княгиня. Теперь любуйся ею!

Старушка замолчала и тихо заплакала, а хозяин прибавил:

— Да, таки нечего сказать, хорошая княгиня!

— А что же случилось с князем? — спросил я.

— А господь его знает! — отвечала старушка. — Перед великоднем драгуня выступила в поход из Козельца, то, может быть, и он выступил с нею. Только мы его с той ужасной ночи уже не видали.

— И князь хороший, нечего сказать! — прибавил хозяин. — Хоть бы дитя проведаль, проклятый!

— Господь с ним, Степановичу! Пускай

лучше не проведовает, — сказала старушка и, выходя из хаты, пожелала нам спокойной ночи.

На другой день поутру, пока еврейчик мой подмазывал бричку и закладывал своих тощих лошадей, я сидел под хатою на призьбе и смотрел на противоположный берег Трубежа, на грустные остатки погоревшего села, невольно восклицая: — Вот тебе и село! Вот тебе и идиллия! Вот тебе и патриархальные нравы! — И тому подобные восклицания срывались у меня с языка, пока бричка не высунулась на улицу. Поблагодарив хозяина за его бескорыстное гостеприимство, я отправился своей дорогой.

Через несколько дней я был уже в Киеве и, поклонившись святым угодникам печерским, в тот же день посетил Кирилловский монастырь. И увы! лучше было б не посещать его. Я слишком убедился в горькой истине печального этого рассказа, так неотрадно приветствовавшего меня на моей милой родине.

1853

К. Дармограй

Музыкант^{97}

Если вы, благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то, проезжая город Прилуки^{98} Полтавской губернии, советую вам остановиться на сутки в этом городе, а если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток, и, во-первых, познакомьтесь с отцом протоиереем Илиею Бодянским^{99}, а во-вторых, посетите с ним же, отцом Илиею, полуразрушенный монастырь Густыню^{100}, по ту сторону реки Удая, верстах в трех от города Прилук. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Это настоящее Сенклерское аббатство^{101}. Тут всё есть: и канал глубокий и широкий, когда-то наполнявшийся водою из тихого Удая, и вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами, и бесконечные склепы, или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю, между огромными суховерхими дубами, быть может, самим ктитором насажденными. Словом, все есть, что нужно для самой полной романической картины^{102}, разумеется под пером какого-нибудь

Скотта Вольтера или ему подобного писателя природы. А я... по причине нищеты моего воображения (откровенно говоря) не беруся за такое дело, да у меня, признаться, и речь не к тому идет. А то я только так, для полноты рассказа, заговорил о развалинах Самойловичева памятника.

Я, изволите видеть, по поручению Киевской археографической комиссии, посетил эти полуразвалины⁽¹⁰³⁾ и, разумеется, с помощью почтеннейшего отца Илии, узнал, что монастырь воздвигнут *коштом* и *працею* несчастного гетмана Самойловича в 1664 году⁽¹⁰⁴⁾, о чем свидетельствует портрет его, яко ктитора, написанный на стене внутри главной церкви.

Узнавши все это и нарисовавши, как умел, главные, или святые, ворота, да церковь о пяти главах, Петра и Павла, да еще трапезу и церковь, где погребен вечные памяти достойный князь Николай Григорьевич Репнин⁽¹⁰⁵⁾, да еще уцелевший циклопический братский очаг, — сделавши, говорю, все это, как умел, я на другой день хотел было оставить Прилуки и отправиться в Лубны осмотреть и посмот-

реть на монастырь, воздвигнутый набожною матерью Иеремии Вишневецкого Корибута. Сложил было уже всю свою мизерию в чемодан и хотел фактора Лейбу послать за лошадьми на почтовую станцию, только входит мой хозяин в комнату и говорит:

— И не думайте и не гадайте, вы только посмотрите, что на улице творится.

Я посмотрел в окно, — и действительно, вдоль грязной улицы тянулося две четырехместные кареты, несколько колясок, бричек, вагонов, разной величины^{106} и, наконец, простые телеги.

— Что все это значит? — спросил я своего хозяина.

— А это значит то, что один из потомков славного прилуцкого полковника^{107}, современника Мазепы, завтра именинник.

Хозяин мой, нужно заметить, был уездный преподаватель русской истории и любил щегольнуть своими познаниями, особенно перед нашим братом ученым.

— Так неужели весь этот транспорт тянется к имениннику?

— Э! Это только начало, а посмотрите, что

будет к вечеру: в городе тесно будет.

— Прекрасно. Да какое же мне дело до вашего именинника?

— А такое дело, что мы с вами возьмем добрых тройку коней, да и покатым чуть свет в Дигтяри^{108}.

— В какие Дигтяри?

— Да просто к имениннику. — Я ведь с ним не знаком!

— Так познакомитесь.

Я призадумался. А что, в самом деле, не махнуть ли по праву разыскателя древностей полюбоваться на сельские импровизированные забавы? Это будет что-то новое. Решено! И мы на другой день поехали в гости.

Начать с того, что мы сбились с дороги, не потому что было еще темно, когда мы выехали из города, а потому что возница (настоящий мой земляк!), переехавши через удайскую греблю, опустил вожжи, а сам призадумался о чем-то, а кони, не будучи глупы, и пошли роменскою транспортной дорогой, разумеется, по привычке. Вот мы и приехали в село Иваницу; спрашиваем у первого встретившегося мужика, как нам проехать в Дигтяри?

— В Дигтяри? — говорит мужик. — А просто берйть на Прилуку.

— Как на Прилуки? Ведь мы едем из Прилук.

— Так не треба було вам и издыть с Прилуки, — отвечал мужик совершенно равнодушно.

— Ну как же нам теперь проехать в Дигтяри, чтобы не возвращаться в Прилуки? а? — спросил я.

— Позвольте, тут где-то недалеко есть село Сокирынцы, тоже потомка славного полковника. Не знает ли он этого села?

— А Сокирынцы, земляче, знаешь? — спросил я у мужика.

— Знаю! — отвечал он.

— А Дигтяри от Сокирынец далеко?

— Ба ни.

— Так ты покажи нам дорогу на Сокирынцы, а там уж мы найдем как-нибудь Дигтяри.

— Ходим за мною, — проговорил мужик и пошел по улице впереди нашей удалой тройки.

Он повел нас мимо старой деревянной одноголовой церкви и четырехугольной бревен-

чатой колокольни, глядя на которую, я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга^{109} «Освящение пасок», и мне грустно стало. При имени Штернберга я многое и многое вспоминаю.

— Отец вам буде шлях просто на Сокирынци! — го ворил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестящую между густой зеленой пшеницей.

Замечательно, что возница наш в продолжение всей дороги от Прилук и до Иваницы и во время разговора моего с мужиком все молчал и проговорил, только когда увидел из-за темной полосы леса крытый белым железом купол:

— Вот вам и Сокирынци! — и опять онемел. Это общая черта характера моих земляков. Земляк мой, если что и впадет сделает, так не разговорится о своей удали, а если, боже сохрани, опростофилится, тогда он делается совершенно рыбой.

В Сокирынцах мы узнали дорогу в Дигтяри и поехали себе с богом между зеленою пшеницею и житом.

Товарищу моему, кажется, не совсем нра-

вилось такое путешествие, тем более что он имел претензию на щеголя (а надо вам заметить, мы были одеты совершенно по-бальному). Он, как и возница наш, тоже молчал и не проговорил даже — «а вот и Сокирынцы!» — так был озлоблен пылью и прочими дорожными неудачами. Я же, несмотря на фрак и прочие принадлежности, был совершенно спокоен и даже счастлив, глядя на необозримые пространства, засеянные житом и пшеницею. Правда, и в мое сердце прокрадывалась грусть, но грусть иного рода. Я думал и у бога спрашивал: «Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет?» Хотел было сообщить мой грустный вопрос товарищу, но, подумавши, не сообщил. Когда бы не этот проклятый вопрос, так некстати родившийся в моей душе, я был бы совершенно счастлив, купаясь, так сказать, в тихо зыблемом море свежей зелени. Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был поворотить, как говорится, оглобли назад. Глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу, мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем.

Так ли, смяк ли, мы, наконец, добрались до нашей цели уже перед закатом солнца. Не описываю вам ни великолепных дубов, насаженных прадедами, составляющих лес, освещенный заходящим солнцем, среди которого высится бельведер с куполом огромного барского дома, ни той широкой и величественной просеки, или аллеи, ведущей к дому, ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми, лакеями и кучерами. Не описываю потому, что нас встретила, перед самым въездом в аллею, бесконечная кавалькада амазонок и амазонов и совершенно сбила меня с толку. Но товарищ мой не оробел. Он ловко выскочил из телеги и хватски раскланивался со всею кавалькадою, из чего я заключил, что он порядочный шутник. По миновании амазонок, амазонов и, наконец, грумов или жокеев я тоже вылез из телеги, расплатился с нашим возницею, сказавши ему на вопрос: «Де ж я буду ночувать?» — «В зеленый диброви, земляче!», после чего он поштел и поехал в село, а мы скромно пошли вдоль великолепной аллеи к барскому дому. Но чтоб придать себе физиономию, хоть

сколько-нибудь похожую на джентльменов, зашли мы в так называемый *холостой флигель*, отстоящий недалеко от главного здания, где встретили нас джентльмены самого неблагопристойного содержания. Обыкновенно бывает, что люди после немалосложного обеда и нешуточной выпивки предаются сновидениям, а у них как-то вышло это напротив. Они скакали, кричали и черт знает что выделывали, и все, разумеется, в шотландских костюмах^{110}. Цинизм, чтобы не сказать мерзость, и больше ничего! *Виргилий мой* добился кое-как умывальника с водой и лоханки, и мы, в коридоре умывши свои лики и сгнавши пыль с фраков посредством вытряхивания, отправились в сад, в надежде встретиться с хозяевами.

Надежда нас не обманула. Мы вошли сначала в дом и, пройдя две залы, очутились на террасе, уставленной роскошнейшими цветами; спустившись с террасы и пройдя дорожкой, тщательно песком усыпанной, через зеленую площадь (из патриотизма называемую *левадою*), вошли мы в сад, к немалому моему удивлению, не в английский и не в фран-

цузский сад, а в простой, естественный дубовый лес, или в дуброву. И если б не желтые дорожки блестели между старыми, темными дубами, то я совершенно забыл бы, что нахожусь в барском саду, а не в какой-нибудь заповедной дуброве. Виргилий мой подвел меня к высокому раскидистому огромному дубу и показал мне на стволе его небольшое отверстие вроде маленького окошечка, сказавши: «Посмотрите-ка в это оконце!» Я посмотрел и, разумеется, ничего не увидел. «Посмотрите пристальнее!» Я посмотрел пристальнее и увидел что-то вроде иконы божьей матери⁽¹¹¹⁾. И действительно, это была икона иржавецкой божьей матери (как мне пояснил мой Виргилий), врезанная в этот дуб знаменитым прилуцким полковником год спустя после Полтавской битвы.

Слушая пояснения сего исторического факта, я и не заметил, как мы вышли опять на левую сторону, где и встретили хозяина и хозяйку, окруженных толпою улыбающихся гостей своих.

Виргилий мой, довольно ловко для уездного преподавателя, расшаркнулся перед хозяи-

ном и хозяйкой, причем хозяин протянул ему покровительственно указательный палец левой руки, украшенный дорогим перстнем. Виргилий мой с подобострастием схватил его палец обеими руками и рекомендовал меня как своего друга и ученого собрата. Я в свою очередь тоже расшаркнулся, надо сказать правду, довольно по-ученому, то есть по-медвежьи, после чего толпа гостей увеличилась двумя членами.

Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что во время нашей аудиенции на дворе было почти темно, следовательно, подробностей рассмотреть было невозможно. А как ни будь хороша картина в целом, но если художник пренебрег подробностями, то картина его останется только эскизом, на который истинный знаток и любитель посмотрит и только головой покачает и отойдет со вздохом к портретам Зарянки⁽¹¹²⁾ восхищаться гербами, с убийственной подробностью изображенными на пуговицах какого-нибудь вицмундира.

Во избежание помавания главы знатока и любителя оконченных картин, я ограничусь

только первым впечатлением, что, по мнению психологов, самая важная черта при изображении характеров.

Первое впечатление, произведенное на меня хозяйкою, было самое приятное впечатление, а хозяином — напротив. Но это, быть может, указательный палец левой руки, так благосклонно протянутый моему приятелю, был причиною такого неприятного впечатления. Веселая толпа гостей тихонько двигалась к дому, уже освещенному ярко внутри, а на террасе между роскошными цветами и лимонными деревьями только еще разноцветные фонари развешивали.

Лишь только хозяин с хозяйкой вступили на террасу, как крепостной оркестр грянул знаменитый марш из «Вильгельма Телля»^{113}. После марша сейчас же, не переводя духу, полонез, и бал начался во всем своем величии.

Некий ученый муж^{114}, кажется барон Боде, поехал из Тегерана к развалинам Персеполиса и описал довольно тщательно свое путешествие до самой долины Мардашт; увидевши же величественные руины Персеполиса^{115}, сказал: «Так как многие путешественники

описывали сии знаменитые развалины, то мне здесь совершенно нечего делать». Я то же могу сказать, глядя на провинциальный бал, хотя мое путешествие не имело цели описания провинциального бала и не было сопряжено с такими трудностями, как путешествие из Тегерана к развалинам Персеполиса, да и сравнение, надо правду сказать, я делаю самое неестественное. Да что делать, — что под руку попало, то и валяй.

Любую повесть прочитайте современной нашей изящной словесности, везде вы встретите описание если не столичного, то уж непременно провинциального бала, и, разумеется, с разными прибавлениями насчет нарядов, ухваток или манер и даже самых физиономий, как будто природа для провинциальных львиц и львов особенные формы делала. Вздор! Формы одни и те же, и львицы и львы одни и те же, и ежели есть между ними разница, так это только та, что провинциальные львы и львицы немножко ручнее столичных, чего (сколько мне известно) писатели провинциальных балов не заметили.

Следовательно, все балы описаны, начи-

ная от бала на «Фрегате Надежда»^{116} до русской пирушки на немецкий лад, где усть-сы- сольские ребята немножко пошалили.

И в отношении провинциального бала я могу сказать смело, что мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами провинциальных красавиц,

Одно меня немного озадачило на этом бале, именно то, что не видно было ни одного мундира, несмотря на то, что в Прилуцком уезде квартировал стрелковый батальон. Не постигая сей причины, я обратился к моему Виргилию.

А Виргилий мой в эту самую секунду выделял в кадрили па самым классическим образом. Я терпеливо ожидал конца последней фигуры кадрили, а между тем разгадывал вопрос предположениями. «Может быть, — думал я, — они того? Но нет, эта профессия принадлежит более гусарам и вообще кавалерии, а ведь они пехотинцы, да еще с ученым кантом^{117}. Нет, тут что-нибудь да не так!»

В эту минуту кадрили кончилась и вспотевший мой Виргилий подошел ко мне.

— А! какво пляшем! — проговорил он утираясь.

— Ничего, изрядно, — отвечал я рассеянно. — А вот что, — сказал я ему почти шепотом, — отчего это военных нет на бале?

— Их почти нигде не принимают, тем более в таком доме, как дом нашего амфитриона.

«Странно!» — подумал я и, подумавши, спросил: — А барышни ничего?

— Ничего.

— Таки совершенно ничего?

— Совершенно ничего.

В это время заиграл вальс, и ментор мой завертелся с какой-то аппетитною брюнеткой. А я, протолкавшись кое-как между зрителей и зрительниц, то есть между горничных и лакеев, столпившихся у растворенных дверей, вышел на террасу и думал о том, [что]

Мыдвигаемся заметно.

Бал был увенчан самым роскошным ужином и не спрыснут, не запит, а буквально был залит шампанским всех наименований. Меня просто ужаснула такая роскошь.

После ужина амфитрион предложил гросс-фатер⁽¹¹⁸⁾, что и было принято с восторгом счастливыми гостями.

Гросс-фатер начался и продолжался со всей деревенской простотой до самого восхода солнца.

«Красавицы, особенно красавицы вроде героинь покойного Бальзака⁽¹¹⁹⁾, то есть красавицы не первой свежести, не советую вам танцевать до восхода солнечного! Власть, утвержденная при свете свечей над нашим бедным сердцем, распадается при свете солнца, и обаяние, навеянное вами в продолжение ночи, сменяется каким-то горько-неприятным чувством, похожим на пресыщение. Но вы, алчные пожирательницы бедных сердец наших, в торжестве своем и не замечаете, как близится день, и могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман, разостлавшийся над болотом».

Так думал я, оставляя веселый, непринужденный гросс-фатер и пробираясь между дубами к нашему лагерю (гости не помещались в зданиях: разбивалось несколько палаток в конце сада, что и означало лагерь, или, бли-

же, цыганский табор). Приближаясь к палаткам, блестящим на темной зелени, я, к моему удивлению, услышал песни и хохот в одной палатке. То были друзья-собутельники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать совершенному. Я кое-как прокрался в свою палатку, наскоро переменял фрак на блузу и скрылся в кустах орешника.

Я не знал, что к саду примыкает пруд, и мне показалось странным, когда густые, темные ветви орешника стали рисоваться на белом фоне. Я вышел на полянку, и мне во всей красе своей представилося озеро, осененное старыми берестами, или вязами, и живописнейшими вербами. Чудная картина! Вода не шелохнется, — совершенное зеркало, и вербы-красавицы как бы подошли к нему группами полюбоваться своими роскошными широкими ветвями. Долго я стоял на одном месте, очарованный этой дивною картиной. Мне казалось святотатством нарушить малейшим движением эту торжественную тишину святой красавицы природы.

Подумавши, я решился, однакож, на такое

святотатство. Мне пришло в голову, что недурно было бы окунуться раза два-три в этом волшебном озере, что я тотчас же и исполнил.

После купанья мне стало так легко и от-рад-но, что я вдвойне почувствовал прелесть пейзажа и решил-ся им вполне насладиться. Для этого я уселся под развесистым вязом и предался сладкому созерцанию очарователь-ной природы.

Созерцание, однакож, не долго длилось. Я прислонился к бересту и безмятежно уснул. Во сне повторилась та же самая отрад-ная картина, с прибавлением бала, и только стран-но — вместо обыкновенного вальса я видел во сне известную картину Гольбеина «Танец смерти»^{120}.

Видения мои были прерваны пронзитель-ным женским хохотом. Раскрывши глаза, я увидел резвую стаю нимф, плескавших-ся и визжавших в воде, и мне волею-неволею при-шлось разыграть роль нескромного Актео-на-пастуха^{121}. Я, однакоже, вскоре овладел со-бою и ползком скрылся в кустарниках ореш-ника.

В одиннадцать часов утра посредством колокола сказано было холостым гостям, что чай готов (женатые гости наслаждались им в своих номерах). На сей отрадный благовест гости потянулись из своих уединенных приютов к великолепной террасе, украшенной столами с чайными приборами и несколькими пузатыми самоварами и кофейниками. Не успел я кончить вторую чашку светлокорицевого сиропа со сливками, как грянул вальс, и в открытые двери в зале я увидел вертящихся несколько пар. «Когда же они навертятся!» — подумал я и, сходя с террасы, встретил своего Просперо^{122}, который сообщил мне по секрету, что сегодняшней вечер начнется концертом, чему я немало обрадовался, хоть, правду сказать, многого и не ожидал. Я, однакоже, ошибся.

Вскоре после вечерней прогулки гости собрались кто в чем попало, то есть кто в сюртуке, кто в пальто, а кто держался хорошего тона или корчил из себя англомана, — такие пришли во фраках. А о костюмах нежного пола и говорить нечего. Это уже всему миру известно, что ни одна, в какой бы степени ни

была она красавица, не задумается раз двадцать в сутки переменить свой костюм, если имеет в виду встретить толпу хотя бы даже уродов, только не своей породы. Прошу не прогневаться, мои милые читательницы, — это не сочинение, а неопровержимый факт.

Гости собрались и заняли свои места, разумеется, с некоторою сортировкой: что покрупнее, выдвинулося вперед, а мелочь (в том числе и нас, господи, устрой) поместилася кое-как впотьмах, между колоннами. Когда все пришло в порядок, явился на подмостках, вроде сцены, вольноотпущенный капельмейстер, довольно объемистой стати и самой лакейской физиономии.

— Ученик знаменитого Шпора^{123}! — кто-то шепнул возле меня.

Еще миг, и грянула «Буря» Мендельсона, и, правду сказать, грянула и продолжала греметь удачно. Меня задела не на шутку виолончель. Виолончелист сидел ближе других музыкантов к авансцене, как бы напоказ (что действительно и было так). Это был молодой человек, бледный и худощавый, — все, что я мог заметить из-за виолончели. Соло свои он

исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве так впору^{124}. Меня удивляло одно, — отчего ему не аплодируют. Самому же мне начинать было неприлично. Что я за судья, да и что я за гость такой? Бог знает что и бог знает откуда! Что скажут гости первого разбора!

Между тем «Буря» кончилась, и я услышал произносимые вполголоса похвалы артисту такого рода: «Ай да Тарас! Ай да молодец! Недаром побывал в Италии!»

Пока оркестр строился, я успел узнать от соседа кое-что о заинтересовавшем меня артисте. Началась увертюра из «Прециозы» Вебера^{125}, и я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером, и теперь я его мог лучше рассмотреть.

Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими, едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентльмен первой породы и, вдобавок, самой симпатической породы.

Когда он исполнил арию Прециозы, я не утерпел, закричал *браво!* и изо всей мочи стал аплодировать. Все посмотрели на меня, разумеется, как на сумасшедшего. Я, однакож, не струсил и продолжал хлопать и кричать *браво!* пока, наконец, воловьи глаза самого хозяина не заставили меня опомниться.

Оркестр снова строился, но я, не ожидая услышать что-нибудь лучшее, вышел из залы в сад. Ночь была лунная, теплая и спокойная. Я бродил около дому недалеко, и до меня долетали из хаоса звуков чудные звуки виолончели или скрипки, и образ грустного артиста со своею меланхолическою улыбкою носился как бы живой передо мною. «Где я его видел? Где я с ним встречался?» — спрашивал я сам себя, и, после долгого напряжения памяти, я вспомнил, что я видел его во время обеда, с рукой, обернутой салфеткой, за стулом самого хозяина.

Мне сделалось почти дурно после такого открытия.

Музыка затихла, и я пошел через леваду по дорожке, к старосветским таинственным дубам. Пройдя немного, я услышал тихий шо-

рох шагов за собою, оглянулся и узнал преследующего меня виолончелиста. Я обратился было к нему с вопросом, но он предупредил меня, схватил мои руки и со слезами прижал их к губам своим.

— Что вы, что вы? Что с вами случилось? — спрашивал я его, стараясь освободить руки.

— Благодарю вас! благодарю! — говорил он шепотом. — Вы! вы один-единственный человек, который слушал меня и понял меня!

Он не мог продолжать за слезами. Я молча взял его под руку и привел к дерновой скамейке, устроенной вокруг столетнего развесистого дуба.

Долго мы сидели молча, наконец он заговорил:

— Вы со мной очень милостивы.

В это время раздался голос, называвший его по имени.

— Идите в виноградную беседку, — сказал он, вставая, — я сию минуту приду к вам.

И он поспешно удалился.

Глядя вслед ему, я думал: «Вот вдохновенный миннезингер^[126] XII века. Как мы недалеко, однакож, ушли от благородных рыцарей,

разбойников того плачевного века! А просвещение идет себе вперед крупными шагами».

Я встал со скамьи и пошел по дорожке, ведущей к виноградной беседке. Не знаю почему, а я не надеялся услышать от него его безотрадную повесть, как это обыкновенно бывает, и я, слава богу, не совсем ошибся. Правда, он предо мной высказался даже, может быть, больше, нежели сам хотел, но то не простой наш бедный язык, которым он заговорил со мною, то были чудные, божественные звуки, в которых отразились стоны рыдающего непорочного сердца.

Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не сказав ни слова, начал настраивать инструмент и вроде пробы, как бы шутя, проиграл знаменитую каватину из «Нормы»^{127}. У меня дух захватило при этих звуках.

Не отнимая смычка от струн, он заиграл одну из задушевных мазурок вдохновенного Шопена. Кончивши мазурку, он едва внятно проговорил: «Вот у нас свой бал». Проиграл он еще несколько мазурок Шопена, одну другой лучше, одну другой задушевнее.

К концу последней мазурки я заметил

сквозь виноградные листья безмолвные лица многочисленных слушателей, — то были горничные, лакеи и фореиторы приезжих господ. Они оставили окна, в которые глазели на немецкие танцы вымуштрованных господ и госпож своих, и пришли послушать, как Тарас играет.

Орфей мой, отдохнув немного и настроив свою лиру, повел медленно смычком по струнам, и полилася полная сердечной, сладкой грусти моя родная мелодия (на слова):

*Котилися вози з гори,
А в долині стали.*

Проигравши тему, он варьировал ее на тысячу ладов, и так варьировал, что я ничего подобного в жизнь мою не слышал, да, кажется, и не услышу никогда. Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не пошевелились и, когда он кончил свои чудные вариации, слушатели долго еще слушали, не переводя духа, разразились, наконец, общим вздохом и снова замолчали.

Я молча взял его за руки и знаком просил его выйти из беседки. Мы вышли и долго мол-

ча ходили по дорожке, как, бы боясь заговорить. Наконец, я, овладевши собой, спросил его:

— Где вы учились?

— Сначала дома.

— А потом?

— А потом барин с барыней ездили за границу и меня с собою брали, и, пока они жили в Берлине, я ходил несколько раз к Шпору⁽¹²⁸⁾ и больше нигде не учился.

— Да ведь Шпор играл на скрипке.

— Я на скрипке у него и учился, скрипка и есть мой настоящий инструмент, а виолончель — это уже так.

— Что же вы намерены теперь с собою делать? Ведь вы настоящий великий артист!

— А что с собою делать? Повеситься, ничего больше. — Правду сказать, я и сам не мог ему ничего лучшего предсказать.

— Прошедшего лета, — заговорил он, — приезжал к нам из Кочановки Глинка⁽¹²⁹⁾, слушал мою игру на скрипке и на виолончели, хвалил меня и просил барина, чтобы отпустил меня на волю. Они обещали ему, но тем, кажется, и кончилось.

— Не унывайте, молитесь богу. Даст бог, все устроится.

— Я не отчаиваюсь. Михайло Иванович, кажется, добрый такой, — на него можно надеяться.

— Совершенно можно, если только он про вас не забыл. Напишите вы ему письмо.

— Написать-то я напишу, да как же я перешлю его? Ведь я адреса не знаю.

— Я знаю, и вы передайте письмо мне. Напишите письмо сегодня, а я завтра буду в городе и подам его на почту.

В это время мы подошли к беседке, и он спросил меня, наклонясь к виолончели:

— Не сыграть ли вам еще что-нибудь?

— Весьма вам благодарен. Вы устали, отдохните немного и приготовьте к завтраму письмо.

И мы расстались.

После ужина (перед восходом солнца), раскланявшись с хозяином и хозяйкой, я, не заходя в табор, пошел в село нанять лошадь с телегою для совершения обратного путешествия до города или хоть до почтовой станции. Но увы! во всем огромном селе ни лоша-

ди, ни телеги не оказалось. «Нечего сказать, мужики зажиточные! Пьяницы, я думаю, да лентяи по большей части, а то как бы не найтись во всем селе одной лошади с телегою! Удивительный народ наши мужики! Не припугни его, так ничего и не будет. А вас, однакож, как видно, чересчур припугнули», — подумал я, глядя на обнаженное село.

Делать нечего, отправился я к еврею в корчму и нанял у него (разумеется, за еврейскую цену) клячу на пять верст до какой-то фермы. «А там, — уверял меня еврей, — хоть четверку можно нанять до самой Прилуки».

С помощью услужливого Тараса Федоровича (виолончелиста) мы уложили кое-как свою мизерию и выехали из села по дороге в Прилуки.

— Скажите мне, что это такое за ферма, на которую он нас теперь везет? — спросил я у своего полусонного ментора.

— Ферма? Это хутор Антона Адамовича. Прекраснейшие люди, то есть он и Марьяна Акимовна! Прекраснейшие люди! Заедем, непременно заедем! Я уже их давно не видал.

— Пожалуй, заедем. Мне теперь заодно уж

шляться, пока не выберусь на почтовую дорожку.

— Не будете жалеть. Антон Адамович прерамечательный человек. Он, изволите видеть, начал и кончил свою службу во флоте лекарем, путешествовал раза два вокруг света, оставил службу, получает себе полный пенсия он да теперь приватно занимает место домашнего лекаря у нашего амфитриона, а он ему, вдобавок, еще и хутор подарил со всеми угодыями. Чего ж еще? Живи да бога хвали!

— И давно он уже живет здесь?

— Да будет лет около десяти с небольшим.

— Что они, семейные люди?

— Нет, только вдвоем. Правда, под их непосредственным надзором воспитываются две дочери помещика — премиленькие дети, и они-то, можно сказать, и заменяют им настоящих детей. Одной, я думаю, будет уже лет около шести, а другая годом меньше.

— Что же их не видно было на бале? Ведь они, я думаю, уже качучу танцуют⁽¹³⁰⁾. А это, вы знаете, такое украшение бала!

— Нет, я думаю, что они еще качучи не танцуют. И, знаете, мать хочет их воспитать в

совершенном уединении и после выпустить их на свет совершенно невинных, как двух птенцов из-под крылышка. Знаете, мне эта идея чрезвычайно нравится, — нравственно-философская и, можно сказать, поэтическая идея, — как вы думаете?

— Действительно, поэтическая идея, но никак не больше. Я не подозревал, однакож, чтобы у Софии Самойловны были дети. Она еще так свежа.

— И прекрасна, прибавьте!

— Действительно, прекрасна.

В это время повстречался нам мужик и, снявши свой соломенный бриль, поклонился. И когда мы проехали мимо него, то он все еще стоял с открытой головой и смотрел на наш экипаж и, вероятно, думал: «Черт его знае, що воно таке, — чи воно паны, чи воно еврей?» — Паны, да еще из балу возвращающиеся.

Конечно, вы знаете лубочную картинку, изображающую, как еврей на шабаш поспевают. Много было общего между этою картинкою и нашим экипажем, — пожалуй, и пассажирами. Как же тут было мужику не

остановиться и не полюбоваться таким величественным поездом? А надо вам сказать, что пыль не скрывала нашего великолепия, потому что мы двигались шагом, и только наши особы торчали из глубокой еврейской брички, а сам хозяин шел пешком, погоняя свою тощую клячу.

Несколько раз до меня долетали какие-то еврейские слова, со вздохом произносимые нашим возницею. И так часто повторял он одну и ту же фразу, что я невольно ее затвердил и просил его перевести мне ее, на что он неохотно согласился, уверяя меня, что то были нехорошие слова.

— Такие скверные, — прибавил он, — что об них и думать нехорошо, а не то чтобы еще их говорить.

Когда же я ему посулил гривну меди на водку, то он, посмотревши на меня недоверчиво, сказал:

— Уни хушавке мес. По-вашему будет означать, что живой человек без денег — все равно что мертвый.

Настоящая еврейская поговорка.

Вот мы и едем себе тихонько по дорожке

между прекраснейшей зелени, освещенной утренним солнцем. Роса уже немного подсохла, и кузнечики начинали в зеленом жите свой шепот, такой тихий, такой мелодический шепот, что если бы меня не укусила муха за нос, то я непременно бы заснул. Согнавши проклятую муху, я невольно взглянул вперед. Боже мой, да откуда же все это взялось? Представьте себе, из зеленой гладкой поверхности, можно сказать, перед самым [носом] выглянули верхушки тополей, потом показались зеленые маковки верб, потом целый лес разостлался под горою, а за ним во всю долину раскинулось, как белая скатерть, тихое, светлое озеро. Прекрасная, душу радующая картина!

Я растолкал своего товарища и показал ему рукою на великолепный пейзаж.

— Это ферма Антона Адамовича. Мы тут встанем и пойдем через рощу пешком; а он пускай остановится около *млына* под горою.

Сделавши наставление еврею, мы пошли к роще, но в рощу мы не так легко попали, как думали, потому что она обведена довольно широким рвом, а противоположная сторона

рва была защищена живою изгородью, то есть усажена крыжовником.

Взявшись с приятелем под руки (чего я, между прочим, терпеть не могу), мы пошли вдоль изгороди, уставленной высокими роскошными тополями. Из-за тополей кое-где просвечивалась молодая березовая рощица или темнел стройный молодой дубняк; то вдруг стройный ряд тополей прерывался усевшимся над самым рвом старым дубом, протянувшим свои живописные ветви далеко за ров, на самую дорогу.

Пройдя добрые полверсты, мы дошли до угла изгороди и повернули влево по тропинке, идущей параллельно со рвом под гору. При этом повороте нам открылось во всей красе своей тихое, светлое озеро, окаймленное густым зеленым камышом и раскидистыми огромными вербами. Подойдя к озеру, мне так и хотелось окунуться раза два-три в его прозрачной воде. Но вожатый мой заметил мне довольно основательно, что подобное действие было бы неприлично, тем более что в это время мы подошли к воротам парка, осененным двумя старыми вербами. Мы без тру-

да отворили ворота и вошли в парк. Длинная тенистая дорожка вела к дому, вдали белеющему сквозь ветви. Не доходя до дома, мы в стороне, недалеко от дороги, между деревьями, увидели человеческую фигуру в белой полотняной блузе, в соломенной простой шляпе и с сигарою в [зубах].

— Антону Адамовичу имеем честь кланяться! — закричал мой вожатый.

Фигура в блузе приподняла шляпу и, вынувши сигару изо рта, сказала:

— Добро пожаловать!

Мы подошли друг к другу поближе. Это был сам хозяин парка, или фермы, свежий, коренастый старик самой немецкой физиономии. Я был отрекомендован моим разбитным путеводителем со всеми прилагательными, на что Антон Адамович с добродушной улыбкой протянул мне руку и проговорил:

— Очень рад.

Я со своей стороны проговорил тоже какую-то лаконическую вежливость, и мы вышли снова на дорогу. Не успели мы ступить несколько шагов, как к нам выбежали из-за куста цветущей душистой черемухи две бело-

курые прекрасные девочки лет по пяти или шести и бросились к Антону Адамовичу, крича:

— А что, испугали, испугали!

Антон Адамович молча указал им рукою на нас, и девочки оставили его и спрятались за куст черемухи.

Тем временем мы вышли на зеленую площадку, примыкающую одной стороной к озеру, а другой к крылечку чистенького беленького домика, кругом усаженного кустами сирени.

Дивное впечатление произвела на меня эта тихая грациозная картина!

Вслед за нами девочки выбежали на лужок, а из дома на крылечко [вышла] молодая, прекрасная собою женщина, с книгою и с зонтиком в руке, и пошла к детям. Это была гувернантка-француженка, как я после узнал.

Мы вошли на крылечко, и хозяин предложил нам отдохнуть в тени, а сам пошел в дом.

Я на досуге залюбовался на детей, играющих на зеленом лужке, и, правду сказать, на стройную, величественную фигуру прекрасной гувернантки, залюбовался до того, что не

заметил, как к нам вышла на крылечко сама хозяйка.

Я, поклонившись, извинился в своей рассеянности.

— Ничего, ничего, любуйтесь. У нас, слава богу, есть на что полюбоваться.

И она лукаво улыбнулась и обратилась к моему товарищу. Тот начал было рекомендовать меня, но она ему сказала нецеремонно:

— Не беспокойтесь, мне уже Антон Адамович отрекомендовал. А вы лучше расскажите, каково вы повесе лились на бале.

И приятель мой пустился описывать ей бал, а я тем временем стал рассматривать нецеремонную хозяйку дома.

Это была лет тридцати пяти по крайней мере, прекрасно сохранившаяся брюнетка, с большими выразительными карими глазами, с довольно свежим для ее лет румянцем на полных щеках, со вздернутым носом, с прекрасными белыми крупными зубами и с едва отвисшим подбородком. А в целом она была настоящий тип малороссиянки. Даже голос ее, и особенно произношение, напоминал мне мою землячку, какую-нибудь чиновницу

средней руки или высокой руки протопопшу, несмотря на то что она была одета, как настоящая барыня.

— А ну-те вас с вашим балом! — проговорила она скороговоркой, остановилась в дверях, да и затараторила:

— Прошу покорно в покои! Вы хоть из балу сегодня, а, верно, еще чаю не пили. Правду сказать, и мы еще только что поднялись.

Я пошел вслед за хозяйкою, а товарищ мой, как человек, знакомый с местностью, пошел отыскивать еврея и распорядиться насчет помещения.

В первой комнате, довольно большой, встретил нас Антон Адамович, уже не в полотняной блузе, а в сером пальто из летнего трико, и просил меня садиться без церемонии.

— А вы, Марьяна Акимовна, пошлите свою Ярину просить к завтраку Адольфину Францевну с детьми.

На зов Марьяны Акимовны явилась горничная, скромная и милостивая, в деревенском костюме и, получивши приказание от Марьяны Акимовны на чистом малороссий-

ском языке, вышла из комнаты.

Через несколько минут вошла в комнату гувернантка с двумя девочками, а за нею и мой товарищ. И все мы уселись вокруг стола, увенчанного изрядным самоваром. Если бы я не знал, чьи это были дети, то я подумал бы, что Марьяна Акимовна была им настоящая мать, — так мило, так матерински мило она ухаживала за ними. И, к немалому моему удивлению, она, обращаясь к гувернантке, разговаривала с нею по-французски. «Вот тебе и чиновница средней руки! Вот тебе и протопоща высшей руки!» — подумал я. Я был просто очарован Марьяной Акимовной, и если б она обращалась к своей Ярине (кажется, единственной прислуге) хоть на великороссийском диалекте, то я подумал бы, что я имею счастье видеть перед собою по крайней мере графиню или хоть просто даму высшего полета.

Такова сила предубеждения против своего родного наречия.

За чаем я случайно узнал имена двух девочек; одну, кажется старшую (потому что они обе одинакового роста), звали Лизой, а другую

Наташей. И так они были похожи одна на другую, что, пересади их с места на место, то и не знал бы, которая из них Лиза, а которая Наташа. А обе они были чрезвычайно похожи на свою милую маменьку.

Хозяйка, между прочим, обратилась ко мне и спросила, понравился ли мне концерт в Дигтярях.

— Ведь уж, верно, там не обошлось без концерта? — прибавила она.

Я отвечал утвердительно.

— А каков виолончелист? Не правда ли, прекрасный?

— Превосходный! — отвечал я.

— Это наш большой приятель, и, кроме того, что он артист превосходный, нужно знать, что он и человек самого нежного, самого благородного сердца. Но что будешь делать? — прибавила она со вздохом.

— Лиза и Наташа плачут, когда не видят его два дня сряду, а про Адольфину Францевну и говорить нечего, — сказала она шутя и поцеловала гувернантку в загоревшую щеку, из чего я заметил, что она понимает по-русски.

Мне было чрезвычайно приятно слышать подобный отзыв о человеке, которого я с одного разу полюбил, как что-то близкое моему сердцу.

После чая Антон Адамович обратился к нам и просил в свою хату.

— Я к ним только в гости захожу, а хата моя там, в саду. — И он взялся за свою шляпу. Мы последовали его примеру.

Белая, соломой крытая хата, к которой нас привел Антон Адамович, стояла между фруктовыми деревьями и служила кабинетом Антону Адамовичу и вместе караульней. Чисто немецкая штука.

Хата Антона Адамовича, как вообще мало-российские хаты, разделялася сенями на две половины: собственно на хату с комнатою и на так называемую комору. В коморе, освещенной одним окном, помещалась у него аптека и библиотека, в сенях — лаборатория. Это можно было заключить из стоявшего на широком камине алембика^{131}, реторты и стеклянных и глиняных банок. Стены светлицы, или кабинета, были украшены луками, стрелами, томагауками и другими орудиями

дикарей, что и свидетельствовало о кругосветном странствовании Антона Адамовича.

Около стен стояло две кушетки, а между ними, у стены, простой дубовый стол и на нем электрическая машина.

— Не угодно ли будет отдохнуть с дороги, а я пока наведуясь в Дигтяри: ведь я их домашний медик. До свидания!

И он оставил нас в своем кабинете совершенными хозяевами.

— Не думал я, отправляясь на бал, попасть в кабинет ученого путешественника и, вдобавок, путешественника скромного, — подумал я вслух, когда мы остались одни.

— Да это что еще! — сказал мне товарищ. — Вы загляните в комнату, — вот где редкости!

И действительно редкости! Во всю длину комнаты, около стены, дубовый широкий стол уставлен разнообразнейшими и красивейшими раковинами тропических морей, а посередине стола, как раз против окошка, плоский ящик в аршин длины и ширины со стеклянной крышкой, заключающий в себе нумизматические редкости Антона Адамови-

ча.

Между разной формы и величины монет я увидел австрийский талер XVII века с глубоко вдавленным клеймом, изображавшим московский герб.

— Не правда ли, любопытная монета? — сказал мне товарищ, указывая на талер, — или, лучше сказать, любопытное клеймо.

— Но что оно значит, это клеймо? — спросил я его.

— А вот, изволите видеть, когда в тысяча шестьсот пятьдесят четвертом или пятом году ходил наказным гетманом Иван Золоторенко с полками малороссийскими добывать Смоленска московскому царю, то, не знаю почему-то, наши казаки не захотели брать жалованья московскою монетою, вот им и выдали австрийскими талерами, положивши московское тавро на каждый талер.

Налюбопытствовавшись редкостями Антона Адамовича, я вышел в сад, оставивши своего товарища помечтать наедине, то есть маленько приуснуть.

Я обошел весь сад, или, лучше сказать, парк, и не мог довольно налюбоваться преле-

стью деревьев, чистотою дорожек и вообще истинно немецкой аккуратностию, с какой все это содержится. Например, у кого вы увидите, кроме немца, чтобы между фруктовыми деревьями были посажены арбузы, дыни и даже кукуруза? В Германии это понятно, но у нас это просто непостижимо.

Из сада вышел я на греблю, усаженную вербами. Полюбовался чистенькой, аккуратной мельницей об одном шумящем колесе и, пройдя плотину, я очутился в селе.

Село всего-навсего, может быть, хат двадцать. Но что это за прелесть! Что ни хата, то и картина!

«Вот, — подумал я, — и не великое село, а весело». Попробовал я у встретившегося мужика спросить, можно ли будет нанять у них лошадей до Прилук.

— Можно, чому не можна, — хоть пару, хоть две пары, так можна!

— Хорошо, так я зайду после, поторгуюсь.

— Добре, поторгуйтесь.

За селом я увидел панскую клуню, или господское гумно, уставленное скирдами разного хлеба. Подходя к гумну, я встретил токово-

го, и он показал мне подведомственный ему ток, или гумно. Я, как не агроном, то и смотрел на все поверхностно и расспрашивал тоже поверхностно, и из всего виденного и слышанного мною заключил, что не мешало бы записным агрономам поучиться кой-чему у Антона Адамовича или хоть у его токового. Насчет винокурни, когда спросил у него, почему, дескать, Антон Адамович, имея столько хлеба, не построит себе винокуренку, хоть небольшую, [токовой ответил]:

— Бог их святой знает. Я и сам им говорил, чтобы построить хоть небольшую. «Зачем, говорит, чтобы пьяниц голых пускать по свету? Не нужно!» Они у нас такие чудные, и, боже сохрани, как они того проклятого вина не любят.

— Действительно, странный человек. Ну, а мужики у вас в селе есть-таки пьющие?

— Ни одного.

— Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб?

— А куда сбываем? Никуда больше, как у Дигтяри. Видите, паны там банкетуют, а мужики голодают. Да еще мало того, в селе, кро-

ме корчмы, что ни улица, то и шинок, а в каждом шинке, для приману людей, шарманка играет. Вот мужик бедный и пропивает последнюю нитку под немецкую музыку. Сказано, мужик дурак.

«Зато паны умудрились. О, филантропия!» — подумал я и простился с токовым.

Подходя к гребле, я невольно остановился полюбоваться старыми вербами, опустившими свои длинные зеленые ветви в светлую прозрачную воду. А из-за этих роскошных ветвей, с противоположной стороны пруда, выглядывает из темной зелени беленький, улыбающийся домик Антона Адамовича, и, как красавица любит свою прелесть перед зеркалом, так он любит собою в прозрачном тихом озере.

«Благодать!» — подумал я и пошел через греблю к кокетливому домику.

К этому времени Антон Адамович возвратился от своих пациентов и, к великой моей радости, привез с собою милого моего виртуоза — и с виолончелью. Мы встретились с ним при входе в сад и дружески приветствовали друг друга, как самые старые знакомые.

К нам подошла Марьяна Акимовна, нецеремонно взяла меня за руку и сказала:

— Вы должны быть благороднейший человек, коли полюбили нашего милого Тараса Федоровича. От души вам благодарна.

Я молча поцеловал ее руку. В это время подходил к нам Антон Адамович.

— Посмотри, посмотри, что наш гость делает! — сказала она, обращаясь к мужу.

— Ничего, ничего, — говорил Антон Адамович улыбаясь. — А не лучше ли будет, если мы пойдем да с борщом покуртизаним? Как вы думаете, Марьяна Акимовна?

— И в самом деле, лучше. Прошу покорно, господа, — сказала она, обращаясь к нам, и мы пошли обедать.

Многие ли из вас, господа, имеющие хоть одну крепостную душу, посадят рядом с собою крепостного человека, хоть бы этот человек был величайший гений в мире? Ручаюсь, что ни одного не найдется, кроме истинно благородного Антона Адамовича.

Тарас Федорович сидел между шалуньями Лизой и Наташей, и они ему, бедному, покоя не давали во время обеда. Чудное, благород-

ное равенство! Вот бы как надо людям жить между собою. Да что же ты будешь делать? Нельзя. Между прочим, я услышал несколько французских фраз, произнесенных Тарасом Федоровичем с гувернанткою. Этим окончательно полонил меня мой милый виртуоз.

После обеда мы, то есть мужчины, отправились к Антону Адамовичу в хату покурить. Но так как я человек некурящий и виртуоз мой оказался таким же, то мы пошли себе гулять по саду, пока не вышли на небольшую лощину, на которой стоял небольшой стог свежего сена. Не устоял я против такого могучего соблазна. Снявши галстук и сюртук, прилег, опустил на ароматное сено, и за мною, разумеется, и товарищ мой тоже. А чтобы драма не одолела, я повел издали речь о двух девочках, живших, так сказать, на хлебах у почтеннейшего Антона Адамовича.

— Какие милые, прекрасные дети! — сказал я.

— И, прибавьте, счастливые дети. Я не знаю, что бы из них было, — продолжал он, — если б не существовало около нашего роскошного села этой фермы и этих добрых, благо-

родных людей!

— Да, в самом деле, расскажите мне, что это за оригинальная мать, которая воспитывает своих детей таким образом. Мне кажется, что в этом возрасте детям никто не может заменить матери.

— Марьяна Акимовна им совершенно ее заменила. Вот что: Софья Самойловна, мать их по названию, великосветская дама, а главное — красавица, красавица, которая конфузится, когда ее кто спрашивает о здоровье ее детей. Для нее это все равно, что сказать: «как вы, Софья Самойловна, подурнели». И притом, как дама светская, она после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в високосный и четыре) должна отдать визиты своим гостям. А гостей, вы сами видели, сколько наехало. А семнадцатого сентября так вдвое столько наедет, несмотря ни на какую погоду, потому что она сама тогда бывает именинница. Пока отдаст визиты, смотрит — другой бал готовится, там третий. Так и год проходит. А там, если выберется время, надо и в Петербург съездить, а то, говорит, между этими хохлами совсем очерствеешь. Так, сами посудите

те, до детей ли ей при такой жизни? И, по-
тому, она лучше ничего выдумать не могла,
как отдать их на руки Марьяне Акимовне.

— Я с вами согласен, что она умно сделала,
но хорошо ли, это другой вопрос.

— Конечно, здесь сердце матери спрятано
под себялюбием светской красавицы. Я слы-
шал, однакож, она недавно как-то о них вспо-
минала. Года через два она хочет их отпра-
вить в Смольный институт⁽¹³²⁾: в полтавском,
говорит, они хохлачками сделаются.

— И то правда. Как же она не побоялась их
отдать Марьяне Акимовне? Или она думала
оградить их французенкою-гувернанткою да
немкою-горничною?

— Какое! немецкая горничная сама скоро
сделается хохлачкою, а про гувернантку и го-
ворить нечего. Послушайте, что я вам расска-
жу. Адольфине Францевне вздумалось учить-
ся говорить по-русски. Вот Марьяна Акимов-
на и ну ее учить, да вместо того чтобы по-рус-
ски, — выучила ее по-малороссийски: Софья
Самойловна чуть было не поссорилась из-за
этого с Марьяной Акимовной. И знаете, что
еще: она прекрасно поет некоторые наши

песни. Будем ее просить, чтобы она нам хоть одну спела.

— Непременно.

— Вон они! вон они! — услышали мы невдалеке детские голоса, и едва успели мы надеть сюртуки, как подбежали к нам Лиза и Наташа и, ухватившись за полы сюртука Тараса Федоровича, потащили в сад, приговаривая:

— Пойдемте! пойдемте! Вас мама просит играть.

Пройдя несколько шагов вслед за «арестантом», я увидел прислонившуюся к дереву Адольфину Францевну и, подойдя к ней, сказал ей какую-то любезность по-малороссийски, на что она, сделавши милую гримасу, очень незастенчиво отвечала мне: «Спасыби». Мы пошли вслед за детьми, разговаривая, как короткие знакомые. Между прочим, в доказательство своего знания в малороссийском языке [она] прочитала мне два стиха:

*Кятерино, серце мое,
Лишенько з тобою.*^{133}

И с таким милым выражением прочитала

она эти стихи, что, не зная я, что она француз-женка, то я, не запинаясь, сказал бы, что она моя истинная землячка.

Любезничая с m-lle Адольфиной по-хохлацки на французский лад, мы немного отстали от детей и арестованного артиста, и когда подошли к дому, то наш артист уже на крылечке играл на скрипке плясовую малороссийскую песню, а Лиза и Наташа перед крылечком с поднятыми ручонками, как бы прищелкивая, танцевали, приговаривая:

*Гоп-чук, гречаники,
Гоп-чук, печени.*

Антон Адамович, сидя на крылечке, добродушно улыбался, а Марьяна Антоновна брала поочередно детей на руки и целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка-горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.

Одни простодушные счастливицы могут группировать из себя подобную картину.

В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была еще небольшая хатка с навесом, и вместо

завалинок стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою — старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревянною, а дерновою. Хатка эта была мастерская, или рабочая, Марьяны Акимовны. Здесь сушились фрукты, варились варенья и созидались разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала *по трудах*.

В эту хатку на все лето выносилось фортепиано, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталась в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.

Часто и долго, сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал — и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца. Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодедел.

В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.

После чаю в хатке зажгли свечи. М-лле Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепиано, а Тарас Федорович вооружился виолончелью, и, после нескольких аккордов, тихо, стройно, как будто с неба, раздалась одна из божественных сонат божественного Бетховена^{134}.

Мы все остались под липою и, в продолжение сонаты, сидели, притая дыхание. Даже резвые дети — и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, поглядывали друг на друга.

За сонатой Бетховена были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема»^{135} и, в заключение, совершенно неожиданно:

Ходить гарбуз по городу...

Дети запрыгали около Марьяны Акимовны, а Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.

Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мо-

тив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.

Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно-просто и так возвышенно-изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.

Кончивши вариации, артисты наши вышли из хатки и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы и она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединились к ним, — решительно ничего не помогло.

— Завтра, — говорит, — я вам сыграю, а то сегодня — это значит после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. Вон, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает.

И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из-за ста-

рой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.

Я совершенно, был очарован и декорацией и этими добрыми, простыми людьми.

Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем, — он меня просто приворожил к себе. Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства, без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братией), — он рассказал мне потому, что я его со вниманием, или, лучше сказать, с участием, слушал.

— Отца, — говорил он, — я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только обойдя все село без успеха, нанялася, нако-

нец, у еврея в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у еврея, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла. А умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан, или, лучше сказать, стойло в *стодоле*, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить тоже, а только поманила к себе рукою, и, когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатились из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.

Сотский похоронил ее за тот рубль, что остался у еврея, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или бандурист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего вожака.

И, знаете, мне понравилось мое новое положение, потому что я имел хотя какой-ни-

будь, а все-таки приют, А еще больше мне нравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:

*На морі синьому, на камені
білому
Ясний сокіл квилить-проквиляє...*
{136}

Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и словах этой унылой песни.

Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и обступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам [идут] господа — и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилась перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потре-

павши меня по щеке, проговорила:

«Какой хорошенький! — и, обратясь к господам, сказала: — Я его непременно возьму к себе в пажи».

Так и случилось. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю почему-то, оказался неспособным для должности пажа, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть — сначала на скрипке, а потом и на виолончели. Вот вам моя простая история, — прибавил он и замолчал.

— Грустная, правду сказать, история.

— Что делать? Прошедшее мое действительно грустно, но настоящее так безнадежно, так безотраднo, что если б не эти благородные люди, то я не знал бы, что с собою делать.

— Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.

— Не знаю, найдет ли мое письмо Михаила Ивановича в Петербурге?

— О, наверное, он никуда не уехал: это бы-

ло бы известно.

— Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?

— Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михаилом Ивановичем^{137}. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами надолго, а быть может, и навсегда, но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня были бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте меня хоть изредка. А о результате вашего письма Михайлу Ивановичу вы непременно меня уведомьте. Я вам завтра сообщу свой адрес.

И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем.

— Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях.

В хате Антона Адамовича светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Виргилий мой так

усердно храпел, что за хатою было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.

На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуки, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают.

— А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети — и те даже заплакали, услышавши о таком вашем неделикатном поступке.

От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацею.

— И не думайте, — говорила она, — и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видала, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях! Этого не токмо что у нас, — я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович, ты ведь немец, а?

— Такой я немец, как ты немкиня, — проговорил Антон Адамович и засмеялся.

— Вот и Тарас Федорович останется у нас, — продолжала Марьяна Акимовна. —

Ему теперь после бала совершенно там делать нечего. А Адольфина Францевна обещает нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцевать хоть целый день *Гречаньки*.

— И *Метельцу*, мамаша, — проговорили разом обе девочки.

Противостоять не было возможности, и я сдался. *Виргилий мой* заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.

— Уж хоть бы вы молчали, а то разносились со своим попечителем, право, ей-богу, а еще старый знакомый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не стоворишься.

Переглянулись мы с *Виргилием* и пошли молча за *Марьяной Акимовной*.

Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалось мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию, а на первом плане — *Наташу и Лизу*, танцующих *Гречаньки*. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной, а, гля-

дя на этот эскиз, я как будто снова люблю эту живую картину и даже слышу скрипку и прищелкивание пальцами немецкой горничной.

Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенные карандашом несколько линий. По крайней мере на меня это так действует.

На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом. Даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю, даже через село до самой клуни. Тут мы уселись в спокойную *нетычанку* Антона Адамовича, запряженную парой добрых коней, и покатались по гладкой извилистой дорожке.

Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамовичу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатила

быстрее и быстрее, и группа наших друзей [стала] едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина — и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на пригорок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.

Мне стало грустно, так грустно, как будто я расставался со своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и случилось.

Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показались нам Прилуки, а несколько ближе, из-за темного леса, выглядывали главы, белым железом покрытые, соборной церкви Густынского монастыря.

Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще неоштукатуренная четырехугольная башня^{138} с плоской крышей, точно каланча.

— Что это такое за урод торчит? — спросил я у своего приятеля.

— Это колокольня вновь отделанной домашней настоятельской церкви, что над малыми воротами.

— И, верно, какой-нибудь досужий костромской мужичок смастерил этакую штуку?

— Нет, извините, не мужичок, а настоящий патентованный художник⁽¹³⁹⁾!

— Как же он мастерски подделался под византийский стиль!

— Не извольте смеяться над нашим художником. Его торопят и денег не дают. А вот когда поедете из Прилук в Нежин, так увидите в селе помещицы Н. настоящий храм царя Соломона, этим художником сооруженный. Уже на что наш просвещенный знаток и покровитель искусств, можно сказать, меценат наших дней, Н., и тот посмотрел да только рот разинул, а про преосвященного и говорить нечего.

— Честь и слава вашему художнику!

Тем временем мы въехали в город, а через час я уже прощался с почтеннейшим педагогом, прося его для пользы науки записывать все, что касается археологии и вообще народ-

ного характера, как то: пословицы, при сказки, песни, предания и тому подобное. А наипаче просил я его по временам извещать меня о наших добрых друзьях на ферме. Он обещался мне все исполнить по мере сил своих.

И мы расстались, и расстались надолго.

Расставаясь с моим путеводителем, не думал я тогда, что я с ним на долго-долго расстануся. Я тогда думал, что авось-либо в будущем году поеду снова по Малороссии по поручению Киевской археографической комиссии, буду в Чернигове, а из Чернигова поеду через Нежин в Прилуки и по дороге посмотрю хваленый храм, воздвигнутый коштом помещицы Н. и трудами патентованного художника, архитектора Н., а в Прилуках погощу денек-другой у моего Виргилия, и, если можно будет, навестим попрежнему достойнейшего Антона Адамовича и Марьяну Акимовну и полюбуемся их прекраснейшею фермою.

Так я тогда думал, а вышло, что человек распределяет, а бог определяет. Вышло то, что я в продолжение двадцати лет (со дня выезда моего из Прилук) не только что не видел Кие-

ва, Чернигова, Нежина, Прилук, и моего автомедона^{140}, и фермы, и всего, что я там видел прекрасного, я в продолжение двадцати лет не видел, не видел моей милой родины, ни даже звука родного не слышал.

Вот что иногда судьба с нами делает!

После двадцатилетнего моего странствования по нечужим краям^{141} возвращаюсь я в Малороссию, и, проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я серенький домик ка углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого мизерного домика. Вылез я из телеги, вхожу на дворик. Меня встречают два мальчугана; я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С^{142}.

— Здесь, — отвечают оба разом мальчуганы.

— Дома он?

— Нет! они в училище.

— А есть ли у вас дома кто-нибудь постарше вас?

— Есть маты дома, только они опочивают; мы ее разбудим.

— Не нужно, не будите. Я после зайду.

И я поехал на почтовую станцию.

День был прекрасный и уже клонился к вечеру, и я, сложивши вещи свои, то есть чемодан и котомку, на крылечке станционного дома, а подорожную отдавая смотрителю, просил его не торопиться с лошадьми.

Учредивши все таким образом, я уселся на своей мизерии, то есть на чемодане, и принялся рисовать прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно неуклюжей, но оригинальной архитектуры, построенную полковником прилуцким Игнатом Галаганом, тем самым, что первый отложился от Мазепы и передался царю Петру, за что и был, по смерти полковника Носа, возведен в звание прилуцкого полковника и одарен великими маетностями в том же полку. Пока я рисовал сей памятник знаменитого полковника, солнце повисло над горизонтом, и толпа школьников показалась на улице, а за толпою школьников, в некотором отдалении, появилась на улице и тощенькая, согбенная фигурка, с зонтиком вместо палки в руке. Это был мой Виргилий, и я почти побежал к нему навстречу.

Долго мы стояли среди улицы друг против

друга, и, наконец, после подробных припоминаний, он протянул мне руку и сказал:

— Антикварий! антикварий! Так это вы? А я было уже вас совсем похоронил. Да как же вы переменялись! Совсем было не узнал!

— Спасибо еще, что хоть вспомнили.

— Да я вас всегда вспоминал, только по наружности не узнал. Прошу же вас покорнейше навестить меня в моей убогой келий.

И мы, разговаривая, подошли медленно к воротам серенького, давно знакомого мне домика.

У ворот, как это обыкновенно бывает в маленьких городах, стояла в землю вросшая скамейка. И мы молча посмотрели на нее и сели.

— Да, так вот вы и попутешествовали, — проговорил он грустно, — и свет божий посмотрели. Чай, и за границей не раз побывали? А я, как залез в этот темный [угол], так и на свет божий не-показываюсь: сижу себе, можно сказать, без всякого движения.

И долго мы беседовали, вспоминая каждый из нас свое прошедшее. И между прочим, он мне рассказал, что он вскоре после нашего расставания женился на благородной и пре-

красно воспитанной, хотя бедной девушке: «И думал я с нею век свой прожить в счастье и любви, но бог судил мне в одиночестве век свой коротать» — и старик заплакал.

— Братец! — раздался женский голос из-за ворот, — идите в комнаты, пора вечерять, дети спать хотят.

— Накормите их, сестрица, и уложите, а мы еще немного здесь посидим. Сестрица, — прибавил он, — с нами гость сегодня вечеряет, то вы бы там что-нибудь лишнее, хоть карасика поджарили, да послали б Феклу, знаете, насчет того, сестрица.

— Пошлю, братец.

— Да... На третьем году, — продолжал он с расстановкой, — нашего блаженства она оставила меня навеки. Правда, я не совсем еще сирота: она оставила мне малое дитя свое, для которого, можно сказать, и прозябаю я.

В тот самый год у сестры моей муж скончался скоропостижно и оставил ее тоже с маленьким сиротою. Вот мы с нею и сошлись в один куток, да и делим свое горе, как нам бог помогает. Детей, я думаю, с божию помощью в гимназию... а там...

— Братец, — раздался снова женский голос из-за ворот, — идите в комнаты. На дворе роса и холодно, а вы только во фраке.

— Сейчас! сейчас, сестрица! Пойдем в нашу хату, а то и в самом деле, как бы нам с вами не простудиться. Ведь мы с вами не можем похвалиться молодостью, цветущей здоровьем. Пойдемте.

И мы оставили скамейку и молча вошли в комнату.

Комнатка, в которой я двадцать лет тому назад провел несколько дней на холостую ногу, — комнатка была та же, да не та. Бедность та же, да только бедность эта была умытая и принаряженная женскою рукою. На чистеньком полу чистенькие половики, у окон беленькие занавески, на окнах бальзамины и герань в горшках. Стол, дощатый диван, табуретки липовые те же самые, да как-то иначе смотрели. Что значит женская рука в домашнем быту даже аккуратного мужчины!

В быту гражданских мужчин это еще не так резко бросается в глаза, как у военных. Например, зайдите вы в комнату холостого офицера: изба избой, так и несет от нее пси-

ной и табачищем. А у женатого офицера тоже изба, да только в этой избе сундук, на котором у холостого денщик спит с собакою, — у женатого он покрыт ковриком и заменяет диван. На дощатом столике, вместо табачницы и гвоздя для ковыряния трубок, пестренькая ярославская салфеточка, зеркальце и какое-нибудь женское рукоделье. Словом, в семейной жизни, даже в бедности, есть какая-то свежая материальная прелесть, а о нравственной прелести я и не говорю.

Из другой комнаты вышла к нам старушка в черном платье и в белейшем чепчике, такая милая, чистенькая старушка, какую я редко встречал на своем веку.

— Рекомендую вам: моя сестрица, Марья Максимовна.

Я поклонился.

— А они, сестрица, мой старый добрый знакомый N. N.

Я снова поклонился, а она проговорила:

— Прошу садиться.

Я сел. А Иван Максимович заглянул в другую комнату и, обращаясь ко мне, сказал:

— Какая у меня добрая, умная, догадливая

сестрица. Представьте, мне и в голову не пришло, чтобы предложить вам с дороги чаю, а ведь это как приятно. Я просто живу у нее, как у бога за дверьми. Ну, попотчуйте ж нас, моя дорогая, моя бесценная хозяйка. А дети спать уже легли, сестрица?

— Уже легли, братец, — отвечала старушка, ставя на стол чашки с чаем.

— Ну, хорошо, я вам завтра их покажу. А по которому уже годочку им пошло теперь, сестрица? Они у нас, знаете, однолетки, — прибавил он, обращаясь ко мне.

— Да вот на Петра и Павла минет по двенадцатому.

— Уже по двенадцатому! Боже мой, с какою быстротою летят наши старые лета! — проговорил он как бы с самим собою.

— Двенадцать! Двенадцать! Да!.. — почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. — Чуть-чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете, от кого?

— Не знаю, — отвечал я.

— От нашего почтеннейшего, благородней-

шего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?

— Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить о нем у вас.

— Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу, да как прочитал Марлинского, так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрица! потрудитесь там, вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.

Старушка не замедлила внести порядочную папку бумаг, сахарною веревочкой перевязанную, и, отдавая их брату, спросила:

— Эти, братец, бумаги?

— Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, — сказал он, обращаясь ко мне, — вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.

И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать и, остановясь на лоскутке синей бу-

маги, сказал:

— А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа, помните?

— Помню, — я говорю.

— Вот я и исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете... Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было. — И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:

— А знаете что? Сегодня у нас среда, погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие, помните, как когда-то, только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лично увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а может быть, и вам кое-что прочитаю.

Я согласился и после долгих упрашиваний со стороны брата и сестрицы остаться ночевать у них взял письмо и отправился на почтовую станцию.

Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича, — впечатление невыразимое, впечатление, которое только тот поймет, кому случилось читать подобное письмо.

Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.

Вот что писал мне мой бесталанный друг:

«Я был близок к смерти, или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею^{143}. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталось без всяких последствий. О! как горько! как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбива-

ются молотом неумолимой судьбы!

Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю какой бы ни было результат моего письма к Михаилу Ивановичу, и вот уже проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.

После бала, или, лучше сказать, после того концерта, где вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого я вас так полюбил, как родного моего брата, — так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке; она его расцарапала, из прыщика сделался веред, а из вереда к августу месяцу сделалась рана такая, что она едва ее рукою закрывала. Вообразите себе ее положение: красавица — и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было; красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетховен, когда оглох, и не страдал так великий ваш Буонаротти, когда ослеп, как она, бедная, страдала.

В половине августа решено было ехать в

Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал и, не доезжая Великих Лук, на станции Сыруты умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена!

По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов, лакейская же моя обязанность была невелика: уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.

О, лучше бы я никогда не видал света божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него!

После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел — сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне.

Меня стали посещать по средам и по суб-

ботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.

И во едину от суббот сказали мне, что наша Софья Самойловна скончалася под ножом какого-то знаменитого хирурга, и мы остались сиротами.

Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох⁽¹⁴⁴⁾ проходя мимо моей койки и не останавливался. Весною, однакож, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору, а в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.

Надо вам сказать, что в Петровской больнице есть и женское отделение, в третьем этаже, и женщин выздоравливающих тоже выпускают в полдень погулять в саду. Вот однажды я сижу на скамейке, подходит ко мне больная в тиковом халате и в белом чепчике или таком же колпаке, как и я. Мы просидели молча, пока служитель не загнал нас в палаты. На другой день была погода хорошая, и нас снова послали гулять в полдень. Походивши немного, я присел на скамейке. Вчерашняя дама снова приходит и садится около меня. Я как-то нечаянно взглянул ей в лицо и увидел, что она была красавица, но только та-

кая исхудалая, такая грустная, что у меня сердце заболело, на нее глядя. Я не утерпел и спросил ее:

— О чем вы так грустите?

— О том, я думаю, о чем и вы, о здоровье.

Я не удовольствовался ее ответом и, немного помолчав, сказал ей:

— Здоровье ваше возобновится, да о здоровье так и не грустят, как вы грустите.

— Да, это правда, — сказала она и закрыла глаза рукою.

Служитель опять загнал нас в палаты.

Несколько дней сряду шел дождь, и я скучал, не видя моей знакомой незнакомки. Наконец, дождик перестал, и нас опять выпустили в сад. Я прямо пошел к скамейке, и, к удивлению моему, на скамейке уже сидела моя грустная знакомка. Я ей поклонился, она мне тоже, с едва заметною, но такую грустною улыбкою, что я чуть было не заплакал.

— Вы, должно быть, страшно несчастны? — сказал я ей, садясь на скамейку.

— А вы счастливы? — спросила она, взглянув на меня так выразительно, что я затрепетал и, придя в себя, взглянул на нее, а

она все еще смотрела на меня с прежним выражением.

— Всмотритесь в меня, — сказала она.

Я силился посмотреть на нее, но не мог вынести устремленного на меня взгляда ее глубоко впалых больших черных очей.

— Неужели вы меня не узнаете? — спросила она едва внятным шепотом.

— Не узнаю, — ответил я.

— Так я, должно быть, страшно переменялась? — И, немного помолчав, сказала:

— Ну, так вспомните Кочановку и двадцать третье апреля^[145] тысяча восемьсот... года. Что, вспомнили?

— Боже мой! неужели это вы, m-lle Тарасевич?

— Я, — едва проговорила она и залилася горькими слезами.

На другой день мы снова с нею встретились у заветной скамейки, и она мне рассказала свою грустную историю.

Я и без того писать или выражать свои мысли на бумаге не мастер, а как буду пускаться в отвлеченности да в отступления, то письму моему и конца не будет. Но гнусная

история, которую мне про себя рассказала бедная m-lle Тарасевич, должна заставить и немого говорить и глухого слушать.

О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в селе Кочановке.

Не помню, в какой именно книге я читал такое изречение, что если мы видим подлеца и не показываем на него пальцами, то и мы почти такие же подлецы. Правда ли это? Мне кажется, что правда!

[Поэтому] я и рассказываю вам историю m-lle Тарасевич и кочанозского пана. А вы с нею что хотите, то и делайте, а если напечатаете, то это будет самое лучшее. Только перепишите ее по-своему, потому что у меня складу недостает.

Была у нас помещица П. уезда, богатая помещица, душ около четырех тысяч, бездетная вдова, старушка добрая такая, благочестивая, да бог ее знает, что ей вздумалось: раз поехала она в Киев на поклонение, да и вышла замуж за молодого человека, красавца собою, некоего г. Арновского. Она, может быть, бедная, в летах заматерелая, о наследнике чая-

ла, — не знаю. И сказано: человек из ума выжил, — передала все свое имение, вместе с собою, в руки молодого красавца мужа. А он, не будучи дураком, повернул все по-своему. И то правда, ведь не на старухе ж он женился, а на ее деревнях. Кроме разных улучшений по имению, от которых мужички запищали, он завел у себя оркестр (это прекрасно), сначала наемный, а потом и крепостной, выстроил великолепный театр, выписал артистов и завел театральную школу, разумеется крепостную. Пирам и банкетам конца не было. Старушка была в восторге от своего молодого мужа. Когда же собственные актрисы подросли и начали уже играть роли любовниц и одалисок, то он, смотря по возрасту и наружным качествам, учредил из них гарем на манер турецкого султана. Разумеется, подобное заведение втайне не могло процветать, только странно, что последняя о нем узнала старуха жена. А узнавши все это, занемогла, бедная, от ревности и вскоре богу душу отослала. На смертном одре она простила своего вероломного мужа и со слезами просила его исполнить ее последнюю волю, то есть положить капитал в

банк и на проценты его воспитывать трех сирот-девиц в Полтавском институте. Он, разумеется, поклялся в точности исполнить волю умирающей.

Он ее и исполнил, да только по-своему.

После смерти жены его выбрали предводителем дворянства, как человека достойного и благонамеренного. Он тут же у себя в уезде нашел не трех, а пять сироток и завел у себя в селе благородный пансион. Нанял учителя, какого-то отставного поручика, и гувернантку без аттестата, а главный надзор за нравственностью воспитанниц поручил сестре своей, грязной и красноносой старухе.

Когда сиротки стали подрастать, то им, кроме русской грамоты, стали преподавать и изящные искусства, то есть пение, музыку (игру на гитаре), танцы и сценическое искусство. И все это, разумеется, свои же крепостные наставники и наставницы.

В число этих-то несчастных воспитанниц попала и m-lle Тарасевич. Когда они уже порядочно подросли, то которые покрасивее были, сделались, по ходатайству главной надзирательницы, украшением гарема, — не как ра-

быни, а как благородные султанши. М-ле Тарасевич хотя была и красивее всех их, умнее и благороднее, а главное была тощенькая и потому-то не обратила на себя ласкового султанского взора. Не завидовала она своим счастливым подругам, тому, что они и на балах являлись, и танцевали, и на театре являлись перед многочисленными гостями, разумеется, с крепостными артистами (да и в самом деле, не образовывать же для них сироток-мальчиков благородного происхождения). Она, бедная, ничему этому не завидовала, а возьмет, бывало, себе потихоньку какой-нибудь роман из библиотеки да спрячется где-нибудь в саду, читает его да плачет. Так она прочитала все романы, какие только были в библиотеке. И вышло то, что она не знала, что с собою делать; пуще прежнего похудела, — так и думали все, что умрет. Уже и в постель было слегла, на ладан, как говорят, дышала. Уже (поверите ли) и крест намогильный сделали, хотели было и гроб делать, да боялись, чтобы не укоротить, потому что люди, когда умирают, то, говорят, вытягиваются. А крест сделали сажени в две вышины, дубо-

вый. Выкрасил его домашний живописец зеленою краскою и на одной стороне намалевал распятие, а на другой скорбящую божью мать, а внизу прибил железную доску и написал на ней: «Здесь покоится раба божия Мария Тарасевич, воспитанница г. Арновского, скончавшаяся 18... года... месяца... числа». Только случилось так, что она выздоровела, а умерла любимая горничная сестры г. Арновского, и умерла, говорят, не своею смертию. Она гладила утюгом своей барыне платье в воскресенье, да немного опоздала: уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово. Вот барыня рассердилась, выхватила у нее из рук утюг, да и хватъ ее «нечаянно» по голове так, что та, бедная, тут же и ноги протянула. Правда ли, нет ли, наверное не знаю. А крест я сам собственными глазами видел и надпись читал. И, знаете ли, такой крест — это своего рода картина, особенно на убогом сельском кладбище, где все крестики бог знает какие: то пошатнувшиеся, а то и совсем упавшие, а то и просто десяток-другой могил совсем без крестов. А тут вдруг *фигура*, да еще и какая фигура! Я думаю, г. Арновский сам

рассчитывал на этот эффект: смотрите, дескать, как мы своих воспитанниц хороним! А вышло, что похоронили не воспитанницу, а горничную. Ну, да это все равно, лишь бы крест даром не пропал.

— Музыкантская была в одном флигеле с нашим пансионом (так продолжала свой рассказ больная), и когда я начала выздоравливать и понимать себя, то мне чрезвычайно приятно было слушать, когда они сыгрываются: моему больному воображению представлялся какой-то необыкновенно чудный мир, особенно, когда весь оркестр, как лес или море, вдали шумит, и из этого неопределенного ропота выходит какой-нибудь один инструмент, скрипка или флейта. О! я тогда была выше всякого блаженства! Звуки эти мне казались чистейшею, отраднейшей молитвою, выходящею из глубины страдающей души. О, зачем я выздоровела, зачем навеки не осталась в том болезненно-блаженном состоянии!

В доме было прекрасное фортепиано, и когда я могла уже выходить, то пошла прямо к нашему капельмейстеру и просила его, чтобы он меня научил читать ноты и показал пер-

вые приемы на фортепиано. Он... О, я давно прокляла его за его науку! Зачем открыл он мне тайну сочетания звуков, зачем открыл он мне эту божественную, погубившую меня гармонию!

Я быстро поглощала его первые уроки, так что не успели у меня на вершок волосы отрасти (я больна была горячкой), как я уже быстрее его читала ноты и вырабатывала свои пальцы на сухих этюдах Листа^{146}.

Но не одни звуки питали мое больное сердце. Мне нравилась сцена. Я прочитала все, что было в нашей библиотеке драматического (репертуар нашего домашнего театра мне не нравился), начиная с «Синеуса и Тривора» Сумарокова до «Гамлета» Висковатова^{147}. Я дни и ночи бредила Офелией, а делать было нечего: я для своего дебюта принуждена была выучить роль дочери Льва Гурыча Синичкина^{148}. Успех был полный, и я окончательно погибла!

Когда видели вы меня в Кочановке, я уже тогда бредила петербургской сценой: домашняя для меня была слишком тесна. На несчастье мое, того же лета заехал к нам Михаил

Иванович Глинка, — он тогда выбирал в Малороссии певчих для придворной капеллы.

Увидевши меня на сцене и услышавши мой голос и игру на фортепиано, он решил, что я великая артистка. А я... О горе мое, горе — я простосердечно ему поверила. Да и кто бы не поверил на моем месте?

Не заметили ли вы тогда у нас на бале молодого весьма скромного человека, с большими выпуклыми глазами, со вздернутым носом и большим ртом? Это был художник Штернберг. Он тогда у нас все лето провел^{149}. Кроткое, благороднейшее создание!

Однажды я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела для гостей^{150} из его еще не оконченной тогда оперы «Руслан и Людмила» арию, — помните, в чертогах Черномора поет Людмила? Только что я кончила петь, посыпались аплодисменты, разумеется не мне, а автору. И, когда все замолкло, подходит ко мне Штернберг со слезами на глазах и молча целует мои руки. Я тоже заплакала и вышла вон из залы. С тех пор мы с ним сделались друзьями. Я часто для него в сумерки пела любимую его арию из «Прециозы», и он каж-

дый раз, слушая меня, плакал.

Спустя два года после моих успехов в Кочановке г. Арновский со своею сестрицею начали собираться в Петербург на зиму. Я, разумеется, начала проситься с ними. Они долго не соглашались. Наконец, он согласился с условием, но с каким условием! Вы понимаете меня? Да! понимаете! И знаете что? Я согласилась! О! будь я проклята! проклята! и проклята! Я все забыла для искусства и для столицы, все! Всем пожертвовала! И вот результат моей великой жертвы: нищая, в больнице и, вдобавок, под именем его крепостной девки. — Она за слезами не могла говорить.

На другой день я услышал от нее подробности такого рода... Впрочем, они так гнусны, что гнусно их и повторять.

Скажу вам вкратце конец ее бедственной истории. Приехала она в Петербург уже беременною и через несколько месяцев, не выходя из квартиры, разрешилась мертвым ребенком. После родов заболела горячкой. А г. Арновскому нужно было ехать в свою Кочановку, вот он ее и отправил в Петровскую больницу под именем своей крепостной девки.

Вот вам и вся недолга.

Я пробыл еще две недели в больнице и каждый день, в урочные часы, выходил в сад и садился на заветную скамейку и дожидался несчастной больной.

Какой же в самом деле подлый эгоист человек вообще, а в особенности я! Мне стало на душе легче, я видимо стал поправляться после ее исповеди. Это значит, я доволен был, что есть несчастнее меня.

Страдальцы! Воображайте так, и вы будете хоть на полграна менее страдать.

Я каждый день спрашивал у знакомого мне служителя из женского отделения, что номер такой-то? и он отвечал мне совершенно равнодушно: «Лежит». За день перед моей выпиской из больницы спросил я у служителя: что номер такой-то? «В покойницкой!» — ответил он мне и пошел за своим делом, быть может за длинною плетеною корзиною, вроде гроба, чтобы другого, уже не страдальца, вынести в покойницкую.

На другой день, выписавшись из больницы, я просил позволения похоронить труп такой-то номер, такого-то, и мне было позволе-

но.

Я пригласил своих товарищей (вы помните, что нас было четверо привезено в Петербург, то есть квартет), и мы вынесли ее на Смоленское кладбище, а после панихиды пропели *Со святыми упокой* да бросили земли по горсти в ее вечное жилище, и больше ничего.

Вскоре после этого прислал нам управляющий именем *плакатные* билеты^{151}, и мы остались еще на год в Петербурге. И знаете, что мы сделали? Прикинулись немцами, да и пошли по улицам потешать добрых людей своим искусством. И знаете, нам хорошо было: мы почти что каждый по рублю серебра домой приносили.

За исключением харчей и квартиры, я каждое воскресенье получал рубль серебра, и каждую неделю я был два-три раза в театре (разумеется, в райке), откладывая каждую неделю полтину серебра на непредвиденный случай, то есть для Серве. То есть приобрести несколько его этюдов для виолончели, а главное, самого его послушать. В газетах давно уже публикуют, что он непременно будет к

великому посту в Петербурге. Дай-то бог! Мне как-то страшно становится, когда я подумаю, что я буду слушать Серве. Неужели слава так могущественна?

Приближается зима, и наши уличные квартеты должны будут прекратиться. Что нам делать? Товарищи мои хотят бросить искусство и искать лакейских должностей. А мне бы хотелось удержать их от этого соблазна. Да как удержать?

С этой благой мыслию пошел я однажды на Крестовский остров в немецкий трактир, поговорил с хозяином, что так и так, есть у меня квартет богемцев, можно ли им будет прийти в воскресенье попробовать счастья в вашем заведении? Хозяин согласился, и мы в первое же воскресенье спотешали вальсами почтеннейшую публику, как истинные чехи, и спотешали не без пользы. Мы в один день достали себе пропитание на целую [неделю] с избытком. Товарищи мои ободрились. Следующее воскресенье нам еще лучше повезло, а следующее еще лучше, потому что уже настала настоящая зима.

Тут же, в трактире, мы стали получать за-

казы через содержателя трактира на вечеринки, на свадьбы и тому подобное. Товарищи выбрали меня подрядчиком и казначеем, и мы зиму прожили припеваючи.

С Песков мы перебрались к Николе Мокрому. Квартира у нас была уже не одна маленькая комнатка, а две большие с прихожей.

В свободное время, в продолжение зимы, я проштудировал всего Ромберга^{152} и Серве, что мог достать. Большой театр^{153} посещал я постоянно два и три раза в неделю и хоть из райка, а я видел и слышал все, что было лучшего в ту зиму в столице.

Прошла, наконец, и бешеная масленица, прошла и первая неделя великого поста.

О незабвенная афиша!

Надо вам сказать, что я часто делал большой крюк, чтобы пройти мимо которого-нибудь театра, собственно для того, чтобы прочитать афишу.

В воскресенье был я на соборном проклятии в Казанском соборе^{154}. Вышел из церкви, перехожу Невский проспект и издали вижу, что что-то белеет за проволочной решеточкой у подъезда дома г. Энгельгардта^{155}. Я при-

бавил шагу. Подхожу к подъезду, или, лучше, к проволочному ящику, и мне показалось, что я вижу самого Серве и Вьетана^[156]. А это были только буквы. Долго я читал эти заветные буквы, пока добрался до настоящего их смысла. А смысл был такой, что Серве дает концерт сегодняшней же день. Начало в 7 часов вечера. Я сейчас же купил билет и целый день ходил по Невскому проспекту, заходя иногда к Александрийскому и Михайловскому театру прочитать афишу. В 6 часов вечера я уже был в зале. Зала уже была вполовину освещена, и я вошел в нее первый. Швейцар, впуская меня в залу, сначала пристально осмотрел меня с ног до головы, потому, вероятно, что я вовсе не был похож на человека, для которого пятирублевая депозитка ничего не значит. Ну, да бог с ним, пускай думает, что хочет.

Публика начала собираться, и к половине седьмого зала уже была полна. Меня пронимала дрожь. Но когда кто-то около меня сказал: «Уже семь часов», — я затрепетал, а сердце у меня обдалось каким-то холодом, как будто в одно мгновение теплая кровь остави-

да его и вместо крови потекла холодная вода.

Кончилась увертюра, которую я не слушал. Оркестр отдохнул, поправился, и через несколько мгновений выходит Серве и за ним Вьетан.

Боже мой, я не слышал, да и не услышу никогда ничего прекраснее!

Лист перед Серве — фанфарон, простой механик, ремесленник перед художником, больше ничего. Я смутно помню, как я вышел из залы и как пришел домой. Помню только, что товарищи отняли у меня виолончель и спрятали.

С того вечера я уже не беру виолончели в руки и звуков ее слышать не могу; для меня это все равно, что ножом по сердцу.

В продолжение поста я читал только афиши и только раз был в Большом театре, когда давали ораторию Гайдна «Сотворение мира»^{157}. Это истинное сотворение мира. Только для Большого театра слишком громко: трудно слушать. Тут нужен по крайней мере Михайловский манеж.

Еще давали концерт в Патриотическом институте^{158}, в котором участвовал, между мно-

гими знаменитостями, и граф Виельгорский
{159}.

Чего бы я не отдал, чтоб послушать его! Но, увы! Свет сей не для всех равно создан!

Как раз в великую субботу позвали нас всех четырех в часть и объявили нам, что помещик требует нас к себе в деревню и чтобы мы приготовились к следующей среде выступить в поход с севастопольской партией^{160}.

К среде мы были совершенно готовы и рано утром в среду вышли за толпою колодников из ворот Литовского замка с инструментами за плечами и грустно, молча потянулись к московской заставе.

Не описываю вам путешествия нашего, потому что оно нестерпимо однообразно и отвратительно гнушно.

На третий месяц нашего путешествия с толпою злодеев мы прибыли, наконец, в Прилуку.

Странное и страшное чувство обуяло меня при виде родного места.

Я долго не решался послать из острога к нашему доброму Ивану Максимовичу. Нако-

нец, через великую силу превозмог ложный стыд и страх и послал за ним тюремного служителя. Через полчаса явился Иван Максимович и взял меня на поруки.

В продолжение целой ночи мы глаз не смыкали, сообщая [все] друг другу, как родные братья после долгой разлуки. Между прочими новостями он мне сообщил, что промотанное и разоренное имение покойного г. Н. купил с публичного торгу г. Арновский и что хотел было взять Лизу и Наташу к себе на воспитание, но Антон Адамович отдал только Лизу, а Наташу у себя оставил и что м-лле Адольфина оставила их вместе с Лизою.

На другой день я оставил Прилуку и ночевал на ферме. На ферме все, как было и прежде, только Лизы и м-лле Адольфины недостает, а хозяйева ее, кажется, и помолодели и подобрали.

Солнце уже спускалося за горизонт, когда я подходил к ферме. Мужички, попадавшие мне около села, приветствуя меня с добрым вечером, посматривали на меня и, снявши шапки, крестилися. Меня это немало удивляло. «Что бы такое значило, что они крестят-

ся?» — спрашивал я сам у себя. [Когда я входил] в село, дети, завидя меня, бросили игры и, остановившись около хаты, молча посматривали на меня, а которые были постарше, те крестились. Я хотел было подойти к ним и узнать причину благоговения к моей особе, но дети разбежались. Я пошел далее, и уже на гребле попалась мне навстречу старушка и, перекрестясь, остановила и спросила у меня:

— Куды це вы гробык несете? У Дигтярых священник умер, поховать никому буде, бо нового попа ще не прислано.

Тут-то я только догадался, что они скрипичный ящик мой принимали за детский гроб.

Подойдя к самым воротам сада, я остановился в раздумье, заходить ли мне к ним, или пройти мимо, и только было решился на последнее, как послышался мне детский голос в саду. Это был голос Наташи. Я отворил ворота, но войти в сад все еще как бы боялся. Только Наташа, увидя меня, закричала:

— Мамо, мамо, нищий пришел! (Марьяну Акимовну она мамою звала).

— Где ты видишь нищего? — спросила ее

Марьяна Акимовна, выходя из-за дерева.

— Он за воротами.

И они подошли ко мне на несколько шагов, и Наташа бросилась ко мне, крича:

— Мамо! мамо! Это не нищий: это наш Тарас Федорович!

Меня и в самом деле немудрено было принять за нищего: оборванный, запыленный, с палкою в руке и с ящиком за плечами. Марьяна Акимовна подошла ко мне, посмотрела на меня, взяла меня за руку, сказавши: «Войдите», — и заплакала. У меня ноги подкосились, и я упал на землю и зарыдал как дитя. Наташа побежала за Антоном Адамовичем, и через несколько минут мы уже все трое шли к дому и все трое плакали. Наташа тоже плакала, разумеется бессознательно. Впрочем, ей уже двенадцатый год.

И что это за дитя, если б посмотрели! Это такая красота, такая детская прелесть, какой мне не удавалось видеть даже на картинах.

Подходя к дому, Антон Адамович почти что вырвал меня из рук Марьяны Акимовны и повел в свою хату.

— Подождите меня здесь, — сказал он мне,

сажая меня на стул в своей хате. — Я сию же минуту, — прибавил он уже за дверью.

В хате его было все попрежнему. Даже запах, воздух был прежний, и мне казалось, что я вчера только вышел из этой комнаты.

Через минуту вошел мальчик с умывальником и бельем, а за ним и сам Антон Адамович, неся в руках свое серенькое пальто и прочие принадлежности туалета.

— А сапоги найдете здесь, в этой комнате, — сказал он, указывая на боковую дверь. — А когда все кончите, приходите чай пить. Мы вас ждем! — прибавил он, уходя из хаты.

Преобразившись, я пошел в дом. На крыльце встретила меня Наташа и, схватя за руку, закричала:

— Мамо! мамо! посмотрите, я его и не узнала!

И с этими словами ввела меня в комнату и, сажая меня на стул около стола, прибавила:

— Садитесь вот здесь, как раз против меня и против мамы. Мы на вас будем смотреть: ведь мы вас давно не видали!

Я осмотрелся кругом и сел. С минуту длилось молчание. Марьяна Акимовна, молча глядя на меня, заплакала и проговорила:

— Теперь нас только трое, а помните, было пятеро.

И, наливая чай, рассказала знакомую уже мне историю с прибавлением, что m-лле Адольфине чрезвычайно не хотелось расставаться с ними и что они ее насилу уговорили перейти к г. Арновскому, что она там будет необходима для Лизы, потому что Лиза такая бойкая. «Что Наташа против Лизы? Это просто ангел у меня, а не дитя», — прибавила она, целуя Наташу.

Марьяна Акимовна начала было спрашивать меня о моих похождениях, но Антон Адамович перебил ее, говоря, что для этого будет завтрашний день, а что сегодня нужно спросить у гостя, не хочет ли он есть и спать.

После ужина пошел я в хату, где уже для меня была приготовлена постель. «Боже мой! — подумал я, — за что эти добрые люди так полюбили меня? Встречал ли отец с матерью с такой любовью своего сына после долгой разлуки, как они меня встретили? Доб-

рые, благородные люди!»

На другой день поутру Антон Адамович съездил в Дигтяри и исходатайствовал мне позволение у управляющего остаться на ферме по случаю болезни.

Весь август месяц я прожил в кругу этих добрых людей, совершенно как сын у отца и матери, и совершенно забыл о моем грустном пребывании в Петербурге и моем горьком странствовании, несмотря на то, что я каждый день повторял свои рассказы.

В раю праведники едва ли так блаженствуют, как я теперь блаженствую.

Наташа от меня совершенно не отстаёт, просит меня, чтобы я ее учил на фортепиано, хотя сама она не хуже играет. Просит меня учить ее по-французски говорить, а сама меня поправляет. А когда я по вечерам рассказываю о моих приключениях на этапах, она плачет пуще самой Марьяны Акимовны. Просто она меня чарует своей привязанностью ко мне.

В четвертый раз принимаюсь я за письмо это и не знаю, удастся ли мне хоть теперь кончить. Просто свободной минуты не имею.

Представьте, что мы сидим иногда напролет ночи в уютной хатке Марьяны Акимовны, она за фортепиано, а я со скрипкою.

Виолончель я думаю совсем оставить. Да и у кого хватит духу играть на ней, слышавши Серве?

Конец моему блаженству близится: на днях я оставляю ферму и являюсь к моему новому властителю. Не предчувствую ничего для себя доброго впереди, а впрочем, все в руках божиих.

Я это письмо так долго писал, что, наконец, привык к нему, и мне грустно стало, когда я его кончил. Я мысленно никогда не расставался с вами, но в это время я с вами просто жил и открывал вам все мои мысли и чувства, и теперь, как подумаю о предстоящей мне жизни, — а в ней предвижу я много для себя грустного, и грустное это некому будет передавать, — то мне. теперь уже тяжело.

Напишите мне хоть три слова, напишите только, что вы получили мое письмо, и я буду счастлив.

Прощайте, незабвенный друг мой, не забывайте преданного вам и бесталанного музы-

канта N.

Ферма

18... года

Августа... дня».

По прочтении письма я думал было заснуть хоть немного с дороги, но не тут-то было. Передо мною стоял, как живой, мой бедный музыкант со своею виолончелью и, глядя на меня, грустно улыбался, и так грустно, что я хотел было достать огня и прочесть снова его печальное послание, только смотрю — в окнах уже белеет. Я накинул на себя шинель и вышел на крылечко. Не прошло пяти минут, как подходит ко мне Иван Максимович и, после обоюдных приветствий, жалуется мне, что ему тоже всю ночь не спалось и что он давно уже ходит и посматривает, не выйду ли я.

— Мне, не знаю почему, казалось, — говорил он, — что и вам тоже не спится. Я хотя и не читал письма Тараса Федоровича, но знал, что оно невеселое, не правда ли?

— Правда! — отвечал я, — даже очень невеселое. — И оно, конечно, вам заснуть не дало?

— Действительно так.

— Я так и думал. Но это все ничего, а вы послушайте, что после с ним было!.. А, впрочем, я вам лучше прочитаю. Я, знаете, на старости туда же пустился, в литературу. Да что, думаю, ведь не святые же горшки лепят. Предмет же и сам по себе интересный, а если его обработать, так это выйдет просто роман. Вот я и принялся... А сестрица, я думаю, давно уже нас с самоваром дожидает... Ей, бедной, тоже что-то не спалось в эту ночь. Впрочем, это с нею часто случается. Пойдем-ка, это будет лучше литературы.

И действительно, старушка нас дожидала с чаем, только не в комнатах, а в садике, в летнем кабинете братца. Садик заключал в себе несколько тощих фруктовых деревьев и дощатый чулан, приткнутый к соседнему забору. Это-то и был летний кабинет Ивана Максимовича.

Несмотря, однакож, на нищету этого садика, в нем было так все уютно, так спокойно, что я невольно позавидовал бедному Ивану Максимовичу.

Напившись чаю под кустом цветущей бу-

зины, Иван Максимович повел меня в свой кабинет, усадил на дощатом обнаженном диване и, вынимая из столика бумаги, сказал:

— Теперь мы в тиши уединения займемся литературою. Вот эти бумаги, — сказал он, откладывая в сторону несколько листов, мелко исписанных, — эти бумаги принадлежат вам. Помните, вы просили меня когда-то собирать для вас все, касающееся истории, философии и поэзии нашего народа. Тут всего есть понемногу. Исторические сведения, касающиеся собственно города Прилук, сообщил мне покойник отец Илия Бодянский, а прочее я записывал где попало. А вот это уже чистая литература, — говорил он, разбирая другие бумаги.

— Я описываю все случившееся с нашим музыкантом, со дня его выезда в Петербург, со слов его же самого, только украшаю иногда слог на манер Марлинского (божественный писатель!). Даже и название даю моему рассказу вроде незабвенного Марлинского, то есть «Музыкант или две сиротки». Помните Лизу и Наташу? Они у меня тоже играют немалую роль. Так с чего же нам начать? Он

вам, верно, в письме своем списал все, хотя вкратце, по день прибытия своего на родину.

— Действительно, все, — сказал я, — кроме обратного своего путешествия из столицы.

— То есть следования по этапам. Я так и думал, потому что и мне немало стоило труда выпросить у него некоторые подробности этого, можно сказать, живописного путешествия.

И Иван Максимович улыбнулся своей остроте.

— Так я начну вам именно с путешествия.

«Уже вечерний солнца луч златил величественное и широкое ложе реки Луги (так начал читать Иван Максимович), и когда мы перешли бесконечно длинный и разными вавилонами на сваях воздвигнутый мост через едва выглядывавшую из камышей реку Лугу, то лучезарный Феб уже скрылся за горизонтом в объятиях Фетиды. Но так как в полярных странах летние ночи бывают довольно ясны, то мы засветло еще вступили в город Лугу. Нас, разумеется, препроводили в острог...»

— Но тут, знаете, картина не авантажная, — говорит Иван Максимович, — и по-

тому-то я ее не описываю. По-моему, чисто-изящного произведения не должны касаться картины грязные, хоть это теперь, к несчастью, вошло в моду. Но я все-таки люблю придерживаться классического стиля. Да и где нам, старикам, переделывать себя.

Вот они (я вам буду простые происшествия рассказывать, а что коснется поэзии, то уже прочитаю)... Так вот они на другой день у этапного командира испросили позволение, потому что у них была дневка и к тому же день праздничный... Так вот они и испросили позволение (разумеется, предложивши ему часть заработка) пройтись по улицам с инструментами и дать несколько концертов.

Предприятие (несмотря на то, что город Луга, можно сказать, нарочито невеликий), предприятие их увенчалось полным успехом, так что, несмотря на значительную часть приобретения, отделенную ими командиру этапа, у них хватило пропитания до самого Порхова. Близ Порхова я описываю (по его же рассказу) длинную, тонкую возвышенность вроде циклопического вала, по которому тянется почтовая дорога почти до Порхова; по-

том самый Порхов и величественную Шелонь, на левом берегу которой высятся древние развалины замка.

На счастье их, в Порхов они пришли как раз на духов день. Пошли по улицам на другой же день с музыкою, как и в Луге это сделали. Но только Порхов не Луга: тут их забросали гривенниками. Один приказчик какого-то мыловаренного завода Жукова (знаменитого табачного фабриканта) разом выкинул три целковых. Им так повезло в Порхове, так, что они уже нанимали на каждом этапе лошадку с телегою для своих инструментов до самых Великих Лук, а из Великих Лук у них уже своя была лошадка, правда, немудрая, но все-таки своя.

Так-как они приближались к стране постоянно голодной, то есть Белоруссии, то, кроме инструментов, от города до города [лошадка] везла за ними и порядочный запас печеного хлеба.

Трогательные картины случалось ему видеть в сей убогой стране. Знаете, голод, нищета, разврат и гнусные спутники разврата. Все это я описываю в назидательном тоне.

Так, например, когда они проходили чуть ли не Усвяты, то, вместо того чтобы арестантам подать милостыню, толпа мальчишек с толстыми коленями бросилась к арестантам и стала просить хлеба, а когда увидели, что им давали хлеб наши артисты, за мальчишками бросились и взрослые и старики. Голод не знает стыда.

Пройдя страну сетования и плача, они вступили, наконец, в благословенные пределы нашей милой Малороссии и, наконец, в нашу скромную Прилуку. Тот же вечер пили мы чай с нашим милым, дорогим музыкантом и дружески беседовали в этой самой беседке.

— Теперь вот что я вам скажу. Вы извините меня: я человек, знаете, обязанный службою.

— Сделайте милость, распорядитесь, как вам угодно, — сказал я ему.

— Я вот что сделаю, — говорил он. — Я схожу не надолго в училище, а вы читайте мою рукопись. Тут вы встретите несколько подлинных писем Тараса Федоровича, в которых он изображает большею частию состояние ду-

ши своей и прочие домашние обстоятельства. И еще знаете что: я забегу на станцию и скажу, чтобы принесли и ваши вещи сюда, и мы с вами так и прокочем до воскресенья, а в воскресенье и на ферму вместе. Bene? — прибавил он, сжимая мою руку.

— Benissimo! — отвечал я, и мы расстались. Рукопись, правду сказать, пугала меня, зато письма, в ней помещенные, меня чрезвычайно интересовали, а потому я и принялся за нее.

Письма были вклеены в рукопись, а потому-то мне их нетрудно было и отыскать.

И первое из них такого содержания:

«Я обещался вам, мой незабвенный Иван Максимович, извещать вас по временам как о себе самом, так и о предметах, меня окружающих. И вот уже скоро наступит третий год, как я пресмыкаюсь у ног моего нового властителя, и только теперь вспомнил я данное вам обещание. Мое горе такого рода, что само себя питает и не любит утешения. Простите меня, добрый Иван Максимович, за такое выражение, но что делать? — истина. Теперь мне

лучше, и так лучше, что я могу беседовать с вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? То-то бы наговорились! Приезжайте-ка, да и супругу вашу привозите, У нас 23 апреля праздник. Ведь вы прежде так любили увеселения. Я этой любви обязан и знакомством моим с антикварием, помните? Где-то он теперь, бедный! Напишите мне, если получите о нем какое известие.

Вчера я возвратился с фермы. Я там гостил три дня. Впрочем, я там никогда меньше трех дней не гощу. Вот мое одно-единственное счастье. И правда, великое счастье! От сотворения мира, я думаю, ни одному страдальцу [не удавалось] так заживлять свои сердечные раны, как я их заживляю в кругу этих благородных людей. А Наташа, вообразите себе, так меня полюбила, что, когда я уезжаю, она, бедная, навзрыд плачет. И что это за девочка, что это за чудное создание! И в этих летах (ей четырнадцатый год) сколько глубокого чувства и недетского ума! Она полюбила музыку, и так полюбила, что дни целые проводит за фортепиано. И, представьте, она до сих пор не знает, что она сирота. Правда, при Марьяне

Акимовне трудно ей это узнать, потому что она для нее больше, нежели мать родная. Зато и Наташа вполне ее вознаграждает своею детскою безотчетною любовью. А Антон Адамович просто не знает, где и посадить свою Наташу. Представьте, он для нее целый день не выходит из своей лаборатории, чтобы вечером потешить Наташу какою-нибудь замысловатою игрушкой. Я вам рассказываю то, что вы сами недавно видели. Мне говорили, что вы недавно с супругою вашею гостили у них. Как жаль, что я не знал, а то бы непременно отпросился.

Странная, однакож, психологическая задача. Например, Лиза две капли воды похожа на Наташу, и я ее каждый день вижу, а не могу любоваться ею, как Наташею люблюсь. Она, мне кажется, слишком бойкая, более похожа на мальчика, ни к кому не привязывается, неохотно учится и музыки не любит.

Что бы это значило? Детство их было совершенно одинаково, а теперь такая разница.

М-лле Адольфине, как вам известно, в тот же год отказал г. Арновский. И знаете за что? Гнусный сластолюбец! Он не мог обольстить

ее и выгнал из дому, назвавши при всех распутною девкою.

Бог ее знает, где она теперь. Доброе, непорочное создание! Вы знаете, что я ей обязан французским языком, и теперь только узнал я ему настоящую цену. Библиотека у нас состоит почти вся из французских книг, хоть, правду сказать, более из романов, но все-таки лучше, нежели ничего.

Да, m-лле Адольфина была необходима для Лизы. Бедное дитя! Чему она выучится, что усвоит себе хорошее от своей воспитательницы, безграмотной, старой, подлой девки! Это почтеннейшая сестрица г. Арновского. Она отделила ее от общества пансионеров и перевела к себе, и все это, я подозреваю, по приказанию братца. Гнусные люди! Лиза чрезвычайно быстро вырастает. Г. Арновский пишет, чтобы его нынешний год не ждали из-за границы. Он ведь еще в прошлом году уехал принимать ванны от какой-то застарелой болезни.

А знаете что? Приезжайте-ка 26 августа на ферму. Вы знаете, в этот день Наташа именинница. Уверяю вас, будет весело. Приез-

жайте, я хоть посмотрю на вас.

К этому дню я готовлю несколько кварталетов, то есть я с товарищами моего странствования. Только, чур, не проболтайтесь, если раньше нашего приедете. Я хочу сделать это в виде сюрприза.

Антон Адамович готовит для нее же иллюминацию и щит с ее вензелем. Щит будет поставлен между кустов, а за щитом поместится наш квартет. Не правда ли, хорошо придумано? Еще я приготовил для Наташи сюрприз, не знаю только, понравится ли ей. За ноты я не боюсь: я ноты просто печатаю, а фронтиспис меня беспокоит. Я, видите ли, как умел, переписал на веленовой бумаге «Серенаду» Шуберта^{161} и украсил заглавный лист собственным изделием, скопировал, правда, с какого-то ничтожного романса, ну, да это ничего.

Приезжайте 26 августа, бога ради, приезжайте! Только непременно вместе с супругою».

Едва кончил я первое [письмо], как вошел ко мне Иван Максимович запыхавшись:

— Фу, как устал! Почти бежал всю дорогу. Боюсь, не соскучились ли вы? А, да вы читаете, прочитываете. Что, каково, а? По-стариковски, не правда ли? Слог! слог главное, а прочее само собой придет, не так ли?

— У вас слог прекрасный!

— Устарел маленько, что же делать, мы и сами устарели, не так ли?

Я в знак согласия кивнул головою, а он, взглянув на рукопись, сказал:

— А, так вы на письме остановились? Продолжайте, продолжайте!

— Я уже кончил письмо.

— Кончили? — И, немного помолчав, он проговорил: — Да, оно кончается приглашением меня на именины Наташи, с моей незабвенною... — и он замолчал и отвернулся.

— Музыка... иллюминация... Наташа! — приходя в себя, говорил он с расстановкою. — Да, прекрасно, торжественно прекрасно было. Нет, мы лучше прочтем; этот праздник у меня торжественным стилем описан.

— Братец! пожалуйста обедать! — раздался голос сестрицы.

— И в самом деле, лучше пойдёмте пообе-

даем, а потом уже придем и прочитаем.

И мы пошли обедать.

Не знаю, дело ли то было аппетита, или дело простосердечного радушия, или просто борщ с сушеными карасями (который так гениально варят мои землячки) — не знаю, что именно было причиной, знаю только, что я преплотно пообедал и еще плотнее заснул после обеда.

Вещи мои были принесены с почтовой станции, и я поселился до воскресенья в беседке гостеприимного Ивана Максимовича и во время его отсутствия прочитывал простосердечные письма моего непорочного музыканта.

Второе письмо, предлагаемое здесь, было писано спустя два с лишним года после первого.

«Милостивый государь Иван Максимович!

В последнем письме своем вы повторяете свою прежнюю просьбу, чтобы я записывал из уст нашего народа, как вы пишете, все, что касается его философии, поэзии и истории. Благодарю вас, что вы напоминаете мне об

этом. Это значит, что ваше горе вполовину уменьшилось, что вы, наконец, вспомнили и нашего антиквария и, наконец, меня, вашего искреннего друга. Антиквария нашего и я помню хорошо, только бог его знает, где он теперь находится, а я для него, или, все равно, для вас, записал на днях дивную песню.

Иду я однажды по самой большой улице в селе и, правду сказать, иду к корчме, чтобы посидеть с добрыми людьми на завалинке, — не услышу ли чего-нибудь поучительного. Только иду и вижу, по самой середине улицы идет пьяная баба и, как видно, не убогая. Идет и во все горло поет, поглядывая на высунувшиеся на улицу хаты:

*Упилася я,
Не за ваші я:
В мене курка неслася—
Я за яйця впилася!*

Это ли не философия? Это ли не поэзия?

Мне хотелось сделать вариации на эту тему, но, увы! Музыка не в силах выразить этого великого сарказма.

Вы теперь, как видно из вашего письма, немного успокоились после вашей невозна-

градимой потери. «Бьйте лыхом об землю, як швець мокрою халявою о лаву» та приезжайте в воскресенье на ферму. А я приеду туда с виолончелью и буду играть для вас целый день и все ваши и мои любимые малороссийские песни.

Я вам, кажется, не писал еще о виолончели? Чудный! дивный инструмент! И я не знаю, где он мог его достать за такую ничтожную цену.

В прошлом году наш поправившийся г. Арновский возвратился из-за границы и, между многими диковинными игрушками, привез и виолончель. Боже мой, что это за игрушка! Только одна душа человека может так плакать и радоваться, как поет и плачет этот дивный инструмент.

Мастер, создавший его, не кто иной был, как сам Прометей. Я спать ложусь и кладу его около себя. Это моя любовница, моя жизнь, мое «я». И если б я был два раза раб, то за этот инструмент продал бы себя в третий раз. О, я теперь совершенно забыл Серве.

А если бы видели, что делается с Наташей, когда я заиграю на этом божественном ин-

струменте! она цепенеет — и больше ничего.

А Марьяна Акимовна уверяет меня, что я на скрипке лучше играю, нежели на виолончели. Но это она говорит только так, она сама не может равнодушно слушать виолончель.

Разносился я, однакож, со своею виолончелью, как дурень с писаною торбою, а о главном-то чуть было и не забыл.

Предчувствия мои сбылись. Едва оживший г. Арновский ухаживает уже за Лизою собственной персоною. Как видно, усердие милой сестрицы не имело успеха.

А Лиза и знать ничего не хочет. Бегает по залам, бьет горшки с цветами, ломает стулья, совершенный ребенок. А этому ребенку, заметьте, 17 годов. Меня одно только утешает: если я не ошибаюсь, что если и успеет г. Арновский, то этот успех обойдется ему не так-то дешево.

Мне, по крайней мере, не случилось еще встречать так сильно развитой природы в Лизанькины лета. Это совершенная женщина!

Сестрица г. Арновского в тупик становится перед ее выходками.

Что если бы хоть какое-нибудь образова-

ние этой девушке? Это была бы совершенная Семирамида или Клеопатра.

Месяца два тому назад однажды сидят они все трое за обедом молча и только поглядывают друг на друга исподлобья. Кушанья подавали только для формы, никто к ним и не прикоснулся. А я от нечего делать (стоя за стулом Лизы) стал всматриваться в лицо г. Арновского. Руина, совершенная руина! Он не старик еще, но опередил даже дряхлых стариков. Повисшие, едва сжимающиеся губы, полураскрытые бесцветные глаза, желто-зеленый цвет лица и, вдобавок, серые, жиденькие волосы и глухота делают его чем-то отвратительным, чем-то на полипа похожим.

Обед кончился. Лиза, выходя из-за стола, заплакала и, обращаясь к г. Арновскому, сказала:

— Прикажите заложить лошадь, или я пешком уйду к Антону Адамовичу.

«Быть беде», — подумал я и не ошибся. Через несколько дней дворня шепотом заговорила о женитьбе барина на Лизавете Павловне, а еще через несколько дней явились уже и подробности, сопровождающие всякую буду-

щую свадьбу. Из Прилуки, между тем, приехал стряпчий г. Арновского И. П. Ярмола, пробыл у нас двое суток и уехал так, что его почти никто и не видал.

Это тоже что-нибудь да значит!

Не прошло и месяца после этого происшествия, как сестрица г. Арноаского засуетилась, забегала, всю дворню подняла на ноги и своим благородным воспитанницам приказала приготовить самую лучшую пьесу к свадьбе.

«К свадьбе, — подумал я. Стало быть, между Лизой и г. Арновским это вещь возможная. Странно!» — Я на другой же день съездил на ферму, рассказал все виденное и слышанное. Антон Адамович сказал: «Хорошо», а Марьяна Акимовна только головой кивнула.

Свадьба совершилась тихо: ждали гостей много, но собрались только ближайшие соседи. Театра тоже не было. Хотели было дать концерт, да тоже до завтра отложили.

Завтра прошло тоже без особых приключений, а послезавтра управляющий получил приказание от г. Арновской приготовить экипажи, людей и лошадей для поездки в Киев.

Все это происшествие вам покажется невероятным, фантастическим, как и самому мне оно показалось. Но вспомните, что Лиза выросла под непосредственным смотрением распутной старой девки. Вспомните это, и неестественное замужество Лизы делается самым натуральным. Грустно только смотреть на это милое создание, так бесчеловечно нравственно изуродованное. В ней и тени не видно той ангельской прелести, какая так свойственна ее возрасту. Воспитательница, однакож, ошиблась в своих расчетах. Цель ее была развратить Лизу до такой степени, чтобы она была способной выйти замуж за ее отвратительного братца. В этом она успела. Но главное — ей надоел братец своим самовластием, и ей нужно было сокрушить эту власть. Она и сокрушила, то есть она сделала Лизу полной, независимой помещицей всего имения, прежде принадлежавшего г. Арновскому. Для того и приезжал стряпчий из Прилуки. Дело в том, что когда Лиза сделалась помещицей, то, вместо половинной власти и состояния, предложила своей наставнице место ключницы у себя в доме.

Рассчитавшись так со своей милою наставницею, она вручила полную власть своему управляющему над домом и всем имением, взяла своего дряхлого мужа и отправилась в Киев, якобы пользоваться тамошними минеральными водами.

В доме оставалось все попрежнему. Хозяйка обещалась зиму провести в имении, а до зимы, следовательно, мне в доме было нечего делать, и я, пользуясь сим добрым случаем, отпросился у управляющего месяца на два в Дигтяри, то есть на ферму.

И вот уже третий день я разыгрываю моцартовские сонаты в хатке Марьяны Акимовны на моей милой виолончели.

Как тепло, как хорошо мне в кругу этих милых моих друзей. Наташа день ото дня становится все краше и милее. И что за умница, что за скромница, просто прелесть! Она, знаете, со мною хочет этикетничать, держать себя, как прилично взрослой девице, но никак не может: важничает, важничает да вдруг схватит с меня шляпу, побежит и спрячется в кустах. Я ищу ее, а она перебегает из куста в куст, пока устанет. А потом пойдет жаловать-

ся Марьяне Акимовне, что я ей покою не даю, что она на мой соломенный бриль без смеху смотреть не может. Милое, прекрасное создание! Глядя на нее, иногда я себя чувствую выше человека, таким безгранично счастливым существом, каким человек никогда быть не может.

С некоторого времени, я замечаю, она начинает задумываться и почти плачет, когда я играю ее любимую серенаду Шуберта.

Марьяна Акимовна предлагает Антону Адамовичу поехать с Наташею на зиму в Киев. Но Антон Адамович упорно молчит и только головою потряхивает. Раз было сказала Марьяна Акимовна:

— Ну, коли не в Киев, так хоть в Кочановку к Лизе.

Но он на нее так посмотрел, что с тех пор о Лизе и помину не было.

Я совершенно понимаю и оправдываю мысль Марьяны Акимовны, но никак не могу равнодушно вообразить себе Наташу в кругу незнакомых ей людей. Мне делается страшно за нее. Она такая живая, впечатлительная, и ей уже семнадцать лет. Ей предстоят большие

опасности впереди.

Вот еще что меня немало удивило. Когда я рассказал с подробностями про свадьбу Лизы, Наташа равнодушно дослушала мой рассказ, проговорила: «Несчастливая она», и залилася слезами.

Неужели она, в эти лета, так глубоко успела заглянуть и уразуметь, в чем состоит истинное наше счастье?

Я завтра поеду в Кочановку за партитурой Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь»^{162}. Наташа еще не слыхала ее.

Я положу для нее эту чудную симфонию для фортепиано и баса.

Приезжайте когда-нибудь в праздник, и вы послушаете. А между тем напишите о себе хоть пару слов с нашим посланным, напишите хоть только то, что вы получили мое послание.

Преданный вам ваш *Музыкант*».

На оставшемся от письма чистом полулисточке бумаги вроде примечания было написано рукою Ивана Максимовича так:

«29 июня, в день Петра и Павла, ездил я в

гости на ферму и гостил два дня с великим удовольствием. Виолончель с фортепиано — это такая божественная гармония, что вечно бы слушал ее и не наслушался, особенно когда они вдвоем исполняют эту волшебную серенаду. Я, впрочем, думаю, и не без основания, что, кроме гармонии звуков, между ними существует высочайшая гармония самых нежных чувств.

Мне даже об этом сама Марьяна Акимовна косвенно намекнула, когда они играли серенаду. Она обратилась ко мне и, взором показывая на музыкантов, шепнула:

— Не правда ли, парочка? Как вы думаете?

Я, разумеется, в знак согласия кивнул головою.

Другой раз, когда мы гуляли по саду и они вдвоем шли впереди нас и о чем-то тихо разговаривали, Антон Адамович, глядя на них, проговорил, как бы сам с собою:

— Во что бы то ни стало, а я ему добуду свободу.

«Благородное чувство! — подумал я. — Это значит стать выше предрассудков века. Давно пора бы всем так думать и чувствовать. Но,

увы! гордыня обуяла нас. А как бы они счастливы были! Я всякий бы день ездил на ферму любоваться на их счастье. Я тут не вижу ничего невозможного. Все будет зависеть от Антона Адамовича, а сомневаться в искренности и чистосердечии этого благородного человека — значит не верить в бога. Подождем — увидим!»

В следующем за письмом повествовании собственного изделия Ивана Максимовича продолжают рассуждения в этом же роде, то есть в роде филантропическом, только уже слогом возвышенным, обработанным, таким слогом, что я с трудом прочитал полстраницы. Настоящий Марлинский! Мир памяти его!

Перевернувши несколько листов красноречивой рукописи, я открыл еще одно письмо музыканта, писанное год спустя после предыдущего.

Письмо начинается так:

«Незабвенный Иван Максимович!

Я так счастлив, так бесконечно счастлив,

что едва могу писать вам, а писать необходимо, потому что счастье задушит меня, если я не выскажусь. Но с чего же вам начать? Дайте прийти в себя. Да, начну с того, что прошедшей осенью возвратился из Киева г. Арновский, совершенно больной и без жены. Елизавета Павловна бросила его в Киеве на попечение сестрицы, а сама уехала с каким-то гусаром на маневры в Вознесенск, да и не возвращалась. А уже из-за границы, кажется из Вены, написала управляющему письмо, чтобы он всю дворню и музыкантов распустил на оброк, кто пожелает, а остальных обратил бы в хлебопашцев; благородным воспитанницам выдал бы по тысяче рублей и тоже распустил бы, а дворовых девушек повывадал бы замуж с приданным по сту рублей, хоть за солдат; г. Арновскому и сестре его выдавал бы по сту рублей в месяц, и больше ничего.

Жалко и отвратительно было смотреть на этого изувеченного сластолюбца, когда он смотрел на сборы в дорогу своих воспитанниц и не мог остановить этих сборов. Ему не хотелось расставаться со своими жертвами, и он плакал в бессилии. Он пошел было к ним

во флигель проститься с ними, но они перед ним двери заперли. Достойная благодарность развратителю!

Елизавета Павловна, может быть и бессознательно, но вполне справедливо и достойно наказала своего развратителя. Я в душе ей благодарен. За одну бедную Тарасевич его следовало бы сделать каторжником. Если совесть его проснется когда-нибудь, то она забичует его лучше всякого палача. Только мне не верится в присутствие совести в развращенном сердце.

Оркестр наш почти весь пущен на оброк и отправился в Киев. Выбрали было меня капельмейстером, но я решительно отказался и выпросил себе у управляющего место лесничего в Дигтярях. Эта должность как раз пришлась по мне: брожу себе целый день по лесу, как будто дело делаю, а к вечеру отправляюсь на ферму. Виолончель осталась со мною. Слушатели мои — самые искренние слушатели, и я просто блаженствую. Если бы ко всему этому прежняя резвость и беззаботность Наташи, я был бы совершенно счастлив. А то она, бедная, такая грустная ходит, что я пла-

чу, на нее глядя.

Марьяна Акимовна тоже будто бы переменилась, тоже чего-то по временам задумывается и скучает. Один только Антон Адамович попрежнему молчит и добродушно улыбается. В отношении же меня они все ласковы попрежнему, только что-то как будто бы скрывают.

Меня это мучит, и я по целым дням иногда хожу по лесу и плачу, сам не знаю отчего.

Несколько дней тому назад Антон Адамович ездил к нашему управляющему и возвратился чрезвычайно весел, так весел, что заставил меня с Наташею играть *Горлицу*, а сам чуть было танцевать не пустился.

А, между прочим, все-таки ни слова никому не говорит о причине такой радости.

Через неделю после этой радости Антон Адамович, не сказав никому ни слова, уехал опять к управляющему, а к вечеру того же дня прислал записку, чтобы его не ждали вечером, что он с управляющим уехал в Полтаву.

Мы, разумеется, ахнули и минут пять не могли проговорить ни слова, только смотре-

ли друг на друга. Наконец, проговорила первая Марьяна Акимовна:

— Что же это он сделал со мною? Вот уже тридцать лет, слава богу, и мы с ним не разлучались ни на день единый, а тут взял да и уехал, и хоть бы сказал слово. Вот до чего я дожила, горькая!

И, минуточку помолчав, она тихо заплакала. Наташа тоже, и, взявшись за руки, они пошли в покои.

Я как вкопанный остался на месте и долго бы простоял еще, если бы Наташа не позвала меня в комнаты.

После долгих рассуждений и предположений, зачем и для чего так, можно сказать, воровски уехал Антон Адамович в Полтаву, я вызвался сейчас же съездить в Кочановку и узнать все положительно на месте. А чтобы им не страшно было без мужчины, я сходил на мельницу и пригласил старого *мирошника* на ферму, в виде сторожа и собеседника. (Наташа чрезвычайно любила слушать его старые сказки и прибаутки.)

На рассвете я возвратился на ферму из Кочановки, не узнавши ничего. Конторские пи-

саря, пользуясь отсутствием управляющего, перепились пьяны и на вопрос мой отвечали: «Уехали в Полтаву», — и больше ничего.

Наташа заснула, а Марьяна Акимовна ждала моего возвращения у ворот сада и, завидя меня, подбежала ко мне с вопросом: «Что?» Я, хоть и горько мне было, сказал ей, что в Кочановке никто ничего не знает.

— Идите же в его хату да отдохните с дороги, — сказала она мне и, закрыв лицо руками, тихо пошла к дому.

«Бедная женщина! — подумал я, глядя ей вслед. — Неужели так тесно сдружилась ты с ним, что не можешь один день прожить без него? Счастливая, завидная твоя доля, и многие, многие жены тебе вправе позавидовать. А тебе, еще больше счастливый, благородный старче, должны завидовать мужья-горемыки!»

Прошел день, другой, наконец и третий, а об Антоне Адамовиче ни слуху ни духу. На ферме все так притихло и приуныло, что я боялся и подумать о музыке.

Марьяна Акимовна все дни ходила взад и вперед по одной дорожке и только молча

вздыхала, а Наташа ей вторила.

Казалось, что мы уже навеки расстались с нашим Антоном Адамовичем. В продолжение дня Марьяна Акимовна заходила в его хату, чего прежде никогда не делала, обмахивала платком пыль с электрической машины и с других вещей, садилась на кушетку и плакала, словом, она походила на самую нежную любовницу.

В продолжение этих дней я только и слышал от нее, — и то она говорила как бы сама с собой:

— Ну, слыхано ли на свете такое горе? Уехать в такую даль и не сказать жене ни слова! О, я несчастная!

Дни проходили медленно, а вечера еще медленнее. А 26 августа быстро близилось. Я думал было прежде о сюрпризах для дня ангела Наташи, но после этого случая я так растерялся, что совершенно обо всем забыл.

Я ездил еще раз в Кочановку и хотел было проехать в Прилуку к поверенному Елизаветы Павловны, но мне сказали в Кочановке, что и он уехал вместе с ними.

Вот уже и 25 августа, а на ферме будто бы

ничего не бывало: ни малейшего движения, о предстоящем празднике и помину нет.

Я вспомнил про месячную розу в Дигтярях в оранжерее, которую я давно выпросил у садовника для дня ангела Наташи, и, не сказав никому ни слова, отправился пешком в Дигтяри. Возвратился я с цветком на ферму уже вечером, и вообразите мою радость: Антон Адамович сидел за столом между Марьяной Акимовной и Наташей и, по обыкновению улыбаясь, пил чай.

— А, и вы пришли! — сказал он, увидевши меня. — Садитесь-ка, я вам расскажу, что я видел в Полтаве.

Я сел, и несколько минут прошло в молчании.

— Ну, рассказывай же, — проговорила Марьяна Акимовна, — беспутный, что ты там видел в твоей скверной Полтаве?

— А что я там видел? Грязь и больше ничего!

— А что же ты там делал столько времени?

— Тоже ничего!

— Зачем же ты ездил туда, ветрогон ты старый?

— Так, прогуляться.

— Так, прогуляться? Слышите, люди добрые: так, прогуляться! Ах ты, седая, старая голова! И это тебе не совестно так мучить меня на старости лет?

И Марьяна Акимовна поцеловала его так нежно, так просто, сердечно, как самая нежная мать целует покорное дитя свое.

Вечер прошел тихо и весело.

На другой день проснулись все рано, а Антон Адамович раньше всех и, разбудивши меня, сказал:

— А что, ты приготовил что-нибудь для именинницы?

— Приготовил, — проговорил я.

— Ну, так вставай же, одевайся и пойдем поздравим, — она уже бежит по саду.

Я наскоро умылся, оделся и, взявши свою розу, пошел к дому вслед за Антоном Адамовичем. Наташа, увидя нас, побежала в комнаты.

Мы вошли вслед за нею, а она уже сидела за чайным столом, как ни в чем не бывало, около Марьяны Акимовны и просила сухарика к чаю.

Я поздравил ее, преподнес ей свой скромный подарок. Антон Адамович поздравил тоже и, вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумагу и подавая Наташе, сказал ей:

— Вот тебе гостинец из Полтавы.

Сказавши это, он, улыбаясь, сел около нее. Наташа долго молча читала бумагу и, не дочитавши, выпустила ее из рук и со слезами бросилась обнимать и целовать Антона Адамовича, а мы с Марьяной Акимовной с изумлением посматривали друг на друга.

Наконец, я поднял бумагу, посмотрел на нее и... то была моя отпускная!

Все, что ни сказал бы я вам про свои ощущения в эту великую минуту, все бы это и те ни не было похоже на то, что я чувствовал.

— Виолончель тоже наша, — проговорил, улыбаясь, Антон Адамович.

Я упал перед ним на колени и целовал его руки, обливая их слезами.

— Ну, Наташа, теперь за тобою очередь, продолжай, — сказал Антон Адамович, обращаясь к Наташе. — Возьми эту бумагу и отдай нашему другу и скажи: «Вот, мол, тебе мое приданое». А мы с Марьяною скажем: «Боже

вас благослови!»

Все четверо мы бросились друг к другу и залились слезами.

И вот уже более недели, как мне мое счастье спать не дает. И знаете, кто все это сделал? — Наташа! моя милая, моя бесценная Наташа! Она предпочла меня и знатным и богатым, меня, крепостного музыканта, и, открывшись во всем своим благородным благодетелям, просила их делать с нею, что найдут лучшим. А добрый, молчаливый Антон Адамович, не долго рассуждая и не говоря никому ни слова, решил по-своему, одним разом. Он заплатил за мою свободу с виолончелью 2 500 рублей. Если бы г. Арновский был моим владыкою, этого бы никогда не случилось.

Спасибо тебе, Елизавета Павловна! Тебе и во сне не снится, что ты, хотя совершенно невинная, причина моего настоящего блаженства.

Теперь Антон Адамович хлопочет об определении меня в канцелярию дворянского предводителя. Уж это я и сам не знаю, для чего, а когда это сбудется, тогда мы с вами будем видеться по крайней мере раза три в неделю.

А пока приезжайте в воскресенье на ферму и полюбуйте на совершенно счастливых людей.

Преданный вам Музыкант N».

Дочитавши это самым счастьем написанное письмо, я впал в какую-то болезненную задумчивость. Боже мой, неужели это была зависть? Нет, я не завидовал никому на свете. Это было горькое, невыразимо горькое чувство одиночества... Я чуть не заплакал от внутренней боли. В то время, как я собирался плакать, вошел ко мне Иван Максимович и спросил:

— Ну что, далеко уже прочитали мое немудрое повествование?

— Все прочитал, — ответил я.

— И описание свадебного пира?

— Нет, не читал.

— Так прочитайте, непременно прочитайте, потому что я, можно сказать, больше всего рассчитываю на эффект этого великолепного изображения.

— А скажите, Иван Максимович, старики еще живы?

— Здоровехоньки, а о счастье и говорить нечего. А если б видели, что за внучку им бог послал! Совершенный ангел божий!

Я снова задумался.

— А знаете что, Иван Максимович? — спросил я его через минуту.

— А что?

— Отпустите меня завтра одного на ферму, а сами в воскресенье приезжайте.

— Ни за что, а коли уж вам так загорелось, то и я завтра могу с вами ехать. Да что это вам так вдруг?..

— У меня уж характер такой: я ужасно люблю смотреть на счастливых людей, и, по моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека.

— Это совершенная правда.

На другой день мы были на ферме, и я видел и был совершенно счастлив счастьем этих простодушно благородных людей! Видел и свидетельствую истину сего неложного сказания. Аминь.

28 ноября [1854] — 15 января 1855

Несчастный^{163}

Крепость Орск местные киргизы называют Яман-Кала^{164}, и это название чрезвычайно верно определяет физиономию местности и самой крепости. Редко можно встретить подобную бесхарактерную местность: плоско и плоско. Для киргиза^{165}, конечно, это ничего не значит, — он сроднился с этим пейзажем, но каково для человека, привыкшего в окружающей его природе видеть красоту и грацию, очутиться вдруг перед суровым, однообразным горизонтом неисходимой, бесконечной степи! Удивительно, как неприятно такой пейзаж действует на одинокую душу новичка.

Крепость Орск как нельзя более в гармонии с окружающей ее местностью. То же однообразие и плоскость. Только и отделяется немного от общего колорита крепости эта небольшая каменная церковь на горе, заметьте, на Яшмовой горе^{166}. Под горою с одной стороны лепятся грязные татарские домики, а с другой стороны, кроме таких же грязных домиков, — инженерный двор с казематами для

каторжников. Против инженерного двора длинное низенькое бревенчатое строение с квадратными небольшими окошками, — это батальонные казармы, примыкающие одним концом к деревянному сараю, называемому экзерцис-гауз⁽¹⁶⁷⁾, а другим концом выходящие на четырехугольную площадь, украшенную новою каменною церковью и обставленную дрянными деревянными домиками. «Где же самая-то крепость?» — спросите вы. Я сам два дня делал такой же самый вопрос, пока на третий день, по указанию одного старожилы, не вышел в поле, по направлению к меновому двору⁽¹⁶⁸⁾, и не увидел едва приподнятой насыпи и за ней канала. Канал и насыпь сравнительно не больше того *рва* [канавы], каким у нас добрый хозяин окапывает свое поле. Вот вам и второклассная крепость! Налюбовавшись досыта на это диво фортификации, я уже перед вечером возвращался через слободку на квартиру, и, поворота за угол одной бедной лачуги, я увидел идущую толпу солдат с балалайкою и бубном. Толпа против лачуги остановилась, из толпы образовался кружок, грянула лихая песня с бубном и при-

свистом, и из толпы послышалось:

— Ай да помещик! ай да дворянин! Орел! просто орел!

Такие восклицания меня остановили. Я уже думал было подойти к веселым ребятам и полюбопытствовать, что там такое за помещик, только в это время толпа расступилась, не прерывая песни, и впереди ее явился в разорванной рубахе статный белокурый юноша и, ловко подбоченясь, пошел вприсядку.

Меня поразила наружность этого юноши. Что-то благородное было в нем и что-то низкое, отталкивающее. Я не мог его рассмотреть подробно, мне что-то мешало на него смотреть, и, отходя прочь от толпы, я спросил у солдата, который мне показался трезвее своих товарищей.

— Кто это такой у вас так славно пляшет?

— Несчастный! — ответил мне солдат скороговоркою и поспешил за толпою.

Слово *несчастный* странно как-то было произнесено солдатом. Мне показалось, что он этим словом называет какое-то сословие, а не то, что оно собственно выражало.

После я узнал, что там и кроме солдат так

произносили это слово, а когда я освоился с ним, то я и сам его произносил точно так же.

Человек сам не замечает, как он быстро осваивается с людьми, его окружающими.

В продолжение ночи мне все мерещился белокурый молодой атлет и слышались слова: «Ай да помещик, ай да дворянин!»

На другой день пошел я разузнать, кто такой этот несчастный, и я, разумеется, не мог узнать ничего, потому что он не один, как мне после сказали, находится в Орской крепости.

Был какой-то праздник, и я от нечего делать пошел побродить по безотрадным окрестностям крепости и перед вечером, возвращаясь домой, как раз у кирпичных заводов повстречал кучку веселых ребят с бубном и балалайкой и знакомого незнакомца-плясуна и услышал те же самые возгласы. Чтобы не упустить его опять из виду, я отозвал одного солдата в сторону и потихоньку спросил, как прозывается дворянин, что пляшет. Он мне сказал его фамилию, и я на другой же день в батальонной канцелярии прочитал его грустную конфирмацию^{169}. Это был юноша, напи-

санный в рядовые по просьбе родной матери. Это происшествие меня сильно заинтересовало, но как разгадать подобную загадку? Я лучше ничего не мог придумать, как познакомиться с самим субъектом и узнать от него самого всю истину. И как же я ошибся, увы!

Это было что-то вроде идиота. Трезвый, он упорно молчал, от одной рюмки водки он пьянел и начинал проклинать мать свою, самого себя и все, что его окружает. Одна пляска для него имела еще какую-то прелесть, а больше ничего.

Я попробовал было его со стороны образования, и он мне такую чепуху загородил, что лучше было б и не пробовать. Однажды приходит он ко мне навеселе и видит у меня развернутую книгу на столе. «Что это вы почитываете?» — спрашивает он. ^{170} «Мертвые души». — «А, это сочинение Эжена Сю». — «Точно так», — ответил я.

Немного, я думаю, найдется моих читателей таких, которые бы мне поверили, что это было действительно так, а это было действительно так.

Так вот такая-то Яман-Кала: сама по себе

она неказистая, а вмещает в себе такие редкие субъекты, что не мешает их описывать самым тщательным манером.

В одной из центральных губерний нашего неисходного отечества, близ уездного городка N., вдоль большой дороги вытянулись в ряд серые бревенчатые, с закоптелыми волоковыми окнами, избы^[171], и этих серых изб я насчитал штук более двухсот. Выходит, село по величине порядочное, но на взгляд далеко не такое. И странно: кругом дремучие леса, а в селе ни одной избы хоть мало-мальски порядочной: та без клетки, та без сеней, та пошатнулась, а та совсем повалилась. Кругом все растет и зеленеет, а в селе, как говорится, хоть шаром покати, — ни одного деревца. Или мужикам запрещено сажать деревья, или, бог их знает, может быть, и сами не хотят, а помещику и невдогад их заставить, благо у самого под рукою английский парк со всеми причудами. А дети, когда выбегут на улицу посмотреть на проезжающего, так это только слава, что дети: медвежата, просто медвежата.

Посередине села церковь с высоким шпи-

цем колокольни, довольно затейливой архитектуры и мало свидетельствующая о вкусе зодчего, а может быть, и самого ктитора. Около церкви была когда-то ограда, о чем свидетельствуют полуразрушенные каменные столбики, не в дальнем один от другого расстоянии и кругом запачканные грязью, надо думать, свиньями во время почесыванья.

И церковь, и село, и полунагие закопченные дети, — словом, все являет из себя вид весьма живописный, совершенно во вкусе Ван-Остада^{172} наших подающих надежды *tabbeaugenr* истов.

Проехавши село, в левую сторону, недалеко от почтовой дороги, на горе видны барские хоромы с бельведером, окруженные темным лесом, а лес обведен, по крайней мере со стороны почтовой дороги, глубоким и широким рвом с живою на валу изгородью.

Сквозь деревья мелькает светлый пруд или из-за группы лип мелькнет угол китайской беседки, или куст-акаций, или другое что-нибудь вроде Клеопатриной иглы^{173}, воздвигнутое на память дружбы и любви, — словом, прелесть! Так бы вот и соскочил с телеги,

перепрыгнул бы через живую изгородь, да и пошел писать по всем направлениям роскошного барского сада.

Я, правду сказать, так и сделал. Но это было давно. Теперь уж я подобной штуки не выкину. Я тогда прошел из конца в конец весь парк, и меня, как теперь помню, поразила страшная тишина. Я видел великолепный дом, павильон, беседки, качающуюся раскрашенную лодочку на краю пруда, под наклонившимися деревьями, и посередине пруда гордо плавающих пару лебедей, но не видел ни одного человека, который бы оживлял эту изысканную картину. На меня неприятно подействовало такое отсутствие человека; это все равно, что прекрасный пейзаж, не оживленный человеческой фигурой. Я даже рассказывался, что входил в этот заколдованный парк.

О, если б я знал тогда, что когда-то придется мне писать историю обитателей этого роскошного уединения, — я бы тогда не ограничился одним поверхностным взглядом, а постарался бы проникнуть и в хоромы и всюду, куда только можно проникнуть, всюду бы за-

глянул и, может быть, тогда моя история была бы и полнее и круглее. Но прошлого не воротишь. Ограничимся тем, что теперь имеем.

Проехавши версты две, я спросил тогда у ямщика:

— Чье это село мы проехали?

— Господское.

— Знаю, что господское! — да господина-то как звать?

— Помещик Хлюпин.

— Что, он сам, видно, мало живет в своем селе?

— Только за оброком приезжает и то не каждый год.

Этим сведения мои тогда и кончились. После этого, спустя десятка три лет, встретился я в Орской крепости с несчастным однофамильцем названного мне ямщиком помещика, и после двух-трех вопросов я узнал от молодого человека, что он единственный его родной сын и наследник знакомого мне села и парка.

Дело было вот как.

Ротмистр Хлюпин, отец этого несчастного юноши, не расположен был вовсе жениться,

но обстоятельства заставили, и он женился на богатой и немолодой вдове, взявши за нею в приданое описанное мною село.

Вдова, родивши ему сына, а потом дочь и поживши мало после этого происшествия, переселилась к праотцам, завещавши имение детям, а отца над ними как бы опекуном оставила. Старуха, как видно, не хотела, чтобы он снова женился, да еще, пожалуй, и на молодой. Но ротмистр, как он вообще не имел расположения к семейной жизни, взявши птенцов своих, сироток, с причтом нянек и мамок, отправился в Питер. Долго ли, коротко ли он вел там холостую жизнь, не знаю. Только, как он ни близорук был в отношении детей, увидал, однакож, что детям нужна мать, то есть необходимо жениться.

С такою-то благою мыслию однажды он вышел со двора. Идет он по Литейной, выходит на Невский, глядь, навстречу ему, словно заря алая, словно лебедь белая, так и выплывает по тротуару. Замерло ретивое у старого гусара. И во сне ему не снилася никогда такая красавица, какую он теперь увидел.

«Что ж, — думает гусар и отец семей-

ства, — попытка не шутка, спрос не беда, — попробуем! Ливреи же за нею не видно^{174}, помешать некому».

И он поплелся вслед за красавицею. Долго она его водила по разным переулкам, наконец, завела его чуть не к Таврическому саду, да в один самый мизерненький домик с двумя крошечными окошечками — и шустрь перед самым его носом, а он и остался на улице, да еще и на грязной.

Простоявши с добрый час против домика и махнувши рукой, пошел обратно.

Тут бы, казалось, и всему происшествию конец. Вот то-то и нет, тут только, можно сказать, начало самой истории, или, лучше сказать, начало самого зла.

Подвернись эта история другому военному, а не в отставке гусару, разом бы все покончил, да и концы в воду. Ротмистр мой хоть тоже слыл решительным малым, однако кончил тем, что после многократных и бесплодных хождений на Пески решился, наконец, послать сваху в заветный домик. Сказано — сделано, и счастливейший ротмистр с красавицей супругою катит в свое поместье, а дети

с няньками и мамками и со всякой рухлядью вслед за ними.

Здесь, я думаю, не мешает рассказать хоть вкратце, кто такая вторая супруга решительного ротмистра. А вот кто она такая.

Отец ее служил прапорщиком в каком-то пехотном полку, расположенном на Волыни, да и влюбился в какую-то хорошенькую панянку. Дело могло бы тем и кончиться, да случился грех, его заставили жениться. Он не прекословил, женился и выступил за ротою в поход. Войска в то время начали стягиваться к Вознесенску⁽¹⁷⁵⁾. На последней дневке перед Вознесенском молодая жена прапорщика разрешилась от бремени дочерью Мариєю. Три или четыре года бедная прапорщица с ребенком шлялася за своим прапорщиком, или, лучше сказать, за ротою, пока, наконец, от недостатков, горя и всяческих лишений не впала в чахотку и вскоре умерла.

Безумная и трижды безумная девушка, решающаяся влюбляться и выходить замуж за армейского — не только за прапорщика, за поручика даже, если только он не ротный командир. За ротного командира и то много

нужно решимости, чтобы идти замуж. Тут должна быть истинная, настоящая любовь. По-моему, это такая великая со стороны женщины жертва, что мало-мальски порядочный мужчина не должен бы ее не только помогать, но даже и желать.

Похоронивши свою мученицу-жену и сдавши денщику дитя на руки, прапорщик пустился на обывательских роту догонять. По службе ему как-то не везло; у начальства он был не на выгодном счету: товарищи его давно уж подпоручиками и поручиками, а он все еще прапор. Что бы такое значило, бог его знает. По службе он молодец, лишнюю рюмку не пьет, разве только что рановато маненько женился, — так кому какое дело! Вот он думал-думал, да и начал испивать маленькую, потом большенькую, и еще, и еще большенькую, и кончилось тем, что ему, горемыке, предложили в отставку. Он попросился в перевод в какой-нибудь линейный батальон, его и перевели в двадцать третью пехотную дивизию, расположенную, как известно, в Оренбургском крае.

Пока то да се, глядь, а дочке уже пошел де-

сятый годочек, а она, бедная, и грамоты не знает. Да и где узнать ее. Отцу некогда, денщик безграмотный, а деревенские мальчишки выучили ее в бабки играть.

Он, бедняк, думал, приедет в Оренбургский край, поселится где-нибудь в одном месте и займется воспитанием дочери. Не тут-то было! Не успел он осмотреться на новом месте, как его командировали в одно из степных укреплений! Беда, да и только!

Делать нечего, пошел он и в степное укрепление. Кто не видал этих степных укреплений, тому советую прилежно молиться богу, чтобы и не видать их никогда. Кроме отчуждения ото всего, что хоть маленький имеет намек на образование, теснота и лишения всевозможные, а о нравах и говорить нечего.

Так вот в такое-то гнездо попал мой бедный прапорщик со своею уже двенадцатилетнею дочерью. На другой же день она прослыла в укреплении кантонистом в юбке^{176}.

Она действительно была девочка красивая, умная и бойкая, хоть и мальчику ее лет, так впору. На горе он привез с собою еще в ка-

честве няньки какую-то старушонку, безобразную и донельзя распутную. Так что когда они, бывало, подгуляют вдвоем с нянькою, то Маша убежит в женатые казармы, да там и ночует. Бедное дитя! Ее какой-то солдат и грамоте выучил.

Так прошло два года, роты сменились, Маша выросла и удивительно похорошела, и больше ничего. И то правда, главное есть, а об остальном — кому какое дело?

Возвратясь к своему батальону, отец хотел было приняться за свою Машу, да Маша уже не та: ей уже пятнадцатый год.

— Ну, что ж, — рассуждает невзыскательный отец, — за писаря и так сойдет.

А пока он так рассуждал, Маша росла, росла и выросла красавица на диво: не только что за писаря, — хоть и за генерала, так не стыдно.

Какой-то чиновник, не помню, по питейной, не то по таможенной части, только не военный — об этом тогда еще и в городе говорили, — так какой-то гражданский чиновник, да чуть ли не из пограничной комиссии, приехал в город по делам службы, увидел где-

то Машу и влюбился. Узнал, что, и как, и чья, и где живет, да, не рассуждая много, сунул пьяной няньке пять целковых, — она ему и спроворила.

Он уехал по делам службы в Петербург и Машу взял с собою, а там ее и бросил, потому что ему нужно было опять куда-то ехать.

Такими-то путями она очутилася в Петербурге. А как очутилася в Песках¹⁷⁷, тут уже история другая. Но эту другую историю я готов хоть и не рассказывать, потому что в ней, кроме отвратительного, ничего нет. Как бы там ни было, а Маша, хоть и едва грамотная, а выдержала свою роль лучше всякого синего чулка.

Так вот кто такая вторая супруга моего уда-лого ротмистра.

Теперь мы ее уже будем звать Марьей Федоровной. На другой же или на третий день после свадьбы Марья Федоровна настояла на том, чтобы сейчас же ехать в деревню, и она на это имела основательные причины. В деревне кто ее узнает, какого она поля ягода, а живя в городе, да еще и в столице, придется поддерживать мужнины знакомства; они у

него, быть может, все графы да князья. Бог его знает, он человек, богатый, все случиться может, а она, как говорится, и ногой ступить не умеет. Хорошо еще, что солдат грамоте выучил, а не то и того бы не знала.

Так или почти так рассуждала Марья Федоровна, и рассуждала, правду сказать, довольно верно; по всему видно, что она имела ум практический, или положительный. Не прошло и месяца, как она вступила в роль провинциальной барыни-хозяйки, как у нее все задвигалось и заходило.

Ротмистр мой только смотрит да глазами похлопывает. А как она приняла у себя с визитом мелкопоместных соседок, так только ахнули. Но кто прежде всех в доме на себе почувствовал ее влияние, так это сам ротмистр. Он до того сузился перед нею, что стал больше походить на лакея, нежели на барина.

На детей она сначала не обращала никакого внимания, пока не почувствовала себя беременною, — а с той поры и они поступили в ее ведомство, и они, бедные, стали чувствовать какую-то тяжесть. Девочка еще кое-как резвилась, а мальчик, бедный, тот совсем за-

тих. Они как говорили, весь в отца пошел; и отец тоже хорохорился до первой остратки, а как на него прикрикнули хорошенько, так он — тише воды, ниже травы.

Во избежание же следующих остраток, которые он во множестве предвидел впереди, переселился он во флигель, неподалеку от дома, и зажил настоящим анахоретом^{178}. Сначала приходил он в дом обедать, поужинать или просто спросить о здоровье дражайшей половины, но впоследствии совсем оставил свои визиты. Даже у человека, который приносил ему обед, он не спрашивал о здоровье Марьи Федоровны. Детей своих он видел только по праздникам и то с позволения жены. Впрочем, сильного стеснения в быту своем он не чувствовал, или, лучше сказать, не мог чувствовать. Большую часть дня он проводил или на псарне, или на конюшне, или же упражнялся в благородном занятии — стрельянием из пистолета в цель, которую устроил у себя в кабинете на случай дурной погоды. Надо заметить, что в этой комнате, кроме стула и цели, ничего не было, даже трубок и книжки, развернутой на четырнадцать-

той странице, и я не знаю, почему он называл ее кабинетом.

После первых припадков беременности, как я уже сказал, она начала обращать внимание на мужниных детей. Внимание это выразилось так: она каждый день исправно начала посещать детскую, что прежде делала в продолжение месяца один раз; потом начала учащать свои визиты; потом приходила смотреть, как кормят и чем кормят детей, как спать кладут, как поутру их умывают, как одевают. Большого попечения родная мать своим детям оказывать не может, а странно, дети ее не любили и даже боялись. Бывало, если только заплачет которое из них, то няньке стоит только сказать: «Мама идет», — и дитя в одно мгновение переставало плакать. Ту же тактику употребляли няньки, когда дети слишком разрезвятся, хотя это случалось весьма редко. Они смотрели настоящими сиротками, особенно мальчик. И девочка, сначала такая резвая, румяная, заметно побледнела и присмирела с той поры, как за нею начали так заботливо ухаживать.

Есть люди, которых все любит и все к ним

ласкается; даже, говорят, их и бешеные собаки не кусают. К числу таких людей принадлежал и знаменитый Вальтер Скотт. А есть опять люди, которые ко всем ласкаются, а их или ненавидят, или боятся и ненавидят. К числу таких людей принадлежит и моя Марья Федоровна.

А может быть, и независимо от этой антипатии [есть] еще что-нибудь такое, почему мачеха детям кажется ненавистною.

Что бы там ни было, только дети под непосредственным наблюдением Марьи Федоровны бледнели и худели. А когда она встречалась со своим благоверным ротмистром, то только и речей было, что про детей, так что он уже начал ее просить, чтобы она поберегла себя, что дети, даст бог, и без нее вырастут.

Лето проходило, близилась осень. Дети давно уже ходили, а летом их не выпускали в сад побегать, бояся простуды: пруд, дескать, близко, сыро. Настала осень, и детей стали посылать в сад гулять, потому что теперь воздух холоден и пруд не может иметь влияния никакого, по физике Марьи Федоровны. А по физике ротмистра — совершенно все равно,

лишь бы его борзые не хворали, потому что скоро начнется травля зайцев, а до детей ему какое дело? На то у них есть мать.

А между тем в селе показалась оспа. Нежному родителю и в голову никогда не приходило, что дети его из такой же плоти и крови, как и чужие дети, и что их так же само может постигнуть эта язва, как и чужих детей, кому не привита оспа. В Петербурге об этом не подумали, а в деревне и вовсе позабыли, и вот дети в оспе.

Марья Федоровна с горя сама даже слегла в постель и велела заколотить все окна и двери и окуривать покои уксусом; у ней у самой заботливый родитель позабыл привить оспу, а сама она, бедная, теперь только вспомнила. Вспомнила и захворала, а к тому еще и на сносе.

Дом был окружен, как зачумленный, куревом; детей перенесли к отцу во флигель. Бедный ротмистр чуть с ума не сошел. Наконец, все кончилось благополучно. Только мальчик ослеп, потому что у него и прежде глаза краснели и гноились. А девочка ничего, выходилась, хоть и попорченною немного. «Но это

ничего, — говорила нянька шепотом, — зарастет; слава богу, что сама барыня захворали, а то и девочка бы осталася без очей, как вот барчонок».

А между тем роды близились. В доме все ходило на цыпочках, разумеется, кроме акушерки-профессорши, уже месяца три распоряжавшейся как в своем собственном доме. Все молчало и трепетало, а благоверный ротмистр, в ожидании, легавого щенка дрессировал. Наконец, все кончилось благополучно. Марья Федоровна разрешилася сыном, который и был во святом крещении наречен Ипполитом.

Обряд крещения был совершен отцом протоиереем, нарочно для этого случая привезенным из города. Воспринимали младенца, кроме дворянского предводителя и других, поважнее, помещиков и помещиц, даже и командир стрелкового батальона, в то время квартировавшего в их городе. Глядя на фалангу восприемников и восприемниц, можно было подумать, что ротмистр для такой радости готов с целым светом породниться или, по крайней мере, со всем уездом.

Пир по этому случаю был задан на славу. Была мысль у ротмистра устроить и сельский праздник для мужичков, но так как это случилось зимой, то хороводы и отложены до будущего лета, а вместо сельского праздника он предложил своим гостям, кому угодно, облаву на медведя. Желаящими оказались все, не исключая и батальонного командира.

После родов Марья Федоровна страдала ровно шесть недель. Не подумайте только, чтобы она физически страдала, ничего не бывало: она на третий день после родов готова была на какой угодно гимнастический подвиг. Она страдала нравственно, и именно потому, что была в доме особа, которая распоряжалась совершенно всем и даже ею самою. Это была акушерка. А для Марьи Федоровны пытки не было хуже, как повиноваться кому бы то ни было.

Наконец, эти мучительные шесть недель кончились; с крестом и с молитвою акушерку выпроводили и двери заперли. Марья Федоровна вздохнула свободно и, принявши бразды правления, велела позвать к себе мужа.

Прошло полчаса — супруг не является. Ма-

рья Федоровна бесится и посылает сказать, что она его ждет. Посланный возвратился и сказал, что «они только что побрились и изволят одеваться».

Надо вам заметить, что ротмистр считал себя птицей высочайшего полета, и для него этикет, даже в отношении жены, был чуть ли не первая заповедь. У себя дома он бирюк бирюком, готов даже с собаками поест из одного корыта. Но что касается вне дома, тут он совершенная метаморфоза, как выражается один мой приятель. А дом жены своей или квартиру — ротмистр боялся только проговорить самому себе, а в душе совершенно сознавал, что квартира жены для него чужая.

— Насилу-то выбрились! — так встретила Марья Федоровна своего ротмистра.

— Нельзя же, друг мой, приличие.

— А вот что, друг мой! Тут не приличие, а вот что: каковы ваши дети?

— Слава богу, ничего!

— Каково Коле?

— Ничего. Ослеп, совершенно ослеп.

— То-то, ослеп. Я вам говорила, что нужно будет оспу привить, — не послушали.

Соврала: никогда не говорила.

— Не помню, когда вы мне говорили, или я забыл.

— Забыли, сударь. Ну, да не в том дело, а вот что: у вас там помещение хорошее для них?

— Не совсем, друг мой! Тесновато.

— Не будет тесновато. Пускай они остаются с тобою, а бывшую их детскую я велю переделать для нашего сына. Понимаете?

— Понимаю, понимаю, мой друг!

После продолжительного безмолвия:

— Да вот еще что я хотела сказать: няnek я беру к себе, а для них, как они уже взрослые, то можно будет взять двух девок из деревни.

Муж охотно согласился. Ему эти няньки не нравились, особенно младшая: «Дотронуться нельзя, кричит, как будто ее укусили, да еще грозит барыней, а этих я заставлю плясать по своей дудке втихомолку», — так рассуждал ротмистр, подходя к колыбели спящего шестинедельного своего сына.

— Не правда ли, какое милое создание! — говорила Марья Федоровна, приподымая занавеску.

— Прекрасное! Позволь поцеловать его, друг мой!

— Нельзя, разбудишь, — и она опустила занавеску. — Ступай теперь домой и пошли ко мне приказчика, я велю привести ко мне всех девок из села и выберу няnek.

— Зачем тебе беспокоиться, друг мой, я сам выберу.

— Хорошо, хорошо, ступайте! Я знаю, что делаю.

И супруги расстались.

Отцу сильно не нравилось постоянное пребывание детей в его уголке (так называл он свой флигель), — все-таки хлопоты, а с другой стороны, так и нравилось, то есть нравились будущие няньки: «Ведь она не пришлет же мне каких-нибудь квазимодов в сарафанах⁽¹⁷⁹⁾», — так он полагал — и ошибся!

На другой день ввели к нему во флигель таких двух красавиц, что он только ахнул.

— Ну, одолжила! — проговорил он с ужасом, глядя на неумытых новобранок.

— Зачем вы пришли? — спросил он их.

— Нянчить, — отвечали они в один голос.

— Хороши, нечего сказать!

— Какие есть, барин.

— Ну, хорошо, ступайте домой.

Девки только повернулись к дверям, как дверь растворилась и в комнату вошла сама Марья Федоровна. Ротмистр спрятался в другую комнату, потому что он был в утреннем пальто.

— Полно дурачиться, — говорила, входя, Марья Федоровна, — я не для комплиментов пришла. Наденьте что-нибудь да выйдите скорее ко мне.

Ротмистр явился в форменном сюртуке и ловко раскланялся, спрашивая о здоровье и самой Марьи Федоровны и новорожденного.

— Ничего, слава богу, здоровы. А ваши какковы?

— Ничего, слава богу.

— Покажите-ка мне их! А вот — прошу любить и жаловать, — говорила она, показывая на нянек.

— Друг мой, да откуда ты выкопала этих уродов?

— Ничего, достоинство няньки не в красоте, а в кротости. Пойдемте.

Пройдя сени, они вошли в большую ком-

нату, наполненную щенками всех пород и возрастов. Когда Марья Федоровна зажала нос платком, ротмистр проговорил:

— Ничего, друг мой, я привык, это моя страсть.

За комнатою со щенками прошли они что-то вроде чулана, — это была комната нянек, — а за чуланом уже растворилась детская, немногим больше чулана, об одном окне комната. Полуодетые дети и няньки с ними играли в жмурки, то есть они прятались, а слепой Коля их искал. Когда вошла в комнату Марья Федоровна, няньки остолбенели, а маленькая Лиза схватила слепого брата за руку и шепнула ему: «Мама!» — Коля задрожал и стал прятаться за сестру, а сестра, в свою очередь, за брата.

Марья Федоровна быстро оглянула комнату и едва заметно улыбнулась, потом, обратясь к детям, проговорила:

— Не бойтесь меня, мои крошечки, я вам гостинца принесла.

И она им вынула по леденцу из ридикюля. Подавая Коле леденец, она хотела заплакать и, улыбнувшись, сказала:

— Бедное создание! Что вы с ним намерены делать? — спросила она мужа.

— Ничего, — ответил тот равнодушно.

После этого она обратилась к нянькам и сказала:

— А вы, дуры! только знаете детей баловать. Убирайтесь вон отсюда! А вы, мои милые, оставайтесь здесь вместо них, — сказала она, обращаясь к новобранкам.

— Слышим, барыня, — отвечали те и начали снимать свои зипуны.

— Мне пора, я думаю, мой генерал уже проснулся. Прощайте, мои крошечки, — сказала Марья Федоровна, обращаясь к детям. — Пойдемте, — сказала она нянькам и, закрывши нос, вышла из детской.

Ротмистр молча вышел вслед за нею, но в большой комнате, окруженный разномастными и разнородными, щенятами, остановился в раздумье и вдруг, как бы осененный мыслию свыше, хлопнул себя ладонью по узенькому лбу и воскликнул:

— Нет, друг мой, этому не бывать! Я в твои дела не мешаюсь, так не мешайся же ты и в мои, — и с этим словом он вышел из комна-

ты, не обращая ни малейшего внимания на визг щенят.

До самого почти обеда ходил он по кабинету, заложив руки за спину или останавливаясь перед мишенью и складывая руки на груди а la Napoleon^{180}, и даже позицию принимал Наполеона, и в этом положении он был невыразимо смешон. Центр мишени, казалось, поглощал всего его, — так он пристально вперял в него свои серенькие бессмысленные глазки.

Несколько раз брался он за пистолет, отходил от мишени к стулу, становился в позицию, прицеливался и опускал пистолет без выстрела.

— Нет, не могу! — Проговоривши это самым отчаянным голосом, долго тер себе ладонью лоб, потом опускал руки в карманы и принимался ходить взад и вперед.

Наконец, спросил он себе побриться. Потом умылся розовой водой и оделся самым изысканным манером. Остановился перед трюмо, принял важную позу и грозную физиономию, посмотрелся несколько минут, взял шляпу и пошел к жене, как он думал, объясниться по поводу семейных неудоволь-

ствий (под этим словом он разумел безобразных нянек).

Марья Федоровна предвидела это критическое посещение и приготовилась. Она надела темносинее бархатное платье, в котором ротмистр так любил ее видеть, и, взявши малютку на руки, встретила его в гостиной.

Грозный Юпитер исчез, а перед нею стоял самый обыкновенный ротмистр и сладко улыбался.

— Говори, душенька: «Bonjour, rara»^{181}, — говорила она, целуя ребенка и поднося его мужу. — Теперь и ты, друг мой, можешь его поцеловать.

Ротмистр безмолвно приложился.

— А знаешь ли, друг мой, какой я сон сегодня видела? Что будто бы твой Коля и наш Ипполит уже взрослые и оба гусары. И какие молодцы! Просто прелесть! Особенно Ипполит, — две капли воды — на тебя похож. А ведь и в самом деле, — прибавила она, лукаво улыбаясь, — если всмотреться в него хорошенько, он действительно будет на тебя похож. Милочка! — И восторженно она поцеловала ребенка.

После этого все, что тлело в маленьком сердце ротмистра, совершенно погасло. Даже няньки представлялись ему благообразнее, нежели как они на самом деле были.

— Надеюсь, ты сегодня у меня обедаешь? — сказала Марья Федоровна, уходя с ребенком в детскую.

— С удовольствием, мой друг! — проговорил ротмистр. Но друг его уже был в третьей комнате и ничего не слышал.

Ротмистр был совершенно счастлив и, развалясь в широких мягких креслах самым великосветским манером, совершенно беспечно насвистывал из «Фрейшютца»^{182} песню «Ах, чтоб было без вина!» и бил в такт лайковой палевой перчаткой по колену.

Марья Федоровна вышла к обеду уже в другом платье, не менее прежнего великолепно. Это окончательно уничтожило бедного ротмистра, потому что это было совершенно в тоне высшего общества, которого ротмистр считал себя (аллах ведает почему) не последним членом.

После обеда они расстались, как расстаются самые нежные супруги в первый день по-

сле свадьбы, в заключение даже поцеловались, а такого происшествия бедный ротмистр и не запомнит.

Придя домой, он, не раздеваясь, перецеловал всех щенят в восторге, а о детях даже и не подумал. Раздевшись, погрузился он в мягкую перину и, полежавши немного, тяжело вздохнул. А о чем он тяжело вздохнул, бог его веда-ет.

Убаюкавши таким образом на первый раз своего мужичка-дурачка, Марья Федоровна продолжала такую же тактику до тех пор, пока он не освоился совершенно с безобразными няньками. Она тогда повела с ним другую политику. Она посылала его с визитами к соседям, чтобы, говорит, не одичать и с добрыми людьми не раззнакомиться.

— И я бы поехала с тобой, но, ты видишь, у меня ребенок на руках, его нельзя же бросить.

— Правда, мой друг, — говорил он, — ты оставайся с ним, он, видишь, какой милый крошка. Я за тебя перед нашими добрыми соседками извинюся.

— Только вот что, — говорила она, когда

он собирался кому визит делать, — ты, пожалуйста, никого не приглашай к себе, пока я кормлю (она сама кормила своего сына).

— Никого, друг мой, — говорил он, садясь в коляску. И, выехавши из дому раз, он не возвращался по месяцу, а иногда и по два. А где он пропадал, об этом знали только его верные слуги — кучер и лакей. Они, может быть, барыне и рассказали бы некоторые любопытные похождения своего шаловливого барина, как, например, в губернском городе, в некоторых трактирах, да барыня их об этом не спрашивала: ей какое дело до любопытных пождений своего пустоголового мужа? Она подвигается к своей цели верно — она и довольна.

А цель ее была такая... Но нет, зачем прежде времени развязывать торбу? Может быть, там, боже сохрани, такое спрятано, что совестно и подумать, а не то что прежде времени показывать да рассказывать. А лучше уже, коли начали читать, мои терпеливые читатели, то читайте до конца: тогда и сами узнаете, какого сорта сатана сидел в прекрасной голове Марьи Федоровны.

Одна из безобразных няnek, та, которая неуклюжее и безобразнее, оказалась доброю и скромною женщиною, и Марья Федоровна, заметя это, наказала ей строго смотреть только за Лизанькою, а к Коле и не подходить.

А той, которая была грубее, злее и прожорливее, наказала строго смотреть за слепым Колей и не давать ему шалить, а главное, объедаться. Бедный! несчастный мальчик! Он давно бы умер с голоду, если б сестра и ее нянька не оставляли для него от своего обеда и не кормили его тихонько по ночам, когда его прожорливая нянька спала.

Ротмистру так понравились визиты, что он в дом к себе и не заглядывал. Когда случится поблизости где-нибудь, то пришлет записку, попросит денег, белья или чего там понадобится. Разумеется, ему все это отпускалось беспрекословно.

Так прошло несколько лет, то есть года три или четыре. Все шло своим чередом, то есть шло так, как угодно было Марье Федоровне.

Однажды — это было осенью, не помню, в котором месяце — барская коляска подъехала к дому, и ротмистра из нее не высадили, как

это обыкновенно делается, а вынесли на руках, как это делается только в критических случаях. Марья Федоровна, увидя это, злобно улыбнулась. Она подумала, что он пьяный, потому что только этой еще ему добродетели и недоставало, а теперь и этой украшен. Оказалось, однакож, то, чего Марья Федоровна и не подозревала.

Дело в том, что у одного богатого соседа, по случаю какого-то семейного праздника, съехались гости, в том числе и наш ротмистр заехал. После разных увеселений собралась порядочная кавалькада охотников и выехала в поле русаков попугать. Разумеется, ротмистр тут был из первых. Он даже хотел было за своими борзыми послать, но ему заметили, что это невежливо, и он пустился с чужими. Случилось так, что он первый поднял зайца и, разумеется, он же и доконать его должен. Вот он и пустился во весь опор вслед за борзыми, только, на его несчастье, случилась канава в поле, борзые-то ее перепрыгнули, а лошадь с всадником прямо в канаву, да собой его и накрыла. К тому же еще, в канаве была вода, уже тонким льдом покрытая. Он, бедняк, кро-

ме того что ушибся, да еще и в холодной воде окунулся, так что когда его вытащили оттуда, то он уже едва дышал, таким его и домой привезли.

Так вот такая случилась история.

Сейчас же послали в город за медиком, а на другой день и за попом, а на третий день, перед вечером, благословив своих несчастных детей и поручив их блюдению и заступничеству Марьи Федоровны, послал он свою гусарскую душу на лоно Авраамле⁽¹⁸³⁾.

Как ни кратковременна была его болезнь, однакож Марья Федоровна успела сделать все форменно, что нужно было для обеспечения своей будущности и своего сына, то есть он третий наследник общего имущества, она и опекунша и полная хозяйка во всем.

Марья Федоровна похоронила своего обожаемого супруга в тени березовой рощи, близ прозрачного пруда, и при похоронах выказала необыкновенные свои сценические способности. Она так сыграла роль неутешной вдовы, что самые равнодушные соседи, глядя на нее, рыдали, а бедных сироток, особенно Колю, чуть в слезах не утопила, а поцелуям и

числа не было, и если б сострадательные соседи не удержали ее, она бы непременно бросилась в могилу. Но, спасибо, не допустили, а взяли ее на руки и почти мертвую внесли в дом и уже в доме насилу привели ее в чувство нашатырным спиртом (одеколон не помогал).

Когда же пришла она в себя и увидела себя одну в своей спальне и услышала отдаленные голоса поминающих соседей, она едва заметно улыбнулась и сама с собою шепотом проговорила:

— Главное само собою устроилось, а их я сама пристрою, — и, вставши с постели, она тихонько пошла в детскую к своему милому Исполиту.

Около вечера гости навеселе разъехались по своим захолустьям, совершенно уверенные, что Марья Федоровна — самая несчастная женщина во всем мире.

А Марья Федоровна, чтобы уверить их еще больше в своем ничем не утешимом горе, на другой день велела согнать со всего села баб и девок, — а мужиков не трогать, сказала она, они пусть делают свое дело, — согнать на господский двор с лопатами и мешками.

Когда собрались девки и бабы с помянутыми орудиями, она, вся в черном и в слезах, повела их на могилу своего незабвенного ротмистра и повелела (подобно Ольге над Игорем⁽¹⁸⁴⁾) сыпать курган.

Работа началась, и по прошествии двух или трех недель черный курган высился над прахом незабвенного ротмистра.

Марья Федоровна сама лично распоряжалась работами и при работах рекою разливалась, как говорили простосердечные работницы. Но искреннее и чистосердечнее никто так не плакал и не проклинал и покойника и Марью Федоровну, как сами работницы. И правду сказать, они на это имели полное право: морозы уже доходили до 10 градусов, а они, бедные, выходили на работу, как говорится, в чем бог послал, и на все это чувствительная, неутешная Марья Федоровна смотрела совершенно равнодушно. Смело можно сказать, что этот памятник любви и воспоминаний был полит кровью и самыми неприятными слезами. Многие, — что я говорю — многие, — никто не поверит, что я рассказываю истину, кроме тех, которые были зрителями, такими

же, как и я, этой курьезной трагикомедии.

В скором времени разнесся не по всему уезду, а по всей губернии слух, что Марья Федоровна такая-то не показывается даже своим людям и выходит из дому по ночам на могилу своего мужа и там плачет от вечерней до утренней зари.

За достоверность этих слухов и я ручаюсь.

Она действительно ходила по ночам, несмотря ни на какую погоду, ходила на курган и там не скажу плакала, а во всеуслышание выла.

Так она ходила выть на могилу до тех пор, пока сердобольные соседки, утешая, не сказали ей, что Лизе и Коле уже по осьмому пошло.

Тут-то она как будто опомнилась. «Проклятые приятельницы, — подумала она, — будто я не знаю, что делаю». Делать нечего, — нужно было переменить роль и из нежной супруги сделаться нежной матерью. Не медля ни-мало, она разослала просить к себе на прощальный праздник мелкопоместных и крупноречивых своих соседок, — что она-де, Марья Федоровна, везет барышню в Смольный ^{185} монастырь и желает проститься со своими

добрыми соседками, а что сама она потому-де их не может посетить, что с детьми постоянно занята.

Слетелися соседки, погостили, позлословили денька два и разлетелися по уезду благовестить о беспримерных добродетелях Марьи Федоровны и об истинно ангельской прелести и скромности Лизы. А Лиза была просто деревенская осьмилетняя девочка и, вдобавок, загнанная.

Марья Федоровна была в восторге от своей выдумки и на другой неделе после прощального пира, в одно прекрасное утро, велела заложить тройку лошадей в крытую бричку, в которой покойник по ярманкам ездил, когда был еще ремонтером. Взяла с собою и своего Ипполита, уже четырехлетнего мальчугана, и безмолвную Лизу, и больше никого — ни слуги, ни служанки, совершенно налегке отправилась в Петербург определить Лизу в Смольный, а коли удастся, то и в Екатерининский институт.

Приехавши в Петербург, она остановилась на любимых своих Песках у задушевной своей приятельницы Юлии Карловны Шошер,

«шведки из Випорх». Эта Юлия Карловна Шошер была вдова 14-го класса^{186} и имела свой собственный домик с мезонином на Песках. Кроме доходов с домика, она получала еще за свои профессии порядочный доход, а профессии ее были разные: она и поношенным дамским платьем торговала, и лотерейные билеты разносила, и детей принимала, и сватала, и просто... да мало ли какие есть на свете профессии, всех не перечтешь.

На счастье Марьи Федоровны, мезонин был пустой. Она и расположилась в нем. В нижнем же этаже, в четыре окна и с дверью на улицу, помещалось что-то вроде модного магазина. Хоть и трудно предполагать подобное явление на Песках, но я сужу по тому, что это был действительно модный магазин, а не что-нибудь другое, по тому, что на одном окне постоянно на болванчике шляпка торчала, а в прочих окнах тоже постоянно красовались молодые румяные девицы с какою-нибудь работою в руках.

Марье Федоровне сама судьба помогает. Она только думала о модном заведении, а заведение само очутилось под носом.

Она позвала к себе Юлию Карловну.

— Юлия Карловна, — спросила она, — а кто это у вас в доме содержит модный магазин?

— Моя землячка, тоже из Випорх и тоже чиновница, Каролина Карловна Шпек.

— Я привезла с собою крепостную девушку, чтобы отдать в модный магазин, так чем далеко ходить, поговорите с нею, не может ли она взять у меня эту девушку. Только мне бы не хотелось платить за нее, а не может ли она взять на число лет, то есть с заслугой.

— Может, очень может — прекрасная, пре-
благородная дама. Я сейчас пойду к ней.

И Юлия Карловна, сходя вниз по узенькой лестнице, коварно улыбалась, быть может, рассчитывая на будущий барыш, потому что они вдвоем с Каролиной Карловной содержали двусмысленный модный магазин.

На другой же день был контракт заключен. Лиза, вместо Смольного монастыря, отдавалась в виде крепостной девки Акулины на десять лет в руки корыстолюбивой старой отвратительной чухонки. Когда Лизу взяла к себе Каролина Карловна и назвала ее в первый

раз Акулькой, бедная девочка заплакала и сказала, что она не Акулька, а Лиза. Ее выпороли, и бедная Лиза согласилась, что она действительно Акулька, а не Лиза.

Пристроивши таким образом Лизу, Марья Федоровна заказала для своего милого Ипполита несколько пар детского платья разного покроя и на разные возрасты — до четырнадцати лет.

Когда платье было готово, она, чтобы не прожиться даром в столице, собралась и уехала, поцеловав и благословив бедную Лизу на безотрадную, сиротскую и мученическую жизнь.

Соседки удивились, когда весть пронеслась, что Марья Федоровна возвратилась из Петербурга, и, разумеется, взапуски полетели поздравлять Марью Федоровну с благополучным успехом. И когда стали они удивляться, что так скоро все случилось, то она понесла им такие туры на колесах, что те слушали да только ахали; между прочим, что сам Лонгинов^{187}, как только она подала прошение, приехал к ней на квартиру и, взявши с собою Лизу, сам повез ее прямо в Екатерининский

институт.

Простодушные соседки, принявши все это за чистую монету, разъехались по уезду и усердно, с прибавлениями, передали всем и каждому то, что наговорила им досужая Марья Федоровна.

А Марья Федоровна, отдохнувши после дороги, занялась хозяйством, то есть поверила приказчика, ключницу и прочие должностные лица, вошла в мельчайшие экономические подробности, как самая опытная хозяйка.

Нужно заметить, что при жизни мужа она была расчетлива и бережлива, а со смертью его она сделалась настоящая скареда, под тем предлогом, что все это не ее, что она только опекунка бедных сирот и что за каждую утраченную кроху она должна перед богом отвечать.

Часы же досуга она посвящала на одеванье и раздеванье в привезенные из Петербурга наряды своего ненаглядного Ипполита.

Когда Лизу увезли в Петербург, тогда слепой Коля совершенно осиротел и положение его сделалось еще хуже. Тогда, бывало, или

сестра, или ее нянька ему, бедному, хоть что-нибудь оставят съесть. А теперь приносят ему оглодки из дому, да и те прожорливая нянька истребляет, а сама запрет его в комнате, да и уйдет на целый день в село на посиделки. Хорошо еще, если щенка бросит ему в комнату, все-таки лучше, по крайней мере он слышит живое что-то около себя.

В короткое время он, бедный, так исхудал и пожелтел, что даже Марья Федоровна испугалась, когда его однажды случайно увидела. Но она только испугалась, а положения его все-таки не улучшила. Правда, прислала ему новый демикотонный сюртучок, на вырост сшитый, и такие же брючки.

В этой-то великолепной обнове нянька повела его в село показать своим родственникам. Родственники, должно быть, были люди мягкосердые и зажиточные, накормили его кашей с молоком и на дорогу дали ему ватрушку, которая не достигла своего назначения, будучи вырвана из рук у него хитрою собакою.

На другой день он упросил няньку взять его с собою опять в гости, она и взяла. Только

дорогой вспомнила, что ей нужно было зайти к знакомой, а ей почему-то не хотелось его туда вести. Вот она усадила его под забором на улице, наказав строго не сходить с места, «а то тебя собаки съедят». Распорядившись так, пошла к своей знакомой да там и пропала. Долго сидел он под забором молча и только тихо улыбался, когда поворачивал лицо к солнцу. Наконец, он начал плакать, сначала тихо, а потом громко. На плач его сбежались деревенские дети и, окружив его, долго смотрели на него, не зная, что оно и откуда оно. Наконец, два-три мальчика повзрослев предложили ему идти к ним в избу, но он отвечал им, что он слепой, дороги не видит. Один мальчуган побойчее взял его за руку и повел к своей избе и дорогою, для потехи товарищей, заставлял его на ровном месте скакать, говоря ему: «Скачи, здесь яма или лужа».

После многих перескоков, наконец, привел его мальчик в свою избу. В избе старуха накормила его щами и пирогом с кашей, отвела на барский двор и представила самой Марье Федоровне, а Марья Федоровна, предупреждая несчастье, могущее случиться от подобного

своеволя, велела его выпороть хорошенько при себе лично, чтоб не бродяжничал-де.

Долго после этого бедный Коля не выходил из своей конуры.

Однажды в воскресенье благовестили к обедне, и звуки колокола тихо долетали до бедного Коли. Он молча с улыбкой слушал, пока звуки затихли, а потом спросил свою няньку:

— Что это такое гудело?

— Вишь, гудело! Это не гудело, а к обедне благовестили, — отвечала с неудовольствием нянька.

— К какой обедне? — немного помолчав, спросил ее Коля.

— Известно к какой — богу молиться в церкви.

— В какой церкви? (Заметьте, Коле пошел уже двенадцатый год.)

— В какой? Вон, что в селе.

— Пойдем и мы туда.

— А забыл, как она медни... Хочешь еще?..

Коля вздрогнул и замолчал.

Каждый день Коля прислушивался, но звуки колокола не долетали до его конуры. Нако-

нец, в следующее воскресенье он опять их услышал и радостно воскликнул:

— Опять загудело!

— Так что ж, что загудело!

— Нянюшка! Голубушка! родная ты моя! поведи меня в церковь!

И он так жалобно и трогательно просил ее, что та, наконец, тронулась его мольбами и, приодевши его во что бог послал, повела в церковь.

В продолжение обедни Коля стоял как окаменелый. Его сильно поразило никогда не слыханное пение и чтение, и когда прерывалось то или другое, то он, как бы все еще слушая, тихонько склонял голову и едва заметно улыбался. Обедня кончилась, а он все еще стоял на одном месте и дожидался пения. Наконец, нянька взяла его за руку и вывела из церкви, сказавши, что для него другой обедни не будут петь.

Мужички дивились на своего слепого барчонка и вместе удивлялись, что ни один из них не видел, чтобы слепой барчонок хоть раз в церкви перекрестился. Первое, чему учит мать-христианка едва начинающее ле-

петать дитя свое, это складывать три пальчика, креститься и произносить слово бозя.

У бедного Коли рано взяла судьба эту нежную наставницу, а мачеха об этом забыла, и так он, уже двенадцатилетний мальчик, не знал ни одной молитвы и не умел даже перекреститься.

Священник не мог и подозревать этого, тем более что священник являлся в доме только в известные дни в году, — ему платили, как медику за визит, и больше ничего. И большая часть наших помещиков на таком точно расстоянии, как и Марья Федоровна, держит сельских священников. Это истинная правда, и это невыразимо грустно!

После обедни священник зазвал к себе Колю, познакомил его со своим сыном Ванюшей, годом старше Коли, и, покормивши обедом, дал ему просвирку и наказал няньке, чтобы она его каждое воскресенье приводила к обедне.

Неделю целую Коля почти не спал, все прислушивался [не звонят ли], наконец, дождался: в следующее воскресенье зазвонили к заутрене; он в восторге закричал: «К обедне!»

к обедне пойдём, няня!» А няня его спала. Он нащупал ее постель, разбудил ее и просил, чтобы она вела его в церковь.

— Ах ты, полунощник неугомонный! — закричала нянька спросонья. — Какая теперь церковь? Благо слепой, так тебе все равно, ночь ли, день ли.

И, поворотившись да другой бок, сейчас же захрапела. Коля, немного помолчав, принялся плакать и проплакал до благовеста к обедне. Тут снова он принялся просить свою няньку, чтобы вела его к обедне. На этот раз нянька согласилась.

Священник зазвал его после обедни опять к себе и угощал попрежнему обедом, и наказывал, чтобы он не ленился посещать храм божий. Коля сказал ему, что он готов идти в церковь, как только колокол заслышит, но что нянька не хочет его вести. Священник пригрозил няньке, что если она его не будет водить в церковь, то он ей причастия не даст. Нянька испугалась, и с тех пор Коля после нескольких ударов в колокол исправно являлся в церковь.

Прошло не более полугода с тех пор, как

Коля начал посещать церковь и священника, как он знал уже наизусть заутреню, обедню и вечерню, несколько десятков псалмов, все воскресные евангелия и почти все послания апостола Павла. А Ванюша-попович, подруживши с ним, выучил его [читать] наизусть молитвы утренние и на сон грядущий. А кроме всего этого, он не нуждался в провожатом: он сам ходил и в церковь, и из церкви заходил к священнику, и от него возвращался в свою конуру совершенно как зрячий, так что няньке оставалось только спать.

Иногда приходил к нему гостить Ванюша-попович и приносил с собою или псалтырь, или священную историю, и если была погода хорошая, то они гуляли по саду или купались в пруде.

Так прошло и еще лето. Ванюшу-поповича отвезли в семинарию. Бедный Коля опять осиротел. Зато читал он наизусть псалтырь, священную историю и изучил все тропинки в саду.

Марья Федоровна зорко следила за его необыкновенными способностями и не мешала им развиваться, не видя в том никакого

препятствия сделать со временем своего Ипполита настоящим хозяином имения.

Ипполитушка тоже вырастал, как пресловутый богатырь, не по дням, а по часам, и купался, как говорится, как сыр в масле. Зачерствелая ко всему, Марья Федоровна к сыну своему была бесконечно нежна, позволяла ему все, что только позволяет дитяти глупо любящая мать. Ему уже кончилось десять лет, а мать и не думала начинать его учить грамоте. «Выучится еще, — говорила она соседкам. — Зачем прежде времени изнурять дитя». И дитя продолжало развиваться между няньками и между горничными.

Однажды священник, проэкзаменовав Колю, заставил его прочитать первую кафизму в церкви в субботу за вечерней. Коля прочитал как будто бы по книге. В воскресенье прочитал заутреню и первый час, а за обедней — часы⁽¹⁸⁸⁾ и двадцать пятый псалом. Прихожане и сам священник восхищались чтением Коли. Только некоторые набожные старушки заметили, что хорошо-де слепой барчонок читает, только больно жалостливо.

Церковь для его души сделалась од-

ним-единственным прибежищем, куда он приходил как к самому милому другу, как к самой нежной матери. Возвышенные, простые наши церковные напевы потрясали и проникали все существо его, а божественная мелодия и восторженный лиризм Давидовых псалмов возносили его непорочную душу превыше небес.

Так укреплялася и мужала его детская душа для грядущих ужаснейших страданий.

Священник, а в особенности причет церковный полюбили его, как безмездного и самого усердного помощника. Часто, например, случалось, что он придет и сидит около колокольни в ожидании вечерни или заутрени. Пономарь, приняв благословение от священника на благовест к вечерне, идет, отпирает церковь, а его посылает на колокольню благовестить. Он и благовестит себе, пока трижды пятидесятый псалом не прочтает.

Или случится покойник в селе, дьячка просят псалтырь почитать над покойником, а он попросит Колю, и Коля, взявшись за полу или за палку, идет за мужиком, куда его приведут; придет, станет, прочтает *Трисвятое*, *Прииди-*

те и начнет с *Блажен муж*, даже до *Мал бех*, — хоть бы тебе в одном слове ошибся! А старушки, слушая его, плачут, потому что он читал чрезвычайно выразительно и в голосе его было что-то задушевно-трогательное.

Как же его было не любить причетникам?

А, бывало, настанет великий пост, то он по целым дням и домой не приходит. Зайдет, бывало, к дьячку или священнику, пообедает, а там, глядишь, и на повечерие пора благовестить. А после благовеста становится посередине церкви и начинает читать большое повечерие. И когда дойдет до *С нами бог*, остановится, переведет дух и чистым сердечным тенором с расстановкою прочитает: *С нами бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами бог.*

Без сердечного умиления слушать нельзя было, когда он прочитывал эту молитву.

После повечерия^{189}, когда священник прочитал отпуск^{190} и Коля вместе с дьячком и священником тихо и уныло пел: *Все упование мое на тя возлагаю, мать божия*, редкий из прихожан, выходя из церкви, не заплакал.

Марья Федоровна видела в Коле слепого

идиота и больше ничего, не мешала ему хоть, ежели хочет, даже и поселиться на колокольне. Одевала она его, по ее мнению, для слепца даже франтовски, то есть две пары демикотонного платья в продолжение года, полдюжины рубах домашнего холста и прочее, чего же больше! Квартира — целый флигель, по ее выражению, хоть собак гоняй. Одно только, что бог зрение отнял, так она этому не причина.

Соседки сначала говорили ей, что не мешало бы его отдать в институт слепых, — все-таки лучше.

— Э, матушки! — отвечала она им, — зрение ему не возвратят, а слепого, чему они его научат?

Соседки, разумеется, противоречить не смели ей и единогласно соглашались с такими практическими доводами.

Вследствие такой-то политики Коля был предоставлен на произвол случая, и хорошо. Случай сроднил его невинную, восприимчивую душу со святыми словами и звуками, и он, возвышаясь духом в звуках божественной гармонии, был тысячу раз счастливее тысячи

тысячей зрячих людей, чего, разумеется, Марья Федоровна не могла подозревать. А иначе она, пожалуй, запирала бы его в своей конуре на время богослужения.

Так как для него не существовало дня, то Коля часто проводил летние ночи или в саду, или под колокольнею, читая вслух свой любимый псалом *Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие.*

Крестьяне сначала боялись ходить ночью мимо колокольни, думали, что мертвец какой-нибудь неотпетый сам по себе отходную читает. Но после, когда узнали, что это слепой барчонок пробавляется, то проходили в полночь мимо церкви, даже и не крестились.

Некоторые, разумеется, более или менее независимые, а потому и дерзкие вольнодумки-соседки напоминали иногда Марье Федоровне, что Ипполитеньке уже четырнадцатый годочек, что пора бы его уже и грамоте учить. «Дуры вы, — думала Марья Федоровна, — со своею грамотою; ведь он столбовой дворянин, помещик, да еще и помещик какой! 1 000 душ чистогану, не по-вашему — три с половиною души, да и те три раза заложены

ны и перезаложены, — вот оно что! К нему, неграмотному, вы же, грамотные, придете да в ноги поклонитесь».

Такими видимыми аргументами доказывала она бесполезность грамоты для своего милого Ипполитеньки. Однакож как ни глубоко она веровала в свои доводы, а все-таки в одно прекрасное утро послала в экономическую контору за писарем Федькою и велела ему учить Ипполитеньку грамоте. «Так, для проформы», — говорила она.

Ипполитушка, кроме того что был самый избалованный ребенок, оказался еще и необыкновенно туп. Ученику, разумеется, ничего, а крепостного учителя-таки частенько водили на конюшню (а на конюшню известно зачем водят). Бедный Федька мучился, мучился со своим пустолобым учеником, наконец хватился за ум. Однажды Ипполитушка в числе игрушек принес в учебную комнату и несколько медных пятак. Федька смекнул делом, расспросил у ученика, откуда он взял эти кругленькие игрушки, и тот сказал ему, что у маменьки под кроватью полный мешок лежит этих игрушек.

— Так вот что, Ипполитенька, — сказал вкрадчиво Федька, — хотите вы совсем не учиться?

— Хочу, — отвечал ученик весело.

— Так подарите мне сегодня эти игрушки и ступайте гулять на целый день, а завтра, когда придете учиться, то приносите еще, и если можно, захватите побольше, только смотрите, чтобы маменька не видела, а то она все-таки будет заставлять вас учиться.

Напрасно наставник хлопотал: ученик уже давно имел ясное понятие о художестве, называемом воровством. Нянька Аксинья уже года три как пользуется от своего питомца краденым сахаром, конфетами и разными лакомствами, в том числе изредка и медными круглыми игрушками. Следовательно, предосторожности были совершенно лишние.

На другой день, по условию, ученик принес учителю штук десять пятаков и был свободен от учения. На третий день сумма была увеличена, на четвертый день тоже. День за днем продолжалось то же и то же, так что к концу месяца мешок уже был пустой.

Когда объявил ученик своему наставнику

об этом истинно печальном происшествии, то наставник, подумавши немало, сказал:

— А не заметили ли вы, Ипполит Иванович, где у маменьки хранятся такие же игрушки, только беленькие?

— Не знаю, не видал, — отвечал ученик.

— А когда не знаете, так садитесь учиться!

— Я завтра же узнаю, — завопил испуганный ученик, — и принесу тебе сколько угодно, только не учи меня!

— Хорошо, посмотрим; идите гулять, только помните, до завтрашнего дня.

А на завтрашний день понадобились на что-то медные деньги Марье Федоровне. Она к мешку, а мешок пустой.

Горничных и нянек налицо. Явились те и другие.

— Вы, — говорит Марья Федоровна, — такие и сякие, деньги из мешка вытаскали?

— Нет, барыня, мы и не видали.

— Розог! — крикнула она лакею.

Явились розги и еще два лакея. Началась пытка. Перебрали всех. Аксиныи не было дома, послали и за ней. Приходит Аксинья и говорит: «Да вы, говорит, барыня, за что людей

мучите? Барчонок-то деньги перетаскал своему учителю».

Дорого же поплатилась бедная Аксинья за свою дерзость: ей было отпущено вдвое против прочих.

Отпустивши горничных, Марья Федоровна пошла по комнатам искать Ипполитеньку. Но Ипполитенька, как ни был туп, смекнул, однакоже, что недаром девки благим матом завывали, и, не дожидаясь конца вытью, убежал в сад. После тщетных поисков в комнатах Марья Федоровна разослала всю дворню и сама пошла искать Ипполитеньку. А он, не будучи дурак, пока есть не хотелось, сидел в кустах, а когда увидел, что обед пронесли к слепому Коле, и себе пошел к нему во флигель и без церемонии истребил его скудную трапезу. Но, увы! тут его за трапезою и накрыла сама Марья Федоровна.

И досталось же бедному Коле за укрывательство вора! Кроме ругательств, попреков и угроз, ему не велено было давать ничего, кроме куска черного хлеба и ковши воды, впредь до разрешения.

Нежно, ласково, настояще по-матерински,

выведала Марья Федоровна от Ипполитеньки, когда и кому он отдавал деньги, и, узнавши все обстоятельно, велела Федьку-наставника выпороть хорошенько и отдать на скотный двор до Кузьмы и Демьяна, а там в город, да и в солдаты. Сказано — сделано.

Теперь оставалось подумать об Ипполитеньке, что с ним делать. Ведь ему уже шестнадцатый год пошел, а эти изверги его в деревне, пожалуй, испортят. Нужно отвезти его в Петербург и отдать в какой-нибудь благородный пансион. Так думала Марья Федоровна, так и сделала.

Оставивши наказ, или инструкцию, приказчику насчет управления имением, она вооружила снова ремонтерскую бричку и, взявши милое чадо свое и любимую его няню Аксинью, отправилась в Петербург, не простившись даже с самыми близкими и самыми долго-язычными соседками своими.

Теперь ей незачем сообщать им, куда она намерена отдать своего сына на воспитание. Да и то еще, их, пожалуй, пригласи, а они проведут еще как-нибудь о поступке Ипполитеньки, — тогда на всю губернию ославят во-

ром, а того, дуры, не рассудят, что он еще дитя!

Приехавши в Петербург, она остановилась не на Песках, как можно было предполагать, а в Ямской слободе, около церкви Ивана Предтечи, на постоялом дворе.

На другой день она отправилась сама поискать квартиру, потому что на постоялом дворе и неудобно и грязно, а главное, дорого; она же намеревалась остаться в Петербурге по крайней мере года два, если не более.

Выйдя за ворота, она перекрестилась на церковь (с некоторого времени она сделалась чрезвычайно набожна) и, не переходя Лиговки, пошла к Знаменью^{191}. У Знаменья остановилась, посмотрела вдоль туманного Невского проспекта, помечтала немножко о своем давно прошедшем и, перейдя Невский проспект, пошла на Пески, прямо к известному домику с четырех окнах с мезонином.

В одном из окон этого домика торчала на болванчике та же самая шляпка, что торчала и назад тому десять лет, а в прочих окнах торчало по девушке, как будто они десять лет и с

места не сходили. В числе этих девушек была и Лиза, но уже не та восьмилетняя, рябенькая, безмолвная Лиза, а сидела у окна, сложив руки и опустив на высокую грудь кудрявую прекрасную голову, девятнадцатилетняя, вполне развившаяся, как роза, пышная красавица.

На свежем, молодом ее лице и следов не осталось прежних рябин, нужно было близко и внимательно присматриваться, чтобы их заметить.

В то самое время, как проходила мимо окон Марья Федоровна, Лиза подняла свои длинные бархатные ресницы, взглянула в окно и побледнела. Она, бедная, узнала свою мачеху, и ей разом представилося все ее горькое, гнусное прошедшее. Она закрыла лицо руками, хотела встать со стула, но не могла; приподнялася еще раз и без чувств повалилася на пол.

Подруги подняли ее и унесли за ширмы.

Марья Федоровна, проходя мимо окна, и не подозревала, что она была причиною такой катастрофы. Она вошла себе спокойно на давно знакомый ей дворик, подошла к известной

лачуге близ помойной ямы и постучала в маленькую, наскоро сколоченную, но уже весьма ветхую дверь. Дверь с каким-то дребезжанием отворилась, и перед нею явилась Юлия Карловна с опрокинутою чайною чашкою в руке, (Юлия Карловна, к бесчисленным своим профессиям прибавила еще одну — гадание на кофе.) После первых ахов на пороге Марья Федоровна была введена в хижину, и тут же торжественно старые приятельницы поцеловались.

Когда Юлия Карловна пришла в себя от внезапного потрясения и усадила свою дорогую гостью на полусломанном стуле, тогда представила ей молодую, стройную и весьма бледную девушку с черными большими и заплаканными глазами, всю в черном.

— Рекомендую вам, — сказала Юлия Карловна, обращаясь к Марье Федоровне, — моя хорошая, можно сказать, приятельница, мамзель Шарнбер, тоже моя землячка, только по отцу. Из хорошей фамилии. Я им сейчас гадала на кофе, и так прекрасно, так прекрасно выходит, что лучше требовать нельзя, а они все не верят и плачут.

— Я уж два года верила, — тихо проговорила девушка.

— Так как же, матушка, и по десяти лет ждут, да не плачут, — с неудовольствием проговорила Юлия Карловна. — Что ж делать? Такая ваша судьба. А коли наскучило так дожидаться своего суженого, то я давно предлагаю, переходите ко мне в дом. Если не хотите вместе с барышнями, то займите мезонин. Я с вас не бог знает что возьму. И мне прибыль, и вам не убыток.

Девушка заплакала и, едва проговорив: «Прощайте!» — вышла из комнаты.

— Прощайте, заходите завтра. У меня будет свежая гуца, я вам еще поворожу, — говорила Юлия Карловна, провожая свою пациентку глазами. И когда та притворила за собою дверь, Юлия Карловна прибавила:

— Больно горда! Подожди еще годик-другой своего возлюбленного, небось переменишься, проситься будешь — не пущу, — черт ли тогда в тебе! Ты и теперь смотришь старухой, а тогда на тебя никто и взглянуть не захочет.

— Вот, Марья Федоровна, вот где истинно

несчастье, — обратилась она к своей гостье, как бы умоляя о сострадании. — Видели вы, ведь можно сказать, красавица собою, благородных родителей дочь. И пропадает, ни за что пропадает, и так-таки и пропадет. А кто — сами же родители и виноваты, никто другой!

Жили они, матушка моя, в Кронштадте при должности, и при хорошей должности, при каких-то магазинах. Каждую неделю вечера давали. И повадился к ним в дом какой-то мичман. Ну, известное дело, молодой мужчина, молодая девушка, увиделись раз-другой и влюбились друг в друга. А там и до греха недолго. Так и случилось. Бывало, в доме танцы да плясы, а они незаметно выйдут на двор или на улицу, укроются шинелью, да и воркуют, что твои нежные голубки, а мать-то сама, чай, с молодыми офицерами амурничает. Я отца и не виню. Не мужское дело смотреть за дочерью, а мать, мать всему причина. Она видела, старая дурища, что молодой человек около дочери увивается, — что бы спросить: «А что тебе, голубчик, надо? Когда так только, куры-муры, так вот тебе и двери, а коли на сурьез пошло, женись!» А то думают: «Ничего,

пускай себе молодые люди побалуют. Он человек благородный, лишнего себе ничего не позволит». А вот он и не позволил, благородный-то человек. Дело-то сделал, да и перевелся в Астрахань или куда-то еще дальше. А сами-то тогда только заметили, когда начали соседи пальцами на дочку-то показывать. А вечер-то сделают, залы осветят, а гостей-то никого, разве два-три пьяные ластовые забредут. Видят, что дело-то плохо, давай из Кронштадта убираться. Теперь вот в Петербурге и проживается без места. А она, дура, ворожит. Да, много я тебе выворожу! Приедет он тебе сейчас, держи карман! Не видал он, вишь, краше тебя. Говорю, переходи ко мне, пока еще хоть что-нибудь осталось, а то так ведь состареется. Ох, горе, горе, как подумаю, — прибавила она со вздохом.

— Вот что, Юлия Карловна, — сказала Марья Федоровна после долгой паузы, — я к вам имею великую просьбу.

— Какую, Марья Федоровна? Все на свете для вас!..

— Найдите для меня небольшую квартирку, так комнатки три, если можно, чтобы

близко был какой-нибудь благородный пансион. Я, знаете, привезла сына.

— Есть, есть благородный пансион, мадам... мадам... как бишь ее... квартира... квартира... — И она начала считать по пальцам дома всего квартала, в котором находился благородный пансион мадам N. — Ну, да как-нибудь найдем, — прибавила она, подобострастно глядя на Марию Федоровну.

— Вы мне сделаете большое одолжение. Только не больше как комнатки три: я совершенно разорилась, совсем теперь без денег, — скотские падежи, да неурожай, да пожары совсем меня доконали.

И Мария Федоровна чуть-чуть не заплакала.

— Ах, да! — сказала она после длинной паузы, — чуть-чуть было не забыла. Ну, что моя Акулька у вас подельывает? Я думаю, уже большая выросла?

— Преболынущая! И какая мастерица! И какая красавица, просто прелесть! Только она что-то все скучает.

— Молода, ничего больше. А вот что, Юлия Карловна, не сделаете ли вы ей партию? Она

мне теперь не нужна, я буду жить в Петербурге, а здесь своя швея только лишняя тяжесть, сами знаете.

— Партия-то ей давно находится, только я без, вас не смела, а написать вам не знала куда, — адрес, что вы оставили покойной Каролине Карловне, затерялся, так вот и не знала, что делать, пока вас самих бог не принес к нам. А партия вот какая, — продолжала она, — кухмистер, на пятьдесят человек стол содержит, все чиновники, по пяти целковых в месяц. Шутка какой капитал, — так нет, не хочет. Примазывается еще к ней какой-то пьянчужка чиновник, правда молодой человек, только, видно, голь-голо. Не знаю, так ли он к ней приходит, или и впрямь сватать хочет, не знаю.

— Лучше было б, если б за кухмистера — верный кусок хлеба, по крайней мере. Ну, а когда не хочет, так, пожалуй, и за чиновника. Я, пожалуй, и приданое маленькое могу дать. Устройте это дело, Юлия Карловна, я вам буду весьма благодарна.

— Постараюсь для вас, Марья Федоровна, непременно постараюсь. Куда же вы?

— Я пойду, мне пора, — и Марья Федоровна начала собираться.

— Да подождите минуточку, сейчас кофе будет готов.

— Нет, благодарю вас, другой раз. Прощайте! Не забудьте же насчет квартиры.

— Не забуду, не забуду, Марья Федоровна.

И приятельницы расстались.

Возвратясь на квартиру, Марья Федоровна застала своего Ипполитушку играющим в бабки с Дворниковым белокурым румяным мальчуганом. Это был первый урок на поприще образования Ипполитушки. Он этого великого искусства во всю жизнь бы не мог постигнуть в деревне, а в столицу не успел приехать, как на другой же день постиг, что такое значит свинчатка.

Дня через два понаведалась Марья Федоровна к своей приятельнице узнать насчет квартиры. Квартира была приискана усердной Юлией Карловной именно такая, какая ей была нужна, — светленькая и уютненькая, а главное, дешевенькая и почти рядом с благородным пансионом, то есть приходским училищем.

Выпивши чашку кофе, или, лучше сказать, цикорию, у своей приятельницы, они пошли посмотреть квартиру. Проходя через дворик, они услышали в модном магазине дребезжащие звуки фортепиано, пронзительно визжащий женский голос и вторивший ему хриплый мужской бас, твердо и внятно выговаривавший слова песни:

*Во лузях, лузях, лузях,
В монастырских лузях.*

Приятельницы переглянулись и, улыбнувшись, вышли на улицу. Дорогою Юлия Карловна жаловалась на неприятности и хлопоты, сопряженные с подобным заведением, особенно в таком захолустий, как Пески, куда порядочный человек боится и заглянуть.

— Хорошо еще, — говорила она, — если эти беспокойства вознаграждаются, а то хоть ваша Лиза, то бишь Акулька, бог ее знает, что с нею сделалось, — совершенная деревяшка: ни приласкаться, ни слова сказать, сидит себе, как заколдованная. Я не знаю, что с ней и делать. Ни себе, ни людям, только даром хлеб ест.

— Замуж, замуж ее, Юлия Карловна, — говорила Марья Федоровна. — И чем скорее, тем лучше.

— Да кто возьмет ее из такого места?

— Возьмут, только посулите приданое, а уж как бы я вам была благодарна, Юлия Карловна, если бы вы ее хоть как-нибудь пристроили. Да... — как бы вспомнивши, прибавила Марья Федоровна, — о чем думала, то и забыла. Нет ли у вас, Юлия Карловна, знакомого какого-нибудь чиновника, мне нужен стряпчий, только, знаете, недорогого, потому что дело грошовое, — из одной амбиции тягуюсь, уступить не хочется.

— А как же, есть, есть прекрасный человек, а уж делец какой, так просто прелесть, — только немножко горького придерживается. Ну, да это ничего, кто его теперь не придерживается? Да если бы не он, несдобровать бы мне с вашей Ли... Акулькой.

— А что такое?

— Да помните, моя товарка, с которой мы вместе магазин содержали, — дитя наговорило ей бог знает чего, а она сдуру и ну... чуть-чуть было не утопила, да, слава богу, умерла.

А все-таки я благодарна Кузьме Сидорычу.

Марья Федоровна шла молча, как бы что-то соображая, и, перейдя на цыпочках грязный переулок, обратилась к Юлии Карловне и сказала:

— Ведь у меня дело самое ничтожное, нет ли у вас какого-нибудь простого писаря? Я сама буду ему говорить, что писать.

— Есть и писарь, из самого главного штаба. И уж как он за вашей Акулькой ухаживает, так просто прелесть. А знаете что, — прибавила она, подумавши, — чего долго хлопотать? Вы посулите ему что-нибудь, вот вам Акульке и карьера.

В это время они подошли к весьма не новому домику с билетиком на воротах, который гласил, что здесь отдается квартира и угол. Они постучали в затворенную калитку. На стук вышла, вместо дворника, дряхлая старушка в чепце и впустила их во двор.

Квартира оказалась как раз по руке Марье Федоровне — и светленькая, и уютненькая, точь-в-точь как говорила Юлия Карловна. Только одно... немножко дороговато: 10 рублей серебром в месяц с дровами. Этак недол-

го, пожалуй, и Покотиловку проживешь. Она попробовала было заговорить с хозяйкой дома о том, что она почти нищая, что она вдова беззащитная. Но хозяйка была непоколебима, а чтобы скорее покончить, она сказала, что она сама сирота бесприютная и вдова беззащитная и что ей укрывать и кормить не из чего.

— И если бы вы были не женский пол, а мужской, то и за двадцать бы целковых не пустила, потому что наше дело женское, — все случиться может.

Марья Федоровна молча вынула рубль и, отдавая хозяйке, сказала сухо:

— Квартира за мной, я завтра переезжаю.

И действительно, на другой день она угощала уже Юлию Карловну хоть и жиденьким, но настоящим кофе у себя на новоселье.

Аксинья, нянька, успела уже поссориться с хозяйкою, а Ипполитушка, упражняя свои руки в метании бабки, выбрал мишенью белого петуха, тщательно перебиравшего мусор на дворе. Удар был просто гениальный, бедный петух только крыльями судорожно потряс и тут же ноги протянул.

— Ай да свинчатка, — воскликнул Ипполит в восторге. — Недаром маменька гривенник заплатила!

О трагической кончине белого петуха быстро дошли слухи до ушей хозяйки. В доме поднялся содом, и такой, что если б не посредничество Юлии Карловны, то Марье Федоровне пришлось бы тот же день очистить уютенькую квартирку. Дело, однакож, кончилось полтинником.

Это неприятное происшествие имело ту свою хорошую сторону, что напомнило Марье Федоровне о том, зачем она приехала в столицу. Она тут же обратилась к Юлии Карловне и просила ее, чтобы она завтра же, если можно, прислала к ней на дом какого-нибудь учителя из благородного пансиона, что она намерена сначала дома приватно Ипполитушку приготовить, а потом уже совсем в пансион отдать.

Сказано — сделано. На другой же день явился педагог из приходского училища, и уговорились они, чтобы Ипполитушка ходил к учителю на квартиру до обеда и после обеда, что для него будет так веселее, потому что у педагога учился на квартире еще несколь-

ко мальчиков. И это дело кончено, теперь оставалось еще одно и чуть ли не самое трудное. Марье Федоровне необходимо нужно уведомить письмом одну свою protege, соседку, о смерти Лизы, случившейся как раз в день ее приезда в Петербург. Кто же ей напишет такое хитрое письмо? Самой написать, так, пожалуй, засмеют, потому что она едва может кое-как свою фамилию нацарапать. Просить рекомендованного писаря ей бы не хотелось, тем более что он еще и знаком с Лизою, хоть он и не знает, что она Лиза, а черт его знает, может быть, и знает! Нет, ему нельзя доверить такую важную корреспонденцию.

— Ах я дура! — воскликнула Марья Федоровна после долгого размышления. — Да чего же я думаю? А учитель-то на что?

Сейчас же послала Аксинью просить учителя к себе. Когда тот явился, то она под видом испытания просила написать коротенькое письмо, а о чем писать, то рассказала ему на словах.

Педагог выслушал и, подумавши немало, сказал:

— Тема серьезная, нужно обдумать. Я сна-

чала так только набросаю, а потом уже, если апробуете, то и перебелю. Завтра будет готово!

— Хорошо, так вы принесете ко мне, когда будет готово. — И они расстались.

Через день или через два явился педагог к Марье Федоровне с великолепною рукописью подмышкой. Хозяйка просила его садиться, он смиренно сел на стул и развернул манускрипт, образец каллиграфии. Марья Федоровна, «полюбовавшись почерком, просила педагога прочитать. Он прочитал, или, лучше сказать, продекламировал, свое произведение и когда кончил, то не без самодавольствия взглянул на Марью Федоровну и почти-тельно передал ей рукопись.

Марья Федоровна осталась письмом весьма довольна и, позвавши Аксинью, приказала ей сварить кофе. А в ожидании кофе просила еще раз прочитать письмо, только не так громко.

Ободренный столь лестным вниманием, он прочел еще раз, правда, без того сильного выражения, но зато с более тихим и глубоким чувством, так что, когда он прочитал фразу:

«И ее милый взор сокрылся от меня навеки», то Марья Федоровна даже платок поднесла к своим глазам. Это, разумеется, не ускользнуло от взоров счастливого автора и было для него паче всяких благодарностей.

Марья Федоровна, угостивши сочинителя, попросила рукопись себе на память, а за труды предложила ему (правда, дорогонько, но ведь он не простой писарь; рубль серебра. Сочинитель великодушно отказался, сказавши, что он награжден ее благосклонным вниманием выше всякой награды.

Отпустивши еще несколько любезностей насчет чувствительности сердца и образованности ума своей покровительницы, то есть Марьи Федоровны, педагог раскланялся и вышел.

На другой день Марья Федоровна сама понесла письмо на почту и там уже поймала какого-то почталиона и попросила его взять штемпельный конверт и запечатать письмо и адрес написать.

— И эта забота кончена, — сказала она, выходя из почтамта.

Теперь осталась одна, последняя и самая

большая забота — устроить карьеру Лизы, и тогда она совершенно спокойно может заняться воспитанием Ипполитушки.

Время шло своим чередом. Прошло уже полгода, прошло и еще несколько месяцев, а карьера Лизы все еще не сделана. Юлия Карловна ежедневно заходит к Марье Федоровне на чашку кофе и сообщает ей самые неинтересные новости, а о свадьбе Лизы никогда ни слова. Самой же ей заводить речь не хотелось, чтоб не показать виду, что ее это интересует. Правда, она намекала несколько раз, так, мимоходом, и Юлия Карловна тоже отделивалась мимоходом. Она не знала, наконец, что и подумать.

А Юлия Карловна тем временем увивалась около нее, как около золотого истукана, восхищалась познаниями и досужеством ее ненаглядного, уже богатырски сложенного юноши, но все это делалось совершенно попустому: Марья Федоровна хотя и частенько получала из деревни деньги, но ей показывала только с пятью печатями пакет и отделивалась чашкою кофе и куском пирога по воскресеньям.

Юлия Карловна терпела и ждала, а на досуге благовестила в своем квартале, что приятельница ее, Марья Федоровна, не кто иной, как генеральша и темная богачка. Вследствие таких слухов у Марьи Федоровны образовался порядочный кружок знакомых и даже приятельниц, Правда, иные из них, увидевши, что генеральша дрожала над куском сахара и чашкой кофе, сочли за лучшее не поддерживать такого высокого знакомства; другие же, в том числе и Юлия Карловна, держались правила: терпение все преодолевает. Правило это не совсем, однакож, оправдывалось, — Марья Федоровна была просто, что называется, кремень. Приятельницы, впрочем, не унывали. Они были люди такого сорта, которые, если узнают, что ты человек денежный, хоть ты им своих денег и не показывай, они все на тебя будут смотреть, как на бога, и молиться и кланяться тебе, как самому щедрому богу.

Юлия Карловна, однакож, оказалась не так терпелива, как можно было ожидать от иностранки. Она, не совсем уповая на будущие блага, затеяла историю такого свойства.

После долгих ожиданий и глубоких сообра-

жений она сама себе сказала: «Да что же я за дура такая, сижу сложа руки да смотрю на нее. Что я, разве девку-то даром, что ли, выкормила? Да еще и пристрой, говорит, карьеру сделай. И все это так, ни за грош. Да и девка-то еще бог знает, кто такая, не то Лиза, не то Акулька, сама не знаешь, как и называть». Подождавши еще несколько месяцев, и подождавши втуне, она решилась поближе познакомиться с Аксиньей, горничною и кухаркою Марьи Федоровны, так, на всякий случай, — ее профессия такого свойства, что ей всякое знакомство к лицу. Однажды она так, совершенно случайно, встретилась с Аксиньей в мелочной лавочке и просила Аксинью зайти к ней хоть завтра, если удосужится, хоть на минуточку, — что она хочет поговорить с ней насчет одного весьма интересного дела. Аксинья охотно согласилась, но дело в том, что она не знала квартиры Юлии Карловны. Марья Федоровна, в случае крайней нужды, посылала или Ипполитушку на квартиру Юлии Карловны, или сама ходила к ней, но Аксинью не посылала, — она боялась, и не без основания, встречи ее с Лизою. Как же быть ей

теперь? Юлия Карловна подробно описала ей все улицы и переулки и, с мельчайшими подробностями, свой домик.

Аксинья, дождавшись воскресенья, пораньше убралася и отправилася к обедне. Все хорошо, все улицы и переулки она помнит, а дом-то она и забыла, как он прозывается. Но по приметам кое-как добралась и до дому, а чтобы больше убедиться, что это именно тот дом, который ей нужен, она зашла посмотреть в окна, не сидят ли девушки (одна из главных примет дома). Подошла она к первому окну, взглянула — видит, наклонившись за какой-то работой, — девушка, лицо совсем закрыто. Она постучала в окно с намерением спросить Юлию Карловну. Девушка подняла голову, взглянула на Аксинью и побледнела. Аксинья тоже переменилась в лице. После минутного молчания девушка едва внятно проговорила:

— Аксинья!

Аксинья вздрогнула: ей показалось что-то знакомое и давно забытое в этом голосе. Но она стояла, все еще не раскрывая рта.

— Аксинья! — повторила Лиза, — или это

не ты, а только так, сон?..

— Нет, это я, я — Аксинья, ваша нянька, когда помните.

— Помню, помню, — проговорила Лиза и выбежала к ней на улицу.

Долго они, обнявшись, стояли на улице, не говоря ни слова, пока одна из подруг Лизы, найдя, что подобная сцена среди бела дня и среди улицы неприлична, вышла к ним и уговорила их войти в комнату. В комнате встретила их сама Юлия Карловна, нечаянно тут случившаяся. Юлия Карловна сейчас смекнула, что их оставлять наедине нельзя, потому что они сдуру могут все ее предначертания испортить, а потому она, поздоровавшись довольно фамильярно с Аксиньей, повела их в свою комнату, усадила по углам и принялась варить кофе.

Несколько раз Лиза и Аксинья, глядя друг на друга, принимались плакать. Юлия Карловна, глядя на них, и себе плакала. Когда же они начали разговаривать, то Юлия Карловна старалась всячески помешать им. Она находила всякое между ними объяснение не соответствующим ее глубоким планам.

Угостивши кое-как кофеишком, она проводила Аксинью за ворота и крепко-накрепко наказала, чтобы она не проговорилась ей, что видела Лизу. «А тебе когда только свободно, заходи к нам, Аксиньюшка!»— прибавила она прощаясь.

Аксинья, простившись с Лизою, ушла.

Юлия Карловна призадумалась, позвала Лизу к себе в комнату, посадила около себя и с ласкою кошки начала ее расспрашивать.

— Скажи мне, милая Акулина, — говорила она, — что ты припомнишь о себе, когда ты была еще в деревне?

— Я помню только, что меня звали не Акулькой, а Лизой, что мы жили с братом в одной комнате, что брат мой Коля был несчастный, слепой мальчик и что у него сначала была нянькой вот эта Аксинья, а потом ее мачеха взяла к себе, а ему, бедному, прислала какую-то злую деревенскую бабу, которая ему есть не давала; так я его, бедного, с нею и оставила. Жив ли он теперь, несчастный? — И Лиза заплакала.

— Ну, а больше ничего не помнишь? — спросила Юлия Карловна.

— Помню еще, и никогда ее не забуду, нашу мачеху. Я здесь ее как-то раз увидела на улице и чуть не умерла со страха!

— А не помнишь ли ты, какой губернии и какого уезда ваше село?

— Ничего не помню.

Юлия Карловна не нашла нужным более продолжать свои расспросы, надела салоп и что-то засаленное, вроде шляпы, выслала Лизу из комнаты, заперла двери и вышла на улицу.

Аксинья, возвращаясь из гостей домой, еще на улице услышала шум из своей квартиры.

— Уж не воры ли, боже сохрани, забрались? — едва проговорила она и бросилась опрометью в калитку, взбежала на лестницу, отворила дверь, — и глазам ее представилась сцена, едва ли когда-нибудь прежде ею виденная, разве мимоходом и то около кабака.

Разъяренная, как бешеная кошка, с пеною на губах, со сжатыми кулаками, стояла Марья Федоровна в наступательном положении, а против нее в оборонительном положении, в позиции античного бойца стоял Ипполитуш-

ка. При входе Аксиньи Марья Федоровна как бы опомнилась, опустила кулаки и прошипела:

— Ах ты, изверг! — И, обратясь к Аксинье, сказала: — Сходи ты, позови ко мне этого глупого учителя. Хорошему научил он Ипполитушку!

Аксинья вышла из комнаты.

Этой почти трагической сцене предшествовало вот какого рода происшествие.

Отпустивши Аксинью к обедне, Марья Федоровна и сама пошла в церковь. Хотела было и Ипполитушку взять с собой, но у него нечаянно голова заболела, и он остался дома. А оставшись один, он отпер гвоздем маменькину шкатулку (он необыкновенно двинулся вперед по пути просвещения) и занялся отысканием в ней того секретного ящичка, в который маменька деньги прячет. Он уже вполне постигал, что такое значит деньги. К тому же он на прошедшей неделе удивительно был несчастлив и в бабки и в три листика. Попробовал было поставить на кон Греча грамматику^{192} — не берут; попробовал было в орлянку — и тут не повезло, просто хоть в

петлю лезь, а в долг не верят. А еще называются друзьями! Пробовал просить у маменьки, — и выговорить не дала. Что же ему и в самом деле оставалось делать? Разумеется, красть. А чтобы не далеко ходить, он решился первый этюд сделать над маменькиной шкапулкой, но, как еще неопытный и нетерпеливый вор, поторопился и забыл о мерах предосторожности, то есть забыл двери на крючок заложить. И в самую ту минуту, когда секретный ящик сделался для него уже не секретным, в ту самую минуту тихонько вошла Марья Федоровна и остолбенела от ужаса.

Через полчаса явилась в комнату Аксинья, а вслед за нею и педагог в новом вицмундире и с самой праздничной физиономией. Но как же длинно вытянулась эта улыбающаяся образина, когда приветствовала его раздраженная, аки львица, Марья Федоровна словами:

— Наставники! Прекрасные наставники! Покорно вас благодарю! — И она не могла продолжать от злости, а бедный педагог стоял, разиня рот и вытараща глаза.

— Покорно вас благодарю! — продолжала Марья Федоровна, едва переводя дух. — Да...

наставили, научили, просветили дитя! Смотрите, любуйтесь вашим просвещением! он, мое дитя! мое единственное дитя! по милости вашей, сударь, — вор, грабитель, а того смотри, и разбойник! И всему этому вы, вы один причиною, вы научили его обокрасть меня и после вам передать украденные деньги.

— Сударыня! — проговорил, задыхаясь, педагог, — вы лжете! Вы просто бешеная баба и больше ничего! Я с вами и говорить не хочу, прощайте!

И он обратился к двери. Марья Федоровна не ожидала от смиренного педагога подобной рыси и так была ею озадачена, что совершенно растерялась, и пока собралась с духом, педагог был уже за воротами.

— Беги, догони, проси на минуточку, пускай взойдет, — говорила она, толкая Аксиною за двери. Аксиныя побежала с лестницы, и она вслед за нею.

Через минуту педагог уже сидел на диване и хладнокровно слушал длинную повесть о подвигах и досужестве гениального ученика своего. Дослушавши с начала до конца сие повествование, он спросил:

— А зачем вы его в продолжение прошедшей всей недели не присылали ко мне учиться?

— Как не присылала? Он каждый день аккуратно ходил к вам. Даже и обедать не приходил домой!

— И в глаза не видал я его с самого воскресенья!

— Где же это ты пропадал, а?.. — обратилась было Марья Федоровна к Ипполитушке, но Ипполитушки и след простыл.

По долгом рассуждении, как исправить зло, решено было продолжать учение, потому что Ипполитушка, по словам учителя, не утвердился еще в письме и в русской грамматике, а во избежание его несвоевременных прогулок положено было, чтобы Аксинья отводила его поутру в школу и приходила за ним ввечеру.

Так и сделано. В понедельник поутру многие обыватели смиренного переулка заметили восемнадцатилетнего юношу в курточке *à l'enfant*⁽¹⁹³⁾, идущего в школу, а за ним пожилую служанку, несущую кожаный мешок с книгами и грифельную доску. Пока Ипполи-

тушка ходил один, никто его не замечал, а как пошла за ним Аксинья, все пальцами стали показывать. Странно!

Правильное и однообразное хождение за Ипполитушкой вскоре наскучило Аксинье, и она однажды ему предложила прогуляться в другую школу, то есть к Юлии Карловне.

Первый визит ему не совсем понравился, хотя его и потчевали леденцами, но зато второй визит пришелся как раз по нем. Юлия Карловна, чтобы свободнее поговорить с Аксиньей, отвела его к своим девицам и строго наказала им, чтобы гость не соскучился. Аксинья насилу могла его вытащить оттуда, так ему понравились девицы, — так понравились, что он начал из школы бегать к прекрасным сиренам. Сирены вскоре начали просить у него денег за доставляемые ему радости. «Денег? А где их взять, этих проклятых денег?» — так думал он. — «Хоть бы маменька скорее умирала, авось-либо не легче ли бы мне было», — так продолжал он думать.

Пока Ипполитушка забавлялся с девицами, Юлия Карловна, угощая цикорием простодушную Аксинью, узнала от нее все, что ей

нужно было знать насчет Лизы. Узнала даже и губернию, и уезд, и село как зовут, и, узнавши все это, сообщила своему знакомому писарю из главного штаба, который уже готовился держать экзамен на аудитора^{194}.

Будущий аудитор, узнавши такие секреты про свою милую Лизу, чуть с ума не сошел. Это просто слепая богиня фортуна! — как он выразился в восторге.

На женитьбу, однакож, Юлия Карловна не иначе соглашалась, как только с уступкою половины приданого, которое он со временем получит за Лизою.

Писарь, разумеется, на все согласился беспрекословно.

В заключение она научила его написать просьбу на имя оберполицеймейстера, и они расстались.

Теперь оставалось уверить Лизу, что Аксинья баба дура и что она все наврала, что она действительно Акулька, а не Лиза и не барышня, а настоящая крепостная девка и что ей теперь предстоит такая карьера, что она, если не глупа будет, со временем может быть и высокоблагородной.

— Что ж, согласна ты, Ли... Акулька? — спросила она ее.

— Согласна, хоть за трубочиста согласна, только не держите меня в этом омуте.

— Вот уже и омуте. Дом как дом, — не узнала еще, что впереди будет.

— Хуже не будет.

— Вот тебе и благодарность. Ах ты, негодная! Вишь, отъелася чужого хлеба... потаскушка! Деревенщина!..

И они чуть-чуть не подралися.

Наругавшись досыта, они, наконец, помирились, и любезно выпивши по чашке кофе, Юлия Карловна наскоро оделася и вышла со двора, а счастливая невеста, оставшись одна, горько зарыдала. Юлия Карловна с доброй весточкой отправилась прямо к Марье Федоровне и застала ее в самом счастливом расположении духа: она получила из деревни порядочную пачку ассигнаций с известием, что слепой барич упал в канаву или в какую-то яму и сломал себе ногу.

После первых лобызаний приятельницы уселись на диване, и Юлия Карловна, немного помолчав, сказала:

— Ну, матушка Марья Федоровна, насилу-то я ее уломала, — вишь ты, за писаря, говорит, не хочу, подавай ей чиновника.

— Ах она, мужичка! — проворчала Марья Федоровна, — вишь, чего захотела, чиновника! А как возьму в деревню да отдам за пастуха на скотный двор!

— Да то ли еще она толкует, говорит, что она не крепостная девка, а благородная.

Марья Федоровна изменилась в лице.

— Ну, да я ей показала, какая она благородная. Просто-запросто по щекам да заставила молчать.

— И прекрасно, — проговорила Марья Федоровна.

— Да вот еще что: жених-то артачится. Меньше, говорит, тысячи рублей не возьму.

— Ах он, писаришка! Тысячу рублей за крепостной девкой! Да где это видано?

— Да, видишь ты, она и ему натолковала, что она не простая, а благородная.

Марья Федоровна опять смешалась и, подумавши немного, сказала:

— Не возьмет ли он хоть половину?

— Я уже ему семьсот давала, и слушать не

хочет.

— Не знаю, как и быть, — проговорила, как бы сама с собой, Марья Федоровна.

— Да как быть? Давайте тысячу, да и концы в воду.

— Хорошо, я согласна, только после свадьбы.

— А он просит теперь же, а без денег и в церковь не идет. А с деньгами хоть сейчас под венец.

— Ну, черт его возьми, отдайте ему деньги, а я вам после возвращу.

— Да у меня и рубля за душою нет.

— Как же нам быть, разве последние отдать? Да с чем же я сама-то останусь? Ну, дьявол с ним, скорее бы только разделаться. Зайдите ко мне завтра, Юлия Карловна, — прибавила она, как бы опомнившись.

— Хорошо, зайду. Только завтра непременно, потому что в воскресенье можно будет и под венец, а сегодня, знаете, четверг, нужно поторопиться.

— Так знаете что, зайдите ко мне через час. Или подождите, я посмотрю, не найдется ли у меня дома. — И она ушла в другую ком-

нату.

Вскоре раздался звук замка, и Юлия Карловну улыбнулась. Через несколько минут вышла Марья Федоровна с пачкою ассигнаций в руках.

— Как раз столько, сколько нужно, — говорила она, отдавая ассигнации Юлии Карловне.

Та бережно взяла деньги и, внимательно пересчитавши, положила в свой грязный мешок.

— Теперь милости просим на свадьбу, приходите хоть в церковь.

— В церковь зайду.

— Приходите. У Знаменья будут венчаться, в четыре часа после обеда.

— Хорошо, непременно зайду.

И они расстались. Юлия Карловна, спускаясь с лестницы, прошептала:

— Знает кошка, чье мясо съела.

А Марья Федоровна, оставшись одна, свободно вздохнула и тоже прошептала:

— Ну, слава богу, отделалась!

Отделалась, да не совсем, можно было бы прибавить.

Долго ходила она по комнате, заложа руки за спину, как настоящая львица. Потом вдруг остановилась посередине комнаты и со всего размаху хлопнула рукой себя по лбу и вскрикнула:

— Ах я, дура! Аксинья! А, Аксинья!

Вбежала испуганная Аксинья.

— Что ты, дура, глаза-то вытаращила? Беги, ворота скорее Юлию Карловну! — Аксинья выбежала.

— Тысячу рублей! Ах я, дура, дура (разговаривала сама с собой Марья Федоровна)... тысячу рублей! Без расписки, безо всего! И кому же? Какой-нибудь — фи! стыдно и выговорить. Да что это со мною случилось? Нет, она меня непременно околдовала. Ну что, если она отопрется? А отопрется, это я наверное знаю. Ну да черт с ними и с деньгами, пускай их куда хочет девадет, лишь бы мне эту потаскушку с рук сбыть, а то она у меня как бельмо на глазу... В воскресенье в четыре часа. Пойду, непременно пойду...

И она снова заложила руки за спину и заходила взад и вперед по комнате в ожидании Аксиньи.

А Аксинья между тем, добежавши до дому Юлии Карловны, встретила у самой калитки с Лизою.

— Здравствуй, Аксинья! Как хорошо, что ты зашла, а мне тебя очень нужно было видеть.

— Здравствуйте, барышня! Мне нужно Юлию Карловну.

— Да ее нету дома, с утра еще куда-то ушла. А вот что, Аксинья! Ты говоришь мне, что я барышня, а я такая же крестьянка, крепостная, как и ты. Только ты... честная, а я... — И Лиза не могла говорить далее.

— Что вы! что вы, Лизавета Ивановна! Да вы настоящая честная, благородная барышня.

— Да кто тебе это сказал, что я барышня?

— Ах, боже мой! Кто сказал? Да разве не сама я вас на руках выносила! Кто сказал? Вот прекрасно!

— А Юлия Карловна говорит, что ты все врешь, что ты меня только смущаешь.

— Смущаю, вру! Я вру? Да наплюйте вы ей в самое лицо. Я вру? Да я присягу приму, к губернатору пойду. К самому государю!.. Вишь, держит благородную барышню, как ка-

кую-нибудь, прости господи, девку непотребную... Да я же и вру... Нет, я докажу ей, что я еще не врала.

— Вот что, Аксинья... — перебила ее Лиза, — ведь она меня замуж отдает.

— Что ж, и с богом! Святое дело, коли благородный человек, потому что вам не за благородного выходить не годится.

— Он теперь еще так только писарь, а скоро будет и благородный...

— То-то вот, чтоб непременно был благородный, а то как можно!

— Да я рада хоть за палача, только бы мне вырваться из этого содому!.. — И Лиза заплакала.

— Что вы! что вы! барышня! Перекреститесь! Такие слова говорите — за палача!

— Ах, Аксинья, Аксинья, если бы ты знала, что я терплю здесь, ты бы не то сказала.

В это время дверь на улицу растворилась и выглянула на улицу какая-то небритая физиономия в галунах и крикнула:

— Лиза!

И дверь снова захлопнулась.

— Идите, барышня, вас зовут. И я побегу:

меня, чай, барыня-то ждет не дождется. Прощайте!

— Прощай, Аксинья! Приходи на свадьбу.

— Приду, непременно приду, — говорила Аксинья, перебегая улицу.

— Где это ты таскалася? — таким вопросом встретила ее Марья Федоровна.

— Да я ее не догнала. Бегала на дом — и дома нет. Говорят, как ушла с утра, так и не приходила.

— Так ты успела уже и дом ее проведать? Ах, ты негодная тварь! Да знаешь ли ты, что это за дом такой? Потаскушка ты этакая!

— Дом как дом, ведь туда и Ипполит Иванович изволят ходить...

— Что?

— Там и наша барышня, Лизавета Ивановна, живут!..

— Что?

— Я говорю, что там...

— Молчи, язык отрежу!.. Пошла вон!

И Аксинья вышла.

С Марьей Федоровной сделалась истерика, и к вечеру она слегла в постель. На другой день обступили одр ее бескорыстные прия-

тельницы и посоветовали ей на ночь напиться малины, что она и сделала, хотя от этого ей ничуть не легче стало.

В воскресенье, однакож, как ей ни трудно было, она вышла со двора ровно в три часа. Хотела было и Ипполитушку взять с собой, но он ушел к учителю повторять урок. На улице попался ей извозчик (явление редкое на Песках). Она спросила его, что возьмет до Знаменья. Тот сказал ей: гривенник. Она выругала его и поплелась пешком. После вечерни часов до шести сидела она у церковной ограды, а о свадьбе и слуху не было. Наконец, она встала и поплелась домой, говоря про себя: «Они в другой церкви перевенчались: сем-ка я пойду мимо дома Юлии Карловны». — И она пошла мимо дома Юлии Карловны. Далеко еще не доходя до дому, она услышала музыку и песни. «Так и есть свадьба», — подумала она. Она весело подошла к самым окнам, взглянула в комнаты, и что же она увидела? О, позор и ужас! Ее милый и пьяный Ипполитушка, в разорванной рубашке, без подтяжек и прочего, для чего выдуманы подтяжки, плясал тоже не совсем с трезвою, разухабистою барышнею

камаринского под звук унылый фортепиано. (Вот где он получил первые уроки в сем великом искусстве, которому так чистосердечно удивлялись солдаты в крепости Орск.)

Полюбовавшись на свое милое единственное чадо, на своего будущего помещика, она кое-как перешла на другую сторону улицы и села на панели отдохнуть. В это время калитка отворилась, и на улицу вышла сама Юлия Карловна с каким-то военным писарем. На улице он ловко, настояще по-писарски, раскланялся и пошел в одну сторону, а Юлия Карловна в другую.

«Так у них ничего не бывало», — подумала Марья Федоровна и, собравшись с силами, встала на ноги и позвала Юлию Карловну.

Та подошла к ней, как ни в чем не бывало, раскланялась и спросила о здоровье.

— Здоровье-то мое еще не так плохо, как вы со мною плохо поступаете. Да что и в самом деле, — прибавила она, возвыся голос, — что я вам, дура какая, что ли, далась? Где же свадьба?

— Какая свадьба?

— А что говорили, у Знаменья?

— Ах, да... и забыла. Ну, еще успеем перевенчать, было бы приданое готово.

— Какое приданое?

— Да такое, какое я вам говорила. Тысячу рублей!

— Да ведь я вам отдала.

— Вы мне должны были по контракту, за Акульку, и отдали, а теперь припасайте приданое для Лизаветы Ивановны Хлюпиной. Понятно вам теперь?

Марья Федоровна не дослушала и верно бы грохнулась на мостовую, если б Юлия Карловна ее не поддержала. Всю эту сцену Лиза видела из окна, и когда дошло дело до обморока, то она выбежала на улицу и, подбежавши к трогательной группе, стала пособлять Юлии Карловне приводить в чувство Марью Федоровну.

Придя в себя, Марья Федоровна оглянулася вокруг себя и, не сказав ни слова, плюнула в лицо Юлии Карловны и пошла быстро по улице.

— Что это значит? — спросила Лиза у Юлии Карловны.

— Сумасшедшая, больше ничего!

И они проводили ее глазами до угла переулка и пошли домой.

Марья Федоровна совершенно растерялась. Так часто самый смелый, самый предприимчивый злодей падает духом от одного слова, изобличающего его злодейства.

Она от бешенства рвала на себе волосы, грызла себе руки, била немилосердно Аксиныю и проклинала своего милого Ипполитушку, который, во избежание чего-нибудь вещественнее проклятий, несколько дней и домой не являлся. А где он обретался, этого никто не ведал. Наконец, она немного поуходилась и серьезно захворала.

Приятельницы снова хором посоветовали ей выпить малины. Она напилась, но малина не помогла, и ромашка тоже не помогла. Приятельницы охали и больше ничего. Так прохворала она месяца два; приятельницы одна за другою ее оставили; Ипполитушка по нескольку дней глаз не показывал, Аксиныя одна, как верная собака, ее не оставляла.

А Юлия Карловна с будущим аудитором вот что придумали. Они написали письмо от имени Марьи Федоровны в село к священни-

ку, со вложением пятирублевой депозитки, чтобы он вытребовал из консистории метрическое свидетельство о рождении и крещении Лизы.

Немало удивился отец Ефрем, получивши такое послание. Недавно он читал письмо, исполненное слез и воздыханий о смерти Лизаветы Ивановны, и панихиду уже отслужил за упокой ее души, а теперь требуют свидетельство о рождении и крещении. «Странно», — подумал он и послал пономаря в город за гербовой бумагой, а сам пока рассказал попадье своей о странном приключении. Попадья не замедлила сообщить о сем управительше, а управительша соседке-однодворке, а соседка-однодворка покровительствующей ей помещице, а помещица помещикам, так что пока отец Ефрем получил из консистории Лизино свидетельство, то уже вся губерния знала об этом странном происшествии, и всякий, разумеется, толковал его по-своему, но к самой истине никто и не приближался.

Отец Ефрем, получивши свидетельство, отослал его по приложенному в письме адресу, то есть на имя Юлии Карловны.

Юлия Карловна, получивши сей драгоценный документ, показала его будущему аудитору, и решено было немедленно приступить к делу, то есть приступить к Марье Федоровне, чтобы выдала еще тысячу рублей на свадьбу.

Сначала написали письмо, но на письмо ответа не последовало, потому что Марья Федоровна читала только печатное, а скорописному не училась, постороннему же лицу она боялась показать письмо: она догадывалась, что письмо в себе ничего хорошего не заключало.

В одно прекрасное утро Юлия Карловна явилась за ответом сама лично и, после пожелания доброго утра, сказала:

— Як вам, Марья Федоровна.

— Вижу, что ко мне. А за чем бы это?

— За чем... гм, за чем? За деньгами, Марья Федоровна!

— Что, я вам должна, что ли?

— Должны, Марья Федоровна!

— А много ли, нельзя ль узнать?

— Всего-навсе тысячу рублей!

— Опять тысячу рублей?

— Точно так, Марья Федоровна!

— Ах ты, душегубка! Ах ты, кровопийца! Ах ты... — Тут уж она такие посыпала причитанья, что ни словами сказать, ни пером написать.

Юлия Карловна хоть бы тебе бровью пошевельнула, как будто эти причитанья совершенно не ее касались.

— Так вы не даете тысячи рублей? — сказала она, когда Марья Федоровна немного поуходилась.

— Не даю! и не даю! — отвечала та.

— Как угодно! Значит, я завтра же могу объявить оберполицеймейстеру насчет Лизы...

Марья Федоровна только взглянула на нее, но не сказала ни слова. Юлия Карловна тоже молчала. Так прошло несколько минут. Потом Марья Федоровна молча встала, сняла со стены образ и, подавая его Юлии Карловне, сказала:

— Клянись мне ликом святого мученика Ипполита, что вы завтра же все покончите!

Юлия Карловна произнесла:

— Клянусь, — и даже перекрестилась по-

русски. Марья Федоровна вынула из шкатулки пачку депозиток и, отсчитавши тысячу рублей, молча отдала деньги Юлии Карловне, а та так же молча приняла их, пересчитала и, положивши в мешок, сказала:

— До свидания, Марья Федоровна.

— Нет, не до свидания, а совсем прощайте! Я завтра уезжаю в деревню.

— Да вы хоть до воскресенья подождите! В воскресенье непременно повенчаем.

— И без меня повенчаете. Прощайте!

— Ну, как хотите. Прощайте, когда не угодно. — И Юлия Карловна удалилась.

В следующее же воскресенье тихо, скромно совершился обряд венчания в Знаменской церкви. В числе прочих любопытных и Марья Федоровна была в церкви. И когда было все кончено, она подошла к Лизе и поздравила ее со вступлением в законный брак.

Лиза вскрикнула и упала в обморок, а Марья Федоровна скрылась в толпе.

Весело возвратилась она на квартиру и отдала приказание Аксинье собираться в дорогу.

— Довольно, будет с меня, — прибавила

она, — навеселилась я в этом проклятом Петербурге. Теперь осталось оженить Ипполитушку, и мое дело кончено, — говорила она сама с собой.

Аксинья, видя доброе расположение своей барыни, попросилась со двора и получила позволение. Марье Федоровне и в голову не пришло, что Аксинья просилась на свадьбу к Лизавете Ивановне.

Свадьба была шумная, и больше всех отличался на свадьбе Ипполитушка и к рассвету так наотличался, что его тут же и спать уложили.

На другой день Ипполитушка чувствовал себя дурно, и еще дурнее почувствовал он себя, когда ему сказали, что он заложил свой макинтош⁽¹⁹⁵⁾ Юлии Карловне за три целковых, чтобы сделать подарок невесте. Ипполитушка, подумавши немного, отправился к Юлии Карловне, пал перед нею на колени и вымолил у нее курточку и плащ до вечера только. Юлия Карловна сжалилась.

Кое-как оделся он и вышел на улицу. Куда же теперь идти? Он опять призадумался и призадумался не на шутку. К матери он боял-

ся глаз показать, а три целковых нужно к вечеру достать. А то Юлия Карловна и на порог к себе не пустит с пустыми руками, а это для него хуже всего на свете.

Думал он, думал, да и выдумал вот какой несложный, а, между прочим, верный проект.

«Маменька теперь, — думал он, — уже третий месяц больна и со двора не выходит, следовательно, могут все поверить, что она умерла, и если я, не заходя домой, обойду всех ее знакомых и попрошу, кто что может на погребение матери, неужели не наберу три целковых? У, какой вздор, да одна майорша Потаскуева даст три целковых. Ура! Прекрасно! Я же тебе докажу, поганая чухонка, что я честный человек». — И, одушевленный этой истинно гениальной мыслью, он почти побежал вдоль улицы.

На другой день часу в десятом начали собираться приятельницы на вынос тела покойной Марьи Федоровны. Представьте же себе их изумление, когда их встречала мнимая покойница, просила садиться и благодарила за память! Она думала, что приятельницы проведали о ее скором выезде и пришли про-

ститься с нею. Вскоре она сильно разочаровалась. Одна, а за ней и другая, а за другой и третья приятельницы не выдержали и высказали настоящую цель своего посещения.

Марья Федоровна, как ни крепилася, однакож не могла дослушать красноречивую повесть о похождениях своего единственного Ипполитушки, выгнала вон своих сердобольных приятельниц и послала Аксиныю за учителем. Явился скромный педагог, она попросила его написать объявление в полицию о пропаже сына. Когда объявление было готово, она сейчас же отправила его в часть, а педагогу дала двугривенный просила купить лист гербовой бумаги в пятнадцать копеек серебра.

В тот же день перед вечером дали знать из части об овце обретшейся и спрашивали, что с нею делать. Она этого квартального, который пришел ей дать знать о блудном сыне, просила написать к кому следует бумагу о принятии ее сына в городскую тюрьму на сохранение.

На другой день Ипполитушка путешествовал со шнурком на руке, искусно прикрытым

коротеньким плащом, и с полицейским хозяином прямо в Литовский замок^{196}.

В тот же день, после обеда, сидел за столом у Марьи Федоровны смиренный наставник и искусно изображал на гербовом листе прошение на высочайшее имя о написании в рядовые сына Ипполита вдовы помещицы Марьи Хлюпиной за неуважение к матери.

На прошение не замедлило воспоследовать соизволение, и в одно прекрасное утро вышел Ипполитушка из Литовского замка с партией арестантов на Московскую дорогу.

Не успел еще Ипполитушка пересчитать этапов между Москвою и Петербургом, как к Марье Федоровне пришел тот же самый квартальный и объявил ей, что она арестована в собственной квартире по предписанию управы благочиния^{197}. И это случилось именно в тот день, когда она собиралась оставить навсегда противный Петербург. Квартальный вежливо раскланялся и исчез, оставив за собою след, то есть полицейского солдата у ворот.

Неделю спустя после свадьбы, Лизу вооружили Юлия Карловна и благоверный супруг

ее бойко, четко и дельно написанным прошением и послали в канцелярию министра внутренних дел. Прощение было принято самим министром, рассмотрено и пущено в дело. По справкам оказалось, что прощение, как ни казалось с первого разу неправдоподобным, оказалось истинным. Марью Федоровну арестовали и произвели следствие. По следствию она оказалась преступною в угнетении детей своего мужа и в намерении лишить их наследства в пользу своего сына Ипполита. За все это судом приговорена она к заточению в отдаленный девичий монастырь на вечное покаяние.

Так кончились злые ухищрения Марьи Федоровны, и она теперь, лишенная всего, даже личной свободы, в тесной, мрачной келье «издыхает, как отравленная крыса в норе», — как выразился автор «Путешествия Гулливера»^{198}.

Елизавета Ивановна, приведя дела свои к благополучному окончанию, выехала из столицы вместе с супругом своим, уже не простым писарем, а коллежским регистратором^{199}. Юлия Карловна просилась было тоже с

ними в деревню, в виде маменьки или хоть ключницы, но ей решительно отказали, и она осталась попрежнему содержательницей известного заведения.

Во всем уезде, или, лучше, по всей губернии, была известна история Лизиных грустных походов, вследствие чего чувствительные соседки-помещицы встретили ее с распростертыми объятиями, как героиню истинно романическую.

Вскоре заброшенное село начало обновляться.

Муж Лизы оказался весьма порядочным человеком, а через год и порядочным сельским хозяином, так что заброшенные части хозяйства пришли в движение и приносили свою пользу.

Словом, все воскресло с прибытием Елизаветы Ивановны, но сильнее всех почувствовал ее присутствие бедный слепой Коля. Она с ним ни на минуту не расставалась, ухаживала за ним, как самая попечительная нянька и самая нежная сестра.

Церковь посещал он попрежнему и попрежнему с любовью исполнял обязанности

дьячка и пономаря. Это было его самое задушевное и единственное занятие. Часто, возвращаясь поздно от всенощной, он тихо и невыразимо грустно пел: *Все упование мое на тя возлагаю, мать божия, сохрани мя под кровом твоим.*

1855, 20 февраля.

Капитанша^{200}

В 1845-м, в том самом году, когда наводнением до половины разрушило город Кременчуг, а Крюков остался невредим, а в Киеве так даже к Братскому монастырю вода поднялась, — так в этом критическом году, в конце марта месяца, выехал я из Москвы^{201} по Тульскому, тогда только что открытому шоссе. Ехал я (заметьте, на почтовой перекладной телеге) две недели до Тулы да до Орла неделю, итого три недели. А что я вытерпел в эти три недели, так этого никакое перо не в силах описать. Одно только скажу вам, что я не из описания какого-нибудь туриста, а из собственного опыта знаю, что стоит тарелка щей и ломоть хлеба на почтовой станции. То, будучи практически знаком с комфортом поч-

товых станций, я, выезжая из Москвы, нагрузил порядочную корзину всяким соленым и копченым добром. И что же! всю эту благодать я должен был бросить на второй станции, то есть в городке Подольске, потому что все это — и даже я сам — окунулося несколько раз в грязной снежной воде. Благоразумие требовало возвратиться в Москву, но поди же ты, толкуй с упрямой головою (между нами будь сказано, я-таки не отстал от своих земляков в этой добродетели, то есть в упрямстве, что мы из вежливости называем силою воли). Итак, от Подольска до Тулы пропутешествовал я на пище святого Антония^[202], от Тулы до Орла — на той же самой пище, потому что город Тула хотя и славится ружьями и гармониками, но колбасною лавкой не может похвалиться; словом, я в Туле, и то с трудом, нашел соленого судака, привезенного с берегов синего Дона, или с берегов Урала, или же с берегов матушки Волги. С таким-то провиантом доехал я до города Орла. Остановился я было в гостинице, тут же около почтовой станции, да на другой день как пересчитал свою казну, так только ахнул! У меня всего-навсе было на-

личных трехрублевая депозитка да мелочи два четвертака, а из Москвы я взял с собою ровно сто рублей серебром; С такою суммою как не доехать из Москвы до Киева? А вот же случилось так, что я только до Орла доехал, а там, то есть в Орле, и сел, как рак на мели. Я призадумался не на шутку и после сугубых размышлений пошел я искать постоянный двор. Опять горе — Ока и Орлик затопили не только все постоянные дворы, но и большую часть самого города. Возвратился я в свой номер еще грустнее, чем из него вышел; в раздумье сел у окна и смотрю на улицу, а по улице плетется запряженная парюю невзрачных лошадок большая крытая телега, а около нее с кнутиком в руке идет небольшого роста пузатенький, с рыжей бородкою, мужичок. «А, приятель! — думаю себе, — тебя-то мне и нужно!» — Я отворил окно и крикнул:

— Эй! мужичок! молодец!

Мужичок остановился, снял шапку и, посмотревши на окна гостиницы, увидел меня и сказал:

— Ты, барин, кличешь?

— Я.

— А что те надоть? — спросил он.

— А вот что. Ты извозчик?

— Вестимо, что извозчик!

— А которой губернии?

— Тутошной губернии, барин. А уезда Митровского. — А не желал бы ты, любезный, на празднике дома побывать? (Это было на шестой неделе великого поста.)

— Как не желать, барин, — вестимо, желаю; да как порожнемпустишься один?

— А хочешь, я тебе седока найду до Глухова?

— Как не хотеть, да мне, пожалуй, хоть и до Москвы.

— Да ты знаешь ли, где Глухов?

— Как не знать? — за Митровским. Мы и в Киеве бывали не раз.

— Много ли же ты возьмешь?

— С пуда, что ли, барин?

— Пожалуй, хоть и с пуда.

— По два с полтинкой, барин!

— Хорошо, согласен, только с тем, чтобы деньги получить в Глухове.

— А задаточку, барин?

— Да там же, в Глухове, и задаточку. Мужичи-

чок почесал в затылке и, посмотрев на меня с минуту, спросил:

— А когда ехать, барин?

— Да, пожалуй, хоть сейчас.

— Сейчас, барин, нельзя: маненько лошадак покормить надоть.

— Да где же ты их кормить станешь? Как тебя найти?

— Да здесь же, на улице. Вишь, постоянные дворы все залило водою, где кормить станешь?

И, говоря это, он приворотил к забору и начал откладывать лошадак.

Я вышел к нему на улицу, осмотрел телегу. Телега была поместительная, крытая сплошь, вроде еврейской брички.

— Какой же ты товар перевозишь в этой посудине? — спросил я его.

— Да какой товар? Вот теперь хоть и вашу милость повезу, а сюда какую-то барыню привез, из Митровска. К детишкам, что ли, приехала: в училище каком-то али корпусе, говорит. Да уж и злющая же, бог с ней, то и дело дерется с девкой.

— А как думаешь, выедем сегодня али не

выедем? Мужичок посмотрел на солнце и сказал:

— Лучше, барин, переночуем.

— Пожалуй, переночуем.

И я от нечего делать пошел шляться по городу.

Проходя мимо табачной лавочки, я увидел между выставленными в окне [товарами] с разными изображениями табачные картузы и гармонику. Я не предвидел большого разнообразия в моем путешествии: дай-ка, мол, я куплю гармонику, буду хоть детей спотешать на постоянных дворах. Купил я гармонику и возвратился на квартиру. А на квартире, отдохнувши после прогулки, я задал себе такой вопрос: а что, если у моего приятеля в Глухове, на которого я надеюсь, как на каменную стену, не случится денег, что я тогда стану делать? Правда, у меня в Глухове есть и другой приятель, на которого наверняка можно рассчитывать, потому что он одной фарфоровой глины продает тысяч на сто^{203} в продолжение года, так как на него не понадеяться? Но дело в том, что он пан на всю губу, как говорится. У него к обеду иначе выйти нельзя, как во фра-

ке, а это-то мне и не нравилось. Оно и в самом деле смешно, — жить в деревне и наряжаться каждый день, — черт знает что! Хорошо еще, если похороны, или свадьба, или другой какой семейный праздник, а так — это больше ничего, как самое нелепое подражание аглицким лордам.

Итак, по долгом размышлении я написал письмо в Киев и просил, чтоб выслали мне денег в Глухов, а адресовали на имя не того приятеля, что продает фарфоровую глину, а на имя соседа его, ротмистра в отставке тако-го-то.

Устроивши все, как следует порядочному человеку, я на другой день до восхода солнца погрузился в фургон и благополучно прибыл на постоялый двор, отстоящий от города Орла на двадцать пять верст.

Здесь было бы очень кстати описать со всевозможными подробностями постоялый двор, но так как это *tableau de genre* описывали уже многие не токмо прозою, но даже и стихами, то я не дерзаю соперничать ни с кем из этих досужих списателей, ни даже с самим гомеровским описанием в стихах постоялого

двора, напечатанным, не помню, в каком-то журнале, где и сравнивается это описание с «Илиадою».

В город Кромы мы прибыли ночью и до рассвета выехали, следовательно, о городе Кромах мне тоже нечего сказать, разве только что за тарелку постных щей с меня взяли полтину серебра, собственно за то, что я не поторговался прежде. Вот все, что я могу сказать о городе Кромах.

Солнце уже довольно высоко поднялось, когда я проснулся в своем фургоне. Проснувшись, я высунул голову посмотреть на свет божий и спросить у Ермолая (так звали моего извозчика), далеко ли до постоялого двора.

— А вот спустимся за горку, там и будет постоянный двор.

Я посмотрел вокруг. Думал, что и в самом деле где-нибудь увижу хоть маленькую горку, — ничего не бывало: равнина, однообразная равнина, перерезанная черною полосой почтовой дороги, утыканной кой-где ракишником и пестрыми столбами, именуемыми верстами.

Незавидный, правду сказать, пейзаж, и ес-

ли принять в соображение мое небыстрое путешествие, то он покажется даже скучным. Что будешь делать? Читать нечего, думать не о чем (в то время я повестей еще не сочинял). Вот я полежу, полежу в фургоне, да и вылезу из него, пройду версту-другую пешком, да и опять в фургон, поиграю на гармонике, а Ермолай попляшет. Он почти не садился на облучок, но постоянно шел себе с кнутиком около лошадок, и когда я наигрывал на гармонике, то он принимался плясать, сначала тихо, потом быстрее и быстрее, а когда приходил в азарт, то, обращая ко мне, почти вскрикивал:

— Почаще, барин! почаще, барин!

Я ему и почаще заиграю, а он почаще пропляшет, а там, глядишь, и постоялый двор.

Так-то мы с Ермолаем коротали и время и дорогу до самой Эсмани (первая станция Черниговской губернии). Не успеешь переехать границу Орловской губернии, как декорация переменилась: вместо раkitника по сторонам дороги красуются высокие развесистые вербы; в первом селе Черниговской губернии уже беленькие хатки, соломой крытые, с ды-

марями, а не серые бревенчатые избы; костюм, язык, физиономии — совершенно все другое. И вся эта перемена совершается на пространстве двадцати верст. В продолжение одного часа вы уже чувствуете себя как будто в другой атмосфере; по крайней мере, я себя всегда так чувствовал, сколько раз я ни проезжал этой дорогой. Едучи из Киева через Чернигов, хотя и чувствуешь себя по ту сторону Десны уже не в Малороссии, но там все-таки есть хоть небольшая интонация, а между Эсматью и [Глуховым?] совершенно никакой.

Проехавши версты две или три за Эсмать, я увидел вправо, недалеко от дороги, уже не серый бревенчатый, с крепкими воротами, постоялый двор, а белую, под соломенной крышей, между вербами, корчму. Вид этой первой корчмы мне напомнил еще в детстве слышанную мною песню, которая начинается так:

*Ой у полі верба,
Під вербою корчма.*

Засветло можно было бы еще приехать в Глухов, но мне так понравилась эта корчма,

что я просил Ермолая остановиться в ней и переночевать, на что он охотно согласился, потому что в корчме, как он говорил, все дешевле, нежели в городе.

Поровнявшись с самой корчмою, мы остановились, и я увидел человека, не обращавшего на нас совершенно никакого внимания. Человек этот одет довольно странно: в серой солдатской шинели, подпоясанный, вместо пояса, свитым из соломы жгутом, в черной бараньей шапке и с граблями в руках. Я вылез из телеги и, подойдя к нему, спросил:

— Что, ты хозяин?

— Авжеж хозяин, — отвечал он, едва взглянув на меня.

— Что же, у тебя сено есть?

— Авжеж есть.

— И овес есть?

— Авжеж есть.

— А поужинать будет ли что?

— Авжеж буде, — и он обратился к извозчику и совсем неласково сказал ему:

— Чого ж ты там стоишь, московська вороно, чому не заизжаешь? — и он пошел отворять ворота корчмы.

Мне понравился мой оригинальный земляк как содержатель заезжего дома на большой дороге. Особенно после орловских дворников⁽²⁰⁴⁾, которые встречают тебя за полверсты, снимают шапку, кланяются, божатся, что у них все есть, кроме птичьего молока, а на поверку окажется только овес и гнилое сено, а поужинать или пообедать, особенно в великом посту, и не думай: подадут тебе щей с вонючим постным маслом, да и слупят полтину серебра, коли вперед не поторгуешься.

Пока несловоохотный хозяин отворял и заворял ворота своей корчмы, я пошел размять ноги, онемевшие от долгого сиденья.

Корчма была тщательно выбелена, а около окон обведено было желто-красноватой глиной; примыкающий к корчме сарай, или так называемая *стодола*, тоже аккуратно вымазана желтой глиной. Вообще вид корчмы показывал, что через несколько дней будет у людей великий праздник. По другую сторону корчмы я увидел изгородь, примыкавшую к самому строению, — небывалая вещь около корчмы. Я подошел поближе. За изгородью две женщины копали гряды, и одна из них

что-то рассказывала, а другая так звонко, чистосердечно смеялась, что я сам невольно рассмеялся. Та, которая рассказывала, была женщина уже не первой молодости, а которая смеялась, — только что расцветшая чернобровая красавица и, казалось, была дочерью первой, а не подругою.

Не успел я рассмотреть их хорошенько и послушаться гармонического смеха красавицы, как из-за угла корчмы показался сам хозяин и позвал их в хату варить вечерю. Я и себе последовал за ними в хату. У дверей встретился я с хозяином. Он мне пожелал доброго здоровья и просил войти в светлицу. Я вошел в просторную, чисто выбеленную хату, разделявшуюся во всю длину ее, как стеною, кафельною печью^{205}. Около стен кругом стояли лавы, или скамейки, а между ними возвышался дубовый, чисто вымытый стол. На стене в углу висел образ, украшенный свежеею вербою и засохшею мятой и васильками.

— Просымо садыться, — сказал хозяин, снимая шапку. — Здесь мы сами живемо, — прибавил он, — а для такого народу у нас есть другая хата.

— А что, хозяин, — спросил я его, садясь на скамье, — можно у вас достать водки?

— Чому не можна! Вам полкварти чы всю квартиру? — спросил он.

— Хоть пол квартиры на первый раз.

— Добре, — сказал он и вышел из хаты.

Вскоре возвратился он с рюмкою и графином, а за ним шла с тарелкою и полотенцем в руках веселая огородница. Это была самая очаровательная брюнетка, шестнадцати или пятнадцати лет, стройная, гибкая, как молодая тополь. Волосы ее, густые, блестящие, были повязаны черной лентой и украшены свежим зеленым барвинком.

Она покрыла край стола полотенцем, поставила тарелку с какой-то соленой рыбой, положила на стол два куса белого хлеба и, улыбнувшись, удалилась из хаты. Проводивши глазами красавицу, я обратился к хозяину:

— А что, земляк, не выпить ли нам по рюмке водки?

— Чому не выпить? — отвечал он и сел на скамейке. Я выпил водки и хозяина попотчевал. Немного погодя, я еще попотчевал его и

спросил:

— Ты, кажется, хозяин, служил в солдатах?

— Авжеж служил.

— То-то ты так важно и по-русски говоришь!

— О так пак! У Владимирской губернии квартировали шесть лет^{206}, та щоб не выучиться говорить по-русски!

Добряк не заметил моей шутки, за то я ему налил еще рюмку водки.

— А что, я думаю, ходил и под француза?

Этот вопрос я сделал ему потому, что заметил у него голубую ленточку, нашитую на шинели^{207}.

— Авжеж ходыв! — ответил он.

— Немало же ты их, проклятых, пересажал на штык?

— Ни одного.

— Отчего же это так случилось? — не без удивления спросил я его.

— Я был музыкантом!

Это меня еще больше удивило, потому что в физиономии его и вообще в приемах незаметно было ничего такого, что бы обличало в нем виртуоза.

— На каком же ты инструменте играл? — спросил я его.

— На барабане, — отвечал он, не изменяя тона речи.

«И на этом звучном инструменте едва ли ты отличался», — подумал я, глядя на его честный, выразительный профиль, а он сидел себе на скамье, согнувшись, и болтал ногами, как это делают маленькие дети. Я рассчитывал (и довольно основательно), что услышу от него о каких-нибудь богатырских подвигах во время стычек, о какой-нибудь честной проделке, о которой нигде не прочитаешь, даже и в «Записках русского офицера»^[208], а не тут-то было: он был музыкантом и, вдобавок, не лгуном. Но я все еще не терял надежды, предложил ему рюмку водки, на что он охотно согласился, и когда он полою шинели вытер свои белые усы и крикнул, я спросил его как бы случайно:

— А в немецких землях и во Франции-таки довелось побывать?

— Довелось?.. У самий Франции два года кватировалы.

— Как же ты разговаривал с французами?

— По-французски, — отвечал он, не запинаясь, и, немного погодя, продолжал:

— Я и по-французскому и по-немецкому умею. Еще в десятом году, когда ишли мы из-под турка^{209}, один венгер выучив мене, царство ему небесное! Я, сказавши правду, повсякому умею, — прибавил он самодовольно, — например, стоимо мы лагерем-таки под самым Парижем. Тут и пруссак, тут и цысарец^{210}, и англичанин, як той рак червоный, и синеполый швед и бог его знае, откуда той швед прыйшов^{211}: до самого Парижа его не видно было, а тут, мов, из земли вырос. От вони гуляють по лагерю та меж собою по-своему размовляють. От, говорят, дасть бог, завтра вступимо в Париж, а там, камрад, и махен вейн, и закусымо, камрад, и мамзельхен либер,^{212} — и всего вволю. А я хожу соби меж ними, ус покручую да думаю: «Не хвалитесь, камрады, побачим, що с того буде!» — Через день чи через два одилы нас, выстроилы, перевелы через Париж церемониальным маршем, не дали и воды напыться, — уже верст двадцать за Парижем дали нам дух перевесты. От я подхожу до цысарця та й говорю ему

по-царскому: «А што, камрад, Париж важный, говорю, город, и вейну, и мамзельхен, всего, говорю, вволю».

«О, дер дейфель⁽²¹³⁾! говорит, чтоб он им дотла выгорив!»

«То-то, — говорю ему по-царски, — не хвалиться було, йдучи на рать...»

— А что, земляк, есть какая-нибудь разница между — французским и немецким языком? — спросил я его.

— Мальность ризныци! Так что ежели умеешь добре по-немецки, то и с французом можно поговорить, мальность ризныци, — прибавил он, покручивая свои белые усы.

В это время занавеска в нише отдернулась, и вошла в комнату со свечой в руках та самая женщина, которую я видел мельком на огороде. Это была по-городскому опрятно одетая, уже немолодая женщина высокого роста, с живыми черными, глубоко впалыми глазами и вообще приятным и выразительным лицом. Она поставила на стол свечку, взглянула на моего собеседника и, обратясь ко мне, сказала чистым великороссийским наречием:

— Не потчуйте его, сделайте одолжение, а

то он вам и отдохнуть не даст. Иди-ка ты лучше ложися спать, — сказала она, обращался к нему.

— Мовчи ты, капитанша! ма... — и минуту спустя, улыбнувшись, прибавил, — матери твой чарка горилки!

Женщина молча посмотрела на него и скрылась за занавеской.

— Что это, жена твоя? — спросил я его.

— Жена, — ответил он.

— Зачем же ты ее зовешь капитаншею?

— Это я так, жартуючи... а по правде сказать, так вона и есть капитанша. Да еще не простая, а лейб-гвардейская, — прибавил он как бы про себя, и так тихо и скоро, что я едва мог расслышать и понять.

Меня сильно подстрекало расспросить у него, почему она капитанша, да еще и лейб-гвардейская, но он так невесело опустил на грудь свои белые усы, что мне казался всякий вопрос про капитаншу неуместным и даже дерзким. Недолго мы сидели молча, — из-за занавески явилась опять та же женщина и поставила на стол уху из какой-то мелкой рыбки, очень вкусно приготовленную. Я по-

ужинал, поблагодарил хозяев и пошел в свой фургон спать. Долго я, однакож, не мог заснуть: мне не давало спать слово *капитанша*. Со мною, впрочем, это часто случается, да, я думаю, и со всяким: на каком-нибудь самом простом слове^{214} построишь целую драматическую фантазию не хуже прославившегося в этом фантастическом роде почтенного Н. Кукольника. Так случилось и теперь: слово *капитанша* разделилось у меня уже на акты, сцены, явления, и уже чуть-чуть не развязалась драма самой страшной катастрофой, как начали смежаться мои творческие вежды, и я заснул богатырским сном.

В продолжение моего путешествия от Орла до этой интересной корчмы я просыпался каждое утро в дороге. Догадливый Ермолай никогда не будил меня, да и незачем было будить: я вручил ему мою трехрублевую депозитку еще в Кромах, после дорогих щей, и он всю дорогу рассчитывался за съеденное и выпитое мною на каждом постоялом дворе, а я себе спал сном праведника и просыпался всегда в дороге. Просыпаясь под стук колес и легкое качанье телеги, я иногда снова засыпал и

просыпался уже на постоялом дворе.

После неоконченной драмы на слово *капитанша* проснулся я на другой день уже не рано и, к немалому моему удивлению, не чувствовал ни покачивания телеги, ни холодного утреннего воздуха; прислушивался и не слышал ничего вокруг себя, ни даже постукивания колес.

«Неужели мы уже проехали станцию? — подумал я. — Да нет, не может быть! Ведь мы должны быть теперь у приятеля моего в деревне около Глухова, а не на постоялом дворе. Да, правда, я ему вчера дорогу не рассказал, а он, дурень, не разбудил меня, когда из корчмы выехал». Решивши так мудро сей вопрос, я снова было задремал, но Ермолай, вероятно, подслушал мое решение, подошел к телеге и сказал:

— Барин, а барин!

— Что, Ермолай? — отозвался я.

— Вы спите? — спросил он.

— Сплю, — отвечал я.

— Пора вставать.

— Хорошо, встану. Не случилось ли чего-нибудь?

— Ничего не случилось, слава богу, все обстоит благополучно.

— Так что же? Ну, и пообедай с богом!

— Какой тут обед, барин! у нас нечем и за вчерашний ужин — расплатиться; я деньги все, и свои и ваши, израсходовал!

— Будто ничего не осталось?

— Ни копейки!

«Плохо», — подумал я и потом спросил Ермолая:

— А лошади у тебя сыты?

— Лошади сыты, дворник ничего не знает, отпускает все, что ни спросишь.

— Хорошо. Поди же скажи ему, чтобы самовар нагрел, я сейчас приду.

Ермолай удалился.

В трактир в Туле приходит ко мне какой-то не совсем трезвый человек и предлагает новое одноствольное ружье за три рубля серебром. Я, чтобы отвязаться от него, посулил ему рубль. Он вышел было за двери, не сказавши ни слова; немного погодя опять вошел в комнату, спросил меня, что я шучу с ним или серьезно говорю. Я сказал, что серьезно. Он немного подумал и сказал:

— А коли серьезно, так вот вам вещь, да-
вайте деньги.

Я отдал ему рубль, а ружье положил на
столе, и не посмотревши даже на него хоро-
шенько, как на вещь совершенно мне не нуж-
ную. Мог ли я предвидеть тогда, что это ру-
жье, почти насильно купленное, разыграет
такую важную роль, какую я ему теперь на-
значил?

Вылез я из своей подвижной спальни, по-
шел к колодцу, умылся, охорошился кое-как и
вошел в комнату. На столе уже стоял самовар,
и вчерашняя капитанша вытирала чистым
полотенцем большую фарфоровую чайную
чашку. Я приветствовал ее с добрым утром,
на что она мне отвечала тем же.

— А где же ваш хозяин? — спросил я.

— А он рано еще уехал к помещику, у кото-
рого мы эту корчму нанимаем.

— А как прозывают этого помещика и да-
леко ли он от вас живет?

— Отставной ротмистр N. N., а живет он
почти что около самого города.

«Да это и есть мой приятель, моя единая
надежда», — подумал я и, обратясь к хозяйке,

спросил, как она думает, скоро ли ее хозяин возвратится назад.

— Я думаю, скоро, если его не задержит Виктор Александрович: ему там нечего долго делать, — отдать деньги и получить бочку водки. Да вам что его дожидать, вы и со мною можете рассчитаться.

«В том-то и дело, что не могу», — подумал и вслух прибавил:

— Мне бы хотелось еще раз с ним пови-даться и побеседовать. Он должен быть доб-рый старик?

— Прекрасный человек! — с заметным вол-нением сказала она.

— Жаль, если я его не дождуся. А впрочем, мне торопиться некуда. Не хотите ли со мною чашку чаю выпить?

— Благодарю вас покорно, мы уже чай пи-ли, — проговорила она с едва заметным на-клонением головы.

Мне чрезвычайно нравились в этой про-стой женщине голос ее, ее простая, грациоз-ная манера и самая безукоризненная чистота, начиная с головного платка и до башмака. Пока я придумывал средство, как бы ее задер-

жать в комнате, она сложила и положила на стол, полотенце, а сама скрылась за занавеску.

Напившись чаю, я вышел на двор полюбоваться весенним апрельским утром, но это утро уже кануло в вечность, а место его заступил апрельский теплый прекрасный полдень. Я обошел кругом корчму и остановился у изгороди. За изгородью, как и вчера, копали гряды мои знакомки. Я обратился с вопросом к старшей.

— Что, это дочь ваша? — спросил я ее.

— Дочь! — отвечала она, но как-то несмело.

— А как ее зовут?

— Елена.

— Елена, — спросил я девушку, — умеешь ли ты играть на гармонике?

— Нет, не умею, — отвечала она запинаясь. — А хочешь, я тебя выучу!

— А где же вы гармонику возьмете?

— Это не твое дело. Ты хочешь ли только учиться?

— Хочу, выучите, — сказала она краснея.

Я вынес гармонику, и лекция началась.

Ученица оказалась весьма понятливою, чему мать ее заметно радовалась.

Мы так прилежно занялись гармоникою, что не заметили, как приехал хозяин домой и как, подходя к нам, крикнул:

— Отака ловысь! Люды добри до площаныци знаменуются, а воны он що выробляють!

И, пойдя ко мне, взял у меня из рук гармонику, повертел ее в руках и сказал:

— Славна штука! Де вы ии купылы?

— В Орле, — отвечал я.

— И дорога? — спросил он, отдавая мне гармонику.

— Рубль серебра я заплатил.

— Гм... А ну, заграй ты, Олено!

Я подал девушке гармонику, и она взяла на ней несколько аккордов. Старик улыбнулся и, обращаясь ко мне, спросил:

— Чи не продажна у вас оця музыка?

— Продать-то я ее не продам, а когда хочет Елена, так я подарю ей эту музыку, а ты, старина, коли хочешь, купи у меня ружье.

Старик задумался, а я продолжал:

— Ружье славное, настоящее тульское.

— А на черта оно мне, ваше тульское ру-

жье, когда я и стрелять не умею?

Я отозвал его в сторону и объяснил, в чем дело. Он выслушал меня, усмехнулся и весело сказал:

— Олено! музыка наша! Несы в хату!

— Только слышите, — прибавил я, — я гармонику дарю, а не продаю.

— Добре, добре! — весело говорил старик. — Просымо мылости в хату. Идите и вы, хозяйки мои нечепурни! — прибавил он, обращаясь к женщинам.

Женщины оставили свои гряды, и мы все гурьбой отправились в хату. Впереди важно выступал наш хозяин. Он был одет уже не повчерашнему, в солдатскую шинель, а в синем тонкого сукна жупане, перепоясан красным широким поясом и в черной смушевой высокой шапке. В этом наряде он был похож на старинного малороссийского горожанина или на зажиточного казака.

Мимоходом я шепнул Ермолаю, чтобы он закладывал лошадей, а войдя в хату, я спросил хозяина, застал ли он дома Виктора Александровича. Он отвечал мне, как на самый обыкновенный вопрос, что застал дома и что

он собирается к какому-то соседу на праздник.

— Сказано, холостой человек, одинокий, — прибавил он, — то ему и праздник не в праздник. Всего наварено, напечено, наготовлено, а не с кем систы пообидать. А вы, добродию, жонати чи ни? — спросил он меня.

Я отвечал, что нет.

— Женитесь, добродию, непременно жени-тесь, бо скучно будет старитысь одинокому.

Пока мы разговаривали с хозяином, хозяйка накрывала стол, а Елена за занавеской играла на гармонике. Когда уже на стол была поставлена водка и закуска, в это время вошел в комнату Ермолай и сказал, что лошади готовы. Я велел ему принести ружье, а тем временем расспрашивал, как ближе проехать к Виктору Александровичу. Хозяин рассказавши мне со всеми подробностями дорогу, предложил выпить рюмку водки и закусить на дороге. Я отказался, ссылаясь на великую субботу, а в сущности потому, что было еще рано. Хозяин отказался от моего ружья и предложил деньги за гармонику. Я, разумеется, тоже отказался. После многих упрашиваний вы-

пить и закусить на дорогу и [уверений], что бог простит дорожному человеку и тому подобное, я, однакож, не поддался их доводам, простился с ними, как с старыми знакомыми, и поехал искать хутор Виктора Александровича.

Не доезжая версты две до города Глухова, в правой стороне от большой дороги чернеет небольшая березовая роща, а к этой рощице вьется маленькая дорожка. Эта дорожка привела меня прямо к усадьбе Виктора Александровича.

Усадьба, или хутор, Виктора Александровича скрывался, как за скромной занавесью, за этой рощицей. Приближаясь к роще, мне послышался какой-то неопределенный шум. Шум усиливался по мере моего приближения. Еще немного, и я явственно мог расслышать, что шум этот происходил от каскада падающей воды. И действительно, я не ошибся: между белыми березовыми стволами кое-где просвечивала блестящая вода. Выехавши из рощи, передо мною открылся широкий пруд и плотина, полузакрытая старыми, огромны-

ми вербами. По ту сторону пруда, почти у самого берега, выглядывали из-за деревьев белые хатки и отражались в воде. Между крестьянскими хатками белела под почерневшей соломенной крышей, с гнездом гайстра, или аиста, большая, о четырех окнах, панская хата, или будынок, а перед нею стоит огромный развесистый вяз. За хутором по косогору раскинулся фруктовый сад, окруженный старыми березами. На самом косогоре, на фоне голубого неба рисовалась ветряная мельница о шести крылах, а влево от мельницы, за пологой линией косогора, на самом горизонте в фиолетовом тумане едва заметно рисовался город Глухов.

Между вербами вдоль плотины медленно прохаживался сам хозяин этого скромного пейзажа, в смушевом тулупе, крытом серым немецким сукном, подпоясанный красным поясом и в черной смушевой шапке. Увидя мой фургон, выдвигавшийся из рощи, он остановился и, заслонив рукою, как бы козырьком, глаза от солнца, смотрел на мой неуклюжий экипаж.

— Виктор Александрович! — закричал я

ему, не по казываясь из своей будки.

Он стал всматриваться еще внимательнее.

— Здоровы ли вы, Виктор Александрович? — за кричал я ему, все еще не показываясь.

— Да какая же сатана кричит там и не вылезит на свет божий? — отозвался он, как бы сердясь.

— Это не сатана, а это я, Виктор Александрович, — говорил я, вылезая из телеги.

— Так ты бы так и говорил! А то кричит, кричит, а не показывается, — и мы, обнявшись, поцеловались.

— Ай да молодец! — восклицал он. — Ай да казак! Спасибо, спасибо! А я уже думал, что ты непременно обманешь. Думал уже было сегодня на ночь пуститься к Семену Максимовичу праздник встречать, а вот ты и приехал. Спасибо, спасибо тебе, теперь не нужно и фрак доставать.

— Ну, как вы поживаете, что поделываете, Виктор Александрович?

— Да что поделываю! Вот другая неделя, как поднял шлюз, да и гуляю день и ночь на гребле, как собака на цепи. Бог его знает, от-

куда эта вода прибывает? так и поддает и поддает! — говорил он и, взявши меня под руку, прибавил:

— Ну, теперь просимо до хаты. А ты, приятель, — сказал он, обращаясь к Ермолаю, — отправляйся прямо на конюшню, спроси там кучера Артема и бери у него все, чего душа твоя пожелает.

Панская хата, как снаружи, так и внутри, отличалась только своими размерами и ничем больше, да и сам пан, правду сказать, малым чем разнился от своих подданных. Разве только тем, что носил красную шелковую рубашку и черные плисовые шаровары, а по праздникам надевал фрак и ездил обедать к своему церемонному соседу, — больше ничем. Воспитывался он, правда, в Нежинском лицее^{215} в одно время с незабвенным нашим Гоголем, потом служил в каких-то гусарах, и служил с таким успехом, что и тени в нем не осталось прежнего воспитания. Он уже лет пять как оставил службу, но и теперь не прочь был погусарить при удобном случае и жаловался только на упадок физических сил,

то есть на головную боль после попойки. Но это, я думаю, происходило вследствие недостатка практики. Как настоящий бандурист, играл он на бандуре и в часы досуга занимался сочинением^{216} чувствительных малороссийских романсов, из числа которых один положен на музыку известным нашим композитором Глинкою. И чтобы сохранить самобытность^{217} в литературе, не читал он ровно ничего, кроме басен Фэдра, переведенных во время оно знаменитым Барковым, да еще кое-когда заглядывал в «Царь, или спасенный Новгород» Хераскова. Словом сказать, он совершенно оградил себя от всякого подражания на поприще литературы. Для полноты его характера надо прибавить, что, ведя уединенную жизнь в самых привольных местах для охотника, он был заклятый враг охоты и охотников называл не иначе, как живодерами и псарями.

Приятель мой не отличался изящными манерами и привлекательной наружностью, но в его смуглом, изрытом оспою лице было столько веселого прямодушия, что нельзя было смотреть на него без удовольствия, особен-

но когда он рассказывал малороссийский анекдот или передразнивал кого-нибудь из своих соседей: самой естественной мимикой владел он в высшей степени.

Был он уже мужчина не первой молодости, но нельзя было назвать его и старым холостяком, хотя он уже и близился к категории сих последних. Он так освоился со своим одиночеством, что о женитьбе и помину не было. На современное воспитание барышень вообще и соседок в особенности он смотрел по-своему, то есть косо, и, судя по его оригинальному взгляду на предметы, нельзя было предполагать, чтобы он когда-нибудь женился, а вышло иначе: не дальше как через год после моего свидания с ним он женился, и, как в литературе, так и в этом деле он поступил самобытно.

Нужно прибавить, что среди своих подданных он был как отец среди семейства: брал он от них только то, что ему необходимо было для дневного существования, прихотей же он не знал никаких, и вообще его расходы были чрезвычайно ограничены: с этой стороны он был достоин подражания.

— Бабуся! — крикнул хозяин, войдя в хату. На зов его вышла опрятная, чистенькая старушка в деревенском платье.

— Самовар, чаю и прочее!.. догадалась? Старушка кивнула утвердительно головою и вышла из хаты.

— Какой же ты добрый человек, если бы ты знал, так просто я и сказать не умею! — говорил он, обнимая и усаживая меня на дубовую широкую лаву, или скамью. — Да такого другого человека и с фонарем теперь не найдешь. Дать слово и сдержать его? право, не найдешь!

Я молча пожимал ему руку и кивал головою. Пока мы менялись любезностями, тем временем зашумел самовар на столе и опрятная бабуся вытирала стаканы, а хозяин, оставя меня, принялся раскупоривать бутылку, на ярлыке которой красовались готические буквы, изображавшие слово *коньяк*.

— Жаль, что не застал ты здесь стрелкового баталиона, — говорил он, ставя на стол раскупоренную бутылку, — на прошлой неделе выступил только. А что за лихие ребята, большею частью шведы. Чудо, что за народ! — вос-

питанные, образованные, а уж кутнуть или загнуть угол^[218], так просто что твои гусары, особенно по ручик Штрем, просто гениальная голова!

Пока он воздавал похвалы поручику Штрему и компании, бабуся налила в стаканы чаю, и мы подсели к столу. После первого стакана чаю Виктор Александрович обратился ко мне и сказал:

— Расскажи же ты мне про свое путешествие. Ведь ты человек наблюдательный, — я думаю, много интересного подметил?

— Самое интересное, — сказал я, — из всего моего путешествия — это ваша корчма около Эсмани, а особенно корчмарь, ваш посесор.

— А, это Яким Туман! Так вы-таки познакомились с ним?

— Я у него ночевал, да еще и в долг вдобавок.

— Как так в долг?

И я в ответ рассказал ему историю моих финансов.

— Плохо! — сказал он рассеянно и, немного помолчав, сказал: — А знаете ли, этот ста-

рый инвалид, Яким Туман, презамечательный человек и вдобавок оригинал совершенно в малороссийском характере. Он не рассказывал вам про свое знакомство с Блюхером⁽²¹⁹⁾ или как они через Париж промаршировали?

— Про Париж рассказывал, а про Блюхера нет!

— Как же это так? Верно, жена помешала? Я подтвердил его догадку.

— И он, верно, назвал ее капитаншею?

— Действительно так.

— Видишь, как я изучил моего орендара, или, как ты говоришь, посессора. Знай же, что под этой грубой корою скрывается самая возвышенная, самая благородная душа! Жена его, которую он шутя называет капитаншею, — это его воспитанница с самого нежного детства. Я вам на досуге расскажу эту историю. Он сослуживец и однополчанин моего отца, и покойник мой без сердечного умиления не мог рассказывать его похождения. А лучше всего я подарю тебе рукопись, написанную со слов покойного батюшки: там ты не найдешь ни одного слова фантазии, нагая истина. Я думал было напечатать ее, да после

раздумал. Пожалуй, еще какой-нибудь барон Брамбеус остриться на мне вздумает^{220} или просто назовет ее пустою выдумкой, а это для меня пуще ножа острого. А ты ее, пожалуй, напечатай, только под своим именем, чтобы я был в стороне. Я завтра же тебе ее доставлю, она у меня где-то спрятана. Я сам не помню, надо спросить у бабуся: бабуся у меня всему хозяйка. А дочку его видел? — прибавил он улыбаясь.

— Видел, — сказал я.

— Что, не правда ли, красавица?

— Действительно красавица, и хоть она одета по-крестьянски, нисколько не похожа на крестьянку!

— На крестьянку! Гм... она похожа на царевну, а не на крестьянку! А как ты думаешь, — прибавил он, пристально глядя мне в глаза, — можно ли такому важному человеку, как, например, я, назвать ее своею женою, а?

— Почему же и не так, — сказал я, — если она и во всем так прекрасна, как наружно-стью!

— Решительно во всем, — сказал он торжественно, — Я серьезно рад, что встретил

хоть одного человека одних мыслей со мною насчет истинной независимой семейной жизни, а то приличие да приличие, и вся жизнь основана на взаимном обмане, то есть приличии. Провалились они и со своим приличием! — прибавил он, допивая стакан чаю.

— Одно, что мне в ней показалось странным, — говорил я.

— А что такое?

— А то, что она для корчмы слишком невинна: она, например, до сегодняшнего дня не знала о существовании гармоника, — настоящая дикарка!

— Вот именно это мне в ней и нравится! Как же это она сегодня сделала такое важное открытие? Уж не с вашею ли помощью?

— Именно с моею. Я подарил ей гармонику.

Он посмотрел на меня исподлобья и, покручивая усы, сказал:

— Черт вас носит с вашими гармониками! Только добрых людей развращаете. Ну, скажи на милость, к лицу ли ей, такой принцессе, твоя глупая гармоника? Ведь она ее обезобразит. Это все равно, что орловскую увесистую

бабу посадить за клавикорды Лихтенталя^{221}.
Сегодня же отберу и в печку брошу! Бабу-
сю! — крикнул он.

Вошла бабуся.

— Пошли в корчму Максима, чтобы он
принес мне музыку... или нет, не нужно: я
сам поеду.

И он поспешно надел шапку и, выходя из
комнаты, сказал:

— Бабусю! найди та отдай им ту синюю бу-
магу, помнишь, что я недавно читал Илье
Карповичу?

— Помню, — сказала бабуся. — Хорошо, что
вы сказали, а то я хотела ее сегодня употре-
бить по хозяйству.

— И хорошо бы сделала. Отдай же теперь
им, когда не успела в дело употребить. Про-
щайте! — сказал он, обращаясь ко мне, и вы-
шел, порядочно хлопнувши дверью.

Мне было как-то неловко, так неловко, что
я думал было позвать Ермолая и велеть во-
оружить колесницу, но раздумал потому
именно, что не на что было подмяться; и во-
лею-неволею я должен был извинить ориги-
нальную и совершенно хуторянскую выходку

моего амфитриона^{222}, а себя оправдывал я тем, что и не такие выходки нам частенько в жизни приходится извинять, и не только по службе, а так, как говорится, по стесненным обстоятельствам и даже без всяких обстоятельств.

Пока я предавался таким великодушным мыслям, бабуся принесла и положила передо мною на стол довольно объемистый сверток синей бумаги, перевязанный розовой ленточкой, и молча начала убирать со стола стаканы.

Закуривши сигару (я в то время еще курил сигары), я развязал и развернул сверток, сел около стола на лаве, с умыслом не позволяя себе никакого комфорта или просто горизонтального положения, чтобы не сделать в своем роде невежливости и не заснуть пред лицом автора на первой же странице его скромного творения.

Я принялся читать. Заглавие было такое:
**КАПИТАНША, ИЛИ ВЕЛИКОДУШ-
НЫЙ СОЛДАТ**

Рассказ самовидца

Даровавши мир Европе^{223}, войска наши

маршировали восвояси, в том числе маршировал и наш удалый пехотный полк N. Полковой адъютант наш был хватище на все руки. Например, наша братия, простота, спустила все немкам да француженкам, иной и родительское благословение хватил по боку сгоряча, а он себе втихомолочку ковал денежку за денежкой да разные, как мы тогда называли, безделушки собирал, а эти безделушки были не что иное, как редкости: золото и алмаз — больше ничего. Между прочими редкостями вывез он на родину и жокея француза, или, как он еще его называл, пажа.

Ну, жокей или паж — это совершенно все равно. Дело только в том, что этот паж был удивительной красоты мальчик и стыдлив, как самая непорочная девица. Звал он его Альфредом или Альбертом, не помню хорошенько, а только знаю, что полковые музыканты называли его Володькой, а за музыкантами, признаться, и наша братия, официю имеющая, тоже его Володькой называла: свое родное, знаете, как-то к сердцу ближе, особенно когда не побываешь на родине годика два-три. Верите ли, когда мы вступили в пределы

России, то первый постоялый двор, как он ни грязен, мне показался лучше всякого французского отеля. Все это, конечно, предрассудок, но как для кого, а для меня самый этот предрассудок имеет свою какую-то прелесть. Адъютант наш жил, как вообще живут скупые, то есть на замке. У него бывали товарищи разве только за делом, и то за весьма важным делом, следовательно, его домашняя жизнь мало кому была видима. Носились, однакож, слухи, что он вместе с Володькою и чай пьет и ужинает (он обедал каждый день у полкового командира), но это были пока только слухи. Один-единственный человек, который ежедневно посещал квартиру адъютанта, — это барабанный староста^[224]. Он приходил к нему не столько по обязанности, сколько для Володьки.

Барабанный староста этот был природный наш брат хохол и оригинал, какого мне другого и встречать не удавалось. Он вообразил себе, что лучше его не только во всем полку, — во всем корпусе никто французского и немецкого языка не знает, а когда спросишь его, бывало, есть ли какая разница между языками

французским и немецким, он пресерьезно ответит:

— Мальность! ежели кто добре знае французский язык, то может говорить и по-немецки.

И этот-то чудак в время похода взялся выучить Володьку русскому языку, — а он столько же знал русский язык, сколько наш хуторянин, не видавший русской бороды никогда: хотя и квартировал он шесть лет во Владимирской губернии, но это ему мало помогло, он все-таки остался настоящим хохлом. Если бы Володька вздумал серьезно от него научиться русскому языку, то был бы похож на того англичанина, которому вздумалось выучиться по-русски говорить, и, чтобы достигнуть скорее своей цели, он поселился на лето в деревне и договорился с попом, чтобы тот его выучил к зиме настоящему коренному русскому языку. Поп его и выучил церковному нашему языку. Англичанин зимою возвращается в столицу и в модном салоне отпустил какое-то бон-мо^{225} на церковном языке. Барыни так и покатались со смеху. Англичанин оторопел: он совсем не такого ожидал эффек-

та от своего бон-мо; переконфузился, бедняк, и не мог понять, что бы это значило, да после уже ему растолковали.

С французиком Володькой могло случиться то же самое, что и с чудачком британцем, однакож этого не случилось, а случилось вот что: в продолжение похода французик, несмотря на угрюмый и молчаливый нрав барабанщика, так к нему привязался, как только может привязаться дитя к матери. Чудные вещи совершаются в природе. Например, Туман (барабанный староста так прозывался, и мы его так будем называть) был совершенно не в французском характере человек, а полюбился ветреному французу, да еще как полюбился! — просто как родной. Есть что-то тайное, незримое, намекающее нам на наши будущие несчастья, но мы не в силах понять эти немые намеки, а потому и страдаем. Французу тоже его ангелом-хранителем была подсказана эта симпатия к человеку простому, грубому, чуждому, казалось, всякого возвышенного чувства, а вышло, что все мы ошибались, а француз угадал.

Володя, или французик, как я сказал, был

скромный и даже застенчивый мальчик со всеми, кроме Тумана. А с ним он такие штуки выделывал, как — может, случилось вам видеть играющего молодого котенка со старым котом: что бы ни делал молодой котенок, а старый только глаза жмурит. Так и Туман: что бы ни выделывал с ним Володя, а он только смотрит на него и улыбается. Разве уж он очень ему надоест своими шалостями или просто отдохнуть не дает после ротного ученья и покурить трубочку на свободе, так он поворотится на другой бок и проговорит: «А щоб ты ему опряглось...» — да, не кончивши нехорошей фразы, остановится, перекрестится и скажет: «Господи, прости меня грешного, оно сирота, да еще и на чужине, а я его лаю». — И, как бы ни был уставши, встанет, пойдет, достанет где-нибудь творогу и прочего и примется вареники лепить для своего Володи, чтобы тем хоть сколько-нибудь загладить вину свою перед ним. Адъютант хоть видимо и не поощрял, но втайне был доволен взаимною их привязанностью, да иначе и быть не могло. Володька что еще? — почти дитя, да еще между чужими людьми, долго ли

избаловаться. К такому возрасту все льнет одинаково — и худое и хорошее, а он был уверен, что от Тумана он не выучится ничему худому, потому что Туман во всем полку слыл за человека самого аккуратного и самого честного. А что он угрюмый, так это ничего: иной и ласково смотрит, а кусает, как гиена.

Вступивши в пределы нашего возлюбленного отечества, остановились мы на зимние квартиры. Володя начал скучать и как-то чудно переменялся. А что еще чуднее, так это то, что он своего широкого плаща никогда не снимал, так и спал в плаще. Уже не играл, как котенок со своим угрюмым другом, а упадет к нему на грудь, да так и обольет ее слезами. Туман хоть всячески баловал и старался его развеселить, но мало успевал. Мы думали сначала, что это просто тоска по родине и больше ничего, со временем пройдет, а вышло иначе. Адъютант, взявши отпуск, уехал с родными повидаться, а Володе нанял в местечке у еврея квартиру и оставил его на попечение барабанного старосты. Мы этому тоже не могли надивиться. Отчего бы не взять мальчика с собою? Он все-таки б немного порассеялся.

Но мы это приписали его скупости, больше ничему.

Не знаю почему, но французенок этот нас всех интересовал, в особенности меня. В нем было что-то привлекательное, симпатичное, и когда он остался без своего патрона и не показывался на улице, то я как будто что-то потерял и всякий раз, когда увижу Тумана, спрашивал о французе. Туман сначала отвечал мне, что Володя скучает, а потом начал отвечать, что Володя нездужает. Много раз подмывало меня зайти проведать Володю да поговорить с ним о его родном Париже: может быть, ему и легче бы стало, так что ж вы будете делать с глупою фанабериею? Как, дескать, я, будучи офицером, пойду с визитом к какому-нибудь, положим себе, хоть и француз, а все-таки лакею? О воспитание! С отъявленным чиновным [мерзавцем] мы приветливо раскланиваемся на улице, принимаем у себя в доме с самою обязательно улыбкою, предлагаем стул и первое место за семейным столом и не боимся, что эта ядовитая тварь своим дыханьем заразит детей наших. А повстречайся с нами на улице простой человек,

нечиновный, который своим бескорыстием и прямою, быть может, нам же оказывал услуги, да мы на него и не взглянем, а если и взглянем, то так благосклонно, что лучше б и не взглядывали. И это у нас называется приличие! Мерзость, ничего больше! Мы хуже браминов^{226}: тот, по крайней мере, издыхать будет, а у парии воды не попросит, чтобы не быть ему ничем обязану. А мы?.. Впрочем, на эту тему целые томы написано, так не лучше ли оставить, потому что я ничего нового сказать не умею, да и замечено не раз, что великие теоретики не всегда бывают такие же и практики. Я это говорю в отношении филантропов и моралистов; чтобы не попасть в эту же категорию, я возвращаюсь к французу Володе.

Прошло месяца два после отъезда адъютанта. Он в полку не имел никого близкого или приятеля, следовательно, мы об нем никаких известий не имели. Квартировал я вместе с нашим штаб-лекарем, и сидим себе вдвоем ввечеру да читаем какую-то французскую книгу, — не помню, какую именно, — только денщик докладывает, что барабанный старо-

ста просит позволения войти.

— Позови, — говорю.

Туман вошел бледный и перепуганный.

— Что скажешь, Туман? — спросил я.

— К их высокоблагородию.

— Что же тебе нужно? — спросил лекарь.

— Володька умирает, ваше высокоблагородие. Помогите! Только это не Володька, ваше высокоблагородие, а женщина.

— Как женщина? — спросили мы в один голос.

— Так, просто женщина, и теперь страдает родами. Лекарь наскоро оделся и ушел вслед за Туманом.

Долго он не возвращался, или это, быть может, так мне показалось, потому что я его с нетерпением ожидал. Наконец, он пришел.

— Ну, что? — спросил я его.

— Ничего, разрешилась, — отвечал он. — Младенец здоров, будет жив, а она, бедная, сильно пострадала, едва ли выдержит.

Поутру пришел Туман и объявил нам, что она умерла вскоре после ухода их высокоблагородия.

Дали знать о случившемся полковому ко-

мандиру. Тот велел на другой день похоронить ее и предать это дело забвению. Полковница хотела было взять дитя на воспитание, но Туман не уступил. Он говорил, что перед богом будет отвечать за это дитя; что она, когда умирала, то целовала его руки и все на дитя показывала, то есть просила его, чтобы не покидать ее дитя.

— И я не должен покидать его, — говорил он. И так сделал: он с помощью фактора в тот же день нашел кормилицу, передал ей ребенка и заплатил деньги.

Хотелось нам узнать, кто такая была покойница, но ничего не узнали: бумаг совершенно никаких при ней не оказалось. Должно быть, или какая-нибудь кочующая актриса, или просто из модного магазина субретка {227}, бог ее знает.

Теперь, я думаю, не совсем еще поздно будет познакомить вас покороче с моим неулюбимым героем. Но лучше поздно, нежели никогда, — говорит мудрая пословица.

В 1809 году запасные войска наши были расположены частью в Бессарабии, частью

в Херсонской губернии, в том числе и наш полк. Я тогда только что кончил курс наук в шляхетном кадетском корпусе^{228}, как меня, едва обмундировать успели, послали в действующую армию, то есть в запасные войска. Прибыл я в полк, поступил в роту. Ротный командир и поручил мне, между прочими занятиями, только что прибывших в роту с полсотни рекрут обучить фронту. В числе рекрут был и Яким Туман.

Едва ли самая упрямая цыганская кляча перенесла столько побоев, сколько этот бедный рекрут, а дело вперед не подвигалось ни на шаг. Наука парню не далась: шесть месяцев прошло, а он как ни в чем не бывало. А собою он был видный, здоровый, молодой, без всякого качества, как говаривал капрал^{229}, только с норовом. А правду сказать, так мы сами сноровки не знали, как обращаться с рекрутами, особенно с моими земляками. Владиславлев в то время не издавал еще памятной книжки для штаб- и обер-офицеров^{230}, в которой помещено весьма дельное наставление доктора Н. на этот предмет. Вскоре был заключен с турками мир, и нашему полку

приказано было двинуться вовнутрь России. Итак, мы на Тумане только напрасно хворост переломали. Наша рота двигалась вместе с полковым штабом, следовательно, и с полковой музыкой. Походом наш недобитый рекрут познакомился с барабанщиком. Тот и давай ему на дневках открывать таинства своего искусства. Что же вы думаете? Не дошли мы еще до назначенного нам места, как наш Туман, или, как солдаты его называли, медведь, выбивал на барабане зорю, да так искусно, что сам учитель завидовал. Ротный командир видит, что медведь не совсем бестолков, — предложил ему быть форменным барабанщиком. Туман охотно согласился и с таким жаром и, можно сказать, увлечением предался своему любимому искусству, что когда под Бородиным⁽²³¹⁾ убили у нас барабанного старосту, то он занял его место. Что значит призвание! Уразумей мы в нем это призвание с самого начала, и фура хворосту не пропала бы даром.

Последующие события в служебной и частной жизни моего героя не так примечательны, чтобы их стоило описывать. Разве только,

если верить его собственным словам, рассказать о том, как он познакомился с Блюхером, и как он ему по-немецки предлагал стакан шнапсу^{232}, и как Туман по-немецки же от шнапсу отказался и попросил у его высокопревосходительства стакан вейну^{233}, в чем, разумеется, ему не было отказано. Принимая в соображение характер знаменитого полководца, все это могло случиться так, как рассказывал Туман, но я как не был свидетелем этой сцены, то и не ручаюсь за истину этого курьезного происшествия.

Святое времечко было для нашего брата, военного человека! Бывало, как поставят полк на зимние квартиры, так тут он и корни пустит. Зим десять с места не сойдет, так что наша братия наполовину переженится. Что я говорю, наполовину? — все переженятся, если только невест в околотке хватит. Да в то время невесты не засиживались, как теперь. Да что теперь? Не успеет полк, как говорится, места нагреть, глядь, его турнули на другой конец России — какая тут женитьба! Дай бог хоть познакомиться как-нибудь! А солдат просто блаженствовал! Иной ловкий парень

так сживается с хозяевами, что просто делается членом семейства, если не больше. Одно только, что было больно не по нутру нашим солдатикам, — это форма, то есть обмундирование. И действительно страшно было смотреть, когда его, бедного, одевают в полную боевую амуницию. Два одевают третьего, а когда оденут и поставят на ноги, так уж и стой. А уж если, боже сохрани, споткнулся да упал, так уж так и лежи; сам не встанет, — нужно опять два человека, чтобы поставить его на ноги. А ко всему этому прибавьте белого сукна шинели. Это такая была обуза для солдат, что он, бедный, не знал, что с нею делать: вместо того чтобы защититься от непогоды шинелью, он должен ее защищать. В настоящее время русский солдат в отношении обмундировки просто богдыхан китайский. Мундир только его немножко безобразит. Ну, да и этот недостаток со временем заменят чем-нибудь поблагопристойнее.

Кто про что, а солдат про амуничку. Так и я, — увлекся крагами да кутасами^{234}, а о главном-то и забыл. Вот как было.

По обычаю того времени полк наш прози-

мовал в одних и тех же квартирах восемь зим с лишком. Варочка (так называл Туман свою воспитанницу) росла не по дням, а по часам. И что это за прелестное дитя было! — просто совершенство детской красоты. Вот уж я пятый десяток коротаю, а не видал еще другого такого очаровательного дитяти. И ко всему этому — тихое, скромное, совершенный ангел небесный. Оно если и позволяло себе иногда детскую резвость, так только с одним своим татом (так называла она угрюмого Тумана). И самая нежная мать не может ласковее улыбаться своему дитяти, как угрюмый Туман улыбался, лаская свою кудрявую Варочку. Мне часто случалось его видеть сидящего под хатою на завалинке и ласкающего на коленях свою Варочку. Мне всегда эта сцена напоминала прекрасную гравюру, изображающую усатого рыцаря в кольчуге с прекрасным младенцем на руках. Дитя треплет его за усы, а он ему ласково улыбается. Точь-в-точь Туман со своею Варочкою. Счастливый Туман! А правду сказать, он вполне заслуживал этого счастья.

Взявши на свое попечение дитя, он начал

с того, что перестал курить трубку и пить водку. Хотя он не был никогда записным пьяницей, но при случае от добрых людей не отставал. Отказавшись от единственных прелестей солдата, он все-таки немного уэкономил для своей Варочки. Простыми ломовыми трудами в еврейском местечке немного возьмешь, — нужно было подумать о каком-нибудь ремесле. Вот он, понадумавшись хорошенько, принялся сапоги тачать. Тачает он их год, другой, а на третий приносит он мне показать опойковые сапоги собственного изделия, да какие сапоги, я вам скажу! Хоть столичному мастеру, так в нос бросятся. Я, признаться, не поверил его досужеству и велел ему сделать для себя сапоги. Он и сделал. Посмотрю — еще лучше: на ноге сидят просто как вылитый сапог. Я рекомендовал его товарищам. Туман ретиво принялся работать, и не прошло году, как Туман уже работал на всех офицеров в полку и даже на самого бригадира, который, как известно, все еще щеголял в парижских сапогах и думал уже было заказывать в Варшаве. Так вот какой из неуклюжего и, как думали, глуповатого Тумана вышел мастер!

Правда, что редко встречаются в русском человеке две эти добродетели, то есть мастерство и трезвость, однакож встречаются, и вот вам доказательство — Туман. Зато он жил, как и иному офицеру дай бог жить: квартира у него лучше квартиры офицерской (он нанимал у шляхтича отдельную хатку в саду; не помню, что платил). Нянька у него нанятая опрятная старушка, тоже чуть-чуть ли не шляхтянка. Себе он только и отказывал в вине и трубке, а больше ни в чем. А про Варочку и говорить нечего: выбежит, бывало, на улицу, что твоя куколка разрисованная. Куда шляхетские дети! — просто замарашки перед ней. А сам Туман так только и показывался на ученье, нигде больше его не увидишь: сидит себе и день и ночь за своими сапогами да песенки попевает.

Человек трудолюбивый, по-моему, самый счастливый человек на свете, особенно если труд его имеет такую возвышенную, такую благородную цель, как труд этого простого, этого безграмотного человека. Завидую и всегда буду завидовать тебе, счастливый благородный труженик!

Старушка, Варочкина нянька, между прочими добродетелями, была еще и грамотная, по-польски, разумеется, почему я и заключаю, что она должна быть шляхетского роду. И когда Варочке пошел пятый или шестой год, — не помню хорошенько, помню только, что она уже говорила чисто и внятно и еще немножко картавила, что выговору ее придавало особенную прелесть, — старушка нянька на досуге принялась показывать грамоту Варочке. Туману понравилось, что Варочка его будет читать, да еще и по-польски, и удовольствие свое он выразил тем, что на первой в местечке ярманке купил шерстяной какого-то темного цвета платок, тулуп и козловые сапоги, да сверх этого подарил ей полкарбованца. Старушка была в восторге, и благодарностям конца не было. Сначала Туман было подумал, к чему ей грамота? что она за панна такая? Но, посмотревши на дитя, нашел, что она действительно панна, и, махнувши рукой, сказал:

— Нехай соби учиться, — уमितыме доладу хоть богу помолыться.

А так как простодушный Туман не нахо-

дил большой разницы между языками немецким и французским, то так само и между грамотой польской и русской: все равно, абы читала!

Однажды — это уже было вскоре перед нашим выходом из благословенного местечка — иду я по улице мимо квартиры Тумана и вижу: Туман сидит под хаткою на завалинке в своем пестром мундире и с барабаном между колен (должно быть, только что пришел с ученья); перед ним стоит Варочка и просит у него барабанные палки; он ей подал, она взяла палки да как приударит поход, так что твой барабанщик! Я просто удивился: настоящая *Corka regimentu*^{235}, что в прошлом лете в Ромнах польские актеры представляли. Но нужно было видеть самого Тумана: ни один, я думаю, любитель музыки не слушал с такою любовью симфонию Бетховена, с какою он слушал и любовался своей Варочкой.

Это мне напомнило другой эстамп такой самой величины, — да чуть ли не одного мастера, — на котором изображен был рыцарь, тоже в кольчуге, обучающий мальчика бить на барабане. Только переменить костюм — и

будет та самая картина.

Варочке уже минуло восемь лет, когда нашему полку приказано было двинуться по смоленской дороге. Туман как бы предвидел эту катастрофу, обзавелся лошадью и повозкой, так что, когда приказали выступить в поход, наша братия втридорога платила за паршивую лошаденку, и то трудно было достать, а Туман только улыбается, глядя на запыхавшихся факторов и на наши сборы. Кое-как мы собрались, и в одно прекрасное утро полковой штаб и моя рота выступили из благодатного местечка. Проводы были пышные. Да и как не быть им пышными? Простоявши столько времени на одном месте, многие солдатики не только коханками, — детками обзавелись. Ну, да это картина не в моем вкусе, и я не буду описывать вам ни слез, ни рыданий, ни судорожных объятий. Скажу только, что первый переход наш длился целый день и половина моей удалой роты ночевала на дороге.

Мы двигались той самой дорогой^[236], по которой так недавно промчался гений войны со всеми ужасами. В городах, особенно в Борисо-

ве и Красном, были видны еще следы войны, а в селах как будто ничего не бывало. Только и следу, что у мужичков в банях на каменках заменен был булыжник чугунными ядрами. В одном Смоленске оставались еще целые улицы в развалинах, а собор уже возобновлялся.

В Смоленске собрался наш полк, и после инспекторского смотра распустили нас на зимние квартиры. Так как я командовал гренадерскою ротою, то вместе с полковым штабом остался в Смоленске, а прочие роты расположились в окрестных селах. Туман со своею Варочкою тоже оставался в Смоленске.

Несмотря на то, что половина города была еще в развалинах, дворянства к зиме съехалось много, и мы на развалинах древнего Смоленска зиму провели шумно и весело. Маленьки, вероятно рассчитывая на полковую холостежь, навезли невест, да прехорошеньких. Но, увы! решительно некому было сватать: наша молодежь, как и прежде еще я имел честь докладывать, вся переженилась. Признаюсь, грешный человек, меня самого тогда подмывало повторить узы Гименя, да жаль стало Викторика: ему в ту зиму только

пошел четвертый годочек, а в этом возрасте для дитяти, я по себе знаю, что значит самая лучшая мачеха, а если, боже сохрани, навяжется сатана в виде ангела неземного, тогда что делать? Итак, я подумал, подумал, да и рукой махнул. После я слышал, что предмет моих вздыханий сочетался браком с каким-то безногим богачом Энгельгардтом, и через год он уехал за границу, а она за другую. Я только богу помолился, когда услышал такую интересную новость.

Квартиру я в полуразрушенном Смоленске успел захватить порядочную и недорогую. Была одна комната совершенно лишняя, я и предложил ее Туману с тем, чтобы он, как человек трезвый и аккуратный, присматривал за моим мизерным хозяйством; да и Варочке его будет веселее, и Викторик мой без меня скучать не будет. Нянька и гувернантка у меня была прекрасная и грамотная женщина, и Варочка в продолжение зимы шутя выучилась русской грамоте, да и Викторика моего выучили азбучке. В великом посту он уже пребойко читал по верхам^[237], а Варочка каждый божий день поутру и ввечеру читала

вслух, в присутствии всех, утренние и вечерние молитвы. Счастливый Туман плакал от умиления, слушая, как его Варочка читает такие прекрасные молитвы, о которых он, человек темный, прежде и понятия не имел; особенно, когда начнет она читать *Помилуй мя, боже* и дойдет до стиха *Сердце чисто созижди во мне, боже*, он положит земной поклон и сквозь слезы поцелует в темя свою умную Варочку. Зато нянька моя уже не нуждалась в башмаках, у нее всегда в запасе было пар шесть лишних — на случай походу, — как говорил Туман, а Викторик мой каждое воскресенье щеголял в новых сапогах. Я скажу ему, бывало: «Зачем ты ему, Туман, так часто сапоги переменяешь?» — «Росте, ваше благородие, то и переменяю». Добряк уверял меня, что ребенок может так вырасти в продолжение недели, что ему необходимо сапоги переменять. Я раз было попробовал взять какой-то материал на платьице для Варочки, да и сам не рад был: Туман мой так расходился, что чуть было с квартиры не сошел, насилу уломал я его, — такой чудак! «Обижаете, говорит, ваше благородие», — да и баста. «У вас, гово-

рит, у самих росте дытына, а вы на чужих детей тратитесь. Я человек ремесленный, у мене завсегда буде, а вы де возьмете, як бог не дасть здоровья? Хорошо еще, як пенсии дослужитесь, а то и так выпустят».

В продолжение зимы я коротко узнал этого простого, благородного и в высшей степени бескорыстного человека.

Весною выступили мы из Смоленска по московской дороге. За обозом моим и за людьми я поручил надзирать Туману и был совершенно спокоен. В походе всяко случается. Не везде для тебя все приготовлено. Иной раз и натошак заснешь, что станешь делать? Но в этом походе я был как у бога за пазухой. Бывало, не успеем прийти на место, а у Тумана уже все готово: и для меня, и для детей квартира, и самовар кипит, и ужин готовится, и лошадям всего вволю, и бог его знает, как это он все успевал! А с мужичками, несмотря на свое хохлацкое произношение, никто лучше его ладить не умел. Удивительный человек!

В Москве собралась вся наша дивизия, и бывший тогда еще корпусный наш командир,

покойник Сакен^{238}, после инспекторского смотра отдал приказ по корпусу, чтобы всех неграмотных унтер-офицеров обратить в рядовые. Не знаю, что ему вздумалось, покойнику? Из этого вышла такая безладица в ротах, что и боже упаси. Особенно нам, ротным командирам, наделал он хлопот своим приказом. Безграмотных унтер-офицеров действительно было много, но зато это были люди самые расторопные и трезвые, — две ничем не заменимые добродетели солдата. Так этих-то людей мы должны были заместить грамотными пьяницами и ворами. Тут-то я только узнал, что значит так называемый грамотный русский человек. Эти грамотеи попадают в солдаты большею частию из помещичьих сельских писарей. Мужички наши недаром говорят: «Не буде добра и правды на земли, поки письменным очи не повылазять». Только вследствие глубокого презрения к этим грамотеям могла родиться подобная поговорка. Что бы подумал про моих земляков великий ревнитель народного образования Ланкастер^{239}, когда б он знал, что у них существует такая варварская поговорка? Подумал бы, что

земляки мои не люди, а пародия на людей, и был бы несправедлив. Общая грамотность в народе — величайшее добро, но где на сто — один грамотный, — величайшее зло. Я ничего не знаю безнравственнее и отвратительнее сельского писаря: он первый грабитель бедного мужика, лентяй, пьяница, сосуд всех мерзостей и первый развратитель простодушного мужичка, потому что он святое письмо читает.

Покойный Основьяненко в своем «Шельменке — волостном писаре»^{240} только легкий очерк набросал этого отвратительного типа. И такими-то грамотеями снабжают помещики нашу славную армию! И, наверное, покойник Сакен не отдал бы такого приказа, если бы он хоть неделю побыл экономом в помещичьем селе.

Со званием барабанного старосты Туман соединял и скромное звание унтер-офицера, гордился и дорожил этим званием, как собственной личною заслугою. Но увы! как человек неграмотный, должен был спороть только что купленные в Москве дорогие не мишурные, а настоящие серебряные галуны. И

их пришлось спорить и бросить в помойную яму, так, ни за что спорить, потому только, что он неграмотный, разбойник. Глубоко было задето самолюбие бедного Тумана. Как развенчанный Наполеон, ходил он молча несколько дней, не принимая пищи.

Нашему полку назначена была квартира в Муроме, и мы собирались в поход. Я просил его принять снова команду над моим мизерным хозяйством.

— Возьмите соби ундера, — сказал он, едва удерживая слезы, — а то рядовой вас дорогою обкраде.

Я сам чуть не заплакал и не в силах был повторить моей просьбы.

Отпуская его, я был так неосторожен, что предложил ему синенькую на водку. Зарыдал он, бедняк, плюнул на мою ассигнацию и вышел из комнаты. На другой день привели его из Арбатской части в полковой штаб едва-едва движущегося. Когда спросили его, где он пропадал, он только мог выговорить: «Водки! а то здохну!» Дали ему стакан водки и заперли в пустую комнату. Я испугался за него, но, слава богу, мой страх был напрасен: Туман

благополучно отрезвился и больше не повторял утехи в горе, только до самого Муромашел он молча, как помешанный. В Муромевдруг Туман пропал. Я спрашиваю: где он? говорят: в госпитале. Я пошел навестить его. Прихожу, отворяю дверь в палату, — и что же? Вот уж такой гравюры я не видал, да, я думаю, такой картины и на свете нет. Самому великому художнику не представлялось такое прекрасное и оригинальное видение: на койке, в лазаретном халате и колпаке, сидит Туман, а на коленях у него сидит Варочка с азбучкою в руках и складывает вслух *тма-мна*, а за нею тихонько басом повторяет Туман. Увидя меня, он смешался и, вставши, ответил на мое приветствие и прибавил краснея:

— Варочка осе мени *Помилуй мя, боже* читала.

— Вот уж и *Помилуй мя, боже!* — сказала Варочка наивно. — Вы еще и склады бог знает как читаете!

— Цыть, дурне! — сказал торопливо Туман, дергая ее за рукав.

Варочка сконфузилась, взглянула на меня, потом на него и с упреком сказала:

— Разве я неправду говорю? Думала завтра аз-ангел показать, а теперь и послезавтра не покажу, про сидите вы у меня всю неделю на *тме-мне*.

И с последним словом выбежала из палаты. Туман посмотрел ей вслед и с досадой проговорил:

— От тоби на! — а обратяся ко мне, прибавил: — Воно бреше, ваше благородие!

Я видел ясно, что оно не бреше, но показал вид, что я не догадываюсь, в чем дело, и спросил его:

— Что, она постоянно при тебе находится?

— Нету, ваше благородие, у фельдшерши находится, а до мене забижить на яку минуту, та й знову до фельдшерши. Таке непосыдяще! — прибавил он, опуская глаза.

— Клевещешь! клевещешь, Туман! Я знаю, что ты делаешь, да зачем же от меня скрывать? Разве худое дело учиться грамоте?

Туман с удивлением посмотрел на меня и, помолчавши, сказал:

— Худое, ваше благородие, очень худое! Скажите, чи бачилы вы, щоб дытя, блазень, учило старого чоловика?

И бедняк почти заплакал, а спустя минуту стал меня просить, чтобы я никому не говорил о его грамоте. Я дал ему слово молчать, предложил ему денег, но он сказал, что у него свои еще тянутся. Простившись и пожелав ему успеха, я вышел из палаты.

«Алмаз, а не человек», — думал я и не жалел даже, что этот алмаз в коре, — так он мне нравился в своем естественном виде. Хотел было я сделать сравнение с червонцем Крылова^{241}, да раздумал: такие натуры, как Туман, едва ли в состоянии переродиться, то есть переобразоваться.

Штаб-лекарь наш подсмотрел тайну Тумана и не выписывал его из госпиталя, пока он сам не просился. Через месяц является ко мне Туман с улыбающимся лицом (что было ему совсем не к лицу) и с азбучкою за обшлагом и просит меня, чтобы я послушал, как он читает. Я послушал его: изрядно читает — и заповеди, и все, что есть в букваре. Я подал ему устав о гарнизонной службе, он и устав читает. Я в тот же день отрекомендовал его адъютанту, а он бригадиру, и через месяц Туман нашил снова свои московские дорогие галу-

ны, переселился ко мне на квартиру и снова принял в свои руки мое хозяйство.

Случилось так, что в тот самый день, когда Туман торжественно нашивал свои нефальшивые галуны, и мне вышло повышение: я произведен был в майоры, а командиру первого батальона вышла отставка, — я и должен был принять от него батальон. Хотя я попрежнему остался одиноким, но хозяйство мое поневоле должно было увеличиться. И такой человек, как Туман, был для меня необходим, а тем более что Викторика своего отправил я в Нежин^{242} к сестрице, чтобы она приготавлила его для лица, следовательно, и Варочка, как дитя, для меня тоже была необходима, потому что я без Викторика страшно скучал, и она, точно ангел божий, явилась в моем доме.

Да, не обинуясь, можно было уподобить ее ангелу божью. Такой красоты неописанной я уже не увижу более! А кротость! Истинно ангельская кротость! Ей уже было лет одиннадцать с небольшим, и она мне чрезвычайно живо напоминала покойного Володьку, то есть свою несчастную мать. Улыбка, голос,

глаза — все было как у бедной матери. Только у Варочки все это было смягчено кротостью и непорочностью. Хотелось мне ее приохотить к книгам, но для ее возраста в то время какие можно было книги достать! Издавался в то время журнал под названием «Благонамеренный»^{243}. Я прочитал в «Московских ведомостях» объявление и, увлекшись таким благородным названием, выписал его собственно для Варочки, да как прочитал первую книжечку, так остальные уже и не разрезывал, — так их у меня в ларе и мыши съели.

Во время пребывания Тумана в госпитале Варочка подружилась с фельдшершею и теперь почти ежедневно ее посещала. Мне эти визиты были не по сердцу, и я несколько раз говорил Туману, что эта дружба до добра не доведет, но он, бог его знает почему, не обращал на мои слова внимания. Я прибегнул было к хитрости, то есть приохотить ее к чтению и тем заставить ее сидеть дома, но хитрость моя не удалась. А Варочка тем временем росла и хорошела.

На третьем или на четвертом году нашей благополучной стоянки в городе Муроме пе-

реведен был в наш полк, за какие-то проказы, капитан гвардии NN., лет двадцати пяти, красавец собою, богач и самой благородной, аристократической фамилии, человек образованный, деликатный и самый беспардонный кутила, а в то время это была не последняя добродетель, и Давыдов несправедлив^{244}, приписывая эту благородную страсть одним гусарам, — наша братия, пехотинцы, нисколько им не уступали.

Молодое офицерство наше все так к нему и прильнуло, а про барышень и говорить нечего: все, сколько их было в Муроме и около Мурома, все разом влюбились. Ну, положим так, их дело молодое, неопытное, им простительно, а то барыни, матери взрослых детей, туда же сунулись соперничать со своими дочерьми! Господи! какую страшную силу имеет золото над сердцем человека. А к тому еще он хорошо говорил по-французски, читал наизусть и даже пел некоторые такие песни Беранжера^{245}, что порядочный француз постыдится петь их в холостой пьяной компании, а он, молодец, пел их в муромских гостиных, и нежному полу так нравились эти

недвусмысленные песни, что их наизусть выучивали и в тени сирени, под аккомпанемент гитары и соловья, певали их безбожно уныло. Простодушные, они и не подозревали, что они пели. Они думали, что ангелы если разговаривают между собою, то непременно на французском языке и поют такие же песни, как и предмет их нежной страсти.

Вскоре после появления этого хвата барыни и барышни, если и обращались к кому с вопросом, то вместо имени и отчества произносили «мсью», и это было так обще, что свежий человек непременно подумал бы, что все муромское народонаселение говорит по-французски.

Вот когда открывался случай благоприятный блеснуть Туману своим познанием французского языка. Но увы! он бедный плебей, а то аристократия! да еще какая аристократия — уездная! А это, я думаю, всем известно, что английская аристократия самая гордая и щекотливая, но в сравнении с нашей уездной она ничего не значит. Хотя французские пленные солдаты часто попадали в ее недоступный круг, но то французские, — дело со-

всем другого рода.

Одна хорошая моя знакомая, женщина уже не первой молодости, примерная, можно сказать, жена и примерная мать семейства, — по образованию она была немногим выше своих согражданок, но здравого практического смысла и безо всякого жеманства, что мне в ней особенно нравилось, — однажды она стала мне описывать добродетели и образованность нашего гвардейца. Я, слушая ее, думал, что она шутит, — слушал ее и молча улыбался, но она, не обращая внимания на мои улыбки, увлеклася так панегириком, что начала выхвалять глубокие его познания в русской истории. Я тогда и рукой махнул. Ну, статочное ли дело, чтобы русский барич того времени, да еще и гвардеец, знал что-нибудь, кроме французского языка? А то еще и отечественную историю! Карамзин тогда начал издавать свою знаменитую историю^{246}, так он, вероятно, слышал о ней в столице, да и пустил в ход свои познания между непорочными муромками. Бедные муромки! И еще беднейшие муромцы!

Когда женщина, которая почиталась об-

разцом ума и семейных добродетелей, и та увлеклась удалым капитаном, то какое же влияние он имел на обыкновенные умы и добродетели? Влияние сильное, до того сильное, что не прошло году, как мужья молодых жен и отцы молодых дочерей почти начали убеждаться в сильном влиянии капитана на их жен и дочерей, и когда полку нашему назначен был поход в Москву, по случаю коронации⁽²⁴⁷⁾, то отцы и мужья перекрестились и свободно вздохнули, а жены и дочери зарыдали.

И горькие рыдания и свободные [вздохи] остались напрасными: капитан заболел и до выздоровления остался в Муроме.

Каков же был ужас маменек и их милых дочерей, метивших на капитана как на самую выгодную партию, когда к нему (в отсутствие наше) приехали жена и теща и застали его не на одре болезни, а в кругу собутыльников. Теща начала было ему приличную случаю проповедь, но он ее остановил такими словами:

— Вы, кажется, умная женщина, а такие глупые вещи говорите. Ведь вы видели, вы

знали, кому вы от давали свою единственную дочь, — так о чем же вы мне теперь толкуете?

Старушка посмотрела на него, заплакала и, взявши свою единственную дочь, отправилась восвояси, а он, хохоча, кричал им вслед:

— Куда торопитесь? Не угодно ли со мною пообедать?

Каков молодец!

Несмотря, однакож, на все это, влияние его на нежный пол продолжалось, так что бедные мужья и отцы не видели других средств избавиться от опасного капитана, как написать просьбу государю от лица всего конклава^[248] и слезно просить, чтобы за примерные добродетели капитана перевел бы его снова в гвардию. Не знаю, по их ли просьбе, или по чьей другой, только он, проживши еще два года, был переведен, — только не в гвардию, а в город Вологду под надзор полиции. А в продолжение этих двух лет он разыграл еще с десяток слезных мелодрам и последнюю, самую патетическую, содержания следующего.

Выходя в Москву, вагенбург^[249] и прочие полковые тяжести нам приказано было оставить в Муроме, из чего и следовало, заклю-

читать, что мы вскоре возвратимся на прежние квартиры. Офицеры, которые имели порядочные квартиры, оставили их за собою; я и свою квартиру тоже за собой оставил, а при ней мебель и прочую громоздкую мизерию. Полковой командир, спасибо ему, уважил мою просьбу и отдал в мое полное распоряжение Тумана, а я Туману отдал в полное распоряжение свою квартиру и все к ней принадлежащее. Прощаясь с ним, я наказывал ему пуще своих глаз беречь Варочку и как можно реже позволять ей посещать фельдшершу.

— Потому, — говорю, — что ты сам знаешь, что за зверь остается в городе. Неравно как-нибудь она ему на глаза попадет, — тогда она пропала.

— Бога гневите, ваше высокоблагородие! — сказал он, — воно ще дытына!

Я замолчал, зная по опыту, что никакие доказательства не в состоянии поколебать упрямого земляка моего. А заметьте, что этой дытыне минул уже пятнадцатый год.

Сходили мы в Москву и возвратились назад благополучно. В Муроме тоже все по-старому: квартиру я свою и прочее добро нашел

в отличнейшем порядке, иначе и быть не могло. Варочка встретила меня с самой детской, непритворной радостью, а Туман, отправовавши мне о благополучии, благодарил меня, что я его оставил в Муроме, потому, говорит, что он в продолжение этого времени, кроме того, что выучился выводить все цифры на бумаге, да еще зашиб препорядочную копейку: весь город наделил сапогами, а последний весь почти месяц работал на одного капитана. «Ну, начало сделано!» — подумал я.

— Не приходил ли он к тебе иногда сапоги примеривать? — спросил я.

— Приходил, ваше высокоблагородие, раз несколько приходил.

«Плохо», — подумал я и отпустил простодушного добряка, не сказавши ему первый раз ни слова.

На другой день спросил я его, кто рекомендовал его капитану? Туман немножко замялся и сказал:

— Признаться сказать, ваше высокоблагородие, фельдшерша.

— А что я тебе говорил, выходя в Москву, а? — спросил я.

— Помню, ваше высокоблагородие.

— Нет, не помнишь, забыл. Припомни и подумай хорошенько, что из всего этого может выйти. А что, он видел у тебя Варочку?

— Видел, ваше высокоблагородие.

— И говорил с нею?

— И говорил, ваше высокоблагородие.

— И за сапоги платил не торговавшись?

— Не торговавшись, ваше высокоблагородие, даже вперед сколько угодно денег предлагал, только я не брал, — не треба було.

— Видишь, Туман, как я все знаю? Слушай же: с сегодняшнего дня, боже тебя сохрани, если тыпустишь хоть за ворота без себя Варочку, — прощайся с нею навеки! слышишь?

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

— То-то же, слушай и не забывай! А то и тебя и меня с тобою бог накажет за наше нерадение: за чужое дитя мы больше отвечаем перед людьми и перед богом! Ступай себе, Туман, за своим делом, — сказал я в заключение своей проповеди.

— Спасыби за науку, ваше высокоблагородие, — сказал растроганный Туман и вышел.

После этого он каждое утро, рапортуя мне

о благополучии по хозяйству, рапортовал также и о похождениях своих с Варочкою. [Ходили они],— и то раз или два раза в неделю, — на берег Оки, к рыбакам, или так просто, для проходки, и иногда к фельдшерше на чашку чаю, — тем и ограничивались их похождения. Да еще раз в неделю, то есть каждое воскресенье, ходили они к обедне в церковь святых угодников.

А в городе между тем, то есть в кругу дворян и даже в мирном кругу купеческом, история за историей повторялася, и самого скандального содержания, а главным действующим лицом всех этих новелл был, разумеется, наш беспардонный капитан. К зиме в городе, по примеру прошлых зим, составился дворянский клуб, или собрание. На первом, на втором бале в собрании я хотя и был, но не заметил ничего необыкновенного, а прочие заметили и мне уже после сообщили, что на балах не показывалась ни одна уездная львица, а причиною тому был не кто другой, как все тот же наш беспардонный капитан. И самые прескверные анекдоты сочинялись по случаю

непоявления на бале львиц, а смиренные овечки, на которых он не обращал внимания, скромно варьировали эти анекдоты, чувствительно взирая на изверга-капитана.

Я постоянно ходил к обедне в церковь святых мучеников Бориса и Глеба, что в Благовещенском монастыре, и вдруг что-то мне вздумалось пойти к обедне в церковь Фрола и Лавра. Прихожу, перекрестился, гляжу, — предчувствие меня не обмануло: капитан тут, а перед ним в шагах двух Варочка, а около нее фельдшерша и что-то шепчет ей на ухо и ставит свечи перед образами. Капитан так пристально смотрел на затылок и толстые темнорусые косы Варочки, что не заметил, как я прошел мимо него и почти рядом с Варочкой остановился.

Странная и непонятная вещь! Отчего, например, дома я каждый день любовался красотой Варочки, и ни разу не бросались мне в глаза такие милые и, можно сказать, пластические подробности, как в церкви; например: на белом, изящно округленном затылке прозрачно вьющиеся кудри, — я вам скажу, это такая сатанинская прелесть, против которой

не в силах человек устоять! Я перекрестился и двинулся несколько шагов вперед.

По окончании обедни на паперти встретился мне капитан, и ему, как я заметил, ужасно хотелось зайти ко мне на квартиру, но я искусно отманеврировал, раскланялся с ним на перекрестке и пошел по направлению к квартире полкового командира, где его хоть и принимали, но весьма осторожно, потому, правду сказать, что командир наш был уже старик и вдобавок израненный старик, командирша же еще баба хоть куда, а вдобавок еще и немка, так оно, знаете, [опасно] было пускать такого зверя в дом, каков был капитан.

На другой день после рапорта спросил я у Тумана, который теперь будет год Варочке. Он долго считал по пальцам и, наконец, сказал:

— 3 Варвары симнадцатый пошел.

«Гм... семнадцатый! — подумал я, — опасно!..» — и я рассказал ему, что я вчера заметил в церкви и каких от этого последствий ожидать можно и даже должно. Туман долго молчал, повеся голову, потом вздохнул и про-

говорил как бы про себя:

— Морока, тай годи! — И, помолчавши, продолжал: — Порадьте, ваше высокоблагородие, що мени з нею робыть?

— А что робыть? Найти порядочного человека да выдать замуж, другого средства я не знаю.

— Замуж... замуж... — говорил он шепотом. — Замуж, — продолжал он тем же тоном. — За кого? Ни за кого! — сказал он, возвыся голос. — Пропаду! Я здохну, як та стара собака, без ней, ваше высокоблагородие!

— Ну так сам женись.

— Не можна, ваше высокоблагородие. Грих од бога, — вона моя дытына. И люды пальцями на мене по-казуватымуть. Бачь, скажутъ, старый дурень, для чого выкохав байстря! — И он снова опустил голову и задумался. Глядя на него, мне самому взгрустнулося. «Хорошо было бы, — подумал я, — если бы все родные отцы так любили своих детей, как этот бедняк приемыша».

— Ну, что же ты придумал, Туман? — спросил я его.

— Ничего, ваше высокоблагородие.

— Так пока и не придумывай ничего, только смотри за нею хорошенько, — может, даст бог, опасность пройдет.

Я это говорил потому, что шалости капитана становились похожими на денной разбой, и полковой командир два раза уже аттестовал его как человека неисправимого и вредного полку.

Прошло лето, настали темные долгие вечера осенние, а с ними и спутницы их — грязь и скука. По вечерам, бывало, Туман сидит в своей комнате перед стеклянным глобусом, наполненным водою, и голенище тачает, а в углу около столика Варочка тоже или за работой, или читает в сотый раз житие Варвары-великомученицы. И всякий раз, когда она прочитывала имя Диоскора⁽²⁵⁰⁾, Туман плевал и шептал себе под нос: «Собака!» У них была еще и другая назидательная книга — это житие святых Петра и Февронии, тут, в Муроме, в Благовещенском монастыре, нетленно почивающих; но эту книгу она реже читала, потому, может быть, что Варвара-великомученица ее патронка. И я, бывало, по пробитии зори, отпущу фельдфебелей и,

закуривши трубочку, зайду к ним, и так тихо, мило пройдет у меня время до ужина, как никогда ни прежде, ни после не проходило оно в блестящих гостиных.

Здесь прилично было бы нарисовать красавицу Варочку наподобие Сивиллы Куманской Кипренского^{251} или просто юную красавицу, при свече читающую книгу, во вкусе фламандского мастера Рембрандта, но, признаюсь откровенно, эта задача не по мне; притом же я и враг великий художников-самоучек, а в этом деле я был ниже всякого самоучки. Я, подобно юноше-поэту, по целым часам не сводил с нее моих очей, и бог знает какие мысли [роились] в моей седой голове. А между прочими и такие. У меня в детстве была страсть к живописи, но как отец мой был настоящий суворовский солдат, то он о живописи и вообще об изящных искусствах имел самое грубое понятие, или, лучше сказать, никакого. Мать моя была несравненно образованнее отца и, как женщина, по природе своей она хотя безотчетно чувствовала прелесть нерукотворного создания и ей любо было подмечать во мне то же самое чувство; но чтоб

посвятить меня какому-либо искусству или науке, она об этом и подумать не смела. Раз как-то, показывая ему мой рисунок, она сказала:

— А что, если бы его отдать в Академию художеств? Может быть, из него вышел бы славный живописец?

— Что? — сказал он, сердито взглянув на нее. — Живописец?.. Маляр?.. Ты, кажется, пьяна была и не проспалась! Живописец!.. Ха, ха, ха... живописец!.. Да ты подумай, мудрая голова, дворянское ли дело в красках пачкаться?.. В Академию... вместе с холопами! Прекрасную карьеру выбрала ты своему сыну, прекрасную, нечего сказать! — И, взявши меня на руки, прибавил: — Нет, брат Саша, ты у меня будешь настоящий суворовский солдат.

Спустя год после этой сцены меня отвезли в шляхетный кадетский корпус, и из меня действительно вышел настоящий солдат, и больше ничего. И я теперь думаю, как хорошо было бы, если бы я был живописцем: я бы на полотне передал прелести Варочки отдаленному потомству, подобно тому, как Рафаэль

обессмертил свою Форнарину^{252} или как Гвидо Рени^{253} — целомудренную Беатриче Ченчи^{254}. Но об этом теперь и толковать нечего.

Странно как-то случается с людьми: человек, например, дальновидный, — он за год, за два предвидит опасность и все меры, все средства употребляет, чтобы отвратить от себя несчастье, день и ночь не спит, слух, и зрение, и все существо его постоянно бодрствует настороже, а в самую минуту опасности возьмет да и заснет, — да как заснет! как самый счастливый человек!

Вот точно так же теперь случилось и с нами. Время уже близилось к рождественским святкам. Туман, как обыкновенно это бывает, завален был работой. Я даже на это время просил адъютанта, чтобы не тревожить его на ученье: думаю себе, — пусть человек при случае заработает себе какой-нибудь лишний грош. Вот однажды, отпустивши фельдфебеля, я, по обыкновению, закурил трубочку, надел архалук и пошел к Туману. Прихожу, он работает перед стеклянным глобусом^{255}. На столике в углу горит свеча и уже порядочно нагорела, перед свечой на столе лежит раз-

вернутая книга, а Варочки нет. Ну что бы мне было догадаться и спросить, давно ли она вышла! Да что и спрашивать? — нагоревшая свеча ясно показывала, что давно. А я еще снял со свечи и сел себе, ничего не подозревая, начал спрашивать Тумана, много ли он пар уже кончил и сколько еще надеется кончить к празднику, и какую цену он берет: смотря по давальцу и лицу или со всех одинаково? На что он отвечал весьма основательно: «Однаково, бо одинаково и работаю». Потом, ни с сего ни с того, перешли к воспоминанию о заграничных наших похождениях, потом о тульчинских маневрах и, наконец, свернули речь на покойного Володю.

— Да, — говорит Туман, — недаром сказано: волос долгий, а розум короткий. И те сказать, — прибавил он, — молоде, дурне, а може ще й сирота, доглядать було никому. — И он взглянул на то место, где должна была сидеть Варочка. Он заметно изменился в лице, не сводя глаз с догоравшей свечи и развернутой книги.

— [.....?][4] Аж ии и дома нема, — проговорил он едва слышно и, обращаясь ко мне, ска-

зал: — Я думаю, чом вона не читае, аж ии и в хати нема. — И он быстро встал на ноги и с работою в руках вышел из комнаты.

Минут через десять он возвратился встревоженный. Я спросил у него: «Ну, что?» — и он только шевелил губами, но слов произнести не мог; наконец, кое-как шепотом проговорил: «Нема!» Я в свою очередь тоже вскочил на ноги и сказал ему: «Беги к фельдшерше!» — а сам наскоро оделся и пошел к городничему — дать знать о случившемся и просить, чтобы он принял свои меры. Но что значила полиция в то время в уездных городах? Ровно ничего. Возвращаюсь я домой, захожу к Туману, и я думал, что он возвратился уже, — ничего не бывало: он, как я его оставил, так и остался на том месте, как окаменелый. Я спрашиваю его, был ли он у фельдшерши, и после нескольких повторений он мне едва проговорил: «Ни!» Я оставил его и еще раз обошел все комнаты, раза два справился в людской, на кухне; я искал ее, как мы обыкновенно ищем затерянную какую-нибудь мелкую вещицу раз десять в одном и том же месте; посмотрел во всех углах, за комодом, под

диваном и, убедившись, наконец, что ее нигде нет, думал было лечь заснуть. Не тут-то было: только что сомкну глаза, передо мною является или капитан или Варочка. До самого свету корчился я на постели, как карась на сковороде. На рассвете я встал и пошел посмотреть, что Туман делает, потому что я его оставил ночью в самом жалком виде. Отворяю тихонько дверь и вижу в комнате едва мерцающий огненный свет, — это догорала свеча перед стеклянным глобусом, а по сторону того же глобуса на своем рабочем табурете сидел Туман, подперши голову обеими руками. Сначала я подумал — он спит, и хотел выйти из комнаты, но он поднял голову, посмотрел на меня и едва слышно проговорил: «Нема!» — и так проговорил страшно, что я не на шутку за него испугался. Он снова опустил голову на руки, а я тихонько вышел из комнаты, будучи вполне уверен, что никакое участие не в состоянии было разбудить его от этой страшной летаргии. А спросить бы в самом деле у психологов: каково действует на душу самое искреннее участие в таком страшном критическом состоянии, в каком

теперь находилась душа моего бедного Тумана. Я про себя скажу: в полуторе на меня благодетельно действовало даже не искреннее, а так, дружеское участие, а во время самого истинного горя, когда душа наша прячется в самый темный угол, куда и собственная мысль наша проникнуть не смеет, о, тогда всякое самое нежное, самое искреннее участие делается лютейшею отравой. Вот почему я не решился утешать несчастного Тумана.

Пошел я поутру к городничему узнать, не открылось ли какого следа. Дорогою повстречался мне знакомый и после первых приветствий спрашивает:

— Как это так случилось, что у вас дворовая девка пропала?

Я не ответил ему ни слова, воротился назад домой, — к городничему незачем было ходить. И действительно, он только и умел сделать, что в тот же день благовестили во всех переулках о нашей пропаже. После этого какой тут след откроешь?

Три дня и три ночи просидел несчастный Туман на своем табурете, не подымая головы. Я испугался и советовался с доктором, и бла-

горазумный доктор велел только окно или дверь открыть на несколько часов (а это было, как я уже сказал, зимою). Я по части врачебных наук совершенно, невинный и из усердия взял да и растворил тихонько окно и дверь. Проходит час, другой, я все заглядываю то в дверь, то в окно и думаю: что выйдет из этой операции? Смотрю, уже так будет перед вечером, Туман начал вздрагивать, а через час встал, оглянулся кругом, затворил окно и дверь, походил с полчаса по комнате, вздрагивая, и едва слышно говоря: «От тоби й на!» Потом он лег, или, лучше сказать, упал на свою койку, укрылся тулупом, и мне показалось, что он уснул. Я подумал: «Слава тебе, господи!» — и пошел тоже немного отдохнуть. Не успел я напиться чаю, денщик докладывает мне, что Туман мечется, стонет и меня к себе просит. Прихожу я, спрашиваю:

— Что с тобою, Якиме?

— Ничего. Спина! Холодно! Душно! Що знате, то те й робить!

Я вижу, дело плохо, послал за доктором, а сам остался с ним. Он несколько раз обращался ко мне и кричал:

— Пить! Дайте пить, а то згорю!

Я подавал ему чайной чашкой квасу, и он немного успокаивался. Пришел лекарь, пощупал пульс, посмотрел на свой брегет с секундной стрелкой и сказал:

— Горячка. Отправьте его сейчас же в госпиталь.

Я его сейчас же и отправил.

Месяца два с лишним пролежал бедный Туман в госпитале. Сам лекарь начинал уже сомневаться в его выздоровлении, особенно в последние дни горячки, или, как говорят, перелома болезни. Однако железная его натура превозмогла, и он к концу первого месяца мог уже без посторонней помощи вставать с постели, а к концу второго бодро уже гулял по коридору и все есть просил, в чем, разумеется, ему отказывали.

Я же во время болезни Тумана делал все, что мог сделать, чтобы открыть хотя темный след нашей беглянки. Я устроил своих лазутчиков, и самых неусыпных. Мне фельдфебеля каждый вечер доносили подробнейше о всех движениях капитана; каждый шаг его был виден, был на счету у моих верных агентов,

но ни малейшего следа, — как в воду канула. И не один я, а все в городе указывали на капитана. Да что ты станешь делать? — преступник налицо, а доказательств никаких, — и поневоле злодея, зверя назовешь человеком.

Туман уже начал поправляться, когда из Владимира приехал жандармский офицер, взял нашего капитана и повез в Вологду. Я, однакож, все еще не терял надежды; я написал частное письмо вологодскому полицеймейстеру, прося его, чтобы он уведомил меня, кто именно приедет с таким-то капитаном, и в особенности, в числе его прислуги не будет ли молодой девушки, — тут я описал приметы Варочки. Через полгода, однакож, не раньше, получил я письмо от вологодского полицеймейстера, в котором были описаны с большими подробностями как сам господин, так и его прислуга и, между прочим, горничный казачок Климка:

«Помянутый казачок Климка через четыре месяца бежал от капитана и теперь неизвестно где обретается. Вот все, что я могу вам, милостивый государь, сообщить о капитане. Девушки же, — продолжает он, — о которой вы

пишете, никакой с ним не прибыло в наш город. Поговаривали сначала, что помянутый казачок Климка будто бы переодетая женщина, но это бабьи сплетни, ничего больше. Я по тому сужу, что как бы ни был человек развратен, а все-таки не решится на такое законопреступное дело. Да и то еще опровергает клевету сию, что у женщины, как у создания и физически и нравственно слабого, не достанет духу на таковой решительный поступок, как, например, бежать, — на это и мужчина не всякий решится. Нахожу ненужным писать вам о капитане: уповаю, что вы его хорошо знаете. Разве только скажу, что он ни на волос не изменился».

Письмо, как обыкновенно, заключено искони принятою вежливостью, и больше ничего. «Вологодский полицеймейстер должен быть простодушный добряк, — подумал я, — как-таки можно не проверить бабьи сплетни, как он говорит, на деле? Как можно было сомневаться в законопреступном поступке капитана, прочитавши его формуляр! А он, наверное, его читал. Простота, ничего больше!»

Что же мне теперь оставалось делать? Я

вполне был уверен, что Климка-казачок — не кто иной, как наша Варочка. Бедная! Она свою участь унаследовала от своей матери. Как бы и ей не пришлось кончить, как покойница кончила! Но где она теперь? Сидит, я думаю, в пошехонской или в другой какой тюрьме да кормит вшей, а может, ее уже и на свете нет. После долгого раздумья решился я послать объявление в «Московские ведомости», «Губернские ведомости» в то время еще не печатались^{256}. Сделавши это, я решился поделиться моими надеждами с Туманом: решился, говорю, потому, что Туман хотя и совершенно оправился от горячки и, несмотря на то, что восемь месяцев прошло с тех пор как Варочка пропала, а он все еще был похож на помешанного. Он и до того был неречист, а теперь совсем онемел, бросил свое ремесло и по целым дням просиживал в своей комнате, подперши голову руками. Я одного боялся, чтобы он не начал пить, — однакож, слава богу, этого не случилось.

Я не утерпел, однакож, предполагая, что надежда освежит его скорбящую душу: однажды поутру, после рапорта о благополучии по

хозяйству, рассказал я ему о моем открытии. Долго он стоял передо мною молча, опустя голову. Я прошелся несколько раз по комнате, он, как статуя, не шевелился. Я хотел ему что-то сказать, только смотрю, а у него из-под опущенных ресниц слезы как горох покатились. Потом он вздохнул и едва слышно проговорил: «Капитанша!» — и, поворота налево кругом, вышел из комнаты. Я посмотрел ему вслед и горько раскаялся в моей опрометчивости.

Это было осенью. В полку были дозволены годовые и полугодовые отпуска. Туман на другой день приходит и говорит, что он представлен в отпуск на полгода и просит меня, чтобы я не препятствовал.

— Схожу, — говорит, — до дому, чи не легче буде.

— Иди, — я говорю, — с богом, — и наказываю ему, когда будет идти через Глухов, чтобы зашел на мой хутор посмотреть, что там делается.

— Добре, зайду.

Через неделю ему выдали билет, и он, пропившись со мною, ушел.

Напрасно ожидал я результата от моей публикации, — ничего не вышло. Спустя месяца три после ухода Тумана в отпуск в одно утро докладывают мне, что Туман приехал. Я удивился, что так скоро. Выхожу на двор, смотрю, из небольшой одноконной рогожаной кибитки высаживает Туман закутанную и в нагольном тулупе женщину с ребенком на руках. Туман, увидя меня, весело проговорил:

— Найшов! найшов! ваше высокоблагородие!

И действительно, это была Варочка. Но какая разница между прежней Варочкой! — обветренная, худая! Она отдала ребенка на руки Туману и, как помешанная, бросилась к моим ногам и зарыдала. Дитя проснулось на руках у Тумана и заплакало. И он, приголубливая его, понес в свою комнату. Я поднял рыдающую Варочку и повел ее вслед за Туманом.

На другой день Туман принял опять в свои руки мое хозяйство, и все у нас в доме пошло попрежнему. Однажды после рапорта я спросил его, где он нашел свою Варочку?

— Де найшов? — отвечал он мне. — В Мо-

Лози^{257}, в тюрьме.

Любопытство мое не совсем было удовлетворено его ответом, но я знал, что он не охотник был до подробностей, то и не расспрашивал его. Некоторое время Варочка никуда не выходила из своей комнаты, и даже от меня она пряталась. Мне тоже как-то казалось неловко к ним заходить. У Тумана я каждый день спрашивал о ее здоровье и о здоровье дитяти, и он отвечал мне:

— Благодарить господу милосердого — обое здорови.

Я соскучился по Варочке и однажды, отпустивши фельдфебелей, зашел к ним в комнату, и, как прежде бывало, Варочка читала житие Варвары-великомученицы, а Туман сидел напротив нее и нянчил на руках Еленочку. Я никогда не забуду эту истинно нравственную картину!

После моего визита, на другой день, Туман пришел ко мне, по обыкновению, и после рапорта сказал:

— Ваше высокоблагородие! Я думаю ожениться, щоб люды головою не кивали та пальцями на нас не показувалы.

«Благодарнейший ты человек», — подумал я и в тот же день испросил ему у полкового командира позволение, а в следующее воскресенье я присутствовал на свадьбе Тумана в виде посаженного отца.

Варочка и после свадьбы долго еще все была грустная, задумчивая и никуда не выходила, кроме церкви. Тумана она попрежнему называла своим татом и часто плакала, глядя на него, когда он ласкал ее Еленочку, как будто свое родное дитя. Мало-помалу она как будто начала забывать свое прошедшее, стала заходить в мои комнаты, сначала в мое отсутствие, а потом и при мне. Белье мое и все, что требовало женского глаза, она взяла под свою опеку, и лучше и аккуратнее хозяйки требовать нельзя было. Однажды поутру приходит она ко мне с Еленочкой на руках, веселая такая, счастливая. Я предложил ей чашку чаю, посадил около себя и стороною повел речь о том, как она убежала и где была спрятана капитаном до поездки в Вологду. Сначала спросил я ее, бывает ли она у фельдшерши.

— Никогда не бываю, — отвечала она.

— Почему же ты не бываешь? — спросил

я. — вы были такие короткие приятельницы.

— Хороши приятельницы! Она гнусная, лукавая женщина! Если бы не она, я бы до сих пор ничего не знала. Это она все наделала, — и Варочка заплакала.

Немного погодя я сказал:

— Да, таки порядочных хлопот ты нам тогда наделала: бедный Туман чуть в могилу не отправился. Но я до сих пор не могу понять, где ты была спрятана, потому что я тогда все мышь норки перерыл в городе. Расскажи, сделай одолжение, как это так случилось?

— А вот как, — сказала она, утирая слезы. — Помните, в тот день первый снег выпал. Фельдшерша, будь она проклята, договорила меня покататься с нею вечером, я и ушла к ней без спросу и свечу и книгу оставила на столе: думала, сейчас ворочуся, и никто не будет знать, где я была. Прихожу я к фельдшерше, а у нее самовар на столе. Она налила мне чашку чаю: чай был такой вкусный, что я попросила и другую, а потом и третью, и мне стало так хорошо, так весело, что я готова была плясать. Я про все на свете тогда забыла. В это время против окон на улице остано-

лись сани. Мы вышли, сели и поехали. Долго мы ездили по городу, так долго, что мне спать захотелось, и так захотелось спать, что я не помню, как я и заснула. Проснулась я в теплой комнате; было темно, только в маленькие скважины сквозь ставни пробивался свет. Я стала припоминать вчерашнее катанье, но только и могла припомнить один чай и фельдшершу, и то как во сне. Вскоре отворилась дверь, и ко мне вошла деревенская старуха со свечою в руках. И я спросила ее:

— Где я?

— У добрых людей, — отвечала она.

— Как же я здесь очутилась?

— Тебя на улице подняли: знать, шальные кони из саней выбросили. Не нужно ли тебе чего? — спросила она, ставя на стол свечу.

— Не нужно ничего, — отвечала я, и старуха взяла со стола свечу и вышла вон, защелкнувши на крючок двери за собою.

Я все думала, где я и что со мною хотят делать? Долго я думала и, наконец, опять заснула. Когда проснулась я во второй раз, то уже свету в скважинах не видно было, голова у меня не то что болела, а кружилась, хуже вся-

кой боли. Я стала плакать. Вошла опять та же самая старуха со свечой и начала меня утешать, предлагая мне чаю и разных лакомств. Я отказывалась и только просила ее, чтобы она сказала мне, где я. Спрашивала про вас, про тата, про город наш — далеко ли он. Старуха отвечала, что ни вас, ни тата не знает, а про такой город побожилася, что отроду и не слыхивала. Потом предложила она мне чаю, — я отказалась; предложила ужин — я тоже отказалась. И старуха зажгла лампадку перед образом и вышла из комнаты. Я вскочила с постели и бросилась к двери, но старуха успела ее защелкнуть на крючок. Немного погодя послышался за дверь мужской голос. Голос был мне знакомый, но я не смогла припомнить, где я его слышала. Голос спрашивал:

— Ну что, ей лучше теперь?

И старуха отвечала:

— Все равно, батюшка, бредит и мечется.

— Ну, хорошо, — говорил тот же голос, — я ей завтра лекаря пришлю.

«Неужели это они обо мне говорят? Неужели я в самом деле нездорова?» — подумала я.

Лекарь, однако, не приходил, и я успокоилась.

Долго, долго я сидела в этой проклятой тюрьме. Я чуть было с ума не сошла от скуки: кроме отвратительной старухи, я во все это время никого не видала. Только уже за день перед тем, как взять ему меня с собою, вошла ко мне фельдшерша с узлом в руке. Я, как родной матери, обрадовалась ей; она принялась меня утешать и сулить мне бог знает какие радости в будущем, с тем только, чтобы я во всем ей покорилась. Она предложила мне остричься и одеться в мужское платье. Я было отказалась, но она пригрозила мне вечною тюрьмою, и я повиновалась. У ней с собою были ножницы, и она сейчас же остригла мои косы. Господи, как я тогда плакала! Потом вынула из узла мужское платье и одела меня и только начала было восхищаться мною, как я хороша в этом наряде, как вошла старуха и сказала: «Приехали». Мы поспешно вышли на двор. Уже было темно, за воротами стояли две кибитки — одна большая, а другая поменьше. Усадила меня фельдшерша в большую кибитку, перекрестила, и лошади тронулись с места, остальное вы уже знаете, — про-

говорила она и заплакала.

Вскоре началась польская революция^{258}, и нашему корпусу велено было двинуться в Литву. Я отослал, что было лишнее, к себе домой на хутор и уговорил Тумана, чтобы он и Варочку с ребенком отпустил ко мне на хутор с обозом. Он так и сделал, и мы двинулись в поход налегке. По окончании кампании я взял отставку в чине полковника, а в скором времени вышла отставка и Туману, и он пришел ко мне на хутор. Я думал было его сделать у себя приказчиком, но так как мне самому делать было нечего около моего мизерного хозяйства, то я и отдал ему в содержание корчму, что около Эсмани, бесплатно, за прежние его услуги, и Викторкови моему завещал то же делать, когда меня не станет.

— Что я и [буду] делать до конца дней моих.

Виктор N. N.

Прочитавши этот рассказ, я призадумался, и в воображении моем грубый ветеран-корчмарь преобразился в такого человека-христианина, как дай бог, чтобы [все] бы-

ли хоть немного похожи на него. Отрадное это размышление прервано было восклицанием: «Черт знает что!» Дверь растворилась, и в комнату вошел мой приятель, держа в руках мою гармонику и повторяя: «Черт знает что! Я думал, что он ей что-нибудь доброе подарил. Полтина! Больше полтины не стоит!»— и, увидя у меня свою рукопись в руках, как бы опомнился и сказал:

— Что, какова повесть? Али ты ее еще не дочитал?

— Как раз перед вашим приездом кончил, — отвечал я.

— Ну как, по-твоему, стоит напечатать или нет?

— И очень даже!

— Вот то-то и есть! А они, дурни, думают, что не читавши ничего, то ничего и не напишешь. А вот же и написал!

— Позвольте мне ее переписать, так, для памяти, — сказал я.

— Вот еще, переписывать! Возьмите так, как есть, и хоть напечатайте ее, только с тем, как я вам и прежде говорил, чтобы не выставить моего имени.

Я дал слово. На дворе было уже темно. Напившись чаю, мы поговорили еще немного, оделись и поехали в город, в исторический николаевский собор, «Деяния» слушать^{259}.

После заутрени приятель мой поехал к себе на хутор, как он говорил, по хозяйству распорядиться, и, как после оказалось, затем только, чтобы соблюсти долг приличия, то есть натянуть фрак на независимые плечи. Я же, как никого не имел знакомых и не имел охоты знакомиться, то нашел эту церемонию лишнею и остался в городе в ожидании обеда. Погода (что весьма редко случается в это время года) стояла хорошая. Улицы были почти сухи, и я пошел шляться по городу, отыскивая то место, где стояла знаменитая Малороссийская коллегия^{260} и где стоял дворец гетмана Скоропадского^{261}, — тот самый дворец, в котором он чествовал Данилыча^{262}, когда он заехал поблагодарить гетмана за гостинец, то есть за город Почеп с волостию. А Данилыч, не будучи дурак, да к почепской волости и отмежевал посредством немецкой астробии сотню Балаклинскую, Мглинскую и половину Стародубской, да и заехал в Глухов

благодарить гетмана, а простоватый Ильич, ничего не ведая, знай угощает своего светлейшего гостя, аж пока светлейший гость, в знак благодарности, велел скласть на площади против дворца каменный столб и вбить в него пять железных спиц: одну для гетмана, а прочие для старшин, если они хоть заикнутся перед царем про немецкую астролябию. Однакож старшины не уstraшились и, будучи в Москве, пожаловались на грабителя, за что наперсник и был оштрафован.

Но где же эта площадь? где этот дворец? где коллегия со своим кровожадным чудовищем — тайною канцелярией^[263]? Где все это? И следу не осталось! Странно! А все это так недавно, так свежо! Сто лет каких-нибудь мелькнуло, и Глухов из резиденции малороссийского гетмана сделался самым пошлым уездным городком.

Благовест к обедне прервал мои невеселые вопросы, и я, перекрестясь, пошел в николаевскую церковь, один-единственный памятник времен минувших. На площади догнал я чумацкий воз, везомый парюю серых волов-великанов. На возу сидели две женщины

в белых свитках — одна в лентах и в барвинковых цветах, а другая повязанная шелковым платком. Рядом с волами шел высокого роста мужчина в черной кирее и черной же смушевой шапке, с батогом в руке. Из воза выглядывал еще белый большой узел. Это была завернутая в белую скатерть пасха со всеми принадлежностями.

Поровнявшись с возом, я немало удивился, узнавши в путешественниках моих старых знакомых — Тумана и его фамилию. Волы остановились. Я со всеми похристосовался, и, беседуя о том, что бог послал погоду и день такой хороший для такого великого праздника, мы тихонько приблизились к церкви.

После обедни на цвинтаре, или на погосте, приятель мой не без умиления облобызал дюжины две православных христиан и христианок, взял меня за руку и подвел к только что вышедшему из церкви небольшому толстенькому человечку в губернском мундире, с румяным добродушным лицом, и, похристосовавшись с ним, сказал, указывая на меня: «N. N., такой-то». Я поклонился, а приятель прибавил:

— Карл Самойлович Стерн^{264}, эскулап наш уездный. Ему так нравится наш истинно христианский обычай, что он каждый год надевает мундир и является к обедне; собственно для этого праздника хочет принять нашу православную веру, да нет, я думаю, совет, — извини, Карл Самойлович!

Немец добродушно улыбнулся, и мы расстались.

Приехали мы на хутор, и я, войдя в комнату, или светлицу, немало удивился, не видя ничего такого, чем бы можно было разговеться. Хозяин, заметя мое удивление, вывел меня в сени и молча показал на небольшую дверь, ведущую, как я думал, в сад. Я отворил дверь, и изумленным очам моим представился не сад, как я воображал, а огромный дощатый сарай с маленькими окнами, примкнутый к самому дому. Это была зала пиршеств, как я после узнал. Посредине сарая стоял бесконечный стол, покрытый белой скатертью, и, боже, чего на этом столе не было! И все это было в самых гомерических размерах. Бабуся, вертевшаяся около стола, казалась мухой против колоссальной пирамиды из теста, называе-

мой пасхой. По сторонам пирамиды, как египетские сфинксы, по нескольку в ряд, лежали не поросята, а целиком зажаренные огромные кабаны, с корнями хрена в зубах, и все прочее в таких размерах, — даже водка и сливянка стояли по краям стола в больших барилах (бочонках), покрытых салфетками, — словом, все было циклопически, так что если бы проснулся великий слепец Хиосский^[265], так и он только бы ус покрутил, больше ничего, да, может быть, подумал бы, что на хуторе ждут Кадма^[266] с товарищами.

Хозяин, ходя по зале (так называл он сарай), поглядывал то на стол, то на меня и самодовольно улыбался.

«За чем же дело стало? чего тут еще недостает? — думал я. — Можно бы, кажется, приступить и к делу, или он кого дожидает?» — Я хотя и не был голоден, но и равнодушно не мог взирать на все сии блага, особенно на поросят и на бабу, — точно московская кубическая купчиха, белая, румяная — ну так бы и проглотил всю разом. А хозяин, как ни в чем ни бывало, ходит себе да только улыбается. Полчаса, если не больше, прошло в ожида-

нии. Я начал уже припоминать анекдот про царя и его любимого боярина, — как тот верный боярин проворовался в чем-то перед царем. Добрый царь не хотел для открытия истины употребить в дело огня и железа, а, продержавши суток трое в темнице без хлеба и воды своего верного боярина, потом велел подать себе миску добрых щей, жареного поросенка и позвать боярина к допросу. Что же вы думаете? За ложку щей да за хвостик поросенка во всем боярин повинился. Вины, правда, я за собой никакой не признавал, но мне невольно думалось, не хочет ли приятель мой и надо мною такую штуку выкинуть, как тот царь над своим верным боярином, — так в чем же я перед ним провинился? В эту самую секунду дверь отворилась, и вошла в залу бабуся с тарелкою в руках: в тарелке была священная вода и кропило из сухих васильков. Входя в залу, бабуся скороговоркою сказала:

— Уже на гребли!

Приятель мой вышел в сени. Вскоре послышался на дворе стук колес, и минуты две спустя вошел в залу священник при епитра-

хили, сопровождаемый хозяином и церковниками. За клиром вошел Туман со своими домочадцами, а за Туманом, чинно, без шума, разглаживая усы, пошли мужички и через минуту наполнили собою весь сарай. После священнодействия священник, а за ним хозяин, а потом уже я похристовались со всеми предстоящими и, разговевшись кусочком черного хлеба, приступили кто к чему имел поползновение. Теперь только объяснилось, для чего в таких гигантских размерах было приготовлено съедобное и спитобное! Приятель мой (за что я с ним десять раз похристовался) буквально следовал слову златоустого витии и любви и смирению первобытных христиан. Тут не было раба и владыки, — тут был самый радушный хозяин и самые нецеремонные гости.

Проводивши священника и крепостных своих гостей, он усадил за стол меня, Тумана с фамилией и сам сел между ними, сказавши: «Отепер разговеемся!» Против меня сидела Еленочка с матерью, и теперь только я рассмотрел ее с должным вниманием. Это была настоящая, только что расцветшая красави-

ца. Густые темнокаштановые волосы, заплетенные в две косы и перевитые зеленым с синими цветами барвинком, придавали какую-то особенную свежесть ее изящной головке. Тонкая белая рубаша с белыми же прозрачными узорами на широких рукавах ложилась на плечи и на груди такими складками, какие не снились ни Скопасу, ниже самому Фидию^{267}, — словом, передо мною сидела богиня красоты и непорочности. Рядом с Еленочкой сидела мать ее, когда-то Варочка, а теперь Варвара Ивановна, как называл ее сам хозяин, а около нее сидел Туман, с улыбкою покручивая белые усы свои. Я смотрел на него не как на простого корчмаря-ветерана, а как на рыцаря великих нравственных подвигов, как на человека-христианина в самом обширном смысле этого слова и, признаюсь, завидовал ему. Он в моих глазах казался совершенно счастливым, да иначе и быть не могло. Человек, так высокоблагородно исполнивший свои обязанности в отношении к ближнему, даже в нищете и одиночестве должен быть счастлив, а его старость была окружена достатком и самыми искренними, самыми

нежными друзьями. Не случилось мне видеть такого изящного произведения скульптуры или живописи, которое так бы успокоительно-сладко привлекало мои глаза к себе, как кроткое и спокойное лицо этого седого доблестного героя добродетели. Озеров вполне чувствовал эту прелесть^{268}, сказавши устами Эдипа:

*Мой не увидит взор
Ни мужа кроткого приятного че-
ла,
Которого рука богов произвела.*

Встали мы из-за стола тихо, скромно, как будто из-за обыкновенного обеда, помолились богу, и Туман, взявши свою смушевую шапку, взглянул на жену и стал прощаться с хозяином. Туман вообще неговорливый, но на этот раз он был совершенно немой за столом. Я думал было завести разговор о Блюхере или о Бонапарте, но, взглянувши на него, мне мысль моя показалась просто тривиальной. Одно-единственное слово, что я от него услышал, и то уже на дворе; когда он посадил свою фамилию в чумацкий воз и волы тронулись с места, то хозяин, стоя на пороге, спросил его:

— Так на фоминой, батьку?

— Эге! — ответил Туман и пошел за возом.

Вечеру, за чаем, приятель мой, вопреки своей натуре, был задумчив. Я сделал ему каких-то два-три вопроса, да потом и себе начал барабанить по столу пальцами. Уже бабуся и свечи подала, уже убрала и самовар с принадлежностями, а мы все сидим, не двигаясь, да барабаним по столу, и не знаю, долго ли бы продолжалось это барабанное упражнение, если бы я не вздохнул, так себе, от нечего делать. Приятель мой поднял голову, взглянул на меня и засмеялся. Насмеявшись досыта, сказал он:

— Послушай! Мое дело хозяйское, мне есть о чем задуматься и вздохнуть, ну а ты какого черта вздыхаешь?

— Хозяин невольно передает свои впечатления гостям, — отвечал я.

— Правда, правда твоя! А знаешь ли что?.. — проговорил он и замолчал.

— Буду знать, коли скажешь.

— У меня к тебе великая просьба есть. Дай слово, что исполнишь, — скажу.

— Дам слово, если скажешь, какая просьба.

— Погости у меня до фоминой недели!

— Не могу.

— Вот то-то и есть! Заставил меня открыть секрет, а теперь и назад. Это не похоже на порядочного человека.

— Какой же тут секрет? — спросил я.

— А такой секрет, — отвечал он подумавши, — что на фоминой неделе я думаю венчаться, а тебя прошу быть у меня шафером, или, по-нашему, боярином. Ну что, согласен?

Я как был в то блаженное время человек совершенно независимый, то, не долго думая, и сказал ему:

— Согласен!

— Вот это по-дружески! — говорил он, пожавши мою руку так по-дружески, что я чуть не закричал. — Теперь же ходимо вечерять, — прибавил он, вставая.

Тучная вечеря и нелицемерное возлияние развязали язык моему приятелю и открыли его сердечный тайник. Он сначала высказал мне свои самые естественные понятия о семейной и политической жизни человека, о его назначении вообще, как создания прекрасного и разумного, и как он может быть

независим, а следовательно, и счастлив в своей кратковременной жизни, ни малейше не нарушая гармонии общества себе подобных. Он так увлек меня своими суждениями, что я в нем начал видеть самого натурального, самого естественного мудреца, чуть ли не выше самого Сократа. Но как мудрецу и вообще человеку трудно и, кажется, вовсе невозможно указать самому точку, через которую не должно переступать, то и приятель мой незаметно перешел к утопии и начал мне доказывать, что грамотность, особенно в женщинах, особенно вредит благополучию человечества. Я думал было, что источник такой идеи был — вино, обильный источник сливянки, пока он не заключил своих доказательств такими словами:

— Я надеюсь, и не без основания, что я буду совершенно счастлив с моей женою, и именно потому, что она неграмотная!

— Ты — может быть, но этого нельзя сказать про многих, и я первый не скажу про себя.

— Потому что многие, в том числе и ты, ничего больше, как нравственные уроды.

«Вот тебе и на!» — подумал я и, помолчавши, спросил:

— Как твой старший боярин, имею ли я право спросить у своего князя, кто же это такая будущая счастливая княгиня?

— Секрет, до последнего дня секрет! А то ты, пожалуй, станешь меня разочаровывать.

Долго мы сидели за столом молча, изредка поглядывая друг на друга и на бутылку со сливянкой, и, когда увидели, что на сухом дне бутылки ничего достойного внимания не оказалось, встали из-за стола и, выразительно пожавши друг другу руки, пошли спать.

В продолжение недели мы с приятелем закусывали, завтракали, обедали, вечеряли и спали. Много и много переговорили мы о разных совершенно посторонних предметах, в том числе и о современной литературе, за которой он, как и всякий порядочный человек, следил довольно внимательно, что меня немало удивило, потому что я, кроме варварского перевода басен Федра, ни одной книжки не видел в его доме. Кроме современной литературы, у нас часто заходила речь о тонкой современной политике Меттерниха^{269}, но

о предстоящей свадьбе ни полслова. Я раз было, вопреки вежливости, заикнулся о сем щекотливом предмете, но приятель мой был нем, аки рыба, приказал заложить бричку и, не сказавши мне «до свидания», сел и уехал, бог его знает куда. Прошла, наконец, бесконечная для меня святая неделя, прошла и половина фоминой. Приятель мой уехал в среду поутру и пропал до самого вечера. Возвратясь к вечеру домой, он молча надел фрак, причесался, посмотрел в зеркало и сказал, обращаясь ко мне:

— Я готов! Одевайся скорее, поедем!

Я тоже оделся. Сели в бричку и поехали в город, прямо в Николаевскую церковь. Церковь была освещена: священник в облачении, посередине церкви нагой, а дьячок, разглаживая усы, чуть-чуть не возглашал *Исайя, ликуй!* Не успел я осмотреться, как двери растворились, и вошла Еленочка, сопровождаемая Туманом и матерью. Войдя в церковь, она перекрестилась, смело подошла к навою и стала на свое место. Я, когда увидел ее поближе и ярко освещенною, так только ахнул, так она была торжественно прекрасна. Обряд кончил-

ся, и я не без зависти поздравил моего счастливого приятеля с новой жизнью, с новой радостью. А на другой день, поблагодаривши за хлеб-соль моего приятеля, я уехал в Киев.

[Начато] 15 марта [1855]

Украинские слова и выражения, встречающиеся в 3 томе и требующие объяснения

А бо — или.

Авжеж — конечно, разумеется.

А щоб ты ему спряглось — а чтоб ему пусто было.

Ба ни — да нет.

Багато — много.

Байдуже — безразлично, все равно.

Байстрюк, байстря — внебрачный ребенок.

Банкет — пирушка.

Банкетувати — пировать.

Барило, барильце — бочонок.

Батиг — кнут.

Бачити — видеть. Бань — вишь.

Безголове — беда, гибель.

Бесталанье — несчастье.

Блазень (в повести «Капитан-ша») — молодой косос.

Бс — же.

Бодай его! — чтоб ему!

Бодня — кадка с крышкой и замком.

1 Приводим слова в том кач*и, в каком они даются в тексте.

Бсжевильный — сумасшедший.

Брати — взять.

Верить на Прилуки — возьмите на Прилуки.

Броварь — пивоварня.

Врыль — соломенная шляпа.

Будынок — дом.

Вый лыхом об землю, як швецъ мокрою халавою об лаву — ударь горем о землю, как сапожник мокрым голенищем о лавку.

Валка — обоз.

Великдень, велькдень — пасха.

Велькодная неделя — пасхальное воскресенье.

Велькодные святки — пасхальные праздники.

Вечеря — ужин. Вечерять — ужинать.

Вигодувати — вскормить.

Винньця — винокуренный завод.

Вихоть — мочалка.

Вишник — вишневый сад.

Вкупощ — вместе.

Возивня — сарай для телег и сельскохозяйственного инвентаря.

Волити — хотеть, желать

Волоцюга — бродяга.

Выкохати — воспитать.

Выробляти — выделывать.

Выстоялка — настойка.

Бысунутися — медленно выйти, выехать, выбратся.

Гаман — кошелек. Г арбуз — тыква. Глечик — кувшинчик. Годуватися — кормиться.

Годуйся — кушай, ешь. Город — огород. Горыще — чердак. Господа —; дом. Господарство — хозяйство. Господыня — хозяйка. Граматка —

1) поминальная книжка, 2) азбука, букварь. Гребля — плоти-

тина. Гусла— 1) гусли, 2) скрипка.

Дай лышень — дай-ка.

Де — где.

Дещо, дечого — кое-что, кое-чего.

Дзиндзюрыстый — бойкий.

Дзусь — нельзя. А дзусь вам знать — вас это не касается.

Дидивщина — поместье.

Добродий — сударь, благодетель. Добродейка — сударыня, благодетельница.

Довбня — большой деревянный молот.

Докупи — вместе.

Доладу — как следует, кстати.

Доли — на пол.

Домовына — гроб, могила.

Др1 т, дроту — проволока.

Дротянка — нагайка, сделанная из проволоки.

Дыбати — неуверенно идти.

Дымарь — печная труба.

Жалкувати — сожалеть, жалеть. Жарт — шутка. Жартувати —

шутить. Журитися — печалиться.

З. зо — с.

Завгорити — причинить горе.

Загарбати — захватить, схватить.

Загорода — некрытый загон скота.

Занивечить — испортить, погубить.

Заноза — палка, продеваемая в концы ярма и запирающая его на шее вола.

Запаска — «два куска шерстяной домотканины, обычно синей и черной, вместо юбки» (В. Даль).

Заполоч — цветные бумажные нитки.

Зарница — утренняя звезда.

Зиходитися — приниматься.

Звон — колокол.

Збычайне — конечно.

Згадувати — вспоминать.

Здывуватися — удивиться.

Зеленая неделя — воскресенье,

461

которым начинается неделя пятидесятницы. Зелены святки — неделя пятидесятницы.

Знаемьтися — знакомиться.

Знаменуватися — прикладываться.

Знушатися — издеваться.

Изнивечити — попортить. Индык — индюк.

Казати — говорить. Кажучи — говоря.

Кайданы — цепи.

Калюжа — грязь.

Карпетка — носок.

Квилити, проквиляти — плакать, стонать.

Килим, килым — ковер. Кили-мок, килы-мок — коврик.

Кирея — большая свитка с капюшоном.

Кладовыще — кладбище.

Клечальное воскресенье — троицын день.

Клуня — гумно, рига.

Кляипор — католический монастырь. В повести «Варнак», повидимому, общежитие.

Кныш — род хлеба.

Колыска — люлька, колыбель.

Колись — когда-то.

Комир — воротник.

Комора — кладовая, клеть, амбар.

Копа денег — 60 копеек.

Коштом и працею — на средства и трудом.

Крамарь — торговец.

Кружати — пить.

Курень — шалаш. Куколь — кружка.

Лава — скамья, лазка.

Ладу дати — привести в порядок, управиться.

Лап — поле.

Лановый — надсмотрщик за полевыми работами.

Левада — место для сенокоса вблизи усадьбы, лужайка.

Ледачий — плохой, худой.

Лёх — погреб, подвал.

Лобурь — болван, дубина.

Лой — овечье сало.

Лотоки — мельничный лоток, по которому течет вода.

Лушня — часть телеги. Кривой кусок дерева, верхним концом упирающийся в верхнюю связь телеги, а нижним надевающийся на ось.

Маетнисть — поместье.

Мажа — чумацкая телега.

Макитра — опарник.

Макогон — деревянный пест для растирания.

Малеваний — нарисованный.

Мандрувати — странствовать.

Мары — носилки.

Мережаний — узорчатый.

Мизерия — имущество.

Мисник — посудный шкаф.

Млын — мельница.

Мозючок — соска, рожок.

Молотник — молотильщик.

Москаль — солдат, вообще военнослужащий царской армии.

Напий — (напою), напиток.

На роздриб и частку гуртом — в розницу и частично оптом.

Наруга — позор, посмеяние.

Наточить — нацедить.

Небога \ л

„, > бедняга.

Неборак \

Недолюд — недостойный имени человека.

Недужий — больной.

Немкиня — немка.

Нечепурний — ненарядный.

Нивечить — портить, уничтожать.

Николи — никогда.

Ночвы — корыто.

Нумо — давай.

Одбути свято — отпраздновать. Олия — растительное масло. Онде — вон где. Оселя — жилище. Ослон — скамья. Осыка — осина. Отака ловись — вот те на. Очипок — головной убор замужней женщины. Очерет — камыш.

Пак — бишь.

Паляница, паляныця — пшеничный хлеб.

Папа (детское) — хлеб.

Пасха — кулич, пасхальная баба.

Патерыця — посох.

Перекупка — торговка.

Пидлога — пол.

(Шл), полу — род нар между печью и стеной.

Пистря — пестрядь, грубая ткань.

Плахта — «шерстяной, клетчатый плат, обертываемый женщинами вокруг пояса, замест юбки». (В. Даль.)

Пляшка — бутылка.

Повет — уезд. Поветовый *» уездный.

Погонец — обозный.

Подивиться — посмотреть.

Подякувати — поблагодарить.

Пожити — воспользоваться.

Поза — за.

Позычити — взять взаймы.

Покрытка — девушка, родившая внебрачного ребенка, которой покрывали голову платком, как замужней.

Покута — покаяние.

Полица, польця — полка.

Половий, половый — серый с желтым отливом.

Порадити — посоветовать.

Поратися — возиться, заниматься по хоз-
зяйству.

Поснидати — позавтракать.

Постривати — подождать.

Поховать — похоронить.

Пошкодити — повредить.

Прати — стирать.

Прибирать (в повести «Наймичка») — вы-
думывать.

Привитати (в повести «Наймичка») —
принять.

Призьба — заваленка.

Приспати — убаюкать.

Притыки — палка, прикрепляющая ярмо к
дышлу.

Прихилитися — склониться.

463

Причалок — боковая стена дома.

Пришвы. — головки (в сапогах).

Провадити — вести.

Пропасница, пропасныця — лихорадка.

Просто — прямо.

Пряжити — жарить. Пряжений — жарен-
ный.

Прямувати — направляться.

Пустка — нежилой опустевший дом.

Пустувати — шалить.

Пысьменный — грамотный.

,Рада — совет, помощь. Рады нету — сладу нету.

Рало — род земледельческого орудия для разбивки вспаханной земли.

Ризныця — разница.

(Р1к) року — год.

Робыть — делать.

Розвага — утешение, развлечение.

Рудый — рыжий.

Ручник — полотенце.

Садовитися — садиться, усаживаться.

Сам — один. Сами живемо — одни живем.

Свитло — свет, освещение.

Свынынецъ — свинарник.

Свято — праздник.

Сердечная — злосчастная.

Сины — сени.

Скрута — тяжелое положение.

Скрутыти — скрутить, обвенчать.

Скрыня — сундук. Скрынька (скринька) — сундучок.

Смитнык — мусорная яма.

Соб! — Налево! — Так кричат волам, чтобы они брали налево.

Спидница, спидныця — юбка.

Спочить — отдохнуть, выспаться.

Старий, стара — муж, жена.

Стодола — клуня, рига.

Стрыга — (детское) маленький, низкоостриженный ребенок.

Сумний — печальный.

Сунутися — медленно двигаться, брести.

Сковать — спрятать, утаить.

Сывый — седой.

Сыр — творог.

Та й годи — да и только.

Термин — срок.

Трупа — гроб.

Турбуватися — беспокоиться.

Тырса — ковыль.

Укупи — вместе.

Упоратися — управиться.

Фигура — большой крест (придорожный, на площади).

Худоба — скот. Хустка — платок.

Царына — выгон.

Цвынтарь — погост.

Уе — это.

Цебер — ведро.

Цындра — назойливый человек.

Чабак — лец. Час — время.

Чвертка — четверть штофа (водки).

464

¥

Чепига — созвездие Ориона.

Червонишою од воротника — красней, чем воротник.

Череда — стадо.

Чималий — большой, порядочный.

Чупрына — длинный клочок волос на^ голове.

Чути — слышать.

Шавлия — шалфей.

Швидко — скоро, быстро. Шипшина — шиповник. Шкаповий — из конской кожи.

Щирий — искренний, хороший.

Юпка — род кофты.

Янголя — ангелок.

Г

СОДЕРЖАНИЕ

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Назар Стодоля — перевели П. Антоколь-

ский и К. Чуковский, 7

Отрывок из драмы «Никита Гайдай» 66

ПОВЕСТИ

Наймичка. 81

Варнак 157

Княгиня 193

Музыкант 224

Несчастный 297

Капитанша 357

Комментарии. Составил И. Я. Айзеншток,
423

Украинские слова и выражения, встречаю-
щиеся

в 3 томе 460

Редактор Е. Цинговатова Оформление ху-
дожника Г. Фишера

Художественный редактор Г. Кудрявцев

Технический редактор Артемьева

Корректор Н. Мялик

Сдано в набор 9/VI 1955 г. Подписано к
печати 2/IX 1955 г. А05109. Бумага 84 X
108*/33—29/4 печ. л. =24 усл. печ. л. 21.8 уч. —
изд. л.+ 1 вкл.= 21.9 л Тираж 75 000 экз. Зак.
№ 561. Цена 10 р.

Гослитиздат, Москва Б-66, Нсво-Басманная,

19.

3-я типография

«Красный пролетарий»

Главполиграфпрома

Министерства культуры СССР.

Москва, Краснопролетарская, 10.

Примечания

1

Далее в подлиннике ремарки на украинском языке и даются здесь в переводе. (Прим. ред.)

[^^^]

Написана на русском языке

[^^^]

3

Все повести Шевченко написаны на русском языке.

[^^^]

4

Неясное место в автографе.

[^^^]

Комментарии

НАЗАР СТОДОЛЯ

Впервые — «Основа», 1862, кн. IX, сс 3—39. За отсутствием оригинала этот первопечатный текст является основным, хотя вызывает ряд недоумений и сомнений. Опубликовавший драму Шевченко П. А. Кулиш в большом примечании сообщал о ней следующее: «**Галя** названа была сперва **Лукиєю**, но потом это имя переправлено во всей пьесе; только в монологах, писанных рукою автора, осталось везде, по недосмотру поправлявшего **Лукия**. — Подлинник «Н[азара] Стодоли» принадлежит Н. Д. Белозерскому. Он написан на желтоватой бумаге в четвертку. Тетрадь очень засалена и запачкана в одном месте, в середине, порохом или нагаром из сальной свечи. В конце, рукою исправлявшего пьесу, написано: *«Занавес опускается, свист раздаётся»*. Другою рукою к слову «*Кінець*» прибавлено: *«и богу слава!»* Далее следует рукой переписчика: «9/XI 1844 г». Вычтя из 9/XI (ноября 9-го) число, выставленное на заглавном листе, а именно 24/X 1844 г. (октября 24), увидим, что

«Назар Стодоля» написан (или диктован и дописан) в течение шестнадцати дней. У Н. Д. Белозерского находится также перевод «Назара Стодоли» на великорусский язык (второй акт его потерян). В этом переводе, после слов Назара к Гале (в конце): «О мое сердце! доля моя!» пьеса оканчивалась убиением Хомы и готовностью к смерти Игната; но это место потом перечеркнуто, и рукою автора написан конец сообразно украинскому подлиннику, с небольшими отменами. Украинский подлинник был, невидимому, оставлен автором без внимания, по крайней мере — на время. Обе рукописи отданы были автором для хранения одному малороссийскому пану. В 1847 году (т. е. после ареста Шевченко, И. А.) пан, страха ради, запрятал их в стріху (соломенную крышу) и только через несколько лет осмелился явить их свету, по убеждению одного земляка, который взял их к себе, потом передал Л. М. Жемчужникову, этот мне, а я, сняв для себя копию, уступил их ценителю и самого праха, покрывающего исторические памятники» («Основа», 1-862, кн. IX, с. 4).

Это примечание написано как бы специ-

ально для того, чтобы запутать вопрос; в течение многих десятилетий оно вызывает различные толкования, приводит исследователей к различным выводам, оставляя в то же время открытым ряд весьма существенных для понимания произведения вопросов. Когда была написана драма? На каком языке (то есть русском или украинском)? Почему Шевченко в русском и украинском вариантах драмы дал различные развязки? Какова была роль самого Кулиша в создании того текста драмы, какой известен нам по его публикации?

Сам Шевченко упоминает о «Назаре Стодоле» в письме к Я. Г. Кухаренко, написанном в конце февраля 1843 г. Сообщив своему корреспонденту, что написал «маленькую поэму «Гамалия», которую печатают в Варшаве, поэт добавляет: «И «Назара Стодолю», драму в трех действиях. По-русски. Пойдет в театре после пасхи». Таким образом, пьеса была написана, очевидно, в конце 1842 — начале 1843 г. К началу 1843 г. относятся также неудачные попытки Шевченко поставить пьесу на Александрийской сцене, — это

также вытекает из письма к Кухаренко, — вероятно, по «неблагонадежности» пьесы с цензурной точки зрения русский вариант драмы заканчивался убийством Хомя Кичатого и «готовностью к смерти» Гната, подобная концовка усиливала ноты политического и социального протеста, которые отчетливо звучали в драме. Прохождение «Назара Стодоли» через цензуру никак не отразилось в официальных документах, в Театральной библиотеке не обнаружено цензурованного экземпляра пьесы. Соответствующая документация возникла лишь в результате официальных обращений авторов в цензурное ведомство. Сплошь да рядом, однако, авторы предварительно сговаривались с цензором относительно прочтения рукописи, с тем чтобы заранее учесть его замечания и поправки. Шевченко через П. А. Корсакова, через Н. В. Кукольника без труда мог добиться предварительного прочтения своей пьесы и, убедившись в ее «нецензурности», отказаться (по крайней мере временно) от дальнейших попыток.

Шевченко уехал на Украину, пробыл там

около года, по возвращении в Петербург занялся изданием «Живописной Украины» и только осенью 1844 г. снова обратился к «Назару Стодоле», в связи с организацией в Медико-хирургической академии украинских спектаклей и поисков соответствующего репертуара. В таком случае понятными становятся даты на рукописи пьесы, о которых упоминает Кулиш: это даты перевода драмы на украинский язык, с учетом замечаний цензора.

Относительно вмешательства Кулиша в шевченковский текст «Назара Стодоли» нам известно от самого Кулиша. В 1885 г. он подарил одному своему знакомому автограф известного письма Шевченко к издателю «Народного чтения» (см. в т. 5 наст. издания), в сопроводительном письме он подробно рассказал о своем вмешательстве в текст, доказывая, что его правка «улучшила» шевченковскую автобиографию, как «улучшали» шевченковские произведения его правки в других случаях. «Я слышал, — писал он, — что Тарас на меня гневился: как я смел поправлять Марку Вовчку его рассказы! «Он их опро-

зит!» кричал бедняга спьяна, а о том позабыл, что я не опрозил «Наймички», «Назара Стодоли» и «Неофитов», доделывая недоделанное». Установить, что именно доделано Кулишом в тексте «Назара Стодоли» не представляется возможным.

Повидимому, Кулишу принадлежит также первая оценка драмы Шевченко. В редакционном примечании к ней особо оговаривалось, что, «при всей своей литературной слабости, это сочинение, принадлежащее первому периоду деятельности Т. Г. Шевченко, весьма дорого для изучения постепенного развития таланта «Кобзаря», прямое призвание которого была — поэзия лирическая» («Основа», 1862, кн. IX, с. 3). Последующее развитие украинской национальной культуры внесло в это ханжеское суждение существенные оговорки: драма Шевченко остается на протяжении почти ста лет одной из самых распространенных, любимых и зрителями и актерами пьес украинского репертуара.

2

Отец Данило, спасибо, разрешил. — То есть разрешил принять и угостить сватов, несмотря на рождественский пост.

[^^^]

Еще в Братстве сердце мое чуяло, что из меня выйдет большой пан. — В Братском, или Богоявленском, монастыре в Киеве с 1615 г. существовала школа, основанная Киевским братством, религиозно-просветительной организацией, которая поддерживалась казачеством и цеховым мещанством. См. в т. 1 наст. издания примечание к поэме «Слепой», в т. 2 примечания к поэмам «Чернец» и «Сотник».

[^^^]

Не забыл ли ты еще, как умно рассуждает латинский стихослагатель. — Имеется в виду Гораций.

[^^^]

5

С окоченелым покойником в гроб? — По запорожскому обычаю убийца закапывался живым вместе с убитым.

[^^^]

Спровадь ее на Запорожье. — В самой Запорожской Сечи женщин не было, Гнат подразумевает возможность поселить Галю в одном из запорожских сел, где жили семьи женатых запорожцев.

[^^^]

Здесь Богдан встречал сына своего Тимофея.
— Имеется в виду Тимош Хмельницкий, старший сын Богдана Хмельницкого, погибший в 1653 г. во время похода казаков в Молдавию и Семиградье.

[^^^]

Впервые — «Маяк», 1842, № 9, сс. 1—11; в более полном виде, по неизвестному ныне автографу, с восстановлением ряда цензурных пропусков первопечатного текста — «Киевская старина», 1887, № 10, сс. 277—288.

Драма полностью не сохранилась; известны лишь отрывок из нее (3-е действие) и, может быть, небольшой фрагмент из какого-то другого акта. Подобное предположение допускает письмо поэта 8 декабря 1841 г. к Г. Ф. Квитке, которому Шевченко прислал стихи на русском языке для проектированного в Харькове альманаха. Шевченко писал: «Это, видите ли песня из моей драмы «Невеста», о которой я писал вам, трагедия «Никита Гайдай». Я переделал ее в драму». Не вполне ясный контекст приведенной цитаты давал повод для различных толкований, из которых наиболее вероятным представляется отождествление обоих названных произведений. Одно из действующих лиц «Никиты Гайдая» — его невеста Марьяна; вполне уместно предположить, что в дальнейшем развитии

драмы она играла основную роль, — возможно, являясь освобождать своего заточенного в темницу жениха. На такое предположение наталкивает «Песня караульного», пересланная автором Г. Ф. Квитке.

Можно также объяснить причины, которые могли побудить Шевченко переработать трагедию в драму. При всей близости этих драматических жанров, существовали черты, резко их разграничивавшие в представлении писателя и читателя 30—40-х гг. XIX ст. Трагедия, в частности, должна была быть написана стихами, драма — допускала смешение прозы и стихов, что как раз и привлекло Шевченко, как можно судить по опубликованному отрывку.

Основная тема драмы — единство и братство славянских народов, вопреки проискам и намерениям их правителей — роднит ее с незадолго перед тем написанной поэмой Шевченко «Гайдамаки», особенно с послесловием к ней (см. т. 1 наст. издания).

Богатое и разнообразное наследие Шевченко в жанре художественной прозы с большим запозданием и очень постепенно входило в сознание широкого читателя. В течение многих лет украинские буржуазные националисты всячески пытались опорочить художественную ценность и идейное значение повестей в творческой эволюции писателя. Они настойчиво твердили о художественной «неполноценности» повестей, о том, что Шевченко, дескать, слабо владел литературным русским языком, что повести являются будто бы свидетельством творческой деградации поэта под влиянием ссылки... П. Кулиш и самому Шевченко пытался «доказать», что тот своими повестями «оскорбляет» себя как художника и поэта. С беспримерной наглостью заявлял Кулиш в письме к поэту: «Если бы у меня были деньги, я купил бы их (рукописи повестей. — Я. А.) у тебя и все сразу сжег» (письмо от 1 февраля 1858 г.).

Сжечь рукописи шевченковских повестей его «друзья», к счастью, не решились даже по-

сле смерти поэта. Однако они сделали все для того, чтобы скрыть повести от читателей. В мартовской книге «Основы» за 1862 г. было напечатано следующее, во многих отношениях любопытное «извещение о прозаических сочинениях Т. Г. Шевченко на великорусском языке»:

«По смерти украинского поэта Т. Г. Шевченко осталось одиннадцать рукописей, в которых заключаются литературные (довольно слабые) сочинения поэта, писанные на великорусском языке, прозою.

Из этих рукописей девять переписаны рукою Шевченко вполне, одна — наполовину, а другая ее половина и еще одна рукопись только исправлены автором. Все они переписаны на серой плохой бумаге и большей частью не сшиты в тетради, а только сложены в четверть и пол-листа.

Сочинения эти как редкость продаются все вместе и каждое отдельно (но без права издания, которое остается за наследниками) по следующей цене:

1) *Наймычка*, написанная 25 февраля 1844 года, в Переяславле, на 15 1/2 листах, сложен-

ных в 1/4 листа — 50 р.

2) *Варнак*, 1845 г., в Киеве. 13 1/2 листов — 1/4 л. — 40 р.

3) *Княгиня*, 1853 г., подписано Дармограй (псевдоним Шевченко); без конца, 3 листа — 1/4 л. — 10 р.

4) *Музыкант*, 28 ноября (начата), 15 января (окончено), 10 листов — 1/4 л. — 30 р.

5) *Несчастный*, 24 января и 20 февраля 1855 г., 7 3/4 л. — 1/4 л. — 25 р.

6) *Капитанша*, 5 марта, 4 1/2 л. — 1/4 л. — 15 р.

7) *Близнецы*, 10 июня и 21 июля, 13 1/3 л. — 1/4 л. — 40 р.

8) *Художник*, 25 января и 4 октября 1856 г., 10 л. — 1/4 л. — 30 р.

9) Драматическое произведение без названия и конца, неизвестно какого времени, 3 л. — 1/2 л. — 10 р.

10) *Прогулка с удовольствием и не без морали*, в двух частях. Первая часть, на 22 1/2 листах, переписана не Шевченко, а только им исправлена (30 ноября 1856 года); вторая же часть, на 23 листах, переписана самим Шевченко. Под обоими подпись Дармограй — 1/2

л. — 100 р.

11) *Повесть о безродном Петрусе*, неизвестно какого времени, переписанная не Шевченко, а им только исправленная, 23 1/2 л. — 1/2 л. — 25 р.

Желающие приобрести эти рукописи могут адресоваться к доверенному от наследников Шевченко, Михаилу Матвеевичу Лазаревскому, с приложением денег, для доставления их наследникам покойного поэта.

Мы были бы весьма благодарны за перепечатку этого извещения и в других изданиях».

Все примечательно в этом объявлении: и заботливая оговорка о «слабости» повестей и другая оговорка — о том, что они продаются только «как редкость», «без права издания», и тщательное, подробное описание рукописей, и, наряду с этим, заявление об их продаже оптом и в розницу. В течение двадцати лет об этих рукописях ничего не было известно, пока в 80-х годах большая часть их не была опубликована сперва в ряде журналов и газет («Труд», «Исторический вестник», «Киевская старина»), а затем и отдельной книгой: «Поэмы, повести и рассказы, писанные на русском

языке», изд. редакции «Киевской старины» (Киев 1888). И выяснилось, что объявление в «Основе» было лишь своеобразным маневром для сокрытия рукописей, для того, чтобы, собрав объявленную сумму среди «своих», упрятать повести подальше от возможностей опубликования, упрятать на возможно более продолжительное время. Лишь со временем, под давлением общественного мнения, «друзья» Шевченко вынуждены были извлечь рукописи из-под спуда, вопреки своим намерениям и чаяниям. И еще выяснилось, что из перечисленных в объявлении «Основы» произведений бесследно пропали два: «Отрывок драматического сочинения» и «Повесть о несчастном Петрусе»...

Как сейчас установлено, первые публикации повестей Шевченко страдали множеством вопиющих недостатков. Тексты печатались по копиям, снятым случайными переписчиками, без надлежащей проверки. Поэтому некоторые слова оказались неправильно прочитанными, искаженными; в текст повестей были внесены поправки неведомых переписчиков, по собственному разумению «ис-

правлявших» действительные и воображаемые «ошибки» Шевченко. Однако всего существеннее то, что публикаторы сочли возможным «исправлять» Шевченко даже в тех случаях, когда он в поправках совершенно очевидно не нуждался. Так, в повести «Музыкант» очевидно имелось в виду поместье богатейшего украинского помещика Г. С. Тарновского. В той же повести упоминаются села Дегтяри и Сокиринцы, принадлежавшие другому украинскому магнату Г. П. Галагану. Публикуя повесть, издатели изменили фамилию Арновского на Кленовского, Качановку изменили на Кленовку, а названия галагановских сел заменили инициалами — все это было сделано для того, чтобы случайно не обидеть известных буржуазно-националистических деятелей.

После опубликования повестей в восьмидесятых годах, рукописи их снова исчезают из поля зрения исследователей и издателей, на этот раз на пятьдесят с лишком лет! Буржуазно-националистическое литературоведение крайне неохотно касалось вопроса о «русских повестях» Шевченко, считало их не бо-

лее как «суррогатом творчества» и с трудом соглашалось на включение их в собрания сочинений поэта... в *украинских переводах*, сделанных с упомянутого небрежного, фальсифицированного издания 1888 г. Только в 1939 г. появилось новое издание повестей, проверенное по рукописям, которые после Великой Октябрьской социалистической революции сделались государственным достоянием; десять лет спустя вышли в свет два тома академического полного собрания сочинений Шевченко, содержащие тщательно проверенные по всем рукописям, какие удалось обнаружить путем усердных разысканий, тексты повестей: *Тарас Шевченко, Повне зібрання творів в десяти томах; т. III — Драматичні твори, Повісті, 1841–1855; т. IV — Повісті, 1855–1858, Київ, 1949.* По этому изданию печатаются повести и в настоящем издании.

Приведенные выше справки побуждают поставить общий вопрос: насколько в полном виде дошли до нас повести Шевченко? В письме к Кулишу 26 января 1858 г. поэт сообщал, что у него повестей «около двух десятков наберется», между тем известно нам только

девять; существовавшая еще в начале 80-х годов рукопись «Повести о безродном Петрусе», как указано выше, не сохранилась, а еще для одной повести, ненаписанной, сохранился набросок плана («Из ничего почти барин»). Наконец, в «Дневнике» поэта (запись 18 апреля 1858 г.) имеется упоминание о незаконченной работе над каким-то произведением («Луна-тика»), которое, при желании, также можно считать повестью, — рукопись этого произведения не сохранилась и никаких других сведений о нем до нас не дошло. Подобное положение давало повод исследователям и комментаторам предполагать возможность новых находок шевченковской прозы. Думается, для этого нет достаточных оснований. В настоящее время можно считать окончательно установленным, что Шевченко обратился к прозе в ссылке, притом уже в Новопетровском укреплении, не ранее 1853 г., как только обстоятельства (приезд нового коменданта, И. Ускова, и установившиеся с ним добрые отношения) позволили поэту возобновить творческую работу. Первые повести («Наймычка», «Варнак») имели в рукописи вымышленную

дату (1844–1845 гг.); в действительности написаны они не ранее второй половины 1853 г. Повести известные нам следуют одна за другой с такими тесными промежутками, судя по авторским датировочным пометам, которые совершенно не оставляют времени и возможности для работы над другими повестями.

[^^^]

Впервые — «Киевская старина», 1886, № 8, стр. 577–619; № 9, стр. 1—36. Авторская дата (25 февраля 1844, Переяслав), очевидно, проставлена на случай, если бы рукопись каким-нибудь образом попала в руки жандармов. В действительности Шевченко 19 февраля 1844 г. был в Москве (этим числом датировано стихотворение «Чигирин»), на обратном пути с Украины в Петербург; в Переяслав он впервые попал позже, в следующем году. Не лишне в этой связи вспомнить также попутное замечание Шевченко (в повести «Капитанша») о том, что он «в то время», то есть в половине сороковых годов, «повестей еще не сочинял». Жена коменданта Новопетровской крепости, А. Е. Ускова, в письме к биографу поэта А. Я. Кониескому сообщала, что Шевченко читал «Наймичку» в семье Усковых на самом рубеже 1853 и 1854 гг.; тогда же, видимо, повесть и была написана; это совпадает также с предположениями о времени начала работы поэта над повестями.

[^^^]

Большая... дорога, называемая Ромодановым шляхом. — Так называлась большая дорога, соединявшая Украину (Полтавщину) с Москвою. О происхождении названия дороги существует много народных рассказов. Шевченко в стихотворении «Завалило черной тучей» в большем соответствии с исторической действительностью связывает постройку дороги с князем Федором Юрьевичем Ромодановским.

[^^^]

Чепига и Волосожар — украинские народные названия созвездий Орион и Волосы Береники.

[^^^]

Неукротимый гетман Петро Дорошенко — украинский гетман в 1665–1676 гг., совершенно подчинивший было Украину турецкому султану. Предательская политика Дорошенко вызвала бурное возмущение народа, на помощь которому пришли русские войска под командованием Ромодановского. Дорошенко был лишен гетманской власти и сослан воеводой в Вятку (1676; в повести дата ошибочна).

[^^^]

Ходаковский — Зориан Доленга-Ходаковский (настоящее имя — Адам Чарноцкий, 1784–1825), ученый археолог и фольклорист. Шевченко называет его как нарицательное имя любителя древностей, «антиквария».

[^^^]

Могилы, имеют свои названия. — Об этом Шевченко упоминает в своих заметках, связанных с археологическими поездками по Украине. «Между г. Миргородом, — пишет он, — и местечками Богачкой, Устывицей и Сорочинцами все возвышенности заняты разной величины укреплениями. Я насчитал более сорока, исключая сторожевых курганов; некоторые из них имеют названия, как-то: *Мордачевы, Дубовы, Королевы*, но когда и для чего они построены, народное предание молчит. Самое огромное из этих укреплений — это Королевы могилы близ местечка Сорочинец», Предположение относительно возможной связи «могил» и рвов («окопов») с деятельностью шведских войск Карла XII — маловероятно.

[^^^]

В такую-то вечернюю пору возвращались в село с поля молодые прекрасные жницы. — Далее описывается обиход так называемых «первых обжинков» — молодежных игр по окончании жатвы озимых.

[^^^]

Могилы что между Киевом и Васильковом, на Белокняжьем поле. — В этом районе Шевченко участвовал в археологических раскопках в 1846 г. — лишнее свидетельство, что повесть была написана уже в ссылке.

[^^^]

Колодезь с колесом и навесом — деталь, подчеркивающая зажиточность Якима Гирла: у рядового крестьянина колодезь был бы с «журавлем».

[^^^]

Московка — солдатка.

[^^^]

«Та виріс я в наймах, в неволі» и *«Ой, воли мої та половіі»* — народные чумацкие песни.

[^^^]

Венгерец с кроплями — то есть с каплями; вплоть до 60—70-х годов XIX в. заезжие венгерцы и словаки вели на Украине торговлю вразнос.

[^^^]

Семибратняя кровь — лечебное средство народной медицины, которому приписывалось исцеление от всех болезней.

[^^^]

Вовкулака — оборотень.

[^^^]

Патефруа (франц.) — паштет.

[^^^]

«*Исайя, ликуй*» — слова церковного песнопения, исполняемого во время венчания.

[^^^]

Вечерницы — собрания сельской молодежи, с песнями и танцами; устраивались обыкновенно в хатах малосемейных крестьян, чаще всего — солдаток.

[^^^]

«В селі довго говорили» и т. д. — цитата из «Катерины» Шевченко.

[^^^]

Как сердечную Оксану — то есть как героиню повести Г. Ф. Квитки-Основьяненко «Сердешна Оксана» — о злосчастной судьбе «покрытки», ушедшей из села вслед за своим соблазнителем.

[^^^]

*...Боса
Задрипана, простоволоса...*

— Здесь, как и дальше («В шинелі сірій щеголяла...»), — цитаты из «Перелицованной Энеиды» И. П. Котляревского, ч. VI, изображающей Венеру («единородную мать Энея») в образе маркитантки.

[^^^]

На зеленых святках — то есть на троицу.

[^^^]

Нужно бы кашу варить. — По старинному народному обычаю, в ознаменование окончания учения дьяк-учитель получал горшок каши с брошенными туда медными или серебряными деньгами. Обычай уничтожения каши описан совершенно точно.

[^^^]

«*Всякому городу нрав и права*» — песня («псалма») Григория Саввича Сковороды (1722–1794), сделавшаяся народной песней.

[^^^]

После покровы — то есть после 1 октября старого стиля.

[^^^]

А она хотела зайти в Густыню. — Густынский Троицко-Прилукский монастырь в семи километрах от Прилук, на островке реки Удай, основанный в 1600 г. и славившийся «чудотворной» иконой «божией матери», был закрыт в конце XVIII в. Восстановлен в 1843 г.

[^^^]

Елисавет—Елисаветград (ныне Кировоград).

[^^^]

Троиста музыка — скрипка, контрабас и бубен — обычный инструментальный ансамбль в селах старой Украины.

[^^^]

*Идутъ собі чумаченьки
Та йдучи співають.*

— слегка измененная цитата первых двух строк главы VIII шевченковской поэмы «Наймичка».

[^^^]

*Сердце мое! доля моя!
Моя Катерина!*

— цитата из шевченковской поэмы «Катерина».

[^^^]

Впервые — «Киевская старина», 1886, № 7, стр. 410–422. Авторская датировка повести — «1845 года. Киев» — является такою же маскировкой, как и датировка «Наймички» (см. выше); в действительности повесть написана в конце 1853 — начале 1854 г., после «Наймички». В апреле 1856 г. Шевченко отослал рукопись «Варнака» (вместе с рукописью другой своей повести — «Княгиня») своему другу, польскому революционеру Брониславу Залесскому, прося его содействовать напечатанию обеих повестей (см. т. 5 наст. издания). При этом он уполномочил Залесского сделать на «Варнаке» посвятительную надпись Эдварду Желиговскому (Антонию Сове), польскому поэту, с которым он заочно познакомился в Оренбурге. Повесть Залесскому понравилась, Желиговский «подарок» (то есть посвящение) «принял со слезами» (письмо Залесского к Шевченко 8 июня 1856 г.), однако до редакций журналов («Современника» или «Русского вестника») повесть не дошла; один из корреспондентов поэта, художник Н. О. Осипов,

прислал ему какие-то замечания, с которыми Шевченко согласился и предполагал даже приняться за переработку «Варнака»; предложение это, однако, не было осуществлено.

В повести «Варнак» использован сюжет одноименной поэмы, написанной также в ссылке, в 1848 году, и в свою очередь использовавшей предания и песни об Устиме Кармалюке (1787–1835), народном герое украинского народа, борце против помещиков, царских чиновников, управителей. Во время археологических экскурсий по Волыни и Подолью в 1846 г. Шевченко интересовался личностью Кармалюка, народными преданиями и песнями о нем; ряд фольклорных записей сделан им в альбомах того времени.

[^^^]

Есть в нашем русском православном огромном царстве небольшая благодатная земля. — Имеется в виду Зауралье и Оренбургский край, заселявшийся переселенцами из разных мест России и Украины.

[^^^]

Небольшая крепостца, называемая в простонародии Соляною Защитой. — Укрепление Илецкая Защита, в 70 км к югу от Оренбурга. Там разрабатывались огромные залежи каменной соли. Шевченко побывал в Илецкой защите в ноябре 1849 г., возвращаясь в Оренбург из Аральской экспедиции.

[^^^]

Моисей-боговидец — статуя библейского пророка Моисея, работы Микельанджело.

[^^^]

Гомеровский Нестор — в «Илиаде» и «Одиссее» один из участников Троянской войны, мудрый, «сладкоречивый» старец.

[^^^]

Из киргиз — киргизами называли местное население закаспийских степей; в данном случае речь идет о казахах.

[^^^]

Четы-Минеи — сборники житий святых, расположенные соответственно чествованию памяти «святых» в православном календаре.

[^^^]

Гетман Разумовский—Кирилл Григорьевич (1728–1803), сын украинского крестьянина, возвысившийся благодаря брату Алексею, фавориту императрицы Елизаветы Петровны. В 1750–1764 гг. был гетманом Малороссии вплоть до уничтожения гетманства при Екатерине II. Упоминание о «высокопарном посвящении» типографом своего издания библии 1743 г. Разумовскому — анахронизм.

[^^^]

Доменикино Цампиери (1581–1641) — итальянский художник; его картина «Евангелист Иоанн» (а не «Иоанн-богослов») находится в Государственном Эрмитаже (Ленинград). Эстамп с нее принадлежит немецкому граверу Иоганну Фридриху Миллеру (1782–1818).

[^^^]

Боккаччо Джованни (1313–1375) — итальянский писатель, автор широко известного сборника новелл «Декамерон».

[^^^]

Ариосто Лодовико (1474–1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд».

[^^^]

Тассо Торквато (1544–1595) — итальянский поэт, автор большой поэмы о крестовых походах «Освобожденный Иерусалим».

[^^^]

«Божественная комедия» — поэма итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321). «Божественная комедия» была одной из любимых книг Шевченко; упоминания о ней, цитаты из нее не раз встречаются в письмах поэта и даже в стихах (см., например, в поэме «Иржавец», т. 2 наст. издания).

[^^^]

Эти церкви у нас поляки называют казацкими. — Старинные украинские деревянные церкви, архитектурный тип которых выработался еще в XV–XVI вв. Связывать их с церковной унией 1596 г. нет оснований.

[^^^]

Священник над ее телом прочитал... — Отпечатанная молитва, положенная в гроб, должна была защитить душу умершей от посягательств «нечистой силы».

[^^^]

Привезет мне гостинца — медяного москаля
— то есть фигурный (в виде «солдата») медо-
вый пряник.

[^^^]

Меня посадили за букварь вместе с Ясем. —
Эпизод учения у попа и связанные с этим мытарства, несомненно, отражают ряд автобиографических припоминаний.

[^^^]

*В огромном дорожном берлине. — Берлин —
большая карета.*

[^^^]

Посессор — арендатор имения, преимущественно шляхтич.

[^^^]

Примет чин смиренной кармелитки — то есть примет монашество. Кармелиты — один из католических монашеских орденов с очень строгим уставом: кармелиты отказывались от собственности, должны были ухаживать за больными, помогать бедным и т. д.

[^^^]

Святая Цецилия — католическая «святая», считавшаяся покровительницей музыки, в частности церковной.

[^^^]

Муж вскоре бежал на Бессарабию. — Крепостные крестьяне часто бежали с Правобережья в недавно присоединенную к России (по бухарестскому миру с Турцией 1812 г.) Бессарабию, так как это либо вовсе освобождало их от крепостной неволи, либо значительно облегчало ее: на новых местах бежавший мог сам избрать себе помещика.

[^^^]

Отправить пшеницу в Одессу. — Украинский хлеб обычно вывозился за границу через Гданск. В 1819 году царское правительство освободило товары, идущие через Одессу, от пошлин. Это заставило помещиков изменить обычный путь вывоза хлеба, несмотря на пассивное сопротивление крестьянства.

[^^^]

За оградой Китаевской пустыни... — один из скитов Киево-Печерской лавры в 6 км от Киева, вниз по Днепру. Основана князем Андреем Боголюбским (ок. 1110–1174 гг.).

[^^^]

Знаменитый *Ринальдо Ринальдини* — герой одноименного романа Х. А. Вульпиуса, появившегося в 1797 г. и переведенного почти на все европейские языки. Имя Ринальдо Ринальдини сделалось нарицательным прозвищем «благородного разбойника».

[^^^]

Пуститься прямо в Почаев... — местечко на Волыни, где с XIII в. существовал большой монастырь (лавра) с «чудотворной» иконой.

[^^^]

Я зашел в Кременец посмотреть на королеву Бону... — Королева Бона (1493–1557) — жена польского короля Сигизмунда I; в числе многих других громадных поместий ей принадлежал также город Кременец. Ее именем названа гора неподалеку от Кременца; ее собственно и имеет в виду Шевченко.

[^^^]

Благородный Чацкий — имеется в виду граф Тадеуш Чацкий (1765–1813), польский магнат, активный деятель дворянского национально-освободительного движения.

[^^^]

Впервые — «Киевская старина», 1884, № 3. стр. 393–422; два отрывка из нее, имеющие автобиографический характер, вошли в статью А. Лазаревского «Материалы для биографии Т. Г. Шевченко» («Основа», 1862, кн. III, стр. 3–6). Авторская датировка повести — 1853 г. — примерно соответствует действительному времени работы над нею, хотя по языку, более чистому и менее изобилующему украинизмами, нежели в двух напечатанных выше повестях, следует сделать вывод, что «Княгиня» не была первой повестью по времени написания.

В конце 1854 или в начале 1855 г. Шевченко отправил с оказией рукопись повести А. А. Краевскому, редактору журнала «Отечественные записки», с просьбой напечатать этот «рассказ», «если он не будет противоречить духу вашего журнала». Не получая из редакции ответа, он в апреле 1855 г. просил поэта А. Н. Плещеева, с которым познакомился в оренбургской ссылке, вытребовать из редакции рукопись и переслать ее в «Современ-

ник» («или что найдете лучшим, то с нею и сделайте»). хлопоты относительно публикации повести продолжались и позже, до середины 1857 г.; к участию в хлопотах были привлечены почти все знакомые и друзья поэта (см. в т. 5 наст. издания). В письмах к поэту разных лиц высказывались относительно «Княгини» и сопутствовавшего ей «Варнака» вполне положительные отзывы; так, Бронислав Залесский писал 8 июня 1856 г.: «Обе вещи очень хороши; хороши простотою и глубоким чувством — верностью». Тем не менее в печати повести не появились, конечно не по причине художественной их слабости и несовершенности, как утверждали некоторые буржуазно-националистические исследователи. Основные причины, по которым редакции журналов не решились напечатать повести Шевченко, заключались в том, что над поэтом висело неснятое запрещение «писать и рисовать» и, конечно, печататься. Хотя сам Шевченко соблюдал строгую конспирацию и, подписав «Княгиню» псевдонимом «К. Дармограй», не только не раскрывал его, но в письмах к друзьям не раз упоминал о Дармограе,

как о живом, реально существующем человеке, однако никак нельзя было поручиться за длительное и полное сокрытие тайны, а главное нельзя было предвидеть последствий, какие могло бы обрушить на головы и самого поэта и редакции журнала столь злонамеренное несоблюдение царской резолюции. Не могла также не смущать руководителей журналов противокрепостническая направленность обеих повестей, очевидная несмотря на всю кажущуюся наивность и благонамеренную безыскусность повествования.

«Княгиня» написана на материале, использованном Шевченко в поэме «Княжна» (1847, см. т. 2 наст. издания).

[^^^]

Село! О! Сколько милых, очаровательных видений... — Начало повести имеет выразительно автобиографический характер и давно уже используется биографами поэта в рассказе о его детских годах. Этот же лирический зачин использован в упомянутой поэме «Княжна».

[^^^]

Видал я на своем веку таки порядочные сады...
— Имеются в виду знаменитые парки в поместье графов Потоцких Софиевке близ Умани и в Петергофе (ныне Петродворец). В Софиевке Шевченко побывал осенью 1846 года во время археологических экскурсий по Волыни, Подолии. О первом посещении Петергофского парка и гулянья см. в дневниковой записи 1 июля 1857 г. (т. 5 наст. издания).

[^^^]

Катря — старшая сестра поэта, Екатерина Григорьевна Красицкая (1805—?), в детстве особенно ему близкая.

[^^^]

Одурю Микиту (брата)... — Никиту Григорьевича Шевченко (1811–1878). Сохранилось два письма поэта к нему, из которых явствует, что особенной близости между братьями не было.

[^^^]

Никита был раз с отцом в Одессе. — Отец Шевченко, Григорий Иванович, занимался чумацким промыслом; по воспоминаниям родных поэта, в одну из поездок своих он взял с собою и маленького Тараса.

[^^^]

Нестихарный дьячок. — Нестихарный означает, что дьячок не участвовал в богослужениях, а избран прихожанами для помощи в церкви, обучения детей и пр.

[^^^]

«Тму-мну», «тля-мля» — склады — слоги, по которым в старину обучали грамоте.

[^^^]

«Мал бех» — начало последнего псалма, входящего в состав славянского «Псалтыря».

[^^^]

Тетрадь из синей бумаги с сквородинскими псалмами — то есть с переписанными песнями Г. С. Сквороды, которые в то время еще не были напечатаны и распространялись устно либо в списках. (См. в послании «А. О. Козачковскому».)

[^^^]

Перо, каламарь с мелом — в школах использовали для писания мел, разведенный в воде.

[^^^]

*«Без любви, без радости
Юность пролетела»*

— неточная цитата стихотворения А. В. Кольцова «Горькая доля»:

*Соловьем залетным
Юность пролетела...*

И дальше:

*Без любви, без счастья
По миру скитаюсь...*

И все это длилось ровно двадцать лет. — В действительности Шевченко не был на родине четырнадцать лет (1829–1843).

[^^^]

В 1663 году здесь [в Козельце] была собрана знаменитая Черная рада — то есть широкое собрание казачества для выборов гетмана в Нежине в июне 1663 г.; на ней был избран гетманом Иван Брюховецкий, прикинувшийся защитником народных чаяний, другом России. Позднее, однако, Брюховецкий повел антинародную политику и сделался предметом всеобщей ненависти.

[^^^]

Архитектуры Растрелевской — то есть сооруженный художником и архитектором Бартоломео Растрелли (1701–1771), строителем Зимнего дворца и многих других зданий. Козелецкий собор построен в 1763 г.

[^^^]

Наталья Розумиха — «родоначальница дома графов Разумовских», мать фаворита императрицы Елизаветы Петровны А. Г. Разумовского, козелецкая казачка.

[^^^]

В немецком платье — то есть одета по-городскому.

[^^^]

Старушка показалась мне живой картиной Жерар Доу, а дитя — это был херувим Рафаэля. — Герард Доу (1613–1675; Шевченко пишет его имя на французский манер) — голландский живописец, ученик Рембрандта. Ряд его картин находится в Государственном Эрмитаже (Ленинград). Рафаэль Санти (1483–1520) — итальянский художник.

[^^^]

Под французом — то есть в Отечественную войну 1812 года.

[^^^]

Они служили в каких-то казаках. — Летом 1812 года на Украине было сформировано более двадцати полков казацкого ополчения, которые принимали участие в Отечественной войне.

[^^^]

Запросят покойного отца Куприяна на «отче наш» — то есть пригласят священника на обед, перед началом которого читалась молитва «Отче наш».

[^^^]

Купили и фортепяны на контрактах. — Имеется в виду так называемая контрактная Киевская ярмарка, происходившая ежегодно между 5 и 25 февраля.

[^^^]

Ударит горлицю или метельцю... — украинские народные танцы.

[^^^]

Определил его в какую-то палату — то есть в одно из губернских учреждений.

[^^^]

Драгуния. — Драгунами назывались кавалерийские части, обученные действовать также в пешем строю. На Украине во времена Шевченко драгунами, драгунией стали называть вообще кавалеристов.

[^^^]

А что же в Оглаве? да в Гоголеве? — Здесь налицо описка Шевченко: Оглав — украинское название Гоголева, местечка Остерского уезда Черниговской губернии.

[^^^]

Книжку... про какого-то запорожца Киришу или про Юрия. — Имеется в виду роман М. В. Загоскина «Юрий Милославский».

[^^^]

Одному разбойнику на исповеди... — Далее приводится один из распространенных народных рассказов о «великом грешнике», заслужившем в конце концов прощение и искупление своих грехов. Различные варианты этого рассказа Шевченко упоминает также в письмах, дневнике, в поэме «Дочь ктитора».

[^^^]

Весною, смотрим, наше поле не зеленеет. — Страшный голод, описанный дальше, случился на Левобережье в 1843 г. Приехав на Украину в этом году из Петербурга, поэт мог непосредственно наблюдать некоторые из описанных страшных картин.

[^^^]

На первой неделе филипповки — то есть на первой неделе филипповского поста (15 ноября—24 декабря).

[^^^]

Повезли ее в Киев, в Кирилловский монастырь... — Имеется в виду больница для умалишенных

[^^^]

Впервые — в киевской газете «Труд», 1882, №№ 19, 20, 23, 24, 27, 29, 32, 33, и приложения к №№ за 18 и 20 февраля. В более исправном виде — в «Киевской старине», 1887, № 12, стр. 627–695. В обоих текстах была проведена систематическая замена имени помещика Арновского на Кленовского, а его имения Качановки на Кленовку и т. д. для того, чтобы повесть не могла обидеть владельца Качановки Тарновского, крупного земельного собственника и видного буржуазно-националистического деятеля.

Время работы над повестью обозначено в начале ее и в конце: 28 ноября 1854 г. — 15 января 1855 г. Повесть — первая в творческом наследии Шевченко с самостоятельным сюжетом, то есть не повторяет сюжеты одноименных поэм; начата вскоре после посещения Новопетровского укрепления П. П. Семеновым и Н. Я. Данилевским, которые провели там около двух месяцев и очень сблизились с ссыльным солдатом-поэтом «до самой искренней дружбы». Проводив новых своих дру-

зей, Шевченко, по собственным его словам (в письме к Бр. Залесскому 8 ноября 1854 г.), «чуть не одурел» от тоски и отчаяния. «В первый раз в жизни моей, — писал он там же, — я испытую такое страшное чувство. Никогда одиночество не казалось мне таким мрачным, как теперь».

Естественно предположить, что, стремясь избавиться от тоски, поэт обратился к воспоминаниям о прошлом, как делал это и раньше — сравни, например, стихотворение «Вот так я теперь строчу» (т. 2 наст. издания) и др. В это время Шевченко переживал чувство светлой влюбленности в А. Е. Ускову, жену новопетровского коменданта; имея ее в виду, он писал Бр. Залесскому 10 февраля 1855 г.: «Какое чудное, дивное создание непорочная женщина! Это самый блестящий перл в венце созданий. Если бы не это одно-единственное, родственное моему сердцу существо, я не знал бы, что с собою делать. Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благодарной моею душою». Естественно опять-таки предположить, что поэт пожелал в своей повести рассказать любимой женщине о про-

шлой своей жизни, о былых встречах.

[^^^]

Проезжая город Прилуки... — В Прилуках Шевченко не раз бывал, начиная с 1843 г. Об одной из поездок с Шевченко по Прилуцкому уезду вспоминает А. Чужбинский: «Воспоминания о Т. Г. Шевченке», СПб. 1861.

[^^^]

Познакомьтесь с... Илиею Бодянским. — Имеется в виду один из прилуцких знакомых поэта.

[^^^]

Монастырь Густыню. — О нем см. выше, примечание к повести «Наймичка».

[^^^]

Это настоящее Сенклерское аббатство. —
Имеется в виду место действия романа английской писательницы Анны Радклиф «Лес или Сен-Клерское аббатство».

[^^^]

Все есть, что нужно для самой полной романтической картины... — Шевченко был большим поклонником творчества Вальтера Скотта (1771–1832).

[^^^]

Я... по поручению Киевской археографической комиссии посетил эти полуразвалины. — В 1843 г. в Киеве была образована комиссия для разбора древних актов и грамот, хранящихся в архивах, монастырях и присутственных местах Киевской, Подольской и Волынской губерний. В конце 1845 г. ее сотрудником стал Шевченко, совершивший ряд поездок. В Прилуках Шевченко был в конце октября — начале ноября 1845 г. Названные им дальше зарисовки находятся ныне в Киевском государственном музее Т. Г. Шевченко.

[^^^]

Монастырь воздвигнут коштом и працею несчастного гетмана Самойловича в 1664 году. — Сведения эти неверны, хотя возможно, что имя гетмана Ивана Самойловича (1672–1687) действительно упоминалось где-то в «этих полуразвалинах», как имя покровителя («ктитора») монастыря. Самого Самойловича Шевченко называет «несчастливым», имея в виду позднейшую его судьбу: восстановив против себя и казацкую старшину и массу рядовых казаков, Самойлович был лишен гетманства и сослан в Тобольск.

[^^^]

Достойный князь Николай Григорьевич Репнин... — С бывшим малороссийским генерал-губернатором Н. Г. Репниным (1778–1845) Шевченко познакомился в конце 1843 г. и неоднократно с ним встречался, гостя в его имении. Поэт отзывался о Репнине как о «добром человеке», ценил в нем отсутствие аристократических предрассудков и особенно почитал его как брата декабриста С. Г. Волконского, родственника ряда других декабристов, поддерживавшего с ними отношения даже после их осуждения и ссылки. В семействе Репниных поэт мог получить много подробных фактических сведений о декабристах, которыми издавна интересовался.

[^^^]

Вагонов разной величины — то есть крытых экипажей.

[^^^]

Один из потомков славного прилуцкого полковника... — Речь идет о крупном украинском помещике Петре Григорьевиче Галагане (1792–1855), потомке прилуцкого полковника Игнатия Галагана, который перешел вслед за Мазепой к шведам, затем испросил себе прощение у Петра и принял деятельное участие в разрушении Запорожской Сечи. В стихотворении «Иржавец» (см. т. 2 наст. издания) Шевченко называет его «поганым». Эпитет, данный ему в повести, — иронический.

[^^^]

Дигтяри — имение П. Г. Галагана. Упоминаемые несколько ниже Сокиринцы — имение племянника П. Г. Галагана.

[^^^]

Я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга... — Василий Иванович Штернберг (1818–1845) — художник, один из ближайших друзей Шевченко в Академии художеств. За картину «Освящение пасок» Штернберг получил большую золотую медаль (1838); современники были в восторге от этой картины. См. также примечания к повести «Художник» (т. 4 наст. издания).

[^^^]

В шотландских костюмах — то есть в данном случае в одном белье.

[^^^]

Это была икона иржавецкой божией матери.
— Предание об этой иконе легло в основу
небольшой поэмы Шевченко «Иржавец» (см.
т. 2 наст. издания).

[^^^]

И отойдет со вздохом к портретам Зарянка. — С. К. Зарянка (1818–1870), художник, ученик А. Г. Венецианова, получил известность своими портретами, о которых один из современников писал: «Сходство его портретов истинно дагерротипное, мельчайшие подробности лица копируются им с поразительной точностью». Эта «дагерротипность» была неприемлема для Шевченко, который, как ученик и последователь К. П. Брюллова, стремился в портретах прежде всего отобразить внутренний облик, характер натуры, зачастую пренебрегая «гербами» и прочими «убийственными подробностями»; сравни также дневниковую запись 12 июля 1857 г. (т. 5 наст. издания).

[^^^]

Знаменитый марш из «Вильгельма Телля»...
— Речь идет об опере итальянского композитора Джоакино Россини (1792–1868), написанной им в 1829 году.

[^^^]

Некий ученый муж... — Имеются в виду незадолго перед написанием повести прочитанные поэтом «Путевые записки» барона К. К. Боде, первого секретаря русского посольства в Персии («Библиотека для чтения», 1854, т. 123).

[^^^]

Персеполис — древняя столица персидского царства, разрушенная Александром Македонским. Упоминание об этой статье представляет интерес, так как убедительно опровергает измышления буржуазно-националистических биографов поэта о полной его отрешенности в ссылке от текущей русской журналистики.

[^^^]

Бал на фрегате «Надежда». — Имеется в виду повесть А. А. Бестужева-Марлинского «Фрегат «Надежда»; о ней же упоминается и дальше.

[^^^]

С ученым кантом... — то есть с кантом на петлицах, свидетельствующим о принадлежности офицеров к каким-либо специальным воинским частям.

[^^^]

После ужина амфитрион предложил гротфатер. — Старинный немецкий танец, начинавшийся торжественным шествием по залам и улицам, затем переходивший в быструю пляску.

[^^^]

Красавицы вроде героинь покойного Бальзака.
— Оноре де Бальзак (1799–1850).

[^^^]

Я видел во сне известную картину Гольбейна «Танец смерти». — Немецкому художнику Гансу Гольбейну-Младшему (1497–1543) принадлежит серия известных рисунков «Образы смерти», часто называемая также «Пляски (или танцы) смерти».

[^^^]

Мне... пришлось разыграть роль нескромного Актеона-пастуха. — В древнегреческих мифологических сказаниях Актеон увидел богиню Артемиду во время купания, был за это превращен ею в оленя и растерзан собаками.

[^^^]

Встретил своего Просперо — то есть своего спутника, которого автор отождествляет с волшебником Просперо из драмы Шекспира «Буря»; возможно, образ этот появился в связи с симфонической поэмой Ф. Мендельсона (1809–1847), о которой упоминается немного дальше.

[^^^]

Ученик знаменитого Шпора... — Людвиг Шпор (1784–1859), немецкий скрипач и композитор.

[^^^]

Хоть бы самому Серве так впору. — Шевченко имеет здесь в виду известного бельгийского виолончелиста Франсуа Адриена Серве (1807–1877), неоднократно концертировавшего в России (в 1839, 1841, 1843 гг.). См. о нем также ниже.

[^^^]

Началась увертюра из «Прециозы» Вебера. — Опера немецкого композитора Карла Марии Вебера (1786–1826) «Прециоза» была написана в 1820 г.

[^^^]

Вот вдохновенный миннезингер XII века. —
Имеются в виду немецкие средневековые рыцари-поэты, воспевавшие любовь и рыцарские обычаи.

[^^^]

Проиграл знаменитую каватину из «Нормы».
— «Норма» (1831) — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835). Для виолончели каватину переделал Серве.

[^^^]

Пока они жили в Берлине, я ходил несколько раз к Шпору. — Фактическая неточность: Шпор жил и преподавал в Касселе, очень редко выезжая оттуда.

[^^^]

Приезжал к нам из Качановки Глинка... — М. И. Глинка в 1838 г. прожил лето в Качановке, имении Тарновского.

[^^^]

Они... уже качучу танцуют... — качуча, народный испанский танец, стал популярным после гастролей в Петербурге танцовщицы Марии Тальони в 1837 г. См. в примечаниях к повести «Художник», т. 4 наст. издания.

[^^^]

Алѣмбик — перегонный аппарат.

[^^^]

Она хочет их отправить в Смольный институт. — Аристократический Смольный институт в Петербурге, состоявший под покровительством самой императрицы.

[^^^]

«Катерино, сердце мое, || Лишенько з тобою» — цитата из поэмы Шевченко «Катери-на».

[^^^]

Одна из божественных сонат божественного Бетховена. — Бетховену принадлежат пять виолончельных сонат.

[^^^]

Были сыграны... две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема». — «Реквием» — заупокойная траурная служба, написанная для хора, солистов и симфонического оркестра, — могли быть исполнены переделки некоторых сольных арий.

[^^^]

*«На Морі синьому, на камень быому»... — Два
стиха из народной думы про Олексию Попови-
ча.*

[^^^]

Я очень хорошо знаком с Михаилом Ивановичем. — Шевченко действительно был хорошо знаком с М. И. Глинкою благодаря своему учителю К. П. Брюллову, близкому другу композитора.

[^^^]

Меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще неоштукатуренная четырехугольная башня... — Реставрацией Густынского монастыря руководил невежественный архимандрит Паисий. В результате его «руководства» были уничтожены интересные старинные фрески.

[^^^]

Не мужичок, а настоящий патентованный художник. — Можно предполагать, что здесь и дальше речь идет об архитекторе Д. Е. Ефимове (1811–1864); ему принадлежат проекты многих зданий и церквей на Украине, исполненных в том псевдорусском казарменном «стиле», какой особенно нравился Николаю I. Можно утверждать, что дальнейшее ироническое упоминание о «нашем просвещенном знатоке и покровителе искусств, можно сказать меценате наших дней», имеет в виду Николая I.

[^^^]

Моего автомедона... — Автомедон в «Илиаде» — возница Ахилла. В первой половине XIX в. в шутливом словоупотреблении обозначал кучера вообще.

[^^^]

Странствования по нечужим краям... — Намек на ссылку поэта.

[^^^]

Я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С... — Шевченко дал своему спутнику имя, отчество и фамилию художника и педагога Сошенко, который познакомил Шевченко с Брюлловым (см. повесть «Художник», т. 4 наст. издания).

[^^^]

Я узнал, что Михаиле Иванович уже другой год за границею. — М. И. Глинка выехал за границу в начале июня 1844 г. и возвратился в Россию в июле 1847 г., а в Петербург — в середине ноября 1848 г. Этот пример убедительно показывает, насколько точен Шевченко, упоминая в своих повестях о действительных лицах и событиях. Отдельные нарушения действительной хронологии (на них будет указано в примечаниях к «Художнику») лишь подтверждают общее правило.

[^^^]

Главный доктор Кох... — Доктор Герман Кох (1807–1868) был главным врачом Петровской больницы в Петербурге.

[^^^]

23 апреля — день рождения владельца Качановки Тарновского. Современники рисуют весьма несимпатичный облик помещика, крепостника и самодура, вполне согласующийся с тем, что пишет о нем Шевченко. О Тарновском упоминает поэт также в повести «Художник» (см. т. 4 наст. издания). Шевченко не ставил перед собою цели написать пасквиль на Тарновского: в биографии «г. Арновского» многое вымышлено, кое-что опущено, однако при создании образа крепостника-мецената, любителя и «покровителя» искусств, более всего красок и черт взято именно от подлинного «качановского пана».

[^^^]

Вырабатывала свои пальцы на сухих этюдах Листа. — С игрой Франца Листа (1811–1886) Шевченко, повидимому, познакомился весной 1842 г., во время первого приезда Листа в Петербург. На общем фоне пылко-восторженных отзывов об игре пианиста выделялись отдельные голоса слушателей, не удовлетворенных в своих ожиданиях. Так, например, Глинка отмечал «превычурные оттенки» в исполнении Листом музыки Шопена (Михаил Глинка, Автобиографические и творческие материалы. Л. 1952, стр. 216–219).

[^^^]

Я прочитала все... начиная с «Синеуса и Трувора» Сумарокова до «Гамлета» Висковатова. — Имеются в виду трагедия Александра Петровича Сумарокова (1718–1777) «Синав и Трувор» (1750) и переделка шекспировского «Гамлета», принадлежавшая драматургу С. И. Висковатову.

[^^^]

Для своего дебюта принуждена была выучить роль дочери Льва Гурыча Синичкина. — Имеется в виду водевиль Д. Т. Ленского (1805–1860) «Лев Гурыч Синичкин», имевший шумный успех.

[^^^]

Он тогда у нас все лето провел... — В. И. Штернберг прожил в Качановке лето 1838 г.

[^^^]

Я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела для гостей... — Во время пребывания в Качановке летом 1838 г. Глинка неоднократно исполнял отрывки из «Руслана и Людмилы».

[^^^]

«Плакатные билеты» — особый вид паспортов для крепостных, отпускавшихся на заработки.

[^^^]

Проштудировал всего Ромберга. — Бернгард Генрих Ромберг (1767–1841), преподаватель парижской консерватории, создатель школы виолончельной игры.

[^^^]

Большой театр — о нем см. примечания к «Художнику», в т. 4 наст. издания.

[^^^]

Был я на соборном проклятии в Казанском соборе. — Имеется в виду обряд, который совершается в церквах великим постом.

[^^^]

У подъезда дома г. Энгельгардт... — Дом Энгельгардта на Невском проспекте в 30–40 гг. использовался для публичных концертов, маскарадов и пр. В настоящее время здесь помещается Малый концертный зал им. Глинки (Ленинградская филармония).

[^^^]

Вьетан Анри (1820–1881) — французский скрипач-виртуоз. В России концертировал в 1838–1840 гг., а в 1845–1852 гг. был придворным солистом в Петербурге.

[^^^]

В Большом театре... давали ораторию Гайдна «Сотворение мира». — Инструментальные и симфонические произведения Иосифа Гайдна (1732–1809), особенно его оратория «Сотворение мира» (1790), пользовались громадным успехом у русской публики. Текст оратории был переведен Карамзиным и Жуковским, а филармоническое общество после исполнения оратории в Петербурге выбило в честь композитора медаль. По поводу исполнения «Сотворения мира» в сороковых годах В. В. Стасов в одном из «Музыкальных обозрений» дал восторженный отзыв (собр. соч., т. III, СПб. 1894, стр. 134–135).

[^^^]

Давали концерт в Патриотическом институте... — так называлось учебное заведение с интернатом для девочек, сирот офицеров, погибших во время Отечественной войны 1812 г.

[^^^]

Граф Виельгорский, участвовавший в концерте, — Матвей Юрьевич Виельгорский (1794–1866), русский музыкальный деятель, виолончелист-виртуоз.

[^^^]

Чтобы мы приготовились... выступить в поход с севастопольской партией. — Крепостные, которых требовал к себе помещик через полицию, отправлялись по «этапу», то есть вместе с арестантами, под конвоем. Шевченко знал этот способ передвижения по личному опыту: в 1830 г., когда его помещик Энгельгардт перевелся по службе из Вильно в Петербург, все дворовые были отправлены этапным порядком. Воспоминания об этом сохранились в поэме «Катерина» (см. т. 1 наст. издания).

[^^^]

Переписал... «Серенаду» Шуберта. — Об этом же произведении Франца Шуберта (1797–1828) упоминается ниже. Произведения Шуберта стали проникать в Россию с середины 30-х гг.

[^^^]

Поеду за партитурою Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь». — Неточное название сюиты Ф. Мендельсона из музыки к шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь» (1826).

[^^^]

Впервые опубликована с небольшой вступительной заметкой Н. И. Костомарова в журнале «Исторический вестник», 1881, № 1, стр. 1—45. Написана повесть, как явствует из авторских помет в начале и в конце сохранившегося автографа, 24 января — 20 февраля 1855 г.

В повести Шевченко впервые использует свои впечатления и наблюдения ссыльного солдата не для отдельных эпизодов или упоминаний как прежде, но в качестве самой основы сюжета. Насколько интересовали поэта явления, составившие сюжетную основу повести, видно хотя бы по позднейшим упоминаниям о них в «Дневнике». В сцене опроса «конфирмованных» (то есть отданных в солдаты по приговору суда либо по решению административных органов) несколько раз упоминается отдача в солдаты «по воле родителей»; в дневниковой записи (25 июня 1857 г.) Шевченко особо останавливается на этом явлении в связи с неким делом «сына статского советника» Порциенко, который «все их от-

вратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе».

Поэт возмущается не только отвратительными образами этих «несчастных», этих «мерзавцев», «гнусных исчадий нашего православного общества»: «должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление». Под стать им оказывается также «попечительное правительство наше», принимающее на себя «эту неудобоисполняемую обязанность».

Эта дневниковая запись (см. т. 5 наст. издания) выразительно раскрывает замысел Шевченковской повести: показать те социальные условия, которые порождают подобного рода «несчастных», и поднять голос протеста против отдачи в солдаты в качестве исправительной меры. Как писал В. И. Ленин, «во времена николаевские, отдача в солдаты была естественным наказанием, вполне соответствовавшим всему строю русского крепостного общества» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, с. 389–390).

Интерес поэта к «несчастливым» проявился также в задуманной им серии кар-

тин-офтортов, показывающих евангельскую притчу о блудном сыне в современном ее преломлении. Поэт записывает о своем замысле в «Дневнике» (см. запись 26 июня 1857 г.; т. 5 наст. издания); до нас дошли и отдельные рисунки, уже осуществленные художником.

[^^^]

Крепость Орскую местные киргизы называют Яман-Кала. — В Орской крепости (в 240 км к юго-востоку от Оренбурга) Шевченко провел почти год — с 23 июня 1847 г. до 11 мая 1848 г. — первый труднейший год своей солдатчины и ссылки. Живые впечатления от этой «неживой, пустынной крепости» (дневниковая запись 17 июля 1857 г.; см.-т. 5 наст. издания) отразились также в повести «Близнецы» (см.), а также в ряде писем 1847–1848 гг. Яман-Кала — «дрянь-город» — по переводу Ф. М. Лазаревского (точнее: гиблая крепость).

[^^^]

Для киргиза... — Как указывалось выше (см. примечания к «Наймичке»), имеются в виду казахи.

[^^^]

На яшмовой горе... — Под Орском действительно расположены богатейшие залежи яшмы; на разработках широко использовался труд каторжников (отсюда — упоминание о «казематах для каторжников»).

[^^^]

Экзерцис-гауз — помещение для занятий солдат.

[^^^]

По направлению к меновому двору — то есть к помещению, в котором производилась меновая торговля с коренным населением края — кочевниками.

[^^^]

*Прочитал его грустную конфирмацию... —
утвержденный («конфирмованный») пригово-
вор.*

[^^^]

Что это вы почитываете? — спрашивает он.
— Сопоставление имен Гоголя и французского писателя-натуралиста Эжена Сю (1804–1857) хорошо разъясняется письмом Шевченко к В. Н. Репниной 7 марта 1850 г., где «глубокий ум и самая нежная любовь к людям» Гоголя противопоставляются эффектному, но весьма неглубокому («мгновенному») изображению людей и явлений в романах Сю: «пока читаем, — нравится и помним, а прочитал — и забыл. Эффект, и больше ничего!». То обстоятельство, что Ипполитушка не знает, кто написал «Мертвые души» и приписывает их Эжену Сю, должно, в глазах автора, исчерпывающе точно охарактеризовать «героя» повествования.

[^^^]

Серые бревенчатые, с закоптелыми волоковыми окнами избы. — По объяснению В. И. Даля, волоковое окно — «маленькое | задвижное оконце в избах, в которое также выволакивает дым в курных избах».

[^^^]

Совершенно во вкусе Ван-Остада. — Адриан ван-Остаде (1610–1685), голландский художник, ученик Рембрандта. Большой известностью пользовались изданные им картины из сельской жизни.

[^^^]

Вроде Клеопатриной иглы. — Имеется в виду египетский обелиск, некогда стоявший у входа одного из храмов, а затем перевезенный в Александрию.

[^^^]

Ливреи же за нею не видно... — то есть сопровождающего лакея.

[^^^]

Войска в то время начали стягиваться к Вознесенску. — При Николае I в районе Елисаветграда (ныне Кировоград) почти ежегодно устраивались большие маневры. Вознесенск — маленький («заштатный») городок Елисаветградского уезда, на реке Южный Буг (ныне Николаевской области).

[^^^]

Она прослыла... кантонистом в юлке. — Кантонистами назывались сыновья солдат, которых с самого детства причисляли к военному ведомству, воспитывали в специальных учебных заведениях, откуда они выходили унтер-офицерами.

[^^^]

Как очутилася в Песках... — Эта часть Петербурга пользовалась скверной славой как место расположения публичных домов, кабаков и пр.

[^^^]

Зажил настоящим анахоретом — отшельником.

[^^^]

Ведь она не пришлет же мне каких-нибудь квазимодов в сарафанах... — то есть уродов, по имени безобразного горбуна Квазимодо, действующего лица романа В. Гюго «Собор парижской богородицы».

[^^^]

A la Napoleon... — подобно Наполеону
(франц.).

[^^^]

Bonjour papa — Здравствуй, папа (франц.).

[^^^]

Насвистывал из «Фрейшютца» песню... — имеется в виду опера К. М. Вебера «Фрейшютц» («Волшебный стрелок»).

[^^^]

Послал он свою гусарскую душу на лоно Авраамле... — то есть умер.

[^^^]

Подобно Ольге над Игорем... — Имеется в виду рассказ «Повести временных лет» о смерти князя Игоря и торжественной похоронной тризне, устроенной ему Ольгой.

[^^^]

В Смольный... — то есть в Смольный институт
благородных девиц.

[^^^]

Вдова 14 класса — вдова чиновника 14 класса, низшего по петровской «табели о рангах».

[^^^]

Сам Лонгинов... — Николай Михайлович Лонгинов (1775–1853), статс-секретарь, ведавший так называемыми «учреждениями ведомства императрицы Марии Федоровны», то есть благотворительными учреждениями.

[^^^]

Часы — краткие церковные службы, отправлявшиеся четыре раза в день.

[^^^]

После повечерия — после вечернего богослужения.

[^^^]

Отпуск — благословение, которым священник «отпускает» молящихся из церкви.

[^^^]

И, не переходя Лиговки, пошла к Знаменью... — имеется в виду речка Лиговка, засыпанная в 70-х гг.; на ее месте прошла улица того же названия (ныне Сталинградский проспект). «Знаменье» — церковь на углу Лиговки и Невского проспекта.

[^^^]

Пробовал было поставить на кон Греча грамматику... — имеется в виду «Практическая русская грамматика, изданная Н. И. Гречем», СПб. 1827; книга имела большое распространение и неоднократно переиздавалась.

[^^^]

В курточке al' enfant — по-детски (франц.).

[^^^]

Экзамен на аудитора. — Аудиторами назывались низшие чиновники.

[^^^]

Макинтош — плащ или пальто из непромокаемой ткани, изобретенной Чарлзом Макинтошем (1843).

[^^^]

Литовский замок — тюрьма в Петербурге.

[^^^]

Управа благочиния — полицейское правление.

[^^^]

Как выразился автор «Путешествия Гулливера» — то есть английский сатирик Джонатан Свифт (1667–1745).

[^^^]

Коллежский регистратор — первый, низший чин (14 класса).

[^^^]

Впервые — «Киевская старина», 1887, № 4, стр. 589–625; № 5, стр. 1—25. Начало работы Шевченко над повестью датировано им самим: на первой странице автографа поэт проставил: «15 марта», очевидно 1855 года. На обороте одной из последних страниц рукописи находится черновик письма Шевченко к секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу; письмо это (без даты) по содержанию тождественно письму к Ф. П. Толстому 12 апреля 1855 г. и, очевидно, написано одновременно с ним. Таким образом можно довольно точно определить время работы Шевченко над «Капитаншей»: 15 марта — конец апреля 1855 г.

В «Капитанше» Шевченко использовал — по обыкновению, очень точно — свои воспоминания о былых поездках по Украине. Советским исследователем А. И. Ляценко было убедительно показано, что одно из действующих лиц повести, помещик Виктор Александрович, имеет реального прототипа — знакомого Шевченко украинского поэта В. Н. Забилу; однако, не следует считать эту повесть

биографическим документом. «Капитанша» — прежде всего художественное произведение, и творческий вымысел занимает в ней не менее равноправное место, чем введенные в нее действительные лица и события.

Шевченко неоднократно говаривал по поводу своих повестей, что видит в них прежде всего опыты; в них он, по собственным признаниям, учился и русскому литературному языку (он «у меня теперь как краски на палитре, которые я мешаю без всякой системы», — писал он к С. Т. Аксакову 16 февраля 1858 г.) и, конечно, мастерству художественной прозы. Заведомо порочны любые попытки некритического использования шевченковских повестей в качестве биографических документов (а не художественных иллюстраций к тем или иным эпизодам биографии поэта); вводя в свои повести исторически существовавшие лица, Шевченко не ставил перед собою задачи голого фотографирования действительности (к такому фотографированию, он, как известно, относился резко отрицательно).

Творческие принципы Шевченко отчетли-

во видны в частности на примере образа помещика Виктора Александровича в «Капи-танше». Воспоминания современников о поэте Викторе Николаевиче Забиле с полной убедительностью говорят, что образ последнего, конечно, был перед глазами Шевченко, когда он писал свою повесть. (Наталка-Полтавка [Н. В. Кибальчич], роман Забіли — «Зоря», 1894, № 13, с. 405; П. Куліш, Хуторна поезія. Львів, 1882, с. 22; Михаил Глинка, Автобиографические и творческие материалы, Л. 1952, с. 186).

Соответствует сохранившимся воспоминаниям о В. Н. Забиле также обрисованный Шевченко демократизм поведения Виктора Александровича, его отношения к крепостным крестьянам. Один из современников рассказывает, что «на похороны Забилы пришло много бывших его крепостных. Все они плакали о нем, как о родном: так хорошо и ласково относился он к ним» («Киевская старина», 1906, № 5–6, стр. 109).

В то же время Шевченко не считал себя связанным канвою жизни и поведения В. Н. Забилы; в соответствии с сюжетом своей по-

вести, он настойчиво старался сделать измышленные эпизоды своего повествования также вполне достоверными, психологически оправданными.

[^^^]

В 1845-м... году... в конце марта месяца, выехал я из Москвы. — И самая дата и маршрут соответствуют поездке Шевченко на Украину после окончания Академии художеств. 23 марта 1845 г. он получил из Академии свидетельство для поездки на Украину для художественных занятий; 13 апреля он был уже неподалеку от Яготина. Шевченковская повесть позволяет уточнить маршрут, а отчасти и обстоятельства поездки (безденежье, путешествие по-необходимости в перекладной телеге). Соответствует историческим фактам также упоминание о сильном наводнении 1845 года.

[^^^]

На пище святого Антония... — По преданию, «святой» Антоний жил в пустыне, крайне скудно питаясь, отказывая себе во всем.

[^^^]

Он одной фарфоровой глины продает тысяч на сто. — Повидимому, имеется в виду украинский помещик А. М. Миклашевский, устроивший в своем имении Волокитино Глуховского уезда фабрику фарфоровых изделий.

[^^^]

После орловских дворников...— В данном случае, имеются в виду содержатели постоянных дворов.

[^^^]

Я вошел в... хату, разделяющуюся во всю длину ее, как стеною, кафельною печью. — На полях рукописи в этом месте Шевченко приписал: «Бироновщина». Возможно, он предполагал использовать (или упомянуть) здесь рассказ о преследовании, которому подвергся при Бироне некий украинский помещик за то, что в его доме была кафельная печь, на кафлях которой были изображены орлы с государственным герба. В поданном на него доносе по этому поводу писалось: «Жжет на печах своих герб государственный, неведомо с каким умыслом» («История Русов», М. 1846, стр. 239).

[^^^]

У Владимирской губернии квартировали шесть лет... — Здесь и дальше сведения о походах и месте квартирования Тумана совпадают во всех деталях с историей 30-го егерского полка. Почему Шевченко был так хорошо знаком с историей этого полка, остается не выясненным.

[^^^]

Заметил у него голубую ленточку, нашитую на шинели. — На голубой («андреевской») ленточке носилась медаль за участие в Отечественной войне 1812 года.

[^^^]

«*Записки русского офицера*» — дневник Федора Николаевича Глинки (1786–1880), писателя-декабриста, содержащий мысли и наблюдения во время двух войн с Наполеоном (1805–1806 и 1812–1815 гг.).

[^^^]

Еще в десятом году, когда йшлы мы из-под турка... — то есть возвращались в Россию после успешной кампании 1809–1810 гг. в войне с Турцией. Имея в виду неизбежность войны с Наполеоном, русское правительство оттягивало часть войск к западным границам России.

[^^^]

Цысарец — то есть подданный «цисаря», австрийского императора, солдат австрийской армии.

[^^^]

И бог его знае, откуда той швед прыйшов... — В 1812 г. Швеция заключила с Россией наступательный и оборонительный союз; в соответствии с ним шведские войска участвовали в «битве народов» под Лейпцигом в 1813 г., а затем во взятии Парижа 31 марта 1814 г.

[^^^]

Камрад... махен вейн... мамзельхен либер... —
товарищ... делать вино... милые девушки
(немецк. — испорч.).

[^^^]

О, дер дейфель — о, черт! (немецк. — испорч.)

[^^^]

На каком-нибудь самом простом слове... —
Нестор Васильевич Кукольник (1809–1868), автор многих реакционных драм, пользовавшихся благосклонностью Николая I. Некоторые пьесы были названы им «драматическими фантазиями».

[^^^]

Воспитывался он, правда, в Нежинском лицее... — О В. Н. Забиле, как гимназическом товарище Гоголя, говорят несколько мемуарных источников, между тем как в официальных списках окончивших Нежинскую гимназию имени Забилы нет. Возможно, впрочем, что он поступил в гимназию позже Гоголя и вышел из нее, не закончив курса, — в 1825 г. он поступил на военную службу.

[^^^]

В часы досуга занимался сочинением... — На слова В. Н. Забилы М. И. Глинка написал (в 1838 г.) две песни: «Гуде вггер вельми в польѣ и «Не щибечи, соловейко». Обе песни вскоре сделались распространенными народными песнями.

[^^^]

И чтобы сохранить самобытность... — Литературные вкусы Виктора Александровича Шевченко характеризует двумя книгами, относящимися еще к XVIII веку: «Федра, Аагустова отпущенника, нравоучительные басни, с Езопова образца сочиненные», СПб. 1764 (перевод сделан Иваном Барковым); Шевченко называет его «знаменитым», имея в виду непечатные, порнографические его произведения, и «Царь или спасенный Новгород. Стихотворная повесть» (М. 1800) Михаила Матвеевича Хераскова (1733–1807).

[^^^]

Загнуть угол — термин карточной игры.

[^^^]

Знакомство с Блюхером... — Г. Л. Блюхер (1742–1819), прусский фельдмаршал времен войн с Наполеоном.

[^^^]

Пожалуй, еще какой-нибудь барон Брамбеус острится на мне вздумает. — Имеется в виду О. И. Сенковский (1800–1858), реакционный редактор журнала «Библиотека для чтения», беллетрист, критик, фельетонист. В 30—40-х гг. имели шумный успех среди невзыскательных читателей его статьи и фельетоны, всегда острые, занимательные, но совершенно беспринципные.

[^^^]

Клавикорды Лихтенале — старинный музыкальный инструмент, предшественник современного фортепиано; в отличие от последнего звук получался не от удара молоточков по струнам, но от тонких металлических пластинок, сообщавших инструменту своеобразный тембр.

[^^^]

Амфитрион — один из героев древнегреческой мифологии; имя его сделалось нарицательным как имя гостеприимного хозяина.

[^^^]

Даровавши мир Европе... — Весь последующий «Рассказ самовидца» написан, очевидно, на основании рассказов какого-нибудь старого офицера, участника ряда походов; как будет показано дальше, Шевченко упоминает о таких мелочных подробностях, каких наблюдателем и свидетелем сам быть не мог. Речь идет о 30 егерском полку.

[^^^]

Барабанный староста — старший полковой барабанщик.

[^^^]

Бонмо (bonmot) — острое словцо (франц.).

[^^^]

Мы хуже браминов... — Привилегированная каста в Индии. Парии или «неприкасаемые» — наиболее бесправная и угнетенная часть населения Индии; ныне эта каста ликвидирована

[^^^]

Субретка — горничная (франц.).

[^^^]

Кончил курс наук в шляхетном кадетском корпусе. — Кадетскими корпусами назывались военно-учебные заведения, подготовлявшие младших офицеров. В корпус принимали преимущественно сыновей дворян, поэтому Шевченко и называет его «шляхетным», то есть благородным, дворянским.

[^^^]

Капрал — отделенный унтер-офицер, на обязанности которого лежало обучение молодых солдат.

[^^^]

Владиславлев в то время не издавал еще памятной книжки для штаб- и обер-офицеров. — Речь идет о «Памятной книжке военных узаконений для штаб- и обер-офицеров» (СПб. 1851). «Памятная книжка» составлена из официальных материалов, приказов, инструкций и пр. Никаких статей и наставлений в ней нет; упоминание в повести о «дельном наставлении доктора N» следует расшифровывать как иронический намек на Николая I, от имени которого издавались приказы, содержавшие, например, такие наставления: «Рекрут имеет полное право на заботливое внимание к нему новых его начальников и благо-разумное с ним обхождение» (с. 15). Или характеристика «малороссиян», которые «не могут похвалиться такою крепостию сил, как настоящие русские», так как «климат и изобилие сделали их несколько изнеженными». «Малороссиянин отличается медленностию, скрытностию, твердою волею, простирающеюся иногда до упорства» (стр. 20–21). Повидимому, приведенную выше цитату из

«Памятной книжки» Шевченко имел в виду, когда в начале повести писал о себе: «Благо-разумие требовало возвратиться в Москву, но поди ж ты, толкуй с упрямою головою, ибо, между нами будь сказано, я-таки не отстал от своих земляков в этой добродетели, то есть в упрямстве, что мы из вежливости называем силою воли».

[^^^]

Под Бородиным — то есть в сражении 26 августа 1812 г.

[^^^]

Шнапс — водка (нем.).

[^^^]

Вейн — вино (нем.).

[^^^]

Кутасы — кисти на сапогах или ГОЛОВНЫХ
уборах (киверах).

[^^^]

Настоящая Corka regimentu... — Имеется в виду опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797–1848) «Дочь полка». В Ромнах, на большой Ильинской ярмарке, действительно в 40-х годах XIX в. давала представления польская труппа Зелинского. Шевченко побывал на Ильинской ярмарке в 1845 г.; см. упоминание об этом в дневниковой записи 20 июля 1857 г. (т. 5 наст. издания).

[^^^]

Мы двигались той самой дорогой... — Далее Шевченко очень точно, вероятно, по рассказам кого-либо из очевидцев, передает подробности разрушений в отдельных городах, восстановительных работ и пр. Особенно подробно останавливается поэт на пребывании войск в Смоленске; рассказ об этом совпадает с воспоминаниями современников. (Сравни, например, в «Записках» Н. И. Мурзакевича о Смоленске — «Русская старина», 1887, № 1, стр. 45–46).

[^^^]

Пребойко читал по верхам... — то есть бегло.

[^^^]

Покойник Сакен — Ф. В. Остен-Сакен (1752–1837), генерал-фельдмаршал, командующий 1 армией.

[^^^]

Великий ревнитель народного образования Ланкастер. — Жозеф Ланкастер (1778–1838), педагог, создатель названной в его честь системы обучения, при которой более способные и знающие ученики, помогая учителям, занимались с отстающими товарищами.

[^^^]

Покойный Основьяненко в своем «Шельменке, волостном писаре»... — Григорий Федорович Квитка (1788–1843), известный под псевдонимом Основьяненко, в комедии «Шельменко — волостной писарь» вывел писаря, которого в конце концов за плутни сдают в солдаты.

[^^^]

Хотел было я сделать сравнение с червонцем Крылова. — Имеется в виду басня Ивана Андреевича Крылова (1768–1844) «Червонец» и собственно мораль ее:...надобно гораздо разбирать, Как станешь грубости кору с людей сдирать, Чтоб с ней и добрых свойств у них не растерять.

[^^^]

Викторина своего отправки я в Нежин... —
В 1820 г. в Нежине открылась «Гимназия высших наук князя Безбородко», называемая обычно лицеем. Гимназия была заведением закрытого типа.

[^^^]

Издавался в то время журнал под названием «Благонамеренный». — «Благонамеренный» издавался в 1818–1826 гг. поэтом-баснописцем и беллетристом Александром Ефимовичем Измайловым (1779–1831). Отрицательный отзыв о журнале связан, вероятно, с невысоким художественным уровнем печатавшихся в нем произведений.

[^^^]

Давыдов несправедлив. — Имеется в виду поэт Денис Васильевич Давыдов (1784–1839), известный партизан Отечественной войны 1812 года, воспевавший в стихах своих удальство и утехи гусарской жизни.

[^^^]

Песни Беранжера — то есть песни французского поэта Пьера Беранже (1780–1857). Необходимо в данном случае помнить, что отзыв о безнравственности песен Беранже характеризует не Шевченко, но автора «рассказа самовидца», армейского майора; сам поэт относился к песеннику с большим уважением и любовью, см., например, дневниковую запись 1 июля 1857 г. в т. 5 наст. издания.

[^^^]

Карамзин тогда начал издавать свою знаменитую историю. — Первые восемь томов «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина (1766–1826) вышли в 1816–1818 гг., 9—11 томы вышли в 1821–1824 гг. Последний, двенадцатый, том, посвященный истории «смутного времени», появился в 1829 году.

[^^^]

По случаю коронации... — Николая I в 1826 г.

[^^^]

От лица всего конклава... — Конклавом называется собрание кардиналов для избрания нового папы. В данном случае имеется в виду городское «общество».

[^^^]

Вагенбург — полковой обоз.

[^^^]

Имя Диоскора... — Согласно «житию святой Варвары», отец ее — богатый язычник, который подверг дочь свою, принявшую христианство, жестоким мукам и затем убил ее.

[^^^]

Наподобие Сивиллы Куманской Кипренского.
— Имеется в виду картина «Сивилла Тибуртинская» Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836), которую Шевченко знал по выставке в Академии художеств; ныне находится в Русском музее в Ленинграде.

[^^^]

Форнарина — возлюбленная Рафаэля; считалось, что с нее он писал своих мадонн.

[^^^]

Гвидо Рени (1575–1642) — итальянский художник.

[^^^]

Беатриче Ченчи (1577–1599) была казнена за то, что убила своего отца.

[^^^]

Он работает перед стеклянным глобусом — то есть перед лампой с шарообразным абажуром.

[^^^]

«Губернские ведомости» в то время еще не печатались. — Официальные газеты в большинстве губерний («губернские ведомости») были учреждены с 1838 года.

[^^^]

В Молози — то есть в городе Молога Ярославской губернии.

[^^^]

Началась польская революция — польское восстание 1830–1831 гг.

[^^^]

«Деяния» слушать — «Деяния апостольские» — одна из книг Нового завета, рассказывающая о распространении христианства после «вознесения» Христа.

[^^^]

Малороссийская коллегия — была учреждена в 1722 году для контроля за деятельностью гетмана и генеральной старшины; коллегия состояла из шести царских офицеров во главе с бригадиром Вельяминовым. Просуществовала до 1728 г.

[^^^]

Скоропадский — малороссийский гетман в 1708–1722 гг. При нем гетманская резиденция была перенесена из Батурина в Глухов.

[^^^]

Он чувствовал Данилыча... — то есть Александра Даниловича Меншикова (1673–1729), одного из ближайших сподвижников Петра I. Шевченко приводит один из многочисленных случаев плутней Меншикова: казацкие старшины отправили в Петербург специальную делегацию с жалобой на царского любимца, и отнятые Меншиковым земли были возвращены по сенатскому указу.

[^^^]

Где коллегия с своим кровожадным чудовищем — тайною канцеляриею? — «Тайная канцелярия» при Петре ведала делами государственной полиции. «История Русов» приводит ряд рассказов о действиях тайной канцелярии на Украине; эти рассказы собственно и имеет в виду Шевченко.

[^^^]

Карл Самойлович Стерн. — Возможно, в образе этого случайного персонажа Шевченко вывел оренбургского своего приятеля Карла Ивановича Герна, оставившего интересные воспоминания о поэте («Русский архив», 1898, № 12).

[^^^]

Великий певец Хиосский — то есть Гомер, который, согласно одному из преданий, был родом с острова Хиоса.

[^^^]

Кадм — герой древнегреческой мифологии, основатель города Фивы.

[^^^]

Ни Скопасу, ниже самому Фидию... — известные скульпторы древней Греции, IV в. до нашей эры.

[^^^]

Озеров вполне чувствовал эту прелесть. — Далее приводится цитата из трагедии «Эдип в Афинах» Владислава Александровича Озерова (1769–1816).

[^^^]

О тонкой современной политике Меттерниха... — К. Меттерних (1773–1859) — австрийский государственный деятель и дипломат, один из создателей реакционного Священного Союза и руководителей крайней европейской реакции 20—40-х гг. XIX в.

[^^^]